

ISSN 0130-7673

# НОВЫЙ МИР

12

---

---

1995

12

НОВЫЙ МИР

1995

# НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 12(848)

Декабрь, 1995 г.

## УЧРЕДИТЕЛИ:

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР»,  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«БАНК „САНКТ-ПЕТЕРБУРГ“»

## СОДЕРЖАНИЕ

БОРИС ЕКИМОВ — Рассказы	3
НАДЕЖДА ГОРЛОВА — Поездка в Липецк, рассказ	19
С ГОРОДСКИХ НЕБЕС — Алексей Биргер, Баллада о троллейбусных алкоголиках. Алексей Дидуров, Подворотня, стихи	32
РАМИЛЬ БЕСЕРМЕН — Шахматы, рассказ	37
ИГОРЬ КУЗНЕЦОВ — Сад грез, рассказ	41
МАРИНА БУВАЙЛО — Календарь, рассказ	47
БЕГУЩАЯ ТЕНЬ — Владимир Коробов, Александр Ткаченко, Сергей Надеев, стихи	52
ТАТЬЯНА ВОЛЬТСКАЯ — На развалинах нашего Рима	57
ЯН ГОЛЬЦМАН — Чудится, светит, мерцает... Этюды	71
КАК ДЕТСКОЕ ЛЕТНЕЕ ПЛАТЬИЦЕ — Ольга Кучкина, Лариса Миллер, Нана Эристави, стихи	86
АЛЕКСАНДР ГАНКИН — Август, рассказ	89
АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ — Погода в ноябре, рассказ	92
КОНСТАНТИН ПЛЕШАКОВ — Старосветские изменщики, рассказ	105
НА ТОМ БЕРЕГУ — Яков Козловский, Леонард Лавлинский, стихи	112
ЗУФАР ФАТКУДИНОВ — Афоризмы	114

## НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

ТОРНТОН УАЙЛДЕР — Каббала, роман. Перевел с английского А. Гобузов. Окончание	117
--	-----

## ПУБЛИЦИСТИКА

МАРК ФЕЙГИН — Вторая Кавказская война	159
---------------------------------------	-----

## ВРЕМЕНА И НРАВЫ

ВЛ. НИКИФОРОВ — Записки из подвала	172
------------------------------------	-----

## ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. КУЛЬТУРА

Ю. КАГРАМАНОВ — Отчего затянулась «гибель богов». Фашизм как феномен европейской культуры	184
--	-----

(См. на обороте)

## СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

### В МИРЕ ИСКУССТВА

АЛЕНА ЗЛОБИНА — Драма театрального сезона 210

### ПО ХОДУ ДЕЛА

АЛЛА МАРЧЕНКО — Рассказ в отсутствие романа 225

### КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 228

Михаил Бутов. Химическая свадьба маятника и розы. *Дмитрий Харитонович*. Постскрипtum, написанный профессионалом-дилетантом.

И. К. Начало речи.

Татьяна Бек. Рожденный после.

РУССКАЯ КНИГА ЗА РУБЕЖОМ 241

КНИЖНАЯ ПОЛКА 243

ПЕРИОДИКА 246

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» ЗА 1995 ГОД 249

SUMMARY 256

### УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Наш индекс 70636 в каталоге издательства «Известия» (спрашивайте во всех отделениях связи).

Вы можете оформить льготную подписку на «Новый мир» непосредственно в редакции по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»), в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 18 часов, в субботу с 10 до 13 часов. Здесь же можно приобрести отдельные номера журнала. (Справки по тел. 200-08-29.)

*В розничную продажу «Новый мир» не поступает, наложенным платежом не высылается.*

Распространением журнала «Новый мир» за рубежом занимаются: германская фирма «Кубон унд Загнер» (Kubon & Sagner. D-80328 München Germany. Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d. Fax (089) 54-218-218);

акционерное общество «Международная книга» через своих контрагентов в соответствующих странах (их адреса можно узнать в А/О «Международная книга»: 117049, Россия, Москва, ул. Большая Якиманка, 39. Факс (095) 238-46-34. Телефон (095) 238-49-67. Телекс 41160);

американская фирма «Ист Вью Паббликейшенз» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (612) 550-0961. Fax (612) 559-2931. В Москве тел./факс (095) 144-00-55, (095) 144-01-89).

*Просим зарубежных подписчиков и покупателей «Нового мира» обращать внимание на обложку журнала. За пределами России и стран СНГ наш журнал распространяется только в специальной экспортной обложке — белой, с надписью «New Mir»; торговля журналами в голубой обложке не является законной.*

Из общего тиража Институт «Открытое общество» выписывает и направляет ежемесячно в библиотеки России и ряда стран СНГ 10 тысяч экземпляров журнала «Новый мир».

---

---

БОРИС ЕКИМОВ

\*

## РАССКАЗЫ

### ЗЯТЬ

**В** райцентре, в его конторах, когда рядом, в подмогу, был умный человек, Мартиновна ничего не страшилась, все бумаги подписывала. И в машине, когда возвращались на хутор, она раз за разом повторяла:

— Я — хозяйка... Я — в своем праве. А он — пришей-пристебай! Решил: бабы — глупые, зажмурки живут, обведу их, как серка, за уши. А мы и впрямь — хуторские овечки... — призналась она и добавила: — Но кое-чего соображаем...

Главная подмога Мартиновны, Лельки-бригадирши брат, бухгалтер колхозный — головочка умная, лысая, недаром еще смолоду его Плешкой величали, он рядом, в машине, за рулем сидел и поддакивал.

— Они нахалтай привыкли, чужими джуреками свою родню поминать. А тут — коса на камень... — хохотнул он довольно. — Прищемили. Теперь налицо будет, кто глупый. Ты жизнь на колхоз поклала! — возвысил он голос. — А он прибег на белые буханки. Земли ему захотелось. Воспрещен проезд! Земля наша. Мартиновны и Макуни. Они на этой земле загорбатились. А он забогатеть решил, на чужой шее. И — в Америку, на ихних курортах скрыться: с деньгами там примут. Абы деньги. И будет смеяться издаля над дураками. А вы тут свистите в кулак.

Приехали на хутор. Плешка ссадил Мартиновну прямо у ее двора, на прощание подбодрил:

— Чуть брыкнет, ты шуми сеструшке, она при телефоне. И мы его враз определим. За высокий забор. Я участковому дам знать. Пристроим, где был. Там место еще не остыло.

Плешка убыл. Мартиновна осталась одна. И хоть лежал вокруг родной хутор, а рядом — родной двор и дом и сама Мартиновна была бабой не робкой: с тяжелой поступью, крепкими руками, низким, мужичьим голосом, но, конечно, боялась она своего зятя-«затюремщика». С первого шага, когда пришел он из лагеря, лишь ступил во двор, старая мать Мартиновны, бабка Макуня, сразу сказала: «Он людей резал». А старая ворона зря не каркнет. И потом, хоть целых пять лет под одной крышей прожили, а как сощурит глазоньки, процедит: «Ты не в свои дела не лезь... Понятно?..» Это «понятно» огнем ли, холодом, но обжигает до самого нутра. Так что не сразу вздохнешь.

Конечно, она боялась. Но страх перемогала. И повторяла про себя: «Я хозяйка. Я — в своем праве. А он — пришей-пристебай. Копеечку бабью, сиротскую не дам отнять. И пусть даже убьет, — на крайнее решалась она, — зато внуки с сумой не пойдут и дочка не будет век слезы точить. Пускай убивает. А может, и не убьет, — думалось. — Может, унесет его Господь, как и принес. Может, даст покою. Галдят все: Мартиновна, Мартиновна двух мужиков стоит... Сколь накосила Мартиновна... Сколь накопала картошки... Словно все это с неба валится: сено, дрова, картошка... Кто бы знал, что у Мартиновны руки уже ни вил, ни лопаты не держат. А внутри все скрипом скрипит, видать, проржавело. Пора бы и отдохнуть.

Наработалась, слава Богу. Сложить бы крестиком руки да сидеть на лавочке возле двора, семечки лузгать и басни тачать. Может, и приведет Господь... — теплилась в душе надежда. — Все же копеечка неплохая...»

Мартиновна вслух сказать боялась. Шутка ли — целых семьдесят миллионов. Отнимался язык. Хотя по хутору и округе про семьдесят челядинских миллионов трезвонили кому не лень.

Это началось летом, когда хлеб убирали. Челядинское поле озимой пшеницы по пятьдесят центнеров с гектара давало. Удалась пшеничка: зерно к зерну. А народ нынче грамотный. Считать умеют. Особенно в чужом кармане. Прикинули. Получалось, что семьдесят миллионов рублей получит за эту пшеницу челядинский зять. Вот тебе и «затюремщик» и лодырь.

Челядины на хуторе жили всегда. Но с мужиками им не везло. Бабка Макуня в войну овдовела. Мартиновну оставил муж с годовалой Раисой на руках. А в годы вошла Раиса, и ей Бог счастья не дал. Дружечка ее сгорел в одночасье. Так и жили бабьей артелью, пока не послал им Господь в зятя Костю-«затюремщика».

На погляд Костя был похож на военного: высокий, поджарый, в короткой стрижке, с железными зубами. А взгляд — неморгающий, строгий.

Челядины зятя приняли, хотя вначале не больно верилось, что он приживется — чужой гусак среди своих: всегда бритый, с одеклонным душком, а не с водочным перегаром.

Колхозный бригадир Чапурин определил челядинского зятя в лодыри. Костя в скотниках побывал, в кочегарах на ферме, в плотниках. А потом прилачился шофером на старую машину. Летом он собирал да разбирал ее возле двора, изредка ездил. Зимой машина стояла.

А в семье примаком были довольны: не пьет, не гуляет, как другие. Раиса мальчика родила. Хотя по меркам хуторским в тридцать лет бабе не рожать, а внучат надо пестать. Но родила. И этому радовались. Как говорят, не любовь сведет, так дите спутает. Костя прижился, получив твердое имя: челядинский зять. И все шло хорошо, когда бы не дурь эта с землей, а потом с миллионами.

Мартиновна после райцентровской колготы да машинной езды не сразу пришла в себя. Плешка уехал, а она стояла, опасаясь во двор родной идти.

Но все пока было спокойно. Хутор лежал в теплой сентябрьской тиши. Деревья в садах еще не желтели. Лишь кое-где тронуло багрецом маковки груш. В палисадниках атели гроздья калины; пестрели, доживали летнюю пору простые цветы: астры, петунии, высокие георгины.

Словно на казнь, со вздохом, крестясь, Мартиновна ступила в свой двор. Здесь, за высоким крепким забором, в безветрии, было и вовсе по-летнему тепло. Старая бабка Макуня в пуховом платке, валенках и плюшевом жакете сидела возле кухни с хворостиной, внука стерегла. Вовка лез во все углы, куда не положено. Бабка, а вернее, прабабка страшала его:

— Шелужиной тебя... неумный...

Мартиновна, словно наскучав по внуку, подхватила на руки этот теплый дорогой комочек, проговорила:

— Жалюшка моя...

И разом стало ей легче: не для себя — для малого внука старалась, для него и для дочери.

А дочь Раиса выглянула из кухни, спросила у матери:

— Ты где блукаешь? Увечалась — ни слуху ни духу...

— Плешка в район ехал. Я прицепилась, насчет пенсии. Дурят нас. Солонечихе боле моего принесли.

От дочери Мартиновна правду тайла. Раиса не в нее удалась: покорная овца, обмануть ее — раз плюнуть. Тем более — ночная пристежка: под чьим боком греется, с тем и песни поет, про завтрашнее не думает.

— Солонечихе принесли на две тысячи боле моего! — возвысила голос Мартиновна, потому что, еще не увидев зятя, почуяла взгляд его. — Бесстыжие! У меня стажу — хоть на базар неси! Я — почетный колхозник!

Зять сидел возле сарая, рыболовные снасти ладил. Любил он это дело.

— Я им вложила ума! — опускала внука на землю, закончила Мартиновна и ушла в дом, чтобы переодеться да от зятя укрыться. Он ведь, словно колдун, прищурится и все насквозь видит.

Обедали в летней кухне. Мартиновне кусок в горло не лез. Понимала она, что шила в мешке не утаишь: не ныне, так завтра Костя обо всем узнает. Что будет тогда? Уж точно — в последний раз за одним столом сидят: Раиса с внуком, Костя; мальчик тянется к отцу, мешает ему — привычное, семейное, сердцу дорогое.

Слава Богу, заглянула соседка, Раисина сверстница. Обежать она не стала, но ушла не вдруг. Жаловалась на колхоз, в котором с весны не платят. А на работу ходи, коров не бросишь. Завидовала вслух Раисе, хвалила Костю, что из колхоза не побоялся уйти. Речи были обычные после нынешней уборки, когда про миллионы узнали.

— Копейку начислят — и той не дождешься, — жаловалась соседка. — Потом да потом... На вас поглядишь — завидно...

Под эти разговоры Мартиновна быстро доела и в огород ушла. Завидовали нынче многие. А вот было ли чему?

Сколько пережили, сколько пролили слез, когда Костя из колхоза решил уйти. Он и работал-то в колхозе без году неделю. Да и работал ли? В скотниках — не захотел. На дробилке — пыльно. В плотниках — мало платят.

А потом вдруг надумал и объявил: «Из колхоза надо выходить, пока не поздно». Сколько слез было... А он стоял на своем: «Уходить надо, пока другие в затылке чешут. Тарасов не зря ушел». Мартиновна плакала в голос: «Тарасов в тракторе зародился. Он и спит в нем. И сын — весь в него. А у нас? Сейчас ли в колхозе не жить?! Бери чего хочешь, никто слова не скажет. Хоть сено, хоть зерно. Огрузись...» — «Потому и надо уходить, через год-другой все растянут». Неожиданно его поддержала Раиса, сказав: «Он — мужик. Он — в силах». Мартиновна сдалась. Дочери в ту пору пришло время рожать. Как спорить с ней? Тем более с глазу на глаз сказала Раиса матери: «Либо ты не видишь? Он попить начал. Нудится. Пускай к делу прислоняется. Сладит он».

Написал заявление. Бумаги ездили оформлять Костя с Мартиновной. Где нужно, Мартиновна кулаком себя в грудь стучала: «Два ордена! Почетный колхозник! Имею право!» И Костя не промах был: подмазать умел, с людьми разговаривать. Он и прежде, надо ли огород вспахать, сено привезти, обычно говорил: «Организуем. Готовьте горючее».

Но одно дело — погреб выкопать, тележку зерна привезти, другое — триста гектаров земли, кус немалый Челябины выхватили.

На хуторе, когда узнали, головами качали да посмеивались: «Бабка Макуня будет пахать». Колхозный бригадир Чапурин — он по соседству жил — спросил Костю напрямую:

— Зачем берешь землю? Людей баламутить?

— Попробуем, — спокойно ответил Костя.

— Чего пытаться? Ты же в земле ни бум-бум. Лишь червяков копаешь для рыболовства.

— А я у добрых людей совета спрошу, — так же спокойно ответил Костя. — У тебя, например. Ты ведь подскажешь, когда пахать да когда сеять, — и, помолчав, добавил: — А кто на хуторе может? Турчок? Шаляпин? Сытилин? Ванька Махно? — считал он хуторских пьяниц. — Ну, кто?

Чапурин вдруг понял, что нечем ему ответить. Давняя то была беда. И он досадливо рукой махнул, смяв разговор. А у себя дома бурчал: «Земле-роб... В тракторе сроду не сидел...» На что жена его, Лелька, ответила сра-

зу: «А он в него и не сядет, в трактор. Либо у нас пьяниц мало? Они всей бригадой колхозную землю бросят, а ему будут пахать за поллитру».

Тракторами, иной техникой челядинский зять обзавелся. Но в кабину, за рычаги, как мудрая Лелька вещала, он не полез. За поллитру ли, за что еще, но земля его была вовремя вспахана, где надо — засеяна. И сам бригадир Чапурин помог ее щедро удобрить.

Скотные дворы колхоза на хуторе не убирались который уже год. Это когда-то были «отряды плодородия», районная «Сельхозтехника» помогала, а теперь лишь изредка сдвигали навоз, нагребая за курганом курган вокруг фермы. Потом и вовсе бульдозер сломался. Нечищенные базы тонули в навозе.

Как-то летом Костя пришел к бригадиру, сказал:

— Не против? Я навоз заберу с базов.

— Как заберешь? Куда? — не сразу понял Чапурин.

— Себе на поля. Под озимку.

— Молодец. А чем ты его вывезешь? Мартиновну запряжешь?

— Мое дело, — уклончиво ответил Костя. — У тебя коровы на базах плавают по брюхо. К осени тонуть начнут. Я вычищу. Тебе благодарность объявят за чистые базы.

— Забирай, агитатор, — недолго думая согласился Чапурин. — Я погляжу, как ты его вывезешь.

На следующий день на колхозных скотных базах урчали бульдозер да скреперы, шеястый экскаватор. Могучие самосвалы один за другим потянулись на челядинское поле.

Отряд районного автодора, что недалеко от хутора асфальтовую дорогу вел, одним махом с навозом разделался. Чапурин лишь завистливо глядел на эту картинку, прикидывая, как ему придется отбрезиваться в правлении колхоза. Скажут, что продал навоз.

А вечером бригадира ругала жена:

— Всю жизнь работаешь, ни днем ни ночью покоя нет... А чего заслужил? Медаль? Внукам играть? Затюремщик деньги будет грести, а ты слюнки глотай. Или — к нему, внаймы, на старости лет.

Чапурин лишь вздыхал:

— Жизнь такая пошла.

— А к ней применяться надо, к этой жизни. Навоз ему задарма отдал?

— Сумел человек. Молодец. Почистил базы.

Он и Костю при встрече похвалил:

— Молодец. Сколько же ты им поставил, дорожникам?

— Коммерческая тайна, — усмехнулся Костя.

Поле, на которое навоз свезли, отпаровав, засеяли озимой пшеницей. И следующим летом, в июле, стоял возле него Чапурин и глядел.

В солнечном полудне лежало пшеничное поле червонным золотым слитком — колос к колосу, не войти в него. А через ложбину — колхозное, жиденькое, словно клеваное, в зеленых островах вьюнка, в седых — осота.

Тогда и прикинул Чапурин вслух:

— Пятьдесят центнеров... Элита... По семьдесят тысяч... Не меньше семидесяти миллионов. Вот тебе и Костя.

В ту пору не было никого рядом. Но словно ветер слова его разнес.

То один, то другой приставал:

— Забогатели? Семьдесят миллионов. Куда же девать будете?

— Плетите... — отмахивалась Мартиновна.

— А ты не боишься? — шепотом спросила ее хуторская ворожея Солонечиха. — Жизни решат.

— Столько и не пропьешь... — посочувствовал вечно хмельной Шалыпин.

Партийная Макарьевна при встрече сказала строго:

— Коммунисты все одно победят. Сибирь просторная, — предупреждала она. — Глади не загреми на старости лет.

И что-то тронулось в душе. Мартиновна была бабой большой, тяжелой, пожившей. Но и мшистый камень-валун, коли его бить и бить, не сразу, а треснет.

В земельные дела Мартиновна прежде не лезла. Теперь пришлось. При дочери за ужином завела она разговор:

— В била забили: миллионы да миллионы... Волочат молву. Взаправду, что ль, за пшеницу хорошо заплатили?

Против ожидания зять ничего не скрыл.

— Цена хорошая. Но у нас и пшеничка... — гордясь, сказал он. — Клейковина высокая. Пятьдесят миллионов уже перечислили. Остальные — обещают. А чего? — спросил он. — Взаимы просят?

— Да нет... Думала, может, напраслину кидают... — проговорила Мартиновна и смолкла.

Если прежде она верила и не верила, то теперь ее словно жаром осыпало, перехватило дух. А немного в память войдя и вздохнув свободней, она с ходу решила:

— Презир надо денежкам дать. На книжку положить. На Володю и на Раису. Там проценты пойдут. Да-да, — убеждала она. — Так все делают.

— Э-эх, мать... — по-доброму посмеялся Костя. — Не забивай себе голову. Это кажется, что много. А их еще бы столько — и не хватило. С кредитом надо рассчитаться. Новый трактор нужен, КамАЗ с прицепом, горючее, запчасти. И если получится, то надо будет ехать в Словакию.

— Куда-куда?..

— В Словакию, за границу. Хорошие там есть комплексы: мельница, рушилка, пекарня — все вместе, — говорил он необычно мягко и глядел на жену, на сына, который тянулся к нему с рук матери, а та его не пускала.

— Пекарня? — спросила Мартиновна. — Хлеб будешь печь?

— Будем печь, — ответил Костя.

— Да его чуть не каждый день возят.

— Наш будет лучше и дешевле, — объяснил Костя и повторил, с чего начал: — Не забивай себе голову, мать. Я уж сам разберусь.

На том и кончили разговор.

Со старой матерью, с бабкой Макуней, говорить было без толку, она лишь отзывалась эхом.

— Либо он брешет все? — спросила у нее Мартиновна. — Обманет?

— Абманат, абманат... Он в тюрьме сидел, — согласно кивала бабка.

— А Володю жалеет и Раису не обижает.

— Мне пряников привез из станицы, — похвалилась бабка. — Сладкие.

Вот и поговори с ней. А поговорить было надо. Мартиновна ночь не спала, пытаясь понять то богатство, что рухнуло на ее баз. Сколько там... в этих миллионах. В гаманке ли, в кармане не уместить. Грезились они каким-то курганом. Всю ночь этот курган виделся. До сна ли?..

Утром Мартиновна к Раисе приступила всерьез.

— Моя доча, — начала она ласково, — об жизни надо загад делать. Это нам с бабкой дорога короткая — на кладбище. А тебе еще на веку, как на долгом волоку, всего придется перевидать. А время — надежи нет. И люди не зря про черный день копейчку сбивают.

— Ты об деньгах? — поняла ее Раиса.

— Об них, — призналась Мартиновна, — об вас с Володей мое сердце кровит. Такая страсть — миллионы. А он их — в распыл.

— Ой, мама... — вздохнула Раиса. — Я ему говорила. А он: нужны в дело. Трактор, машина, пекарня... — повторяла Костины слова.

— Набрешет — конем не перепрянешь, — в сердцах оборвала ее Мартиновна. — А ты вослед за ним едешь, ночная пристежка. Повадили его... Хозяин... Я тебе всегда учила: для каждого дружка держи камень за пазушкой. И для сердечного — тоже. Сколь дурили тебя... Ныне он — милый, а



завтра — постылый. Кинет — и осталась с дитем на руках. А он парень клеваный, крым и рым прошел.

Раиса слушала мать не переча. Эти пятьдесят ли, семьдесят миллионов и у нее на сердце лежали. Сколько разговоров вокруг... Но первым про деньги Костя сказал, когда лишь начали пшеницу сдавать. Она испугалась, стала говорить про лихих людей, про сберкнижку. Костя посмеялся, потом сказал: «Шубу тебе, если хочешь, купим. Тряпки нужны — скажи. А в остальное не лезь. Тут моей голове болеть». Она поверила, вздохнув облегченно. Мужик — он хозяин.

И теперь верила Косте, привыкнув к нему. Но материнскую боль понимала. А чем ей ответить? Лишь вздохами да слезами. Такой был характер, далекий от материнского.

— Телушка... — в сердцах обругала ее Мартиновна. — Тебя лишь почухай — и хоть на бойню веди.

Она махнула рукой на дочь и на старую мать, понимая, что, как и прежде, надеяться надо на себя.

Идти нужно было к Лельке, к бригадировой жене. Та — грамотная и при власти; брат ее Плешка и вовсе в конторе с младых ногтей. А жили всегда рядом. Правда, когда Челябины из колхоза ушли, меж соседскими дворами словно сквозняком потянуло. Не ругались, не ссорились, а чуялся холодок.

Теперь нужно было идти. Хочешь не хочешь, а больше некуда.

Мартиновна подгадала ко времени. Бригадирова жена Лелька сидела на солнышке, на крылечке, пуховый платок вязала.

— Я к тебе, Леля, с бедой, — открылась Мартиновна сразу.

— Деньги?.. — поняла ее Лелька. — Миллионы?

— Они...

— Не отдает?

— И слушать не хочет. Не забивай, мол, голову. Туды да сюды. Трактор купи. Да еще за границу надо, какую-то турунду везти. Вроде пекарню...

Ростом невеликая и телом худая, Лелька мудрой была, даром что баба.

— Заграница? — спросила она шепотом и потянула Мартиновну в дом, подальше от чужих глаз и ушей. — Вот оно и открылось! — объявила она. — Все так делают. За границу — и хвост в хвост. Чтоб наша милиция не поймала. А ихнюю подкупит. По телевизору каждый день объявляют. Ты либо не глядишь?

— Лишь кино, «Марию».

— А надо все глядеть! — Глаза Лельки загорелись желтым огнем. — Всякий день про это гутарят. Украл денежку — и на побег, в Америку, на ихние курорты. Там раздолье вора. Ты сама пойми: зачем ему, с миллионами, возле вас галтаться? Чего он забыл здесь? Там он во дворце будет жить. Шалашовки найдутся — не нашим чета. Потому и намылился, к сладкой жизни. Об вас не думает. А если бы по-умному...

— Вот я и говорю, — пожаловалась Мартиновна, — положи деньги на книжку. На Раису, на Володю. Вырастет дите — копейка есть.

— Правильно раскладываешь, — одобрила Лелька. — Шутка ли, семьдесят миллионов. Завтра чего случись... А ты их по щелям распихай. На дитя положи. У дитя да у старика власти не отымут. Домик на станции купи. Там — газ. Там — тепло. Об угле да дровах голова не боли. Там хлеб и молоко в магазин каждый возят. Горя не знают люди, живут. А он увеется, все подгребет... Вы останетесь яко наг, яко благ. Семьдесят миллионов... Такая страсть...

Это была и вправду страсть. Что Мартиновна?.. Даже у премудрой Лельки все в голове мешалось, когда думала она об этих деньгах.

Добрые люди век отработали. Чапурин в бригадирах ни дня ни ночи не знает, весь хутор на нем. А денежки огреб «затюремщик», какой голым-босым лишь вчера на хуторе объявился.

— Ты — в своем праве! — убеждала Лелька. — Земля твоя, материна, Раисина — а он ей завладал. И техника твоя, на тебе все записано, ему бы

и не дали ничего, он у нас без году неделя. Ты в своем праве. Я ныне же братушке позвоню. Прищемит он затюремщику хвост. Лишь ты не молчи. А то привыкли слезы точить. Счастья не упусти... Оно раз в жизни досталось. Тебе счастье, Раисе и внуку... Счастье!

Телефон на хуторе был один. Днем он трезвонил в конторе, вечером да в выходные — на дому у бригадира, через дорогу от Челядиных. Когда Косте звонили из райцентра, бригадирова жена Лелька кричала от своего двора:

— Ко-онста-анти-ин!!

Нынче она голосила особенно старательно. Мартиновна, из огорода услышав этот призывный клич, сердцем почуяла: вот оно, начинается. Не ожидая хорошего, она бросила лопату и пошла к дому медленно, нехотя.

Встретились посреди двора, Костя против ожидания был вовсе не сердит. Остановившись, он улыбнулся растерянню и спросил:

— Ты чего, мать, сделала? Ты с ума сошла?

Мартиновна привыкла к зятю строгому, жестокому. А теперь его словно подменили. И, разом поняв его слабинку, а свою силу, она ответила тоже мягко:

— Ага-а... Прищемила. Хотел — виль хвостом. Не вышло?! — Осознав победу, торжествуя возвысила голос: — Абманат... Абманат ты и есть! Погубить нас хотел?! Завладать денежкой! В Америку, на побег потянуло?! С большим гаманком! Вот теперь и лети в свою Америку! Со своим нажитком! Какой из тюрьмы принес! Перо тебе в зад!

— В какую Америку? Ты чего плетешь?

— А вот и плету... Прищемила хвост! Прищемила!!

— Не орать, — холодно приказал Костя.

В прищуренных глазах Мартиновна увидела то страшное, чего всегда боялась. Но нынешняя отвага, но страсть пересилили.

— Бей! И убей!! — закричала она, зная, что услышат ее. — Убивай!! А сиротскую копеечку не отдам! И дочерю не пущу по миру!! — Она кричала не видя, но зная, как выбирается из кухни старая мать ее, как дочь спешит, оставив мальчонку, как досужая бригадирова Лелька заглядывает во двор.

— Мама... Костя... Господи, помоги... Чего там у вас? — смешались разом три бабьих голоса.

Костя шагнул, Мартиновна охнула. Но зять прошел мимо, быстро пересек двор и так же быстро стал спускаться к леваде, к одичавшим садам, к речке.

Проводив зятя взглядом, Мартиновна процедила:

— Хоть бы ты потонул там. Дал покоя.

Покоя искал и Костя, когда, оборвав ругню, зашел прочь от Мартиновны. Бабы слепая дурь ошеломила его, и он испугался, что полыхнет в ответ такая же злость в душе собственной. Он быстро прошел узкой тропкою через старый сад и возле речки разом остыл, словно оставил житейское там, за чащей сада, на хуторе.

Синела быстрая вода Ворчунки, на том берегу начинал желтеть тополевик. Скоро он вспыхнет свечным мягким пламенем в осеннем пасмурном дне. Потом листва ляжет на землю, и сразу станет над речкой просторно, далеко видать. На берегу, по земле, уже поднималась мягкая трава, вторая отава. Первую недавно скосили. И как всегда, охапку сухой травы оставили на берегу, чтобы Косте сидеть, когда он рыбачит.

Он сел, минуто-другую бездумно глядел в текучую воду, успокаиваясь и все более понимая, как просчитался, когда два года назад, затеваясь с землею, оформил хозяйство на тещу. В том решении были свои резоны: ему могли в земле отказать, Мартиновна — почетный колхозник, сорок лет стажа, два ордена за труды. Тараном вел ее Костя по районным кабинетам, добываясь земли. Добился. Мирно, покойно жили. Не взял в расчет лишь бабьей глупости да людских завистливых слов: «Миллионы... Миллионы...»

Неостывшее начало подниматься в душе: боль и горечь, бессилие, злость... Но легкий ветер пахнул, пробежала по воде рябь — стало легче.

Вода уже день ото дня холодела. Но Костя купался каждое утро. И сейчас он поплавал, понырял под левым глубоким берегом. Вроде полегчало. Он вспомнил, как первый раз, приехав на хутор, прямо из лагеря освободившись, пришел сюда, к речке. Лежал в траве, словно в покойной колыбели. Был день первый, потом второй, третий — здесь, на этом берегу. Зелень, текучая вода, тишина. Тогда он решил остаться на этом хуторе. В лагере, за колючей проволокой, грезилось ему: речка, лес, тишина. И он нашел их.

А теперь... Словно обухом по голове.

Костя долго сидел на берегу, думал, но ничего придумать не мог. Конечно, теща не сама на это решилась. Посоветовали да помогли доброхоты. Вбили ей в голову: «Семьдесят миллионов!» И закружилась голова у старой дурехи.

Нужно было говорить с женой. Когда землю брал, она свое слово сказала. Должна понять и теперь.

Клонился день к вечеру. Костя сидел на берегу. Теперь уже не в раздумье, а словно в отрешенье. Всегда его завораживали быстрая вода, зеленый берег, небо и тишина, врачующая душу. Помогло и нынче.

А тем временем, пока Костя вечера ждал, окрыленная легкой победой, Мартиновна клевала и клевала дочь:

— Нечего слезы лить, телушка глупая... Для тебе стараюсь! Я — не вечная, помру... Домик в райцентре купишь... Володю в детский садик, в школу... И человека найдешь не хуже его... Дитя в люди выведешь и сама... Наша земля, наша денежка...

Раиса пыталась перечить, но не могла. К тому же какая-то правда чуялась ей в словах матери. Семьдесят миллионов... Хотелось хорошего: для себя, для сына. Ведь люди живут. И детишки с белыми бантиками в школы ходят. А не на тракторной тележке, по грязи, за двадцать верст. Деньги уйдут... Болтали про какую-то бабу из районного банка, чуть не директоршу, вроде видали с ней Костю... Увется... И мать не вечная. А без нее страшно подумать, как жить.

Ужинали порознь. Рано спать легли. В постели Раиса слушала Костины слова, верила им и не верила, плакала, говорила в слезах: «С мамой поговори... Она жизнь прожила... Она нам добра хочет...»

Костя твердил свое: про мельницу, про пекарню, про завтрашний день. Но слов его Раиса будто не слышала. А может, и вправду не слышала. Уснула ли, притворилась ли спящей.

Костя полночи просидел на крыльце. И ни свет ни заря уехал в райцентр.

Все получалось, как говорили ему: в единый час он оказался лишним. Теперь он шага не мог ступить без подписи Мартиновны. В фермерском союзе и банке Косте сочувствовали, но разводили руками: «Разбирайтесь по-семейному...»

С чем уехал, с тем и на хутор вернулся. Поставил машину. Во дворе было пусто. Лишь куры бродили, сонно татакая, да топырил крылья петух. А на подворье соседском — вовсе тишина. Костя прошел туда. В соседях жила старая одинокая женщина. С ней сговорились, в сельсовете бумаги оформили и на ее просторном базу поставили склад-ангар. Здесь же намечал Костя ставить мельницу и пекарню, объединив два подворья в одно огромное, где хватит места всему: новому дому, на который проект был готов и обещали для стройки льготный кредит, с рассрочкой на пятьдесят лет, то есть задаром. Дом Костя задумал на городской манер. С ванной, с парной, с гаражом в этаже цокольном. Первый этаж, второй, да еще мансарда...

А что теперь?.. Теще в глаза заглядывать. Или плюнуть на все и снова — рыбачить, охотиться, бродя по окрестным озерам. Но уже набродился.

Вот он стоит, сияя белою арочной крышей, ангар. А рядом хотел...

Не будет покоя. Это словно зараза, чума ли какая. Наверное, он всегда был азартен. В юности верховодил окрестной шпаной. После первой отсидки не по чужим карманам лазал, а вагонами, платформами угоняли с завода нужное. И в лагере, в заключении, бригадирствовал, строил, словно для себя. Это — азарт.

И здесь, на хуторе, за это короткое время уже привык к уважительному вниманию. Сначала его боялись. Потом иное пришло. На хуторе и во всей округе. И даже в райцентре — в банке да в фермерском союзе. А теперь все — прахом? Нет! Лучше уйти. Но куда? Прошлое отрезано. И что в нем, в том прошлом?

От этих мыслей стало нехорошо. А потом пришло отчетливое: надо, пока не поздно, действовать. Думать и делать, а не вздыхать, словно красная девица.

Он поднялся с ветхого крыльца и пошел — сухощавый, высокий, прямой. Лишь поднялся — сразу пришло разуменье, что к чему и как. Рискоевое... Но было что ставить на кон. А главное, нет выбора.

Костя зашел домой, взял ключи от склада-ангара, предупредил:

— Не расходитесь. Собрание буду проводить.

В складе он пробыл не очень долго — дверь оставил распахнутой — и, вернувшись к себе во двор, позвал:

— Пошли со мной. Все пошли, все... И ты, бабуня...

Решительно шагала Мартиновна, ступая тяжело; рядом ковыляла иссохшая от жизни Макуня, костыликом подпираясь; Раиса шла с мальчонкою на руках. И Костя — чуть в стороне и сзади, словно старшина, неулыбчивый, строгий. Казалось, вот-вот раздастся команда: «Ать-два! Ать-два!левой!»

Дверь склада была открытой.

— Заходи! — приказал Костя.

Вошли. Костя последним. Он запер дверь, накинув крючок. Вспыхнули яркие лампы. И Мартиновна охнула:

— Губить будет...

Она первой углядела лестницу, табуретку и веревку с петлей под поперечную балкою. Никакая Лелька тут не услышит, никакой участковый. Видно, пришла пора помирать. И когда поняла это Мартиновна, то ватными сделались ноги, онемел язык.

— Значит, я — абманат? — спросил Костя. — Обмануть вас хочу? Миллионы украсть? Забирайте эти миллионы! — возвысил он голос. — Набирайте золота, дом купите, нового зятя... и отца ему. — Он шагнул к сынишке, к Володе, которого держала на руках растерянная Раиса, поцеловал его и так же ровно пошел к табурету, влез на него, надел петлю на шею, качнулся и вышиб из-под себя ногой опору.

Табурет покатился к стене, а сам Костя, тело его начало биться. Он вытягивал и вытягивал шею, словно что-то еще хотел сказать, но уже не мог. Страшно открылся и запенился рот в немом раздирающем крике. Выпученные глаза безумно таращились. Судорога ломала жилистое тело, изгибная и вытягивая его в предсмертной корче.

— Грех... Грех... — заплакала старая Макуня, шагнула и, упав, поползла на четвереньках.

— Мамка! — закричала Раиса и, уронив с рук сына, кинулась к Косте, стала ловить ноги его и кричала: — Ма-амка!!! — потом к табурету — и снова к Косте и дико орала: — Ма-амка!!

На амбарной стене висели друг возле дружки четыре косы. Мартиновна, ухватив самую малую, задыхаясь, спеша, полезла по лестнице и с первого раза, с потягом, пересекла веревку над головою зятя.

Костя рухнул на асфальтовый пол. Раиса бросилась к нему, все так же крича: «Мамка!» А потом смолкла, упав на колени, прикинула к груди мужа и слушала: колотится ли еще гулкое Костино сердце?

## СОСЕД

Середина августа. Жарко. Больше месяца нет дождя. С вечера желтое слепящее солнце тонет в багровом закатном дыму. Утром оно поднимается в том же багровом тревожном мареве и начинает палить.

Земля пересохла. Вечером, в огороде, льешь и льешь воду. Назавтра, к полудню, грядки — словно и не поливал их. Никнут свекольные листья, помидорные; картофель вянет, желтеет. Льешь и льешь воду. Иссохшая земля пьет ее жадно, со всхлипом.

Новый сосед мой, видно, выпросил на работе выходной. С утра и далеко за полдень перетаскивал он уголь от ворот в сарай. На неделе этот уголь купили. Возят его шахтеры из Донбасса ли, из Ростовской области. Говорят, что зарплату им выдают не деньгами, а углем. Вот они и возят. Без топки не обойдешься. Зима все равно придет.

Соседова жена на днях жаловалась:

— Восемьдесят тысяч за тонну. Так дорого... А пришлось три тонны купить...

— Куда деваться... — как мог, успокоил я ее. — Через неделю будет дороже. В Филоново уже по сто пятьдесят тысяч. Так что не горюйте.

Теперь сосед перетаскивает свой уголек. Сынишка его, подросток, насыпает лопатую ведра. Сосед носит. До сарая не близко. Ведра объемистые, цебарки, как у нас их называют. Больше пуда потянет каждая, с углем-то. Два ведра — два пуда. Таскает. Жара. На голом теле — разводы пыли и пота.

Потом он копал возле бани яму для стока. Копал и копал, уходя все глубже в прохладную землю. А вечером, как и все, мотор завел. Началась огородная поливка.

Уже ночью, во тьме, мотор гудел и гудел, стучал насос. Я вышел в огород, когда совсем стемнело. Гремел оглушительный хор садовых сверчков. Узкий месяц желтел. В соседском огороде, во тьме, слышимо лилась из шланга вода. Светил красный огонек сигареты.

— Воскресный отдых заканчивается! — громко сказал я. — Теперь можно и на работу.

— Еле на день выпросился, — ответил сосед. — Там тоже спешка.

Со степи потянуло свежестью. Я пошел к дому. Красный огонек сигареты в соседском дворе вспыхивал и притухал. Во тьме человека, нового моего соседа, не было видеть. Но я знал, что глядит он куда-то выше земли, словно в небо — не в небо, а куда-то далеко. Взгляд рассеянный, пустой. Так глядят старые люди на исходе жизни. Куда-то в дальнюю даль, нам неведомую. Но новый сосед мой далеко не стар, ему и сорока еще нет, наверное.

Появился он весной. В начале апреля я приехал на разведку из города — поглядеть, не пора ли на лето перебираться в наш старый дом. Приехал, гляжу — кто-то в соседнем огороде копается. «Новые квартиранты», — подумалось мне.

В соседнем доме доживает век одинокая женщина, тетка Клава. Муж ее, мой приятель Фомич, любитель зимней рыбалки и целебных трав, помер три года назад. С той поры тетка Клава, в просторном доме живя, пускает в летнюю кухоньку, что рядом с домом построена, квартирантов за квартирантами и тут же гонит их. Старый человек, нелегкий характер: то — не так, другое — не эдак. А на любое жилье нынче спрос великий. Военных прислали в соседний поселок, целых три полка: из Германии, из Чечни, из Баку. Все — бездомные. И беженцы едут и едут со всех краев: Киргизия, Узбекистан, Казахстан, Кавказ. Живем по соседству. Вот к нам и бегут. Любому углу рады. Лишь бы прислониться.

С новым соседом тогда, весной, мы поздоровались, и только. Он сгребал огородный мусор. Я оглядывал дом да подворье: как они тут без меня зимовали? Оглядывал, двери-окна отворял, чтобы выветривалась зимняя

стылость. К огороду и саду я не спешил. Все это еще впереди, когда передем.

День стоял апрельский, солнечный, хотя и поздней весны. В огороде, в саду голо, серо. Лишь в затишке, на солдцепеке, полезла крапива да распустил резные листья чистотел. Вот и вся весна. Новый сосед мой греб и греб прошлогоднюю ботву, палый лист. Последние годы старый Фомич был не в силах огород обработать, а тетка Клава и вовсе обезножела. Появлялись помощники: соседи, родня, потом квартиранты. Год от года, в стариковских да чужих руках, земля дичала; засыхали яблони, вишни. В огромный, на добрую сотню метров, длиннющий огород пришло запустенье. Лепились возле дома две-три стариковские грядочки, десяток рядов картошки, а дальше — бурьян.

Теперь новый квартирант корчевал и греб, метр за метром очищая землю. А ее было много, ой как много... Он работал, порою курил, опершись на лопату. Ко мне интереса не проявлял. Поздоровались — и ладно. Когда курил он, то глядел куда-то далеко и непонятно куда: поверх земли, огородов, серых заборов, голых деревьев. Курил и глядел. А потом снова работал.

Я уехал в город, решив погодить с переездом. Поздняя стояла весна, холодная.

Теперь вот лето, считай, позади. Больше месяца нет дождей. Но вот-вот должна погода ломаться. Третий день то с юга, то с запада в пору вечернюю идут высокие облака, роняя скупые капли дождя.

Везде копают картошку. Наши поместья делят заборчики легкие, через них все видать. У новых соседей не огород получился, а огородище. С весны я глядел, как они копают, сажают за грядкою грядку, все дальше уходя от кухни и бани к земле, где и в добрые годы ничего не росло. Обычно там посадит Фомич арбузы да дыни. Они вырастут в кулак или вовсе посохнут. Новые соседи и клочка пустой земли не оставили. И теперь просторный их огород — его и глазом не окинуть — словно пестрая ярмарка: россыпь красных помидоров, фиолетовые баклажаны, белые тушки кабачков, бледной зелени кочаны капусты, луковые, чесночные гряды — всего много.

С ранней весны и до поры теперешней соседи лишь с работы придут, сразу — в огород. До темной ночи там. Лопата, мотыга, поливальник... Пропалывай, окучивай, рыхли — дело известное. Не будешь гнуться — значит, все заклехнет, засохнет, травой порастет.

Новый сосед мой на работу уходит рано. Встану на заре, во двор выйду — табачным дымком наносит. В десять минут седьмого он пошел. И вернется лишь затемно, около десяти вечера. Утром я вижу, как он уходит: в руках сумка с харчами. Вначале, еще зимой, он устроился работать на одном из наших заводиков, в поселке. Но нынче песня везде одна: работы мало, сокращение, денег месяцами не платят. Тогда он ушел на стройку. В тридцати километрах от поселка корейская ли, турецкая фирма строят военный городок. Но руки, в основном, наши. К ним сосед и устроился. Рабочий день — от зари до зари. Выходных не дают. К сроку хотят успеть, выполнить договор.

— Деньги лопатой гребете? — как-то спросил я. — Доллары?

— Нагребешь... — невесело ответил сосед. — Сорок центов в час.

— А сверхурочные по двойной оплате да выходные? — вспоминал я свое давнее, заводское.

— Этого у них нет, — ответил сосед.

— А как же профсоюз?

— Ничего нет. Работай и молчи. Чуть чего — до свидания. За воротами — очередь, новых возьмут.

Чуть свет он уходит, возвращается затемно. Начинает жене помогать. Так что видимся редко. С женой его — чаще. Она с утра, до работы, — в

огороде. На обед прибежит — снова туда. Вечером гнется дотемна. Иногда перекинемся словом: что как растет.

Коля для подвязки помидорных кустов соседи поставили высокие, шнуры натянули — ряд за рядом — в человеческий рост. А помидоры нынче уродились не больно завидные. Холодная стояла весна.

— У нас, — вспомнила со вздохом соседка, — помидоры росли выше головы. Сорт «Де барао». Гроздьями висят.

Она, как и муж ее, небожно разговорчива. Лишь порою уронит:

— Баклажаны у нас росли... в локоть... А лук — в два кулака.

Старая хозяйка, тетка Клава, совсем обезножела. Кое-как выберется на крыльцо, квартирантов корит:

-- Так не делают... Помидоры надо поливать так-то вот: сбоку и помаленьку. Мы всю жизнь так делали. Ты не обижайся, я всегда правду в глаза говорю. И капусту вы неправильно посадили. А я упреждала...

Все понятно: старость, болезни и характер — не приведи Господь. Со стариком своим тетка Клава ругалась до самой смерти его. Квартирантов за три года несчетно перебрала. Все неймется.

Ей неймется, а жить возле нее тяжело.

— Цветки надо гуще сажать, у меня завсегда...

— Пятнадцать лет мы дачу держали, — кротко вздохнет в огороде квартирантка. — Одних роз больше десяти сортов: «Таврида», «Пионерка», «Купер», «Илона», «Рубин»...

Росту новая соседка невеликого, а кажется еще меньше. Всегда у грядок, у земли, гнется. Взгляд, как и у мужа, — поверх всего.

И дети у них какие-то смирные, тихие. Девочка — невеличка; подросток-мальчик же не по годам деловой, рукастый.

Летнюю тетку Клавину кухню — жилью квартирантов — теперь не узнать. Старый Фомич в ней летовал и зимовал, прокулив ее дочерна. После него, три года подряд, приходили и уходили чужие люди.

Теперь летняя кухня стала нарядной: промазанные и белилами крашенные переплеты окна, голубые ставенки, коричневые доски подзора, такой же карниз, свесы. Все это мальчик делал, старательно, день за днем. Потом он принялся за баньку. Крохотная банька в огороде стоит. Она во все сиротой гляделась: сто лет не мазанная, не беленная. А теперь — словно голубая игрушечка. Молодец паренек... Он там и спит теперь, в этой бане. Кухнешка-то тесная. К Фомичу я часто заходил. Там печка, стол, кровать, сундук. Свободного места — в ладошку. Как они зимой там поместятся?.. А теперь, по теплу, больше возле бани толкуются, где мальчик ночует. В огороде работают; возле бани, у порога ее, порою сидят, негромко беседуют. Девочка там же в куклы играет, читает вслух цветистые книжки.

Мальчик на глаза тетке Клаве старается не попадаться. Не поладил он с ней.

— Ты, гляди, дружков ко двору не приваживай, — строго читала ему тетка Клава. — Ныне народ пошел... А молодые и вовсе. Кинут кирпич в окно, потом стекла вставляй.

— А железяки тянуть во двор не надо... — услышал я в другой раз. — Хлама и так хватает. Понятянешь... кто будет выкидать...

— Велосипед он хотел собрать, — со вздохом объяснила мне мать его, в огороде. — Он умеет... На свалке раму нашел, колеса. Он мопеды сам собирал, в кружке занимался. Они картинги делали, ездили на них, соревновались. Его хвалили.

— Сквозь зубы здоровается... и в глаза не глядит... — выговаривала тетка Клава. — Генерал... А я правду завсегда напрямки говорю, я люблю правду. А они не любят.

Время летнее, теплое. Ходить тетка Клава не может. Лишь выберется на крыльцо и сидит. В доме, одной, вовсе скучно.

Уже близко осень. Темнеть стало рано. И прежде не больно часто видел я новых соседей, теперь и вовсе. Хозяин уходит на рассвете, приходит впотьмах.

Сейчас вот я уйду в дом, а он — в огороде. Гудит мотор, стучит, хлопает ремнем старый насос, еще покойником Фомичом слаженный в старые-престарые годы. Время шло. Во всех дворах такое старье давно выкинули. «Кама» ли, «Агидель». Кнопку нажмешь — потекла вода. Фомич до смерти остался верен допотопному своему детищу, которое ветшало вместе с ним. Старый пароходный механик, он всякий день чинил и налаживал своего скрипучего друга, угощая его солидолом, машинным маслом, канифолью, вбивая там и здесь клинышки, ставя укосины. Мотор, привод, насос — все это вместе превратилось в махину сложную, подвластную лишь хозяину.

Теперь с ней мучается новый квартирант под ворчание тетки Клавы:

— Всю жизнь поливали... Люди завидовали... У кого руки крюки, оно конечно. Тогда надо мастера пригласить.

— Надо выбросить эту рухлядь, — как-то сказал я новому соседу. — И поставить нормальную помпу. Привезти сварочный аппарат. И не будет муки.

— Сделаешь, деньги затратишь, — сказал сосед, — а она меня завтра прогонит.

Он смолк и стал глядеть мимо меня, как обычно.

Девочку, дочку своих квартирантов, тетка Клава по-доброму отличала, угощала конфетами.

— Тут играйся, во дворе, — говорила она и глядела, как девчушка забавляется с куклою, напевая и баюкая ее. И сама тетка Клава начала что-то напевать вполголоса, может быть, вспоминая свое детство.

К концу лета у нас появился котенок. Приблудился он к квартирантам, навевался и ко мне — рыбки откусать, когда случалась она. Милый котенок, серенький, пушистый.

Тетка Клава заметила его не вдруг.

— А котенка этого нам не надо, — сказала она.

— Он хороший, — заступилась за любимца своего девочка.

— Гадят везде. А потом в домах вонь. Не отмоешь.

Девочка смолкла.

На следующий день, в пору полуденную, копался я в саду, когда рядом у соседей, возле бани, послышался голос девочки:

— Не ходи... Ну не ходи туда. Поживи здесь немножко... Маленький мой, серенький, не ходи туда... Ладно, не пойдешь. Я тебя побаюкаю...

И она запела странную песню, которую я слушал затаясь:

Мы скоро все отсюдова уедем,  
Мы сядем на поезд и быстро-быстро поедем.  
Мы быстро поедем к себе домой.  
А там уже война кончилась и никто не стреляет.  
Квартиру нашу починили и крышу сделали,  
Наша квартира уже не разбитая.  
Мы снова будем в ней жить.

Песня кончилась, но девочка говорила и говорила:

— Ты нашу квартиру не видел, серенький, увидишь — так удивишься. Она большая-пребольшая, красивая-прекрасивая. Моя комната, Васина комната, папина-мамина комната, а еще есть зал, кухня, коридор, кладовка и лоджия. Много места. Где хочешь, там и будешь жить. Я буду в школу ходить и в балетную студию. А ты на лоджию выйдешь, серенький, а я тебе рукой помашу: не скучай. А летом поедем на дачу. Мы всегда летом на даче живем. Я сплю на балконе, и ты со мной будешь спать. А потом снова поедем в квартиру, я опять в школу пойду. Познакомлю тебя с подружками: с Валею, Земфирой, Вероникой...

Голос девочки дрогнул. Потом она смолкла. А я замер.

Она молчала. Я видел, как сидела она возле бани, обняв и прижав к себе серенького котенка. Взгляд ее был устремлен выше земли и утомленных жарюю деревьев, выше домов, серых крыш. Что-то далекое видела она, завтрашнее ли, вчерашнее. Замерла и глядела.



Скоро осень. Обычно сентябрь стоит у нас теплый. Лишь ночи холодные. Порою приходится в доме протапливать. Но это уже не для нас. Мы уедем, оставив старый дом свой до новой весны. Мы уедем, и придет зима — стывшая, ветреная, скупая на снег. Лишь в январе он ляжет, где-нибудь в середине.

## БЕЛАЯ ДОРОГА

Вот и осень. Ночи стали холодными. Пора с летом прощаться, собираясь в город, на зимние квартиры.

В последнее воскресенье августа поехали мы к озеру Некрасово. Дорога туда не больно длинная, но без асфальта: колдобины, объезды, а потом и вовсе сыпучие пески. Редкая машина пройдет.

Добрались. Молодые мои спутники остались у воды, с удочками. Я ушел в Пёски. Пёски их у нас называют, хотя правильной, конечно, Пески.

Огромные песчаные пустоши тянутся левым берегом Дона на многие десятки верст. Они порой отступают от берега, порой подходят к воде. Песчаная страна, считай, пустыня; желтые бугры — кучугуры, редкая зелень: солянка, молочай, желтый бессмертник, ползучий чабер. Вечный ветер. Свистит и свистит. Безлюдье на десятки верст. Машины сюда не забираются. И делать нечего, и застрянешь в песках.

Редкий жаворонок вспорхнет из-под ног; редкий коршун проплывет в вышине; ящерка прощуршит — и все. Тишина. И просторное небо.

Люди здесь тоже редки. Но порой встречаются белые дороги, неведомо кем проложенные в сыпучих песках... Эти белые дороги завораживают. Будто и знаешь округу: там — Рюминский хутор, в той стороне — Старая Сокаревка, за ней — Песковатка. Но к хуторам ведут дороги езжие. А эти? Белая колея петляет меж песчаных холмов, порою взбегая на них. Кто ее проторил, эту дорогу, и куда?..

Нынче лето кончается. Солнечный день. Но взойдешь на бугор — ни-жет до костей ветер. Под ногами похрустывает сухой молочай; кое-где доцветает сиреневый чабер; трава «бескоренка» — черная, словно мороз ее опалил. Коршун поднялся и стоит в воздухе, крылом не махнет. Ветер. Белая дорога ведет куда-то.

Вспомнил о Степе. О нем и рассказ. Где-то здесь, в этих песках, он умер. Шел и шел белой дорогой. Потом лег ли, а может, упал и умер.

Степу я, конечно, не знал. Он жил задолго до моего рождения. Осталась память, рассказы. Мой нынешний — один из них.

В округе станицы Голубинской, что на среднем Дону, на всех ее хуторах, далеких и близких: в Усурах, Липолебедевском, Каменнобродском, Тепленьком, Липологовском — Степу-глухого знал каждый, от старого до малого. Степа чинил обувь. Годы были тяжкие — двадцать первый да двадцать второй: голод, разруха, только что война прошла.

О новой обуви в ту пору никто не помышлял. Перебивались ношеным старьем. И Степа-глухой был спасеньем для всякой семьи, даром Божьим. Во-первых, он брался чинить всякую рвань, ничего не отвергая. Лишь сокрушенно похрахтывал да головой качал и лепил латку к латке. А во-вторых, он не требовал за труды свои плату, работая лишь за харчи.

Откуда он взялся такой, малахольный ли, умом тронутый, толком никто не помнит. Своего пристанища, дома он не имел. Мешок за плечами — все имущество. Жил и кормился Степа в том доме, куда приходил работать. Жил, пока всю обувь не перечинит. На Степу-глухого была очередь, и в других домах уже ждали его и порой нынешних хозяев упрекали:

— Он вам пины точит, а люди босые ждут.

Перечинив обувь, Степа собирал свои пожитки, шел в другой дом, никакой платы не прося.

Бумажными деньгами в ту пору игрались дети да старухи обклеивали ими крышки сундуков. Но Степа был «тронутым», и потому ему порой, может, для очистки совести, вручали за труды эти пестрые бумажки. Он брал их на полном серьезе, складывал в кисет.

— Сколько денег накопил, Степа? — порой подсмеивались над ним.

— Чего? — не слышал ли, не хотел ли слышать.

— Сколь у тебя денег?

— Много.

— Ну, сколь?

— Сто тысяч и еще два раза, — такой был всегда ответ.

Одежда на Степе была поношенная, но всегда чистая, аккуратно заштопанная, петли обметаны, пуговицы крепко сидят. А заплаты подобраны и посажены — как влитые. Тут уж хозяйки одна перед другой старались.

Будь Степа помудрей, поразумней, он мог бы прожить и лучше, выбирая дома с достатком. Пусть хлебом богатых в ту пору сыскать было трудно, но были семьи, у которых всю зиму картошка не переводилась, кукуруза, тыква да свекла. Степа любил запеченную на легком духу тыкву, нарезанную кусочками, когда они, подрумянившись, становятся сладкими. Степину слабость знали. И в домах, где тыква водилась, прямо на рабочий стол ставили сковороду с кусочками оранжевой тыквы. Он работал и порой сладился, причмокивая.

Сапожному мастеру можно было прожить. Но Степа хозяев не выбирал, сытно живут или впроголодь; он шел, куда звали. И порою неделю другую сидел на голых желудевых лепешках. В таких семьях обычно и детишек больше, и обувка — дыра на дыре. Всегда худой и морщинистый, тогда он и вовсе усыхал, зубы от желудей чернели, но не уходил, пока последнюю пару ношенных-переносных чириков не починит. За это его уважали, называя порой святым человеком, какие не от земли, а от неба.

Очень любили Степу-глухого ребятишки. Для них начинался праздник, когда он приходил в дом. Сапожник открывал свой мешок, детвора возле него сбивалась.

На низенький столик, за каким работал, из мешка выкладывал Степа деревянные обувные колодки, сапожные ножи, вар, конопляную дратву. Возле столика валили горой старую обувку. Степа обглядывал ее, размачивал в корыте с водой. Готовил сапожные шпильки. Березовые кружки под его рукой ловко кололись на пластинки, потом заострялись. И вот уже тонкие шпильки-гвоздики сыплются из-под ножа. Для ребятишек разве не чудо?

А между делом для ребячьей забавы Степа-глухой нарежет пахучих деревянных кубиков да колесиков, тележку смастерит, вырежет острым ножом куклу, солдатика, игрушечное ружье.

Детишки возле него с утра до ночи кружатся, порой толкают, мешают. Но он их никогда не гнал. Все можно было трогать и брать на Степином столе. А малышам — забираться к нему на колени.

Степа никогда не смеялся, даже не улыбался, но в такие минуты он светлел лицом и шумно вздыхал. Говорили, что Степина семья, дети погибли ли, померли от войны, голода ли, болезней. Целые хутора тогда вымирали.

Но толком о нем никто и ничего не знал. Степа, как все люди глухие, был молчуном. Отработает — и уйдет в другой дом, а то и на другой хутор. Подолгу ему не давали засиживаться, напоминая:

— Вы Степу долго не держите, он другим нужен.

И вот он пошел со двора. Мешок — за плечами. Детвора до ворот проводит, и все. Останутся деревянные игрушечные тележки да куклы и чиненая обувка — не страшны теперь грязь, холода.

А потом Степа пропал. Не видно и не слышно о нем. Стали спрашивать. Никто толком не знает. Последний раз был у Калмыковых, на хуторе Усуры. Оттуда ушел на Песковатку. Сам Калмыков его и перевозил через Дон на лодке.

Но в Песковатке Степу не видали. Не появлялся он и в рядом лежащих хуторах — Рюмино, Сокаревке, Вертячем.

Лишь осенью, на исходе лета, Степу нашли в Пёсках. Видно, пошел он от Дона не круглой, торной дорогой, а напрямую, через Пёски. Такой вот белой дорогой, что тянется сейчас передо мной меж песчаных бугров. Прилег ли он на обочину или просто упал? И умер. Ни птица, ни зверь его не тронули. Так и лежал, пока не нашли его сухие мощи.

Где-то вот здесь он умер. Тут, в Пёсках, и нынче безлюдье на многие версты. Ветер шуршит в сухом молочайнике, в острых листах солянки. Вечный ветер. Осень. Мне пора идти, возвращаться к воде, к займищу, где молодые мои спутники надергали окуньков и варят уху. Скоро вечер. Надо уезжать, прощаясь надолго — до следующего лета.

Какое просторное небо над Пёсками... Взглядом не окинешь. Глубокая, за жаркое лето выгоревшая синева, и перистые облака, словно белые каменистые гряды, тянутся из края в край.

Снова о Степе думаю.

А может, и вправду он был святым, каких посылает Бог на помощь в горькие годы. А если так это, то, оставив не тело, но мощи свои на белой дороге, в Пёсках, ушел Степа тоже белой дорогой, но иной, высокой. Вот она тянется по блеклому осеннему небу легкой перистой грядою, из края в край.



---

---

НАДЕЖДА ГОРЛОВА

\*

## ПОЕЗДКА В ЛИПЕЦК

*Рассказ*

**Н**очью мама плакала. Скрипела старая бабушкина кровать, скулила где-то за домами собака, топтались и шуршали крыльями голуби на чердаке.

— Ты чего?

— Ничего, сон приснился, уже забыла. — И повернулась на другой бок. Еще громче заскрипела кровать.

А утром мама меня разбудила, бросила на постель теплую наглаженную одежду:

— Надень носочки, а то ноги натрешь.

Мы с Надюшкой долго застегивали в холодном коридорчике босоножки с мятыми, черными возле последней дырки ремешками. На захоженном паласе валялись дохлые мухи и кусочки засохшей рифленой грязи с чьих-то подошв. Мама призадернула тюлевую занавеску и перестала быть видной с улицы.

— Девки! Бегом! — притворно тонким голосом протянула бабушка. У нее было хорошее настроение, она уже устроилась в машине и теперь кричала, приоткрыв дверцу.

Мы побежали к ядовито-зеленому «Москвичу» с треснувшим лобовым стеклом.

— Не волочи сумку!

— Анюта, пока! — прокричала бабушка.

Дядя Виталик махнул рукой через стекло в глубоких трещинках, мама могла его видеть. Она стояла в своем алом сарафане у голубой двери бабушкиного дома. Крикнула: «Счастливо!» — и сразу же скрылась за дверью, вздрогнула занавеска.

Ветерок дул прохладно, но уже припекало, и заднее сиденье было теплым. В машине дурно пахло бензином и кожаменителем. У неоткрывающейся дверцы сидела девчонка с облезлыми розово-коричневыми плечами.

— Дочь, познакомься с Машей-то, — сказал дядя Виталик, выруливая на дорогу, закиданную щебнем.

Девчонка отвернулась и уставилась в окно.

— Как тебя зовут?

— Дикарка, а дикарка, — позвал дядя Виталик.

— Не, эта девка немая, — махнула рукой бабушка.

— Нью, звать-то тебя как?

Надюшка, протянув поцарапанную, с пальцами в заусенцах руку, толкнула девчонку и захихикала.

— Надь, уйди! — Голос у девчонки был визгливый.

Дядя Виталик посигналил курам и открыл ветровое стекло.

Надюшка закатила глаза и закудаhtала, как настоящая курица, — это было ее коронным номером.

— Ну, снесется сейчас, — сказала бабушка.

Все засмеялись, и Нюра тоже, а Надюшка громче всех.

Мы ехали в Липецк на рынок, по магазинам и «город посмотреть».

На крючке возле Нюрино окошка висел пиджак дяди Виталика, стекла и приборная панель были украшены переводными картинками, изображающими девушек в овальных рамках, и полосками синей изолен-ты, с потолка свисало гипсовое крашеное сердечко, какое-то поцарапан-ное и надколотое.

Я уже каталась на этой машине — дядя Виталик встречал нас с мамой на вокзале. Мама сказала:

— Виталь, ну зачем мы будем тебя это самое — скоро автобус.

— Ну ма...

— Ань, пойдем, пойдем.

И дядя Виталик взял наши два чемодана и пошел к машине. Он был кудрявый, коричневый, с черными ногтями и золотым зубом. Мама хму-рилась и села со мной на заднее сиденье — зря дядя Виталик распахнул ей дверцу рядом с водительским местом.

Я смотрела в окно, и мне было обидно за Лебедянь: двухэтажные до-мики, какая-то лошадь с телегой, за ней бежит собака — какой же это го-род, вон и длиннолапые куры гуляют по газону.

— Ну что, Ань, как жизнь?

— Нормально все, — отвечала мама. — Я ушла из школы. Теперь дома.

— А я вот и в школе работаю, и так кручусь — девять поросят у тещи держим, пасека, гараж строю.

— Хорошо.

— Давно мы с тобой не видались.

— Да, давно.

— Пыльный город.

— Ой, в Москве еще хуже.

Мы проезжали под железнодорожным мостом, вверху гроыхало и лязгало, ненадолго стало сумрачно. А дядя Виталик начал читать стихи:

— «Сжала руки под темной вуалью...»

Хтой-то с горочки спустился,  
Эта милая идет.  
На ней зеленые лосины,  
Магнитофон всю ореть!

Это запела Надюшка.

— Замолчи ты ишо. Только хулиганство и знаешь, — сказала бабуш-ка. — Что, Дрын, Зинка-то наша пьет все или приостановилась?

— Какой! Пьет. У нее белая горячка, у вашей Зинки. — Дядя Виталик обернулся, а белки у него были зеленоватые.

— Да. Мутится голова у нашей девки, — стала рассказывать бабушка про младшую сестру. — Как была тот раз, дали ей утку забитую, а она и стала с ней разговаривать.

— С уткой?

— Да утка с Зинкой!

— Бабка! Это у тебя голова мутится! Чего плетешь-то! — сказала На-дюшка.

— Да иди ты ишо! Я же тебе говорю — Зинка рассказывала: приносит она утку домой, и мерещится ей, что утка та с ней разговаривать начинает. Я спросила:

— И что утка говорит?

— Да что! Ерунду дай-кась. Я, Зинка говорит, ее за ноги с балкона как раскрутила да и пульнула аж туды-туды!

— Вот кому-то привалило — нашел кто! — сказал дядя Виталик.

— Ну Зинка! Утку как швыркнула! — Надюшка больно тыкала меня локтем.

— Да не толкайся ты!

— А ты Нюрку толкни. Ты здоровая, толкнешь — так и вылетит!

Мы ехали по шоссе, с обеих сторон мелькали чахлые посадки, пыльное густое солнце било в окно.

— Нюр, пиджаком занавесь, а то сжаритесь. Вот лето-то! — Дядя Виталик закурил, выпуская дым в окно.

По темно-серому шоссе будто ползла какая-то голубая лента — это мерещилось от зноя и злого света. Шея дяди Виталика блестела, бабушка утирала лицо кончиком новенького платка, одна моя нога прилипла к Нюркиной голени, а вторая липла к Надюшкиной лодыжке.

— Вон папка! Папка едет! — закричала Надюшка и наступила мне на ногу — на белый носочек и на поджившую ссадину под ним.

Мы разминулись с гремящим от скорости КамАЗом, дядя Вася промелькнул в кабине, похожий на утиную ножку, узнал нас и просигналил.

Посадки сменились кудрявыми полями с ровно-белыми цветочками, над полями слоилась и диффузировала какая-то голубоватая атмосфера.

— Ах, глянь-ка! Дрын, что ж это есть? — спросила бабушка.

— Да опять газопровод прорвало.

— Фу! — Надюшка зажала нос, и Нюра наморщилась.

— Пропала гречиха!

— Что ей будет? Каждый год аварии, как газ провели. На Воронеж пошло.

— То-то пчела мрет и мрет. Три семьи перемерли с весны — потравили всё, поудобряли.

— Да твоя пчела сюда не ходит.

— Моя везде ходит. Мои пчелы сильные, кавказские, еще отец с Грузии выписывал. Это твои на лету дохнут.

— Да чьи у меня пчелы? Твои же! Ты, баб Дунь, не заливай. Кто мне на развод дал — ты и дала.

— А чья у тебя такая мелкота была, когда тот год качали? Моя пчела светлая, крупнишшая, а твои маленькие, со спичечную головку, чернушки какие-то.

— Да и у тебя не с палец.

— Твои и гудят-то шепотком, а мои басом.

Про дрыновских пчел бабушка и сказала шепотком, а про своих — басом.

Дядя Виталик плюнул в окно и спросил:

— Что, Казаковых-то малый много накачал?

— И! Много! Фляг двадцать будет.

— Брешет бабка, брешет, — сказала Надюшка, — у Казаковых и медогонка в амшанике недостанная стоит, куры всю уделали.

— И что ты у них в амшанике забыла, никак нестись лазила? — спросила бабушка, и Надюшка снова закудаhtала, отлипла коленкой и натянула на нее уже смявшуюся обмякшую юбку.

И снова все засмеялись, и «Москвич» подпрыгнул на кем-то потерянной железке.

— Митька-то ихний, как пчеловодом был, всю пчелу переморил, — продолжала бабушка про Казаковых. — И рассчитывать пришел. Теперь что же, ему директор совхоза говорит: «Не отпущу, пока племя мне не восстановишь». А он что сделал? Пошел к врачу, и дали ему справку про опухоль — что больной он. И рассчитался.

— Митька опух! Пивка перепился, — сказала Надюшка.

— Небось врачу поднесли — вот и опух-лопух.

Нюрка дремала, уткнувшись головой в отцовский пиджак. От пиджака пахло солярукой и прохладой. Когда на ухабах мое ухо почти касалось Нюрино го обдуленного плеча, эти запахи наплывали и на несколько секунд вызывали головокружение, но потом опять начинался зной.

— Надьк, это ты кудахчешь, — сказал дядя Виталик, — а бабка Дунька все рычала, да мычала, да хрюкала. Может, и сейчас продолжает, — на мотанье-то не ходишь еще?

— В клуб? Хожу, — потупилась Надюшка.

— Ну, это ты так, гоняешь. Жениха-то нет?

— И не нужен. Одни козлы — кто кривой, кто горбатый, да соплюшня одна.

— Да ты сама еще шмакодявка.

— Вперед бабки замуж не пойду!

И снова засмеялись.

— Ой, рятуйте меня! — прослезилась бабушка, и Надюшка скороговоркой (потому что еще не отошел смех) спросила:

— Ну и чё бабка мычала-то?

— Иван Николаич, покойник, еще живой был, жили на пасеке, я у него часто гостил летом — гуляем мы с Аней, с мамкой, Маш, твоей, по лесу, а бабка в кустах за нами крадется. Тихо так, как партизанка, и не знаешь, тут или отстала. Только нет-нет и замычит или как хряк захрапит, мы аж подпрыгнем.

— Было, было, — довольно подтвердила бабушка и закивала головой.

— Вы бы в поле пошли, — сказала я тихо, глядя, как муха ползет по некрасивой оспине на Нюриной руке.

В лесу — сушняк, в высокой траве сизые ломкие колючки погибшего малинника, осока и комары. А в поле — сладкие головки клевера, и не страшно кабанов.

— В поле! — сказала бабушка. — Там бы их отец с сосны с ружья как шарахнул! Иван, отец, сосну эту дюже как любил. Все, бывало, залезет — скворешник приладить либó рой посмотреть. Видно, смерть свою калá нее чуял. Он и завешание делал — схороните меня, говорит, на том самом месте, где я жизни лишусь. Уж восьмидесятый год ему шел — слышалось, что у поворота машина гудит. Полез посмотреть, не директор ли, — как раз мед качали. Залез и почувствовал себя плохо. Спустился и скончался от сердечного приступа. Что же — там и схоронили.

— Возле дома прямо, я-то как там боялась, — сказала Надюшка.

— Да ты и не жила там, чего буробишь.

Дедушкина могила сейчас совсем заросла калиной и желтой акацией, за ветками почти не видать памятника из ракушечника, похожего на косой домик. Бабушка не разрешает рубить кусты, говорит, что они растут из дедушкиных костей. К сосне совсем не подойти из-за крапивы и чертополоха. Скворечник разохся и завалился набок, в нем живет дятел.

— Да, Иван Николаевич, царство ему небесное, — сказал, прикуривая одной рукой, дядя Виталик, — человек был крутой. Помню, в сторожке меня запер — я там спал, на пасеке. Дубешкой привалил.

— А ты бы, Дрын, — сказала бабушка, — больше бландал. Тоже гость какой, чуть ночь — попер через лес, туды-туды, на Дубовку! Без мотани жить не можешь — сидел бы дома. Приключись с тобой что — вон случáев сколько, — что бы матка твоя с нами сделала? Гостишь — вот и гости путем. Мать небось женихаться не пускала, а у нас — свободно.

— Ладно, бабка, чья бы корова мычала, а твоя бы молчала. С чего в тебя Иван Николаевич из ружья палил? С какой радости? Так ломанулась, аж кусты трещали.

— Что, бабка, сверкала пятками-то? — спросила Надюшка.

Пасеку уже давно перенесли в другое место, а там, за старым домом, все еще пахнет вошиной и теплом ульев. Сторожка рухнула, валяются только несколько гниющих досок и черепки шифера, и еще мы с мамой видели там жабу. Лапки у нее были в земле.

— Я замуж шла не путем. — (Молчала б, девка, а то как дерану за волоса — лысиной засверкаешь.) — Мне зеркало показало.

— Гадала, ба Ду, нагадала жениха! Что ж косой не удавилась?

Нюра слегка похрапывала, меня одолевал сон, но я крепилась, мотала глонушей головой, слушала бабушкин рассказ.

— Нет, говорю, девки, это не мой. Маленький, плешивый, пиджачок у него такой зеленый и в руке чемоданчик. Я красивая была, ловкая, коса у меня чернишшая, длиннющая, запрокину голову назад — и обратно аж трудно, шея болит. А сестра, Любка, гробы видала — так и померла в девках, контузило ее в войну, как картошку копали. Сохнуть, сохнуть стала, да и... — Тут бабушка сделала такое движение рукой, будто поймала муху. — После войны голодно было, я за Ивана и пошла: он складской был. Так и встретила его в этом зеленом пиджачке. Было ему калá пятидесяти.

— Ба, а тебе? — Меня разморило, язык ослаб, веки отяжелели.

— Сколько же? Тридцати еще нет, не былó, двадцать пять — так где-то.

Дедушка на всех фотографиях лысый, лицо у него усталое, бородку он стриг ножницами и всегда короче, чем следовало, — никогда не мог вовремя остановиться.

А бабушка стала даваться фотографироваться, только когда мама уже уехала в Москву, — боялась сглаза.

— Он на улице есть любил. Стол поставил в аллее, скáмью, туда и накрывали, с чугуном лётали какая погода никакая, а чтоб там — не ел дома, и все.

— Ух, и зимой?

— Дура — так и молчала бы, что дурь свою демонстрировать? Зимой какой-то...

Разговоры прекратились. Бабушка напустила платок на глаза, выставила темный морщинистый кадык, открыла рот и почмокивала — присасывала расшатавшийся зубной мост.

Надюшка навалилась на меня, сухие волосы льнули к моей щеке, было щекотно — и лень убрать их. Тетину сумку Надюшка выронила, разжала ладони, линия жизни так отчетливо была видна на обеих руках — тоненькие речки серого пота.

У меня зудела нога, носки жали щиколотки, я спустила их: на правой ноге — каблуком левой босоножки и наоборот, ноги при этом немного испачкались.

Нюра шевелила губами во сне, дядя Виталик снял кепку, сложил ее вдвое и утирал шею и лицо, две мухи жужжали как заводные и прыгали на заднем стекле.

Дядю Виталика тоже клонило в сон, вот он и включил радио. У Нюры задергались веки, но глаза она не открыла, мы с Надюшкой тоже не хотели открывать и подглядывали друг за другом сквозь ресницы.

— Дрын, а Дрын, — зевая, сказала бабушка.

— Слушаю.



— Проехали мы птичник или нет?

— Какой! Еще километров пятьдесят.

По радио запели модную в совхозном клубе песенку: «Чужая свадьба, ну кто же виноват...»

— А почему, интересно...

— Тише! Бабка!

— Да будешь ты мне ишо! Хрымза!

— Бабка дура! Машка слушает!

Я увидела свою слабую улыбку в водительском зеркальце.

Дядя Виталик сделал музыку погромче. Нюра открыла глаза и прошептала:

— Папк, когда приедем?

— Скоро уже. Потерпи чуть-чуть.

— Не бойсь, Нюр, авось не будем по кругу, как Зинка, гонять! —

Опять Надюшка захихикала, заерзала, заметила упавшую сумку и не подняла. Бабушка и дядя Виталик засмеялись.

— Расскажи, ба, как Зинка гоняла.

— Да идишь ты!

— Ба, расскажи, Машка вон не знает.

— Да, — сказала бабушка, снимая и снова повязывая платок, — теперь что же: Зинка еще с нами на пасеке была, и теперь что же, приехал к нам хтой-то из мужиков на мацikle, научили ее, а как становить — не показали. Зинка перепугалась, носится кругами калá пруда. «Становите!» — орет. Ей кричат, как становить, а она с перепугу не понимает, что ли. Отец, царство ему небесное, кричит: «В воду! Давай в воду!» Она как дастся в пруд, мужики вына́ли.

— Да я был у вас, — сказал дядя Виталик. — Она потом и на тракторе также, и опять при мне.

— Она уж либó замужем была?

— Да нет, кажись, вроде она у вас тогда еще не запивала.

— Не, не, она уж с Петькой начала, а после него и пошла — приучил пить, да и бросил.

— Да кто сейчас не пьет?

— Дядя Сережа даже совсем, — ответила Надюшка.

Я кивнула.

Пруд за старым домом, из которого зимой через пробитую бабушкой полынью выбрасывались на лед задыхающиеся рыбы, пруд, в котором утопился вместе с телегой и лошадьёю не захотевший умереть от рака сторож, пруд, по которому маленькая мама плавала в корыте, стал мелеть и мелеть; ключ, который бил где-то на дне и от ледяных струй которого дяде Васе сводило ноги, видимо, иссяк, ровные, как веки, берега смесили копытами совхозные коровы, а окончательно пруд погубили трактористы — слили в него солярку.

Теперь на голом дне выросла чахлая осока, и береговая трава растет желтая и журенная.

— То в Москве. А у нас? Ба Дунь, слыхала, Женька-то Дуськин совсем спился — с работы сняли, уже третий месяц сидит.

— Ах-ах! Это какой? На гармошке?

— Ну!

— Какой играл, а вы с Анютой только плясать, а он бросает?

— Он, он. Говорит мне тада: «Ну-ка, выдь на минутку, поготорим». Руки в брюки, идем — и все дела. Говорит мне: «Смотри! Как только ты с Анькой танцуешь — я гармонь бросаю!» Так ведь и не давал танцевать.

— Вся деревня поспилася, весь народ. — И бабушка глубоко, до хроста зевнула.

Ближе к Липецку дорога пошла большими плавными волнами — при спуске на первые несколько секунд захватывало дух, но совсем не сильно, как при приседании в начинающем движении лифте, а когда ползли наверх, было интересно смотреть в заднее стекло.

Нюра оживилась и стала широко улыбаться и оказалась шербатой.

— Бабка, напхни карты купить! — сказала Надюшка.

— Контурные, что ли? Нюр, а тебе-то не надо? Слышь, чего папка спрашивает?

— Слышу. — И снова отвернулась к окну.

— Какие контурные? Играть! Наши истрепались все — кончики бабка позагнула у картинок, чтобы от шиперок отличать.

— Пустомеля, ой пустомеля ты, девка. Не будет тебе пути, пропадешь! Ты играть не можешь — ты и намахлевала. Бабка, слава Богу, уж сто лет как игрок, будто я тебя так не общелкаю!

— Хороший игрок! Хорошие игроки — всю жизнь дураки.

— Ну, пошло, пошло! Я как-то зимой к Василию зашел, — дядя Виталик обернулся ко мне, показывая табак из дешевой папироски, налипший на десны, — сидят в зале, лупятся. «Какой счет?» — говорю. Сто шестьдесят на двести семьдесят, как-то так у них, картежницы.

— Чтоб я с бабкой еще играла! За ней только смотри и смотри — то в битом роется: тузы ищет, то у нее было двенадцать карт, глядь — уж все куда-то сбавила, сидит зубами сверкает: четыре козыря у нее.

— Ой врунья, ой врунья. И здорова же ты, девка, врать. Ну кто так делает? Уж не ты ли? То на козыря она шиперки кидает, то подкинет чего — непонятно чего. Плохая такая игра.

За березовым столиком возле бабушкиного дома за день перебивается полсовхоза. Ребятишки вертятся там целыми днями — грызут семечки, швыряют линючие фантики от сосулес, жгут спички. Вечером сходятся туда бабки в галошах и тапках, с хворостинами — ждут, когда пастухи пригонят коров, стадо свернет с большака и захрустит копытами по гравии. С наступлением темноты за белым столиком собираются девушки — неприлично ведь приходится в клуб поодиночке. В тренировочных костюмах и лодочках, в джинсах и с перстнями, купленными в киосках в Москве и у цыганок на рынке в Липецке. Губы у девушек ровно, как по трафарету, накрашены фиолетовой помадой, пахнет лаком для волос, дезодорантами и самыми разными духами, слышится смех и мат.

Надюшка возвращается из клуба рано — натанцуетея с подружками, пока старшие не пришли, пристукнет какого-нибудь мальчишку на год, на два помладше себя и идет домой, по пути обрывая чужие яблоки и закидывая их за ворот олимпийки.

Часто за столиком сидит бабушка в синем рабочем халате, — у нее бессонница и болит грудь. Надюшка высыпает на стол яблоки, бабушка лезет в карман — там у нее крестик на грязной резинке, пристегнутый большой булавкой, мятые, сросшиеся с обертками ириски и карты.

Стол стоит как раз под фонарем, и на забор падают четкие полиграфические тени, карты придавлены зелеными яблоками.

— Ладно, бабка, пост скоро — ты ремень-то накинь.

— Иде ж?

— Бабка бестолковая! — Походя подняв сумку, Надюшка взялась за ремень и бросила его бабушке на колени.

— А зачем это?

— Если врежемся, стекло лобешником не просадишь. — Дядя Виталик тоже перекинул ремень через себя, но пристегиваться не стал.

— Не выскочишь с ремнем-то этим — так и сгоришь, — сказала бабушка.

Надюшка захохотала громко и резко, жмурясь и зажимая рот ладонями, чтобы не плевать.

— Во, сдурела девка.

— Укачало, что ли, Надюх?

— Вспомнила: кошка, ба, помнишь, в Новый год дождик сожрала. Гляжу, с двух концов торчит — и из рта, и из... — Надюшка захохотала еще громче.

— Тянули-то с какого конца? — спросил дядя Виталик.

— Тянули! Отрезали тама и тама...

Гжельской коробочкой промелькнул пост ГАИ при въезде в город...

— Отвезем девок в «Сказку», а сами махнем на рынок, — сказал дядя Виталик.

— Да будет тебе, «Сказку» какую-то, дураску, — возразила бабушка, — как их оставить, еще пристанет кто.

— Давайте все в «Сказку», а потом на рынок, — проныла Надюшка.

— Ну что их на рынке мучить-то? Нюрка вон раздергается... то, пап, купи, то купи. И Машка устанет. Уморилась, Маш?

— Не-а...

— Ну как знаете. Смотрите, девки, не нахулюганьте тама. Надька, ты вести себя не можешь — на Машу смотри, как она, так и ты.

Нас оставили в кафе с вентиляторами под потолком, с рисунками на больших магазинных витринах, с тюлевыми шторами на окнах и дверях — от мух и с пустыми стаканами для салфеток на столиках. Бабушка сунула мне в руку несколько смятых десяток, свернутых трубочкой, зеленый «Москвич» развернулся и умчался по жаркой улице.

В «Сказке» было сонно и таинственно. Я чувствовала себя взрослой и волновалась: мне предстояло что-то покупать самой — деньги вспотели в руке.

Мы купили мороженого на все бабушкины деньги — по три шарика каждого цвета, в металлических вазочках перед нами оплывали целые горки, сложенные из мягких глыбок каких-то неестественных пастельных цветов.

— Маш, тетя Аня тут училась, — сказала Надюшка, хлопая ложечкой у себя в вазочке.

— С моим папкой. — Нюра через силу взяла в рот целую ложку мороженого, как едят суп или манную кашу.

— Ой, сказанула, прям никто не знал.

— Не знал! Маша не знала.

— Маш, скажи: ты знала?

Мне стало жаль Нюру.

— Не знала.

— Ну я ж говорю.

— Ой, как важно знать, кто с мамкой твоей учился! Вот кто с моей мамкой учился? Не знаю. И ничё, живая. Я тоже тут буду учиться. — Надюшка глубоко погрузила ложку в мороженое и стала медленно ею двигать.

— Ой, врушка, а говорила, восемь классов кончать буду.

— Да я чего угодно могу сказать. Скажу семь, ты и поверишь.

— Семь — не поверю, а десять ты все равно не кончишь.

— А ты-то? Ты-то? — И спохватилась: — Захочу — кончу!

Я отодвинула от себя вазочку. Мороженого было еще так много, а его так уже не хотелось.

— И я не хочу, — сказала Нюра.

А Надюшка истомилась, и ей хотелось вредничать.

— Хочешь? На еще! — И она шлепнула в Нюрину вазочку розово-салатовый склизкий сгусток.

— Дура ты, Надь. — Нюрка хотела переправить сгусток обратно, но Надюшка убрала свою вазочку, и он шлепнулся на стол.

Зато я выловила кусочек желтой с бежевым (шоколадным) подтеком массы и бросила в Надюшкину вазочку.

Минут через пять во всех вазочках было уже нечто похожее на выдавленную разноцветную зубную пасту, а на столе — длинные розовые лужицы с ровными краями.

От всего этого было неприятно, и продавщица в белой наколке вызвала чувство смущения и вины.

Я сказала шепотом:

— Давайте убежим.

Нюрка и Надюшка пригнулись ко мне, как заговорщицы:

— А бабка приедя...

— А мы будем возле, на улице.

— Раз, два, три! — И Надюшка, загремев стулом, опрометью бросилась из кафе, Нюрка за ней, а я последняя — самая медлительная и нешустрая.

Мы запутались в тюлевой занавеси в дверях, вылетели на высокое облицованное кафелем крылечко. Солнце ударило в голову, показалось на мгновение зеленым. Надюшка не глядя перебежала пустынную улицу и закатилась от смеха на другой стороне, согнулась вдвое, сумку прижала к животу, и растрепанные волосы закрыли покрасневшее лицо.

Долго мы сидели на лавке на жаре, ошалевшие, сонные, с горячими от пота подошвами. Чесались вчерашние комариные укусы, Нюрка обрывала прозрачную мертвую кожу с обгоревших плеч, Надюшка сколупнула болячку на локте и выдавливала маленькие капельки крови. И при взгляде на эти алые капельки становилось еще жарче.

Хотя мы только и ждали зеленого «Москвича» с его трещинами на стекле, с его сердечком, теснотой и дурным запахом, мы так отупели под конец, что даже и не заметили, как он появился, «зафурычил» перед нами, как дядя Виталик распахнул нам дверцу, — мы посыпались на мягкое заднее сиденье, радуясь перемене, и забыли усталость и жажду от радости.

Бабушка купила эмалированное ведро, помидоры и маленькие бело-зеленые огурцы с горькой шкуркой и острыми бородавками. Ведро стояло у меня в ногах и больно врезалось краем чуть пониже колена. Мы грызли немые огурцы, от них стягивало рот.

— Ну что, в «Детский мир», — говорил совсем глянцевого от пота дядя Виталик, с темными пятнами на рубашке вокруг подмышек, — только заедем еще в одно место — хочу узнать, часы починить возьмутся или нет у них такой детали.

— Ну парит, — сказала бабушка, — видно, гроза будет.

В «Ремонте часов» был обед. До открытия оставалось пятнадцать минут, и дядя Виталик подошел было к киоску с козырьком, на котором стилизованными буквами было написано: «Пиво». Асфальт возле двух распатанных стоек был в мокрых пятнах — от сдуваемой пены и плевков, потные, как и дядя Виталик, мужчины стояли за стойками и в небольшой очереди к киоску.

В двух метрах от ларька был киоск «Спортлото», там продавались билеты лотереи «Спринт» по рублю. Я любила покупать их в Москве и стала рыться в сумке в поисках кошелька. Дядя Виталик передумал пить пиво, видимо, поленился стоять в очереди.

— Что, Маш, сыграть хочешь? — Он полез в брючный карман за бумажником.

— Да у меня есть, не надо.

— Ничего, ничего. Дайте десять. Девчонки, смотрите.

И мы все трое стали жадно разрывать грязно-розовые бумажки, разворачивать, бросать безвыигрышные. Бабушка высунулась из машины:

— Что тама?

— Иди, бабка, сыграем с тобой.

— Это все, — бабушка махнула рукой, — ерунда, не хочу я.

— Рубль! Рубль! — закричала Надюшка и тут же поменяла выигравший билет на новый, безвыигрышный.

Все произошло так быстро, что никто и подумать ни о чем не успел: дядя Виталик купил еще билетов на двадцать пять рублей и еще на пятьдесят, выигрывали по рублю, по три, по пять, я завизжала, запрыгала, затряслись у меня руки: «Двадцать пять! Дядя Виталик! Двадцать пять!»

— Ага, по-крупному пошли!

Проиграли и эти двадцать пять, пустая мусорка у киоска наполнилась уже больше чем наполовину, дядя Виталик стал малиновым, сердитым и уже не давал нам билеты — все разрывал сам, а мы, как голодные волчата, жадно смотрели на его руки — не пропустит ли выигрыш. Мужчины от пивного ларька сначала смотрели на нас с тревожным неодобрением, а потом и сами встали в очередь к нашему киоску — сначала за дядей Виталиком, как бы признавая в нем хозяина, а потом полезли без очереди, толпясь и переругиваясь. Дядя Виталик стал еще серьезнее, стал матерно покрикивать на соперников, бабушка вылезла из машины, жалобно стала звать:

— Дрын! А Дрын! Будя!

Но дядя Виталик не отзывался. Разорванные билеты он бросал уже просто себе под ноги, даже не целясь в наполненную до краев мусорку.

Тираж кончился. Сказала об этом киоскерша, и тотчас прошел ажиотаж, пропали куда-то любители пива, только множество рваных бумажек было рассыпано по пыльному асфальту.

Дядя Виталик засмеялся и хлопнул пустым бумажником по коленке:

— Эх, хвост-чешуя! Вот мотнул так мотнул.

— Наигрались, черти? — спросила уставшая бабушка.

— Па, в «Детский мир», — потянула Нюрка.

Дядя Виталик, посмеиваясь, спокойно пошел к машине:

— Не, дочка, домой. Денег нету, все почти профигачили.

— Ах-ах-ах! — застонала бабушка, стала хвататься руками за свое потное лицо. — Рятуйте меня! Вот ума-то нету у мужика! Все просадила?

— Все, бабка.

— Все-все? Ох, Клавка тебе даст!

— А что мне Клавка? Не указ, — сказал дядя Виталик и завел машину.

— Во, Нюр, папка у тебя какой — и форму тебе, и портфель, и все...

— Ничего! Авось до осени далеко, успеем, да, Нюр? У себя в Лебедяни купим.

Нюрка молчала. Надюшке было немного неловко, но от вредности она сдавленно хихикала и шепнула мне, мучая рукой нижнюю губу:

— Из-за тебя все.

Дядя Виталик, казалось, подсмеивался над собой и ни о чем не жалел, даже продекламировал чуть фальшивым голосом:

Не жалею, не зову, не плачу...

На совсем последние деньги он купил прямо через окно машины целый ящик мороженого — пломбир в стаканчиках по двадцать копеек. Стаканчики были все помятые, бледные, мокрые, с непропечатавшимися клецками, кривые, туго набитые пломбиром, — он не возвышался над ними снежными горками, как тот, который продавался в ГУМе.

Картонную коробку поставили нам с Надюшкой на колени. Мы через силу съели по одному оползающему в руках мороженому, от него еще больше хотелось пить, липкие сладкие струйки текли по пыльным — то ли грязным, то ли загоревшим — рукам, капали на измученные юбки, на ведро с огурцами, на пол.

Все мороженое, один стаканчик за другим, съел дядя Виталик. Он протягивал назад темную волосатую руку, и кто-нибудь из нас вкладывал в нее мягкий склизкий стаканчик. Пустую коробку дядя Виталик сложил и взял к себе, а потом выбросил в окно. Коробка захлопала и с лету прижалась к лобовому стеклу белой малолитражки, которая шла на обгон. Водитель хотел избавиться от коробки, снизил скорость, завертел руль из стороны в сторону, высунулся в окно — пожилой, небритый, — заругался.

Все в зеленом «Москвиче» хохотали, дядя Виталик закричал:

— Чего дергаешься? Так бузуй! Наградили! — прибавил скорость, и малолитражка исчезла, шарахнулась куда-то вправо.

Жара одолевала. Даже сквозняк в машине не помогал — ветер был какой-то душный, лихорадочный, жирный.

— Вот я, как ведро покупала, — сонно, оговорившись, начала рассказывать бабушка, — Громовых девку вспомнила. Ходит все, ведра покупает. Уж становить негде, а она все несет и несет — мерешшится ей, что все нету — прохудилися все. Сашка с продавщицей сговорился, чтоб та ей не продавала: нету, мол, все вышли, так Ольгá с Лебедяни притаранила.

— Ку-ку девка, — сказала Надюшка.

— Какая она тебе девка, ты ее парню ровесница, грубиянка ты.

— Как ты зовешь, так и я, сама грубиянка.

Надюшку не слушали.

— Да, — сказал дядя Виталик, — все-таки вот что любовь с людьми делает — вот ведь на самом деле рехнулся человек. Сашка тут, конечно, сам виноват: не надо было так ее мучить, женишься — женись, что испытания устраивать? Вот теперь носись то с ведрами, то еще чего, то в больницу вези...

Я смотрела через лобовое стекло на шоссе — впереди, почти у самого горизонта, я видела огромную лужу. С радостью я представила, как мы напоремся на нее, как шваркнет справа и слева раздавшаяся вода, как тормознет наш «Москвич» и как покатится дальше, оставляя уже веселый черный след на пыльном сером шоссе.

Но мы ехали, а лужа все еще была далеко впереди — она блестела на солнце, и так хотелось самой прямо в одежде броситься в воду, почувствовать, как набухают, тяжелеют на ногах сползшие носки.

— Ух, какая лужа! — сказала Надюшка.

— Это не лужа, это мираж. — Дядя Виталик оглянулся на нас из-за руля, улыбнулся — даже десны у него почему-то потемнели.

— Где, где мираж? — встрепенулась Нюрка.

— Какой такой мираж? — Бабушка тревожно заерзала, приготовилась испугаться.

— Да вон, воду видишь?

— Вижу.

— Откуда вода-то на дороге? Дождя ж не было? Блазнится от жары.

— Ой, штой-то будет. Это к худу блазнится, — застонала бабушка, — ты б не гнал, Дрын, полегонечку, а?

— Ба Ду...

— Ничего, бабка, с Богом, не бойсь, не разнесу.

— А то мне всегда к худу морок бывает. Вот как отец-то нас в Грузию увозил — уж как не хотела я ехать, как не хотела. Только-только наладились и корову было купили, как встал на своем — едем и едем.

— Заскучал дед, потянуло, конечно, на родное...

— Вот собрались, всё, сидим в пустом доме, машину ждем. Анютка маленькая у меня в одеяльчике завернута, Василия не было еще, и так тоскливо мне — рыдала бы в голос, и всё, да отца боюсь. И слышу вдруг, на чердаке так-то тихохонько играет — курлы-курлы, вот есть такие, ручку крутить.

— Шарманки.

— Как на шарманках кто наигрывает, и грустно-грустно так, аж жуть меня взяла. И отец было призадумался, загорился: «Знать, Дуня, не на добро едем». Може, одумался бы, да машина загудела, стали вешши носить — и все смолкло. Так и промаялись мы там, и жизни нам не было, последнее растеряли и вернулись, — повысила голос бабушка. От ее рассказа стало жутко.

А лужа все не исчезала, только меняла свои очертания, и блеск ее казался неестественным — так блестит море на переливающихся календариках с японками в купальниках.

Не хотелось потерять это ощущение страшного и таинственного. Все ждали от бабушки продолжения рассказов, и она почувствовала это и не торопясь продолжала:

— Иные бабы брешут, плетут чего-ничего, а я — не, что было со мной, то и говорю, а чего не было — того не говорю. Теперь что же... в войну это было. Морозы стояли, и голодуха, а мы уж осиротели, я старшая. Все пишат, есть хотят, а дома ни крошечки, страсть. Теряют меня за подол, пристали, убежала я от них в лес, забила в чащу, легла в сугроб, думаю: «Нету больше моих сил, замерзну!» Мороз — аж треск по всей дебре идет, а на мне платочек плохонький да телогреечка рваненькая, рукавиц не было. Лежу, не движусь, и что за дела — не холодно мне ни капли, будто лето. «Нет, — думаю, — чтой-то тут не то, не велит Бог помирать». Глядь — звезда не звезда, ракета не ракета по небу пошла, туды, туды, за овраги. Любопытно мне сделалось — дай, думаю, погляжу, что там есть такое. Побежала к оврагу и аж от леса вижу — тащится ктой-то на санях. Подъехал ближе — мужик, оказывается, знакомый. «Что, Дуня, — спрашивает, — ты тут?» — «Так, мол, и так, — отвечаю, — ребятишек кормить нечем, пошла (вру уже), может, Бог что пошлет нам, пишу какую». — «И то, — говорит, — Бог вам послал — на, возьми». И дал мне картошек, штучек несколько, мерзлые такие, с гнильцой. Я скорее домой. Огня не было, так сырые и поели, с кожурками.

После паузы сказал дядя Виталик:

— Это, бабка, такое бывает в минуты сильного душевного напряжения, что ни мороза, ни тяжести не чувствуешь. Вон как, говорят, старуха одна из пожара сундук выволокла и померла, а его потом мужики вшестером еле с места сволокли.

— Може, и так.

— Или вон взять Наташку вашу — как она снега рассекала, тоже в пальтишке одном, с «Победы» каждый вечер бузовала.

— Наташка да... на девку все дивовались — как ни сдерживали ее, каждый вечер к Семке нашему припиралась, уж он и не знал, бедный, куды от ней и схорониться, — засмеялась бабушка.

Надюшка деланно засмеялась:

— А теперь Наташа, не зная, куды от Семки схорониться, как с топором-то нагрня!

— И то! Хотела — получила. Женила парня обманом, а теперь жалится. Всё поля мерила, придет по пояс в снегу, просохнет чуток — и назад. Семка к ней иной раз и не выйдет, дай-кась Зинка ее до поворота проведит!

Две большие птицы вылетели из посадок и тяжело, низко закружились в небе, казалось, будто что-то давит им на крылья, ровно распределяя вес.

— Кобчики кружат, — сказал дядя Виталик.

Птицы зло и подавленно кричали. Одна резко развернулась и вдруг ударила грудью в лобовое стекло. В машине стало сумрачно, большие крылья с черно-коричневыми крапинами распластались по трещинам, выступила темная кровь. Бабушка ахнула, Надюшка взвизгнула и лягнулась, дядя Виталик выругался. Было так странно, что птица разбилась и умерла, и еще более странно, что она так и осталась на стекле. Зеленый

«Москвич» завиялял на пустынном шоссе, птица чуть сползла набок, но не упала.

— Это дай-кась нам будет што, ой, молитесь, девки, — зашептала бабушка.

Дядя Виталик включил «дворники», но они только размазали кровь. Машина резко затормозила, и мертвая птица медленно отвалилась, спинкой шлепнулась на капот, а с капота соскользнула на буфер.

— Капут, — сказал дядя Виталик, — ну-ка, бабка, пожку, — в зял с пола какую-то тряпку и хлопнул дверцей. Дядя Виталик показал нам мертвую птицу — мы видели ее через темно-красные разводы на стекле — и бросил в кювет. Потом вытер кровь тряпкой и тоже бросил ее в кювет.

— Это она от солнца взбесилась, да, Маш? — спросила Надюшка.

Как страшно кричат эти кобчики в лесу, возле старого дома, как смотрят они желтыми глазами с дедушкиной сосны. Там у них облюбован один сук — часто вечерами сидит на нем кобчик и сипит низким печальным голосом, глядя на полынь, проросшую на провалившейся крыше, на слепые окна с зубчиками побитых стекол, на потрескавшуюся, в зеленых пятнах, побелку.

Я налила воду в помятый жестяной таз, вынесла его на крыльцо, бросила носки в воду, посмотрела, как вздулись они серыми пузырями, медленно утопила. Мама сидит за столиком такая красивая, ничем не утомленная, рукой придерживает на коленях алый подол. А дядя Виталик — весь потемневший, ссутулившийся, кудри его стали сальными от пота, и сложенные руки блестят. Дядя Виталик говорит маме:

— Я понимаю, Ань, много вы не сможете, но по силам... Я отстроюсь — верну, ты меня знаешь.

Яблоко падает, ударяется о крышку улья. Жар уже сошел, и тепло, как в воде.

— Нет, Виталь, — говорит мама. — Мы не настолько сейчас... обеспечены, что ли... так что прости. — И такой ровный, отдохнувший у нее голос.

Как утомился, как замучился дядя Виталик, а им с Нюрой еще ехать домой, в Лебедянь...

Яблоки опять падают за домом. Может быть, это бабушка трясет для компота.

Надюшка, уже переодевшаяся, выходит с картами и с Нюрой, лезет на лавочку рядом с мамой.

— Теть Ань, ну сыграйте. Я с вами, а Нюрка с дядей Виталиком.

— Играйте без меня! — Мама встает, хрустит пальцами.

— Бабка, иди играть!

— Иду, иду! — Бабушка бежит из-за дома, согнулась, яблоки у нее в подоле.





---

---

# С ГОРОДСКИХ НЕБЕС



**АЛЕКСЕЙ БИРГЕР**

## **Баллада о троллейбусных алкоголиках**

*Подмосковные вариации на темы Т. С. Элиота*

...My guts the strings of my eyes and the indigestible portions  
Which the Leopards reject<sup>1</sup>.

Не замедли, баллада,  
Посылаю тебя,  
Так как я не надеюсь вползгляда  
Оглянуться, себя

Мы, сойдя на конечной,  
Заходили в подъезд,  
Пробираясь кромешной  
Темью блочных окраинных мест.

Подловив... — я, изгнанник,  
Я, затерян вдали,  
Бесприютный отторгнутый  
  странник  
От родной мне когда-то земли.

И на лестничной клетке,  
На втором этаже,  
В заморгнувшей подсветке  
Ключик звякнул уже.

Забурив поездов расписание  
От строки до строки,  
Утряся в чемодане  
Пару вдумчивых книг и носки,

Выключатель искали  
Твои пальцы на голой стене  
И на миг застывали  
В бледно-желтом пятне.

Я, с ладони Господней  
В мир отпущен, умру,  
Я — сухою соломой сегодня  
Шелестящий на пыльном ветру...

По стене твои пальцы  
В пять ручьев серебра  
Растекались. По радио — музыка,  
  вальсы,  
«Подмосковные вечера».

Что ж, баллада, сначала  
Двинься — тропкой времен.  
Вот и мало-помалу  
Потускнел небосклон.

В пустоте неуютной  
Обступающих стен  
Обдавало нас смутной  
Жесткой горечью первых измен.

Вот и мало-помалу  
Потускнел небосклон.  
Едем с автовокзала  
В новый микрорайон...

Начиналось сначала  
Наше время — и вновь  
Жесткий ворс одеяла,  
И тахта, и любовь.

---

<sup>1</sup> ...Мерзость кишок, жилки глаз — то, что и леопарды  
Отведают с презрением.

Т. С. Элиот, «Пепельная среда». (Перевод А. Биргера.)

А потом уже, после,  
 Два стакана нащупаешь ты  
 На разболтанном столике возле  
 Отскрипевшей тахты.

Ты, привстав на колени,  
 Находила вслепую, чтоб свет  
 Не включать, рядом с веткой сирени  
 Пачку кисло-сухих сигарет.

Спичкой чиркала — скулы  
 Высвещались и рот,  
 Тень скользила сутуло  
 На упругий живот.

Ты была так прекрасна,  
 Помрачневшая, ты,  
 В золотисто-атласной  
 Теплоте наготы.

Одеяло на плечи  
 Надвигала, склоняясь.  
 Эти странные речи,  
 Неразрывная связь,

Это ль чувственность — это  
 Жадный голод тоски  
 По пригретости лета,  
 Где мы были близки.

Ветра вздувшийся шорох  
 Обмякавшей ворочал листвою,  
 И дышал этот движимый ворох  
 Как неспешный балтийский прибор.

И головками в кронах  
 Увязали столбы фонарей.  
 В изнутри озаренных  
 Листьях — длилось мерцанье теней.

Кольханье, мерцанье, дрожанье  
 Мошкар на весу.  
 Чьи-то существованья  
 Продолжались внизу.

Копошение, тени,  
 Приглушенная брань.  
 Возле будки диспетчера, в чахлой  
 сирени —  
 Местная пьянь.

И порой различался сквозь гиблый  
 Слепляющий мрак  
 Чей-то выговор хриплый,  
 Чей-то затхлый пиджак.

Словно в львином вольере,  
 Ночь была горяча.  
 У троллейбусной двери  
 Вечный вывих плеча.

То ль под ржавой железкой,  
 То ль под голой рукой  
 Дверь, чирикнув напевно и резко,  
 Поддавалась атаке ночной.

Это звяканье миски,  
 Этот рыкнувший храп,  
 Ржавых жилок огрызки  
 Под когтями расслабленных лап.

Наше время смыкалось,  
 Отстранясь в темноте,  
 Наше время стучалось  
 В нежилой высоте

Алой капелькой Марса...  
 Госпожа моя, три  
 Беломраморных барса  
 Дожидались зари,

Уже выев мне сердце  
 И добравшись теперь...  
 Вот и львиная дверца,  
 И троллейбуса дверь.

Только утро, затеплясь,  
 Озарит небосклон —  
 Разоренный троллейбус  
 И бутылочный звон.

Иногда надрывался  
 Милицейский свисток.  
 Кто-то тенью бесплотной метался,  
 И патруль чье-то тело волок.

Волокли чье-то тело,  
 Как бесчувственный куль.  
 Управлялся умело  
 Милицейский патруль.

Матерились шоферы,  
 Выправляя сустав у двери...  
 (Но сидят у конторы,  
 Госпожа моя, три...)

Ты уже засыпала,  
 Тихо, ровно дыша,  
 Разметав одеяло,  
 Припадая к ложбинке плеча.

Я не Гамлет, но я ли,  
 Опасаясьдохнуть,  
 Мыслью — лезвием стали —  
 Не поддену свой путь?

Мы дышали любовью,  
 Но, от нас отстранясь,  
 Длилась ржавую кровью  
 Эта странная связь

Нас и этой никчемной  
Полуночной возни.  
(Госпожа моя, в темной  
И прохладной тени...)

Жизнь равно отгорала  
Что для нас, что для них.  
Начиналось сначала  
Время жизней чужих.

И не вспомнится... — Ладно!  
Я любил тебя так...  
Не скажу — беспощадно,  
Но уже погружаясь во мрак.

Госпожа моя, шейных  
Позвонков слышишь хруст?  
Среди будней ничейных  
Я изглодан и пуст.

Ты ль, неверящий, в язвы  
Возложил проверяющий перст?  
Не достаточно разве  
Увидать эту белую шерсть?

На клыках перемолот,  
Жилки сплюнуты вон,  
Утолил я их голод  
До скончанья времен.

Ты была так прекрасна,  
Ты была молода,  
Но помадкою красной  
Отчеркнуло года.

Там, на грани сознания,  
Ключик звякнул уже,  
Но угасло дыханье  
На втором этаже.

Или это мне снится?  
Но исполнился срок,  
И бежал от царицы  
Ненавистный пророк.

Отошел он в пустыню,  
В день пути от дорог и жилищ,  
И песок был — как иней  
Пепла бурь угасших кострищ.

Чахлый ветер развеял  
Синий иней золы.  
И крупинками реял  
Прах коричневой мглы.

Голубой можжевельник,  
Подобравшийся куст...  
(Госпожа моя, шейных  
Позвонков слышишь хруст?)

Отошел он в безлюдье  
И о смерти взалкал.  
И тогда на распутье  
Ему Ангел Господень предстал.

Освежил ему губы  
Ключевою водою Господь.  
...Непорочные белые зубы  
Рвут мою неостывшую плоть.

Помолись же за грешных,  
Уходя в светотень,  
Где в качании прежних, неспешных  
Веток вновь отцветает сирень.

Помолись же за грешных  
И при смерти, и при  
Их рождении. Внешних  
Не убегиших. Смотри,

Над мозаикой дробной  
Чьих-то жизней чужих  
Как над ямой загробной  
Наклоняется стих.

Не в чернеющей яме,  
На зеленом лугу,  
Что мы видели сами,  
Там, внизу, на кругу?

Там, у лета на склоне,  
Длилась нервная дрожь.  
Забулдыги тихони  
Не хватались за нож.

Нас тогда обмануло  
Чувство близкой беды.  
Пеплом все упорхнуло,  
Затерялись следы.

Век мой, вкрадчиво-краткий,  
Дай помедлить в конце  
На твоей дорогой пересадке,  
Словно выйдя на метрокольце.

Не у «Парка культуры»,  
Не у «Киевской», не...  
Не у Фрунзенской прокуратуры  
Под решеткой на узком окне,

Но у летней кафешки,  
Прикипевшей к Москве,  
Выпив пива без спешки,  
С роем солнечных мух в голове.

Вот и все. И довольно.  
Я ль, изгнанник, теперь...  
Мне не трудно, не больно,  
Но захлопнулась дверь.



## АЛЕКСЕЙ ДИДУРОВ

### Подворотня

Во двор ли, со двора — во тьме и днем, —  
 Что в оттепель, что в дождь — как метроном —  
 Звонит капель — в регистре ксилофона —  
 От подворотни чуть правей — с балкона —  
 По трубочкам неона — «Га Стро Ном», —  
 И эта музыкальная строка,  
 Ритмичней пиццикато в танго Строка,  
 Слышна и манит аж издалека,  
 Когда окрест пройдешься одиноко,  
 Могая в ночь бессонницы срока,  
 И в подворотню — нырь, где дразнит око  
 Зыбь сумрака и стереоморока —  
 Рука навзлете, влажная щека...  
 Как будто ты... В той куртке — с лейблом «Маде  
 Ин Поланд», шик в правленье стариков,  
 Когда, при отчете выборе оков,  
 Ты на военных льготах и зарплате,  
 А также ради праздничных пайков  
 Сидела клерком в райвоенкомате,  
 До коего отсюда — сто шагов.  
 А я — я квасил, в трубку голосил,  
 В рабочий день зовя тебя к алькову,  
 Распятый на пяти концах светил,  
 Шестым своим концом упершись в кому,  
 А ты мне в трубку — чтобы не грустил,  
 И, чтоб минут на двадцать снять оковы,  
 Ты отдавалась, чтобы отпустил,  
 Дежурному майору Хохрякову,  
 И выбегала, и бежала сквозь —  
 До подворотни, где в дыму от «Шипки»  
 Тебя встречал я каменной, чем Гость,  
 Но много мягче собственной же пипки,  
 Которой нарывался, как на гвоздь,  
 На грусть твоей приветственной улыбки,  
 На то, что губы и мокры, и липки,  
 И взрыты — там, откуда ноги врозь...  
 Мрачнело во дворе, темнел фасад —  
 Шла туча на первопрестольный град,  
 На нас двоих, побитых этим градом.  
 Закапало — к досаде из досад!  
 Ливнуло — ни вперед и ни назад!  
 Ни в забытье — ни передом, ни задом!  
 Я помню, мы стояли обнявшись  
 Во мраке подворотни, как в ловушке,  
 Где нас с обоих выходов на мушке  
 Держали верх империи и низ,  
 Невидимо нас метя «блядь» и «шиз»,  
 А с Пушки каждой букве по макушке  
 Стучал дождец — в три слова: «Жизнь Есть Жизнь...»  
 Он достучался — ты сгнила в психушке.  
 С тех пор на стенах проходной дыры,  
 Все более на дух невыносимой,

Из города сквозящей во дворы,  
 Вялотекущей местной Хиросимой  
 Истерта стенограмма той поры,  
 Где действие сложенья «Коли» с «Симой»  
 Под графикой, в словах невыразимой,  
 Из жизни вычтя «Новые миры»,  
 Лосины сплюсовало с лососиной  
 За отразившей столькое витриной —  
 Иной, когда ты вышла из игры,  
 Навек меня оставив половиной...  
 ...А может, и не ты во мраке том  
 Зовешь из подворотни жестом нервным,  
 А дочь моя, найдя меня с трудом  
 В час комендантский в девяносто первом,  
 Когда старлей ей крикнул: «Глохни, стерва!» —  
 И пушку танка развернул на дом,  
 А я про честь и совесть верещал,  
 С чего старлей и мне пообещал:  
 «Ты приключений хочешь? Так схлопочешь —  
 Ща «акээм» возьму да как въебу!  
 Получишь вентиляцию во лбу —  
 Ущучишь, на кого шнурок свой драчишь!»  
 Во тьме удар — мы убегаем прочь.  
 Строчит по буквам дождь. И плачет дочь.  
 Нас бьет ознобом, тиком — словно током...  
 Но нет же! Дочь в постели в эту ночь,  
 Не слышит стукоты по водостокам  
 С на землю павших городских небес,  
 Где Бог, подобно пьяньенькому боссу,  
 Творит со всеми нами — что? — Сам весть:  
 Придумал предложение без спросу —  
 И тюкает по буквам: «Будь Как Есть...»  
 И в подворотню день вползает косо...  
 Звонит капель... По ком?.. Тут нет вопроса.



---

---

РАМИЛЬ БЕСЕРМЕН

\*

## ШАХМАТЫ

*Рассказ*

ШШШ шахматы были единственной игрой, в которую он способен был теперь играть. Чаще сидел сам с собой, вечерами, сразу погружаясь в чудную, без фальши, черно-белую жизнь, где заранее просчитаны едва ли не все варианты, где конь ходит говном, пьяны офицеры и только тура честна и прямолинейна. Где королева, вступая последней, делает тот волнующий тесный шажок в сторону — как если б узка юбка, — нащупывая туфелькой ту неверную желтую клетку, которую здесь видит только она, да, пожалуй, еще и он сам, замерший напротив нее в воспоминаниях. Кажется, свою партию он уже проиграл — потому как слишком поздно понял, что в его жизни над черной и белой клетками, чуть в стороне, незримо витала клетка желтая — а стало быть, иногда ему надо было ходить иначе.

Теперь ему оставалась эта доска — он разыгрывал партию в то время, когда день за окном сдает свою партию ночи, долгий эндшпиль, черная клетка ползет на белую: сумерки, скрип стула, пешка, зажатая в руке. Это было похоже на упрямое сидение на двух концах доски сразу, замершая в атаке лавина белых, ответная неприязнь черных, где легко разменивались фигуры, но так давно не бывало победы — упоительной, юной, со знаменем на древке.

Конечно же, играть в шахматы его могла научить только она. Трудно сказать, почему она взялась за это, не научившись толком играть сама, но он сразу оценил ситуацию, стоило им в первый раз оказаться за одной доской. «Кажется, вам не довелось этим летом выбраться на море», — сказала она. «Я не люблю загорать», — ответил он. Перед ним сидела самая настоящая, неведомо откуда в этих краях взявшаяся мулатка. Само собой, черный цвет был у нее — лишь позже он узнал, что новичкам всем, независимо от цвета кожи, дают белый, — и стоило ей гибкой рукой двинуть вперед свою пешку, как он понял, что такое в действительности есть черная королева. В шахматы белых людей должны учить только черные инструкторы. Так лучше понимаешь суть игры: что такое черный цвет и насколько уязвим перед ним белый. Что касается его, то он к тому же понял немного больше: на инструкторше была великолепная желтая юбка. Белый новичок, черный инструктор и желтая юбка между ними. Если бы они оказались в одной постели, можно было б подумать, что это с шахматного поля сбежали две крайние клетки, черная и белая, ну а желтую юбку можно было бы повесить на спинку стула — так, чтобы она все время была пе-

---

Рамиль Бесермен родился в 1969 году в Горной Киргизии. Первый рассказ написал в конце 1989-го. Окончил Литинститут в 1995 году (семинар А. Рекемчука). В настоящее время работает в Москве на бензоколонке.

Печатается впервые.

ред глазами. Перед тем как она пришла к нему в первый раз, он специально к ее визиту задумал эту знаменитую простыню — полновесное шахматное поле, нанесенное на лучшую материю, что он нашел в магазине постельного белья. Все шестьдесят четыре клетки, на которых отныне им можно было бы разыграть, пожалуй, любую партию. Он не помнит, кто из них сделал первый ход, но это была как раз такая партия, когда никому уже не важно, кто делает первый ход. Это была партия — кажется, ее не найти ни в одном из шахматных учебников, — когда даже пронзительный плен его белого короля казался, конечно, победой.

С нею он впервые почувствовал, что такое ночь, — она расхаживала перед ним по комнате в крошечной тьме, сама нагота ее была скорее уже этим черным воздухом, и только штрих сигареты отчеркивал ее путь где-то в глубине, на самом доньшке его глаза, — и достаточно было ему увидеть ее на фоне маленького вдруг задрожавшего холодильничка, как он понял, что такое, собственно, ночь. О чем они тогда говорили? Во всяком случае, не о последней партии очередного претендента на чемпионский титул. Сама речь ее — влажная, томная — обещала ночь, прохладную простыню, — они начинали всегда одинаково, ходом e2 — какой-то длинный упоительный поцелуй не без быстрого, нетерпеливого, чуть фиолетового языка — истинного языка мулатки.

Сейчас не бывает уже таких темных ночей, шахматные комбинации стали чересчур сложны, ему трудно уже понять, как, с треском продув первые две в своей жизни партии, можно уверенно чувствовать себя чемпионом, и, наверное, среди всех шахматных инструкторов страны не найдешь уже ни одной мулатки с таким чуть фиолетовым языком. Он хорошо помнит, как однажды сидели они в приглушенном свете луны, недалеко от прозрачных клеток окна, и двойной неначатый ряд лакированных фигур перед ним мерцал так, будто она только что обработала их — умело и легко, как может только она одна, — своим змеиным язычком. Почему-то он медлил делать ход, она, как опытный инструктор, не торопила, и, кажется, до сих пор ему не понятно, как следовало тогда сыграть. Ему хотелось начать необыкновенно, хотелось вина, хотелось огонька сигареты в откинутой руке, хотелось, чтобы она присела на корточках рядом — черная кровь добавляет гибкости в коленях. Кажется, он до сих пор и сидит вот так, только их разделяет теперь целое, не сосчитать всех клеток, поле времени. Это, наверное, единственное поле, на котором бессильно цепенеют самые сильные фигуры, даже этот мускулистый конь, рвущийся с доски, умеющий перемахивать вбок не только через своих и чужих, но, кажется, и через головы игроков. Их партия окончилась банально — она вышла за офицера, вроде бы даже за того самого, кого, под правой рукой, он всегда держал в резерве, выдвигая вперед только под конец. Он до сих пор помнит его замечательное умение делать неожиданные косые ходы, которые он так ценил и которые порой, если она бывала благодушно невнимательна к его комбинациям, приносили ему победу. «Мат», — сказал он, сделал последний ход. Она, прищурившись, окинула сложившуюся позицию — как он теперь понимает, чуть дольше, чем следовало, задержавшись на том решительном офицере, что только что пленил черную королеву, — и вдруг легко вышла из-под удара тем единственным спасавшим ее ходом, возможность которого он просто прозевал. Он до сих пор помнит растерянную, под слоем лака, физиономию своего офицера, глядевшего на него с доски, — в то мгновение они были еще заодно. Это была одна из последних сыгранных ими партий, и ее финальную, совершенно матовую для него комбинацию они разыграли уже на шотландском пледе — шерстяном двойняке простыни — с его бесчисленными клетками, сосчитать которые трудно было бы даже в шутку, но зато в его расцветке уверенно лидировал желтый. Он и сейчас мог бы показать стул, на спинке которого в те времена ночи напролет реяла ее лучшая юбка, он мог бы даже, пожалуй, назвать день, когда вдруг обнаружил среди фигур пропажу офицера — несомнен-

но, это он, отбив у неприятеля коня, унес прочь на крупе и его, и черную королеву, — она позвонила вечером и сообщила, что выходит замуж. Их общий знакомый оказался всего-навсего курсантом третьего курса военной академии. Я хорошо представлял себе этого парня — в конце концов, я им командовал, и мне ничего не запомнилось в нем выдающегося, кроме этих его могучих косых прыжков, вносящих суматоху в стан черных, я даже не могу сказать, сможет ли он когда-нибудь в партии с тобой командовать своими фигурами, хотя бы так же бездарно, как ими командовал я. Ведь я, кажется, был не худшим твоим учеником — чего стоят одни только эти желтые клетки. Клетки, о существовании которых, кажется, ты и сама лишь смутно догадывалась. Помнишь, что ты сказала мне в тот день, когда впервые очутилась в моей квартире, тебе все было любопытно, и ты, конечно, не смогла пройти мимо постели просто так. Помню, тебя восхитил плед, и ты заволновалась вдвойне, стоило тебе обнаружить под ним эту настоящую шахматную простыню. Я сказал тебе, что теперь даже ночью я могу не расставаться со своей любимой игрой. «Ну и как, это помогает тебе ее совершенствовать?» Ответил я не раньше чем через полчаса. Я расправил под тобой смятую простыню — это поле должно быть в полном порядке, потому что наша партия только начиналась, — и сказал тебе: «Как видишь». Твоя ослепительная юбка свешивалась со спинки стула до самого пола, и казалось, сейчас упадет — она так и висит все время перед моими глазами, даже сейчас, если я забываюсь, кажется, что стул охвачен этим желтым пламенем и так непросто его потушить. «Я не думала, что сдамся так быстро, — сказала ты, — но, думаю, шахматная доска должна быть чуть-чуть жестче. Насколько я понимаю в шахматах». Надевай свою юбку, слышишь, не то она испепелит этот стул — единственное, что теперь у меня осталось. Стул и шахматная доска — такое впечатление, что эту партию я сыграл против самого себя. «Вообще-то, мой милый, ты должен был бы выигрывать у меня всегда». — «Почему?» — «Потому что у тебя в запасе всегда есть одна запасная фигура! — Ты повела глазами вниз. — Семнадцатая по счету, — уточнила ты, — и самая главная». Все верно, фигура, которой никогда не могло быть у тебя. Вряд ли такое могло прийти в голову такому простому, как я, игроку. По этим делам — там, где начинались шахматные поля, — ты всегда была куда смышленей меня. «Кроме того, — усмехнулась ты, — у тебя есть такая чудная шахматная доска, на которой ты сможешь задействовать, пожалуй, и все семнадцать».

Ты встала со стула, взметнулась твоя желтая юбка — но только теперь, через много лет, я кивком сдаю эту партию. Помнится, ты сказала, что волосы игроков седеют быстрее, чем гривы послушных их лошадей. Я киваю — ничего не смыслящий в этой игре мог бы сказать, что я киваю в пустоту, — встаю со стула, что всегда стоял напротив твоего, пусть не так резко, как это умела делать ты, и жду того момента, когда наши команды, проследив за нами, вдруг разом сломают строй, разбредутся, вышагивая по клеткам, по доске, кто куда, — я даже могу сказать, кто из них первым нарушит это лаковое перемирие шеренг. Черная лаковая пешка, одна из тех, которой любила ты начинать. Нетерпеливая пешка, стоящая прямо перед твоей гордой королевой — с такой невообразимо длинной монаршей шеей, что чудилось — вот-вот она схватит простуду и заговорит твоим смешным насморчным голосом африканки, не привыкшей к местным морозам. Возможно, оттого ты и любила так эту игру, что шахматная доска напеминала тебе шотландский клетчатый плед, которым ты так уютно кутала ноги. Я даже могу хорошо представить, как под веселым натиском тепла отступал под ним, цепляясь за клетки, холод, в этой непростой игре — за право обладать твоими коленями. Ты откидывалась передо мной в кресле, я дурашливо изображал на отдалении твой камин, твои ноги обхватывал дробящийся на клетки шотландский огонь — ни у одного шахматиста не хватило бы сил устоять перед твоими ночными коленями. Ты чуть-чуть склоняла голову — так дети прислушиваются к дальним шагам в коридоре, — а затем и твоя королева роняла свою маленькую головку ко мне



на плечо, стремительное движение фигур на доске накрывала тьма, а утром, не слишком рано, ты уходила, вялая, кроткая, не забыв напоследок взглянуть с улицы на мое окно. Все, пора смешивать фигуры. Мне совсем не грустно, я хорошо помню, как ты меня учила: главное в нашей игре — помнить, что конец партии означает лишь начало другой, а любое поражение тоже шаг к победе. Помнишь, как это было у нас? «Сейчас будет мат», — говорила ты, а я с готовностью отвечал всегда одно и то же: «Посмотрим!»



---

ИГОРЬ КУЗНЕЦОВ

\*

## САД ГРЕЗ

*Рассказ*

**В** правую от моего дома сторону наша улица завершалась монументальными зданиями банка и музыкального театра, другой ее конец выходил к трамвайным путям прямо против психиатрической лечебницы. Еще одно скорбное заведение, для приходящих больных, располагалось в центральной части улицы, по соседству со школой, бывшей женской гимназией, знаменитой тем, что в ней когда-то училась одна неудачливая террористка, чье имя и носило сие учебное заведение, считавшееся лучшим в городе. И я там учился.

Часть улицы была застроена четырехэтажными кирпичными домами, но сохранилось много и двухэтажных, вросших в землю, с полуподвальными квартирами и просторными дворами, жившими какой-то отличной от нашей жизнью, несколько патриархальной и, как я теперь понимаю, довольно убогой: я помню кислые запахи квартир, вход в которые был прямо со двора, причем наличие этих запахов не зависело от чистоплотности хозяев. Почему-то и все мои уличные приятели, жившие в таких домах, учились в другой, слывшей очень хулиганской, школе. Но меня всегда тянуло в эти дворы, где мужики с детским азартом играли в домино, пили дешевый портвейн, а в дни полочки били своих жен и сожительниц: у большинства моих приятелей отцы были неродными.

У нашего дома тоже был двор, но совсем другой: ухоженный, с беседкой, удобными скамейками и большим столом в центре, на котором мы резались в пинг-понг. Двор наш естественным образом переходил в следующую, а потом — еще в один, где сначала был пустырь с баскетбольной площадкой, а позже — долгая стройка, где мы устраивали между собой войны, перестреливаясь из самодельных деревянных ружей с тутими резинками; еще чудо, что никто из нас не лишился глаза — стреляли мы убойными проволочными пулями. Это летом. Зимой мы лазили по сугробам, строили снежные крепости и рыли глубокие пещеры. Из двора моего старшего приятеля, жившего напротив, по крышам, на разных уровнях переходивших одна в другую, мы добирались до захламленного отслужившими свое декорациями и штабелями старых ящиков двора, принадлежавшего в равной мере театру и овощному магазину.

В театре у меня не было ни одного знакомого, в магазине же работал грузчиком даун Коля, с которым всех нас связывала своего рода дружба. В магазине он служил, похоже, на каких-то полуофициальных началах. Очень редко я видел его перевозящим ящики с овощами, чаще он просто путешествовал по каким-то своим надобностям, в том числе и по нашей улице, катя тяжелую громыхающую тележку и представляя себя водителем автомобиля: он переключал скорости, громким звуком «бип-бип» предупреждал зазевавшихся у него на пути пешеходов, маневрировал, оббегая препятствия, гудел, газовал, буксовал, в необходимых случаях давал задний ход. Все это он проделывал чрезвычайно серьезно, совершенно особо понимая свою роль в процессе социально-трудовой реабилитации,

которой ради, вероятно, его и пристроили служить в магазин, едва ли, впрочем, надеясь на большое чудо. Хотя чудом было уже и то, что, обладая классической внешностью дауна, он отличался не только покладистым и незлобивым характером, но и явной способностью к своеобразному, но все же почти нормальному общению. Во всяком случае, с нами: несколько раз, например, он угсщал нас яблоками, доставая их из своих глубоких карманов. Мы, дураки, их потом потихоньку выбрасывали, — казалось, что и яблоки пахнут тем особым нечистым и прогорклым запахом, который Коля распространял вокруг себя. Я не знаю, сколько ему было лет, возможно, он и сам этого не знал, но, во всяком случае среди нас, он чувствовал себя старшим: роста он был большого, да и комплекции солидной, поэтому и смотрел на нас сверху вниз, что в его глазах и служило, видимо, главным признаком старшинства. Мы над ним, конечно, посмеивались, но по большому счету никогда не издевались — лишь так, по мелочам. Да это могло бы оказаться и небезопасным: малым он был здоровым. Говорил он не очень понятно, короткими фразами. Иногда, будучи в особо добром расположении духа, он предлагал нам покататься. В одиночку никто бы не решился, все-таки стыдно это как-то было, но за компанию — соглашались. Вдвоем-втроем мы усаживались на тележку, Коля долго газовал, потом взывал особенно громко и натужно, и мы трогались. Он вез нас по дороге от театра и банка до школы, мы громко смеялись и его подбадривали, но с прохожими встречаться взглядами опасались. Старухи, сидевшие на лавочках, укоризненно качали головами, но наблюдали за нашим путешествием до самого конца, до того момента, как Коля тормозил и, приподнимая высоко один край тележки, заставлял нас с нее скатываться, словно с детской горки. «Коля, Коля! Разве на самосвалах людей возят?» — говорил кто-нибудь из нас. «Возят, возят, слазь», — отвечал строго он.

По-настоящему ему досаждали более старшие, те, что уже пили портвейн, курили в открытую и ругались матом в полный голос. Этих старших товарищей, особенно если их было больше одного, Коля старался обходить стороной. Но не всегда ему это удавалось. Об одной такой Колиной неудаче рассказывал, погано улыбаясь, мой туповатый приятель Коровкин, в деле участия не принимавший, но при том присутствовавший.

Отчасти Коля сам был виноват в случившемся, потеряв всегдашнюю бдительность и поддавшись ласково-настойчивым уговорам трех местных хулиганов, Сидора, Пони и Балаки, обещавших подарить ему собаку и угостить чем-то вкусным. Так его заманили на стройку. Где вручили длинную бельевую веревку, к которой была привязана маленькая дрожжащая дворняжка с затекшим глазом, и напоили портвейном. Коля с полстакана захмелел, обнял покорную собаку и что-то зашептал ей на ухо, забыв обо всем на свете. В этот момент в окне показалась физиономия Коровкина и заржала. Появление зрителя, видимо, ускорило развитие событий. Братья-разбойники достали припрятанные ружья и хладнокровно начали расстреливать Колю, аккуратно прицеливаясь. Собака, как существо более опытное, под шумок вырвалась из Колиных объятий и благополучно сбежала. Коле же путь был отрезан. Он плакал, выл, шипел, извивался, но пульки его достигали: слишком уж идеальной мишенью он был. В конце концов, озверев от боли и обиды, он ринулся напролом — стрелки разбежались как крысы, а Коля, даже забыв про свою тележку, с воем и громким топотом помчался в сторону магазина. Спустя несколько минут из-за угла театра выскочил огромный мрачный детина, коллега-грузчик, засучивающий на бегу рукава рубахи. Обидчиков, конечно же, и след простыл. Он погрозил кулаком небу и, матерясь, покатил обратно тележку. С тех пор Поня, Сидор и Балака мимо овощного магазина ходить опасались, а Коля, наверное, с месяца на нашей улице не показывался.

Вскоре после того случая я зашел к соседу Женьке, мать которого была врачом, а сам он человеком очень начитанным. Хотя пришел я безо всякой задней мысли, а просто в гости, тем более не в первый раз, но

взгляд мой почему-то очень быстро наткнулся на красный корешок учебника по психиатрии, который я и принялся листать, не обращая внимания на Женкины призывы воспользоваться отсутствием родителей и почитать в медицинской энциклопедии о половых извращениях. Я нашел главу, посвященную болезни Дауна: «Внешний вид больных характерен: косой разрез глаз, с кожной складкой во внутреннем углу (третье веко, эпикант), наличие участков депигментации на периферии радужки, круглое широкое лицо с румянцем на щеках, маленький нос и маленькая верхняя челюсть. Отмечается увеличение языка и верхней губы, борозды языка углублены. Зубы редкие и мелкие. Рот небольшой, открыт, нередко саливация. Голова маленькая, затылок уплощен. Пальцы кисти толстые и короткие. Имеются уродства внутренних органов». Все описанное, кроме уродств внутренних органов, размеров языка и некоторых других мелких деталей, о которых мне судить было сложно, идеально соответствовало Колиной внешности. Даже саливация, которая, как я выяснил по словарю, «есть то же, что слюноотделение».

«У него — лишняя хромосома и третье веко», — сказал я. «У кого?» — удивился Женька. «У Коли-дауна». — «А...» — сказал Женька. «Он, наверное, живет в другом измерении», — сказал я и тут же себе поверил: так это могло быть похоже на правду. «В каком другом?» — «Там у всех сорок семь хромосом, и мы им кажемся уродами». — «Все?» — «Почти все. Ты — не кажешься. У тебя тоже, наверное, сорок семь хромосом. Или сорок восемь». — «Дурак», — беззлобно махнул рукой Женька: он был человеком невозмутимым (позже он стал ветеринаром и большим поклонником жизненной философии Льва Николаевича Толстого). «Представляешь, их описывают как инопланетян». — Я протянул Женьке открытую книгу. «По моему, как обыкновенных даунов», — ответил он, ознакомившись. «Да нет, ты не понимаешь: вот если бы у него была третья нога или две головы, то ты бы поверил, а у него только третье веко». — «Эпикантус есть у монголов и у некоторых представителей негроидной расы». — «Так что, по-твоему, Коля — просто монгол или негр?» — «Я этого не говорил. Он — неправильно развившийся человек, вот и все». — «А ты что — правильно развившийся?» — «Относительно Коли — да». — «А относительно...» — Я так и не придумал, относительно кого Женька со своей эрудицией мог быть развившимся неправильно. Тема разговора как-то сама собой иссякла. О половых извращениях мои знания тоже в тот раз не пополнились, так как вернулась со службы Женкина мать и я откланялся.

Положа руку на сердце, едва ли я могу утверждать, что Коля и его загадочная одинокая судьба занимали меня постоянно. Однако и равнодушным я быть не мог. Да и вообще соседство двух психиатрических лечебниц наводило на какие-то мысли. Я уже тогда не очень верил в простые совпадения. Последующая жизнь множество раз подтверждала мою правоту. А отчасти и предыдущая — не в смысле какой-то прежней жизни, а в смысле особого опыта, к тому времени у меня уже имевшегося. Достаточно было одного воспоминания, чтобы поверить в нечто самое невероятное.

Это случилось года за два до того. Стояло чудовищно жаркое лето. Вокруг города горели леса. Сизая дымка заволакивала небо, запахом гари пропитались дома, деревья и даже пыль. Были отменены все загородные лагеря: ходили слухи, что люди заживо проваливались в тлеющие изнутри торфяные болота. В городе появились погорельцы, просившие по квартирам милостьню. Поначалу им подавали щедро, потом все меньше и меньше. Бабки шептали о каре небесной, дикторы бодрыми голосами сообщали об очередных победах пожарных. Это только умножало слухи. Тогда-то и появилась на нашей улице девочка с забинтованными руками, загорелая до черноты. Целыми днями она бродила вдоль школьной ограды, прижимая к груди маленького черного котенка. Говорили, что ее родители погибли в огне и ее забрали к себе родственники, жившие на нашей улице, в глубине одного из дворов. С нами она почти не разговаривала, но котен-

ка гладить разрешала. Он был совершенно черным, только кончики ушей и хвоста серебрились сединой. Котенок почти не умел ходить, он только ползал по желтой траве газона, подволакивая задние ноги. Она сказала, что раньше он ходить умел, но потом испугался и разучился. О том, что его так напугало, она умалчивала. О родителях ее мы тем более не спрашивали. Но однажды, когда она опустила котенка на землю, он побежал. Я сам при этом присутствовал. Смотря на это маленькое скачущее по траве существо, трудно было поверить, что еще вчера он умел только ползать. «Я так и знала», — сказала девочка. «Что ты знала? — спросил я, так как больше спросить было некому (я просто шел мимо из магазина с батоном хлеба и остановился погладить котенка, я его погладил, девочка опустила его на землю, и он побежал). — Что ты знала?» — повторил я. «Что мальчик с батоном хлеба погладит Кешу и он вылечится». — «Откуда ты это знала?» — «Мне это приснилось сегодня ночью. Я с самого утра стою на улице и жду мальчика с батоном хлеба... И еще я видела во сне дождь», — сказала она все с тем же серьезным выражением, которое с лица ее не сходило. Ночью пошел дождь. И лил не переставая весь конец лета и всю осень. А девочку я почему-то больше не видел. Возможно, слухи о погибших родителях были всего лишь чьей-то фантазией или преувеличением. Мне в это хотелось верить. Кстати, я только потом понял, что не знаю ее имени. И никто не знал из тех, кого я спрашивал. А была ли девочка? Была, была...

Как было и то, чего, собственно, ради я и затеял рассказ о Коле-дауне. Со временем он тоже пропал, во всяком случае, из моей жизни и с нашей улицы, но тогда он еще был. Спустя примерно месяц после происшествия на стройке он вновь стал появляться, только почему-то больше на своем «автомобиле» нас не катал. И вообще стал более подозрительным и нервным: на предложение куда-нибудь пойти или прокатиться он реагировал мгновенно, разворачиваясь к нам задом и уносясь с грохотом и явно недозволенной скоростью. Зато он начал курить. Правда, так и не научился делать это по-настоящему: втягивал дым и просто открывал рот и ждал, пока белые клубы выплывут из него сами. Мы над ним потешались, старались научить его курить правильно, но он только сердился и делал по-своему.

Однажды я увидел его на соседней улице, куда наша школа выходила главным фасадом. Он был без тележки и шел своей семенящей походкой мимо типографии, имея вид несколько таинственный: оглядывался по сторонам и независимо посвистывал, то есть сжимал и вытягивал губы, выдувая воздух, — собственный свист слышал, наверное, только он сам. Пройдя мимо зеленых ворот красильной мастерской, он остановился, внимательно посмотрел вокруг и протиснулся в щель между воротами и углом школьной ограды. Этот путь вел в тупик, заросший кустами акации, под сенью которых, на ящиках, любили располагаться для философических бесед тихие пьяницы — в какой-нибудь развилке ветвей всегда можно было разыскать стакан; иногда мы обнаруживали среди корней и стеклянных осколков использованные презервативы.

Зная, что другим путем оттуда выйти нельзя, я решил переждать какое-то время, присев на бетонный цоколь ограды. Курить в столь опасной близости от родной школы я боялся, посему сидел просто так, поглядывая на часы, будто кого-то жду. Спустя минут десять я юркнул в щель: ступая медленно и осторожно, добрался до той площадки, где по кругу стояли ящики; выглянув из-за куста, я Коли не обнаружил. Несколько озадаченный, я присел на корточки, хотел закурить, но раздумал и затаился, прислушиваясь.

Так прошло еще несколько минут. Мелкая листва надо мной тихо трепетала, ее живая тень ажурной сетью покрывала сухую землю, мои руки; было даже прохладно. И тут я услышал негромкий протяжный голос, звучавший почти на одной ноте: уа-уа-уа-уа... При всей своей странности звук походил на песню, заунывную и успокаивающую. Он доносился из дальнего угла тупика, из-за самых густых кустов. Стараясь не дышать

даже, едва ли не ползком я стал пробираться меж оградой и низкими ветвями, переплетавшимися с чугунной решеткой. Подняв голову, я в двух шагах от себя увидел Колю. Он сидел на корточках, прислонившись спиной к глухой стене, и качал на руках большую розовую куклу, голую и совершенно лысую. Давно разучившиеся закрываться ее стеклянные голубые глаза смотрели на мир удивленно. Личико, которое не портило отсутствие волос, выглядело милостивым и, благодаря приглушенному мерцанию тени, как бы живым. Коля, без сомнения, укачивал ее и пел колыбельную. Рядом с ним на земле меж двух кривых ветвей стояла игрушечная детская коляска без колес, внутри она была выложена свежей зеленой травой, в изголовье лежал свернутый носовой платок, второй платок, очень большой и более чистый, висел на одной из веток, — видимо, он служил одеялом. Два желания боролись во мне: естественное — заорать и расхохотаться в голос и необъяснимое — смотреть и не дышать. Оба эти желания, внешне противоположные, на самом деле имели истоком одно и то же: я был как бы очарован этой сценой, которая на самом деле должна была выглядеть необыкновенно смешной. Но почему-то таковой не выглядела; потому мой человеческий интерес поборол коллективистский инстинкт, благо я был один. Что-то очень трогательное было в этой большой нелепой фигуре больного ребенка, качавшего на руках лысую куклу. Я вдруг с невероятной отчетливостью понял, что он родился ребенком и ребенком умрет, у него никогда не будет настоящих детей, той любви, следы которой мы с отвращением и тайной завистью находили именно здесь, в этом заросшем тупике, где, оказывается, в сосредоточенном одиночестве Коля баюкал дитя; едва ли зная вообще, откуда и как берутся дети, он совершал какие-то почти материнские действия, подсмотренные им в этом мире, враждебном, не принявшем его и лишившем изначально столь обыкновенных, казалось бы, радостей. Каюсь, на мгновение я ощутил себя счастливым. Но именно на мгновение. Допев, Коля осторожно уложил куклу в коляску, снял с ветки платок, стряхнул его и покрыл им тельце, подоткнув с боков. Он улыбался и беззвучно шлепал губами. Откинувшись спиной к стене, он поднял глаза. И тут наши взгляды встретились.

Я испугался, что он сейчас закричит. Но он не закричал, только глаза его еще более сузились, зрачки расширились, рот раскрылся и от правого угла его заструилась слюна. Коля зачмокал губами, словно что-то пережевывая и тяжело глотая. «Привет, Коля», — сказал я так, будто просто встретил его на улице. «Иди-иди», — проговорил он, захлопав себя по ляжкам. И заухмылялся таинственно: я понял, что он узнал меня. И что он меня не прогоняет, а зовет. Я смело протиснулся ближе. «Твой ребенок, Коля, да?» — спросил я, неестественно улыбаясь. «Сын, сын», — ответил он, любовно глядя на спящую с открытыми глазами куклу. Конечно, явные признаки пола у куклы отсутствовали, но по всему это была все-таки девочка. Спорить я, однако, не стал. «Сад, мой сад, са-дик», — проговорил Коля, разводя руками и смотря по сторонам. «Это твой сад, Коля?» — «Да-да, сад, са-дик». — «Детский садик?» — «Не-не, сад, сад, мой, — коротким большим пальцем он ткнул себя в грудь, — мой сад, садик». — «Здесь растут твои деревья и кусты?» Он радостно закивал. «И ты здесь растишь своего сына?» Он опять закивал. «И он здесь, когда подрастет, будет у тебя гулять?» Коля соглашался. «А где твоя жена, Коля?» — «Не нада, не нада», — испуганно посмотрел он по сторонам, как бы опасаясь появления этой страшной, пугающей, все путающей в его мире какой-то жены. Сам по себе отец и мать. Мы помолчали. Коля влюбленно смотрел на спящую куклу, время от времени переводя взгляд на меня. Медленно, замирая, билось сердце — я его слышал, трепетный свет осторожно и ласково изменял казавшиеся прежде столь некрасивыми черты Колиного лица; Колин взгляд, чуть туманный, глубокий, едва ли не мудрый, смущал меня, словно я подглядывал за чем-то не то чтобы неприличным, но тайным, боящимся постороннего вмешательства. Его тайный мир, избыточно хромосомный, и вправду был просто другим, а вовсе мною не

придуманым. Он существовал отдельно от нас, будучи нам недоступным, — но, соприкоснувшись с ним, я ощутил и собственную ущербность, равную Колиной, а может быть, и большую, и то, что нам друг друга никогда не понять. Но попытаться, попытаться... Или все это чушь?.. По случайности (которых не бывает) или наитию, которому иногда следует доверять, я вспомнил о совсем недавнем происшествии, не имевшем к Коле никакого, ну абсолютно никакого отношения. Я смотрел по телевизору одну из бесконечных серий любимого фильма про танкистов и собаку. Телевизор у нас был старенький, черно-белый «Рекорд». В тот раз герои одержали очередную победу, по поводу чего под лезгинку плясали в березовой роще, и вдруг березы зашелестели зелеными листьями, прорезался голубой кусок неба, лица героев порозовели, а сарафан девушки окрасился в малиновый цвет. Все это продолжалось, наверное, несколько секунд, но не было галлюцинацией. Тогда я предположил, что проводится телевизионный эксперимент, чему, впрочем, у друзей своих подтверждения не получил, расспрашивая их после осторожно: никто ничего необычного не видел. В подробности я не пускался, догадываясь, что мне никто не поверит, а мне почему-то важно было, чтобы верили. И вот теперь я мог рассказать об этом Коле, благодарному слушателю. Он ни в чем не сомневался, только очень серьезно морщил лоб. Все рассказав и зачем-то ожидая ответа (какого ответа?), после наступившей томительной паузы, понимая, что он мне верит, я догадался наконец о другом — о том, что Коле моя столь волшебная история просто не интересна, — он хотел говорить и слышать сейчас только о своем Саде. «Сад, са-дик», — улыбаясь, подтвердил он. «У тебя будут здесь песчаные дорожки, цветы пионы вдоль них, — показывал я на усыпанную мелкими осколками землю, — там — пруд с золотыми рыбками, по нему будут плавать белые и розовые лебеди, и дом на берегу пруда, и ты будешь всегда жить в нем со своим... сыном, и все у вас будет хорошо-хорошо, как в сказке, о цветочке, аленьком...» С подбородка его капала слюна, иногда он вытирал ее рукавом. «А еще у вас будет...» Но тут заплакал ребенок.

Это было так неожиданно и неправдоподобно, что я вздрогнул. «Уходи, уходи, не спит», — встрепенулся Коля, склоняясь над куклой. Я послушно стал отползать, почему-то не к ограде, а вдоль стены, путем самым неудобным, где кусты были особенно густые. Но я все же продрался сквозь них, плач уже прекратился, и до меня доносилось тихое: уа-уа-уа-уа...



---

---

МАРИНА БУВАЙЛО



## КАЛЕНДАРЬ

*Рассказ*

**Г**оловная боль начиналась вечером, иногда совсем уже к ночи. Он научился определять ее приближение по легкости и тоске, которые, как и боль, занимали строго определенное место в его теле — вверху живота, под ложечкой. Состояние это, продолжавшееся иногда день, иногда два и даже три, узнавалось именно странным сочетанием тоски и легкости, как бы влюбленности. Отравляемой, однако, ожиданием дикой, невыносимой боли. Независимо от того, сколько приходилось ждать, независимо от приложенных усилий предотвратить, избежать, боль являлась и всегда заставляла его врасплох, обрушивалась ужасом, тошнотой, невозможностью понять происходящее. Кое-как, почти ползком, добирался он до кресла, вокруг которого заранее заботливо расставлял — тазик, кружку с водой, электрический чайник, еще кружку, для чая, маленький заварочный чайник с крепчайшей заваркой, которую он в дни ожидания непрерывно обновлял. Клад еще и лекарства, которые, знал, все равно не помогают да которые тошнота все равно не даст проглотить. Начавшись с незначительного покалывания в затылке, боль мгновенно, за несколько секунд, делалась ужасной (настолько, что память о ней как бы стиралась от приступа к приступу), каждый раз поражая его: не может быть, чтобы я уже переживал и пережил такое. Подчиняясь выработавшемуся с годами инстинкту, он переставал сопротивляться и начинал жить внутри этой боли. Вот боль, толчками нарастая, доходила до невыносимой, лишавшей всяких желаний. Невозможно было попросить избавления, заплакать, сдвинуть ногу, невозможно было представить, сколько продолжается этот ужас. Иногда ему казалось, что он перестает в это время дышать. Затем еще толчок, рывок, когда он, вероятно, переставал жить, затем боль постепенно начинала откатываться. Он представлял это как закипание черной вязкой массы вроде вара. Черная масса колыхнется, колыхнется под глянцевой плотной пленкой, наконец вырвался и лопнул черный пузырь, выплеснув на стенку часть варева... Боль медленно отступает, но освободившееся пространство заполняется тошнотой и страхом. Тут нужно было постараться и проглотить несколько глотков горячего чая. После рвоты немедленно наступало облегчение, и можно было расслабиться — немного постонать, пошевелиться, даже встать. Времени, если он вспоминал посмотреть на часы, передышка занимала немного, десять — пятнадцать минут, но давала прийти в себя, подготовиться к следующей болевой атаке. Так продолжалось около суток, затем боль становилась мягче, интервалы длиннее. После очередной рвоты он засыпал и просыпался через несколько часов — слабый, по-

---

Марина Бувайло (Хэмонд). Родилась в Москве. По образованию врач-психиатр; в настоящее время работает в Лондоне по основной специальности. Организатор фестиваля «Женщины России в искусстве» (Лондон, апрель — май 1995 года).

Как прозаик в России печатается впервые.



худевший, но совершенно здоровый. Слегка пошатываясь от невесомости, он шел в ванную. Приводил себя в порядок, принимал горячий душ, брился. Бреясь, поглядывал на себя в зеркало с удовольствием — прорезавшиеся скулы, голубые тени вокруг глаз делали его и без того довольно красивое лицо тоньше.

Вся его сознательная жизнь так или иначе подчинялась головной боли. Он охотно поддавался уговорам родителей и поступил в институт «легкий», кончил его необременительно, почти не заметив ни занятий, ни однокурсников, потому что жизнь их, шумная, но скучная, не привлекала его. Работа тоже подыскалась необременительная — со свободным расписанием, библиотечными днями. Его считали способным и прощали некоторую отчужденность, потому что научным работникам разрешается быть такими — слегка странными. Себя он ни странным, ни тем более научным работником не считал. Работу свою выполнял легко — потому что действительно был способным и к тому же организованным, приученным головными болями ничего не откладывать на завтра, — но не тратил на нее фантазии и любопытства.

В ранней юности, когда головные боли только начинались, родители таскали его по профессорам и медицинским светилам, каждый из которых советовал и прописывал что-нибудь: новые лекарства, режим, диету, даже женитьбу, и он поначалу все старательно выполнял. Не ел на ночь, делал зарядку, принимал лекарства и чуть не женился, отчасти из влюбленности, отчасти под давлением родителей, больше, чем он, напуганных приступами и тем, как агрессивно, нетерпимо уходил он в боль. К сожалению, родители были слишком откровенны в своих уговорах. «Даже, — рассуждали они, — если женитьба сама по себе не поможет, все-таки во время приступов ты будешь не один. Не будешь же ты выгонять ее на сутки из дома». Он ужаснулся. Мысль о том, что во время приступа кто-то, даже самый близкий человек, может находиться в одном ограниченном пространстве с ним, наводила на него панику. Родители были приучены избегать всякого контакта с ним в дни боли. Попытки помочь вызывали бешеную злобу. Он ногой выбивал поднесенные чашки чая и таблетки и один раз укусил отца, положившего руку ему на плечо.

Он не женился. Но обещанную однокомнатную квартиру родители все же купили. С годами он понял, что приступы идут своим порядком, независимо от того, что он делает — принимает ли таблетки, соблюдает ли режим или, напротив, ест как попало, пьет и сидит до утра в прокуренной комнате. Время от времени, не чаще, чем раз в две недели, но и не реже, чем раз в два месяца, он просыпался со знакомым чувством под ложечкой.

В общем, он привык к неизбежности боли и жизнь свою устраивал вокруг приступов, но в промежутках старался не ограничивать себя без нужды. Конечно, он не мог позволить себе всего, что могли позволить себе его знакомые, например, поехать на месяц в отпуск: он бы не перенес приступ где-то вне дома. Но прилетал к ним на несколько дней, привозил свежие московские сплетни и анекдоты, активно включался в отпускное времяпрепровождение, в зависимости от места и сезона купался, собирал грибы, осматривал достопримечательности, катался на лыжах, потом улетал, увозя в Москву курортные новости. Благодаря школьной дружбе с одним способным и общительным писателем знакомых у него было множество. С заинтересовавшими его людьми он сходилась легко, особенно с женщинами, которые чувствовали, что у него есть какая-то тайная, скрытая жизнь. Говорили, что он пишет, но не признается из гордости, говорили, что он стукач, говорили, что у него роман с ... (называя разные имена, в том числе и мужские), в общем, говорили много всякой ерунды. О головных болях он не рассказывал, потому что не находил правильных слов для этого. Если и говорил, люди представляли свою, обычную, человеческую, головную боль. Он перестал объяснять — сначала стеснясь своей исключительности, уродливости, потом — подсознательно поняв (я не ду-

маю, что он сознательно выбрал это), что тайна привлекательна, и представил людям гадать. Если кто-то в его присутствии упоминал какое-нибудь новое или, наоборот, древнее средство против головной боли, он автоматически и немедленно начинал прислушиваться, но чувствовал себя при этом неловко, как если бы публично обнажился.

Ну конечно, у него было имя, и даже красивое и довольно редкое — Святослав, Святик для родителей, Святослав Михайлович для сотрудников, Слава, Славка, Славочка для женщин. Но он часто думал о себе — он. По детской еще привычке, сохранившейся с «ещедоголовныхболей» времен, когда он бывал ковбоем, золотоискателем, мушкетером, спасителем прекрасных креолок. Обращение к себе в третьем лице — это единственное, что он сохранил для себя из героико-романтического периода. Головные боли отняли привлекательность страданий придуманных.

В конце октября — странное смурное время года — он заметил в метро девушку, привлекающую его внимание ровным песочным, медовым цветом, воспринимавшимся на человеческом лице как отсутствие цвета. Кожа, брови, губы, глаза, волосы различались, если и различались вообще, только глубиной тона. Сначала он просто удивился, потом поразился тому, насколько именно бесцветность делает ее лицо выразительным, скульптурным. Приступ окончился накануне, он хорошо спал и проснулся, как всегда после приступа, в состоянии раскрепощенном. На работу он приехал поздно и возвращался позднее обычного. Народу в вагоне было много, и он спокойно мог разглядывать девушку, нависая над ней, пока она читала. Все равно больше стоять было негде и смотреть некуда. Когда она закрыла книжку и стала проталкиваться к выходу, он стал проталкиваться за ней — бездумно и бесцельно. Впереди было по крайней мере две недели свободы, и сегодня он тоже никуда не спешил. Станции «Красносельская» он совсем не знал, хоть проезжал мимо регулярно — на работу и с работы, и когда девушка повернула в улицу темную, неприветливую, между двумя рядами голых деревьев и тяжелых домов с арками, из которых дул холодный мокрый ветер, он стал терять запал. Сейчас или никогда, сказал он себе и в несколько больших шагов поравнялся с девушкой. «Вы не боитесь ходить здесь одна?» — спросил он. «Нет, — быстро ответила девушка, которая, по-видимому, знала, что он идет за ней, и боялась, а сейчас взглянула на него и поняла, что он не шпана, не пьяный, и повторила еще раз, с облегчением: — Нет». В общем, он напросился в провожатые, и девушка молча согласилась и молча слушала, как он болтал всякую чушь, пытаясь вызвать ее на разговор. Несколько раз она сворачивала в арки, они проходили через какие-то дворы, потом она остановилась у подъезда, за треснутой дверью которого должно было пахнуть мочой, кошачьей и человеческой, но наверняка было сухо и тепло, теплее, чем на ветреном дворе. «Я пришла, — тихо сказала девушка. — Вы идите, а то меня уже папа ждет». — «Давайте я хоть телефон ваш запишу, вас как зовут? Меня Святослав». Он шагнул за девушкой в подъезд. «Нет-нет, идите, папа может выйти». Девушка побежала вверх по лестнице. Он побежал за ней. Девушка остановилась. «Ну и что ж, что папа? — сказал он обиженно. — Я же к вам не пристаю. Ну давайте я вам свой телефон оставлю, позвоните сами. Только не откладывайте. Хоть завтра». И он стал записывать свой телефон, чувствуя, что бесполезно, не позвонит она, но так, на всякий случай — а вдруг. На площадке этажом выше с грохотом отворилась дверь, и маленький взлохмаченный человек проскочил пролет, схватил девушку за руку, заволок наверх, вереща: «Шлюха, дрянь, сейчас же домой», втолкнул в дверь, кошачьим прыжком, руки вперед, слетел вниз, толкнул Святослава изо всех сил в грудь и, продолжая что-то верещать, умчался наверх. Святослав сильно ударился о стенку головой и локтем, но еще больше был потрясен молниеносностью нападения. Он с трудом добрался до метро и там, в чистоте и тепле, комизм произошедшего дошел до него, и он начал хохотать. Он поехал не домой, а к приятелю, где рас-

сказал о случившемся. Все очень смеялись. Через неделю история отработалась в маленькое представление, которое он разыгрывал при каждом удобном случае, каждый раз с большим успехом. Девушка, конечно, не позвонила. Он даже не помнил, успел ли передать ей ключок бумаги с номером или просто обронил на лестнице. Однажды, после очередного пересказа (он заметил, что со временем рассказывает больше о необычном лице девушки, чем о ее ненормальном отце), ему захотелось найти ее дом, но, заплутав в лабиринте дворов и арок, понял, что совершенно забыл дорогу. Все двери были с треснутым стеклом, а ничего больше он не запомнил. Потом, как всегда в его жизни — шестая неделя подходила к концу, — все вытеснилось ожиданием приступа. Чем дольше была передышка, тем труднее становилось ожидание. После месячной передышки он с нетерпением думал: скорей бы. Скорей бы отлучиться и на две недели забыть, перестать, просыпаясь, прислушиваться: здесь ли оно, томление под ложечкой. В этот раз он ожидал приступа со смешанным чувством: с одной стороны, ждать было невмоготу, с другой — приближался Новый год и ему хотелось, чтобы передышка пришлось именно на те три дня, когда вся его отпускная компания собиралась за город. 31 декабря к вечеру он заварил чай в маленьком чайничке, к двенадцати достал из холодильника шампанское и ровно в двенадцать выпил бокал. К часу ночи, допив бутылку и поздравив по телефону родителей, лег спать и, проснувшись утром, стал мысленно ощущивать свое тело. Ожидание пытки страшнее пытки, и худшего времени, чем январь, он припомнить не мог. Скорее всего, от нервного напряжения он заболел гриппом, что случалось с ним крайне редко, почти никогда. Когда температура поднялась до тридцати девяти, у него начала болеть голова, но настолько иначе, непривычно, нестрашно, что он даже не сразу понял, что это головная боль. В температурном полусне-полубреду он сказал себе: наверное, начинается приступ, и сейчас же заснул и спал с кошмарами, просыпаясь то в ознобе, то обливаясь потом. А выздоровев, не мог понять, состоялся ли приступ, температура ли сгладила, заглушила боль, или боль только померещилась.

В течение следующего месяца приступа не случилось. И через два месяца тоже. Он растерялся. Он почти не выходил по вечерам из дома, настроение у него часто менялось, и иногда ему казалось, что он узнает беспокойную легкость под ложечкой. Но проходили дни, выпивался или выливался очередной маленький чайничек, а приступа не было. В такой растерянности он дожил до лета, а летом понемногу собрался, пришел в себя, понял, что приступа не будет, а если и случится, то все равно не так, как раньше, — не рутинно, не предсказуемо; припомнил, как ударился головой на лестнице. Наверное, что-то стрянулось в башке и встало на место, думал он, слегка поддразнивая себя.

Теперь надо было решать, как жить дальше. Головная боль была как бы центральным пунктом, определявшим стиль жизни, смысл жизни, отношение к себе. Он перебрал: 1) тридцать шесть, вспомнился Данте, тут же утешил себя: отцу за семьдесят, а он совсем молодец; 2) младший научный, старшим без диссертации не стать, диссертацию писать он не собирался (менять работу? приобретать другую специальность?); 3) не женат, не влюблен — влюбляться он давно перестал позволять себе; влюбиться? — он перебрал знакомых женщин — ни в одну из них влюбляться не хотелось. Наверное, могло быть еще что-то, но что? Он стал с интересом вглядываться в окружающих, пытаясь понять, в чем тайный смысл их жизни. Все-таки у всех все сводилось к двум основным, явным: работа (профессия, занятие, то есть то, как человек себя определял: я — художник, или я — редактор, или слесарь) и принадлежность (часть парного симбиоза — моя девушка; Нинкин муж; любовник; супруга). У него ничего не было. И не надо, решил он и уехал на месяц в Крым. Через десять дней он понял, что еще двух недель тупого лежания на пляже, жары, сутолоки и бестолкового пьянства ему не вынести, и вернулся в Москву, увязался за приятелем в его деревенский дом, честно помогал строить баню, возился в

огороде, ходил за грибами, но через неделю взвыл от скуки. Приятель, которого он знал годы и с которым, встречаясь изредка, мог говорить ночи напролет, оказался занудой. Он снова вернулся в Москву и, войдя в квартиру, поймал телефонный звонок. Звонила дама, знакомая, недавно с мужем расставшаяся, с которой на протяжении нескольких лет они изредка виделись наедине. Встречи эти всегда были приятными, но поспешными, с тайными взглядами на часы и телефонными звонками вполголоса, прикрываясь голым плечом, — не слушай, я не люблю, когда слушают, как я вру. Звонила она то мужу, то родителям, к которым переехала, уйдя от мужа, и которые смотрели за ее двумя детьми, пока она ходила на работу. Теперь она сообщила, что дети на даче, она одна и скучает. Он пригласил ее приехать, надеясь, что это встряхнет его. Однако быстро выяснилось, что раньше не разговаривали они не из-за нехватки времени, а оттого, что им совершенно, абсолютно не о чем было говорить друг с другом наедине. К концу недели она позвонила ему с работы и тоном, который он хорошо знал по ее разговорам с домашними, сообщила, что ей неожиданно придется ехать на дачу и, вероятно, задержаться там и — не сердись, милый, мне так досадно, но сам понимаешь — обязанности. Трубку он положил с облегчением и в очередной раз оказался перед необходимостью занять себя.

Жизнь, потерявшая цикличность: свобода, ожидание казни, казнь — или... да ведь как угодно можно обозначить циклы: первый, второй, третий, — вытянулась пружиной, потерявшей эластичность, размотанной в вялую бесполезную проволоку. Захотелось вернуться на «Красносельскую», попытаться найти тот дом... Ему повезло: было летнее воскресное утро и на скамейках перед подъездами сидели праздные скучающие люди, перекрикиваясь и споря. Они не только направили его сквозь нужные арки, но и рассказали, что девушка уехала, а отец взял и выскочил из окна. Он представил себе, как улетает через разбитое стекло, руками вперед, взлохмаченный человек, и не стал дожидаться окончания спора: что случилось раньше — уехала или улетел, и куда уехала — в Америку, к тетке в Казань или еще куда. Искать ее он не собирался.

У метро «Красносельская» стояла девушка, другая, не та, мрачно опирающаяся на связанные лыжи. Его удивили не лыжи, а то, что и одета она была для лыжной прогулки. Конечно, август холодный, но не настолько же?! Она не засмеялась, хоть шутку оценила, он видел. «Жду подругу, — хмуро шмыгнув носом, сказала девушка, — только, похоже, она передумала, тоже простудилась вчера — вчера 21 июня выпало, а 21 июня — Иван Купала, положено водой обливаться и через костры прыгать». Он взглянул с интересом: сумасшедшая или шутит? «Календарь, — объяснила девушка, — я календарь себе купила. Засовываешь руку в мешок и достаешь день. Вчера вот мы договорились в лес сегодня ехать, а утром я 6 января вытащила — что в лесу в январе без лыж делать?» Он заинтересовался: «Значит, вы никогда не знаете, что с вами случится завтра?» Она вздохнула: «Да нет, чаще знаю. Редко ведь особые дни попадают, а так что — работа и работа, а вечером сидим где-нибудь, какая разница, зима или лето».

Он даже не раздумывал. «Только мне придется заскочить домой за лыжами», — сказал он.

Лондон.



---

---

## БЕГУЩАЯ ТЕНЬ



ВЛАДИМИР КОРОБОВ



Снегирь светофора на смятом снегу,  
Окурки и мусор — зима городская,  
Где жизнь ускользает, дразня на бегу  
Озябшим звонком заводного трамвая.  
Изучен маршрут, и наскучил пейзаж,  
Рассчитан весь быт до последней минуты.  
Но память — ларец: там акации, пляж,  
Качели волны и уютной каюты,  
Раскидистый сад и бегущая тень,  
Где гроздь глицинии выются лилово...  
О, с детства желанный, желаемый плен  
Прозрачной воды и песка золотого!  
Когда это было? В котором году?  
Кому перешло это чудо в наследство?  
В московской пурге как в потемках бреда,  
Не видно ни зги — не могу оглядеться.  
А тело мое, на ходу подхватив,  
Несет круговерть. Оно легче, чем щепка.  
И поезд метро заслоняет залив,  
И дверцы за прошлым сжимаются цепко...



Заденет бабочка крылом —  
Ты отшатнешься с непривычки:  
Она впорхнула с ветерком  
В окно летящей электрички.

И ты замрешь, едва дыша  
Среди дорожного надсада.  
Лугов нарядная душа,  
Что занесло тебя из сада?

И за какой невинный грех  
Тебе судьба — стать горсткой пыли?  
Я выпущу тебя при всех,  
Чтобы не мучилась в бессилье.

Пока еще не так темно,  
Пока еще в разгаре лето,  
Лети и ты, душа, в окно  
За бабочкой в потоке света.

\* \*  
\*

*Н. А.*

В Москву! В Москву!  
А что в ней делать?  
Москва такая ж глухомань...  
Заря за окнами зарделась —  
Больная чахлая герань.

Об этом грезилось нам разве  
В лугах, где травы и цветы?  
В столице суетной погрязли  
Провинциальные мечты.

Нет, лучше бы, чем здесь скитаться,  
Лысеть и стариться, друг мой, —  
В цветущей юности болтаться  
В петле курчавой головой.

\* \*  
\*

На могиле брата  
Встали у креста  
Одуванчик, мята,  
Плющ и лебеда,  
Колокольчик синий  
Да крапивы рать...

Розы, георгины  
Некому сажать.

\* \*  
\*

«...Тем ягодам не зреть на сломленных ветвях» —  
Запомнил я сквозь сон навязчивую строчку  
И тут же позабыл,

оставив второпях  
Пометку на листке — пустую оболочку.  
И вот, пока я жил, блуждал в чужих краях,  
Надежды растеряв и старясь в одиночку,  
Строка вдруг проросла —

«...на сломленных ветвях  
Тем ягодам не зреть», — в судьбе поставив точку.



## АЛЕКСАНДР ТКАЧЕНКО

### Осколок

Событие наползает на событие  
пуля догоняет пулю  
в щель просовывается только телеграмма  
о смерти  
В метро шумит дождь мезозоя  
на поверхности шелестят шины  
из древесины юрского периода  
что останется от нас?  
Бомж трубит в бутылку пива  
побудку Курскому Казанскому  
и все разлипают свои веки  
Босх рисует их с высоты 15-го века  
Они разбредаются между нами —  
бомжами в шелковых галстуках  
и скользких пиджаках  
монетка западает не туда  
Набирают Москву, а попадают в человека

### Две плоти

Люблю я девушку с веслом,  
она стоит под кипарисным жаром  
и, обреченная на слом,  
не даст за деньги или даром.  
В ее бисквитной полуплоти  
сокрыта лень и кротость сталинистки.  
Эпоха поставила ее напротив  
моих инстинктов самых низких.  
Я думал так, пока однажды  
под краской, треснувшей от перемен,  
не увидел порывы тяжелой жажды  
и не услышал дрожь колен...  
Я вырос возле девушки с веслом,  
и грудью каменной она меня вскормила  
и погулять пустила на запретный склон,  
не думая о том, что будет или было.  
Что я без прошлого? Особенно чужого,  
оно еще под масляною краской дышит.  
И в камень до молекулы, до атома тяжелого  
меня еще не скоро впишет...

### Балтийская идиллия

Пустеют уголки империи  
лишь белка пробежит по небесам  
толкнув вселенной сонную артерию  
по часовым мотаясь поясам  
Она — горячая комета страсти  
на одиноких улицах грустит  
империя сгорела в диссидентском счастье

и раскрошилась словно апатит  
 Апатия гуляет по дорожкам  
 грустит совок покинутый совком  
 залив натянут нервной дрожью  
 проходящая мечтает ни о ком  
 Он не придет на зов тоски и передышки  
 он за тремя границами киряет  
 в таком же парке собирает шишки  
 и в море нашумевшее ныряет  
 Что ищет он на дне глубоком  
 глубокий сон? монету возвращения?  
 ни бог пред ним, ни он пред богом  
 понять не может тайного общения  
 За что он разломился как империя  
 и разлетается от центра  
 за что так равновесие потеряно  
 что каждый уголок  
 все дальше дальше удаляется  
 от центра...

### Озеро Блед

Дай посидеть в твоих спящих кафешках,  
 дай позабыть все на несколько лет,  
 пешкой побыть, но играющей пешкой  
 в пальцах маэстро, забредшего в Блед.  
 Бред опускается с гор, как туман,  
 Блед погружается в бред.  
 Блед как реальность, как долгий обман,  
 донная рыба всплывает вослед.  
 Бред между нами, и не понимают  
 рыбы нас, горы, созвездья растущие.  
 Парочка пару снимает на память.  
 Память о Блеме, о Бреде насуцном.

### Связь

Если посчитать, что во вселенной  
 $T_1, T_2, T_3, T_n$  одинаковые, то по ним,  
 как по камешкам через реку,  
 можно мгновенно перемещаться  
 в пространстве.

*Ник Козырев*

Если ты меня тронешь в толпе  
 и дрожь пробежит по всему телу,  
 значит, что-то свершилось в судьбе  
 между делом...

Я носитель твоих, а ты моих частиц,  
 найти бы еще таких с десятков,  
 и можно общаться на языке неведомых птиц,  
 когда на ключицы, на плечи сядут.

Они-то понимают как никто в мире,  
 что мир — это общность секунд.  
 Птицы, отщебетавшие Цезарю в Риме,  
 Тебе, плебею, цезарево поют.





СЕРГЕЙ НАДЕЕВ

\* \*  
\*

Нежно трону твои ладони  
Поцелуем, и скажешь вдруг:  
«Не ищи ответа, — утонем  
В оправданиях, бедный друг».

Ты пугливее летней птицы,  
А окажется — что права.  
И растерянный взмах ресницы  
Ранит глубже, чем все слова.

Со слезами, положим, сладим,  
В крайнем случае — рукавом,  
Но поведай мне, Бога ради,  
Что мы в хаосе мировом?

Неужели и впрямь заране  
Безутешно обречены  
Кротким сердцем плутать в тумане  
Одиночества и вины?..

\* \*  
\*

Тепла последнего прохлада  
Нечаянностью одарила  
И выплеснула плошку яда  
В солоноватые чернила.

Непрощеная радость колка,  
Как ветер на песчаном склоне,  
Как вылинявшая иголка  
Сосновая в сухой соломе.

И некого просить — поправить,  
И некому продлить — мороку.  
«Печаль неслыханная», — да ведь?  
Но много ли в печали проку?

И я доверюсь осторожно  
Всепроницающему свету,  
И сердце опалит безбожно  
Нечаянная радость эта.

\* \*  
\*

А может быть, мы и прозреем,  
Невольню коснувшись небес,  
Спустившись ночным Колизеем,  
Пройдя через поле и лес.

И глянем на мир виновато,  
Как будто впервые узрев  
Холмов полотняных заплаты  
Да редкие стайки дерев.

И воздуха гибельный клеток  
Рыданьем очнется в груди.

Что прожито — стало далеким,  
И нет ничего впереди...

Утешат ли — ропот осины  
Да горечи грубый помол,  
Шатер голубой парусины  
И холода утренний скол?

О том ли в слезах пожалеем,  
Сжимая траву в кулаках,  
Когда по небесным аллеям  
И мы побредем в облаках?..



---

---

ТАТЬЯНА ВОЛЬТСКАЯ

\*

## НА РАЗВАЛИНАХ НАШЕГО РИМА

**Т**ы — признание в любви, ты забыл о величье,  
Полукровка, ревнивец, бастард,  
Возраставший под сплетни и лепет девичий,  
Громы казней, букеты петард.

О, как сладко унизить, лепнины спесивой  
Веер — вдрызг, и — смятенье прочесть,  
Ты забыл, мимолетный любовник России,  
За любовь полагается — месть.

О, как сладко презреть, обвиняя в провале,  
И заставить платить по счетам  
И того, кого в полночь еще целовали,  
На рассвете хлестать по щекам.

Что мы видели в треснувшем зеркале прежде!  
Как не верили нашим слезам!  
Вот и нищие мы — ни любви, ни одежды,  
Я — с тобой, отставной куртизан, —

Злым, больным, что в подъездах сморкается гулко,  
В ком мой голос почти что зачах,  
Как разлезся голландский кафтан Петербурга  
На кражистых здешних плечах.

### 1

Вы когда-нибудь замечали, как красивы орудия убийства? Сколько внимания и любви отдавала им человеческая душа с той самой поры, как себя помнит? Все эти изысканные кинжалы, серебристые, как водяная рябь, кольчуги, легкие стебли шпага с пышно раскрывшимися розами рукояток, нежные стилеты, созданные для поцелуя прямо в сердце; все эти узкие, как шуки, мечи с заботливо проведенными желобками для стекания крови, трепещущие языки алебард, заостренные капли наконечников копий и стрел — сколько сосредоточенной страсти потрачено на них, сколько недоспано ночей и недолюблено женщин ради безупречности этих лезвий и совершенства этих форм! Гладкие и витые эфесы, райские куши резьбы, сцены битв и охот на длинных прикладах и стволах, спелые гроздья ядер, ласково сложенные у коренастых пушек, искристые перстни и флакончики для яда... Да что там, даже сам Гомер ни одну владелицу «хитросплетенных кос», ни лицо ее, ни наряд не описывал так подробно и с таким упоением, как знаменитый Ахиллесов щит.

Этот антураж, эта пышность, с давних времен окружавшие смерть, сравнимы разве что со свадебным убранством невесты, с той разницей, что орудия убийства человечество в общей сложности посвятило все-таки неизмеримо больше времени и сил, чем свадебным нарядам: жениться у большинства народов можно ограниченное число раз, а убивать — бесконечно.

Может быть, именно в силу того, что распад материи так вопиюще безобразен, смерть всегда бессознательно старалась прикрыться красотой и стройностью предметов и ритуалов, ей сопутствующих. Пожалуй, только в последние времена это правило стало нарушаться — тупыми рылами ракет и свинными мордами танков, однако своя мрачная эстетика присутствует, безусловно, и в современном оружии. Но главное не это — главное, что оно, как прежде, продолжает вызывать к себе любовь.

Любовь эта в литературе описана не раз, но едва ли не самым пронзительным мне кажется то место из поэмы Павла Васильева «Соляной бунт», где казак ласкает рукою рукоять шашки:

Как руку невесты,  
Нашла при всех  
Рукоятку шашки  
Ладонь.

Тут действительно схвачена самая суть того чувства, какое вызывают орудия убийства: это не любовь или священный трепет — это сладострастие.

Здесь лежит тайна, приоткрыть которую я не берусь, но наличие которой для меня несомненно: человек любит то, что грозит ему (или близкому) уничтожением. Не напрасно же сказано:

Все, все, что гибелью грозит,  
Для сердца смертного таит  
Неизъяснимы наслажденья —  
Бессмертья, может быть, залог!

Мы не знаем, почему это происходит, — может быть, в нашей душе всегда тлеет догадка, что эта жизнь — только тяжелый эпизод в длинной цепи существования и чем раньше он закончится, тем скорее наступит облегчение. А может быть, подспудное желание ухода, наоборот, чисто бесовский соблазн?..

Все это догадки. Но вот что мне кажется: не связана ли любовь к опасности с другим странным феноменом — с любовью к тиранам? Ну кто, как не кровавый тиран, выведя народ из бытовой спячки, дает ему сосущее чувство ужаса, постоянного балансирования на краю бездны, а вместе с тем — острое переживание текущих минут, ведь каждая из них может оказаться последней? Не здесь ли секрет обаяния сильной власти, обожания, которое испытали на себе и Грозный, и Сталин, и многие другие вампиры? Не потому ли пресными и недостойными своего места так часто казались правители, пытавшиеся что-то изменить бескровным способом, — недостойными до такой степени, что нужно было тотчас же избавиться от них — растерзать на площади, взорвать бомбой..

Безобразие смерти, скрывающееся за красотой прислуживающих ей вещей Мундиры, парады, вензеля. Кудрявые грядки солдатских шеренг, окучиваемые картечью. Просвещенные императоры, склоняющиеся над образцами новых петлиц и аксельбантов. Зауспокойный скрип перьев в пыльных петербургских канцеляриях, спрятанных в антично-желто-белые футляры с непременными колоннами, которых, как отмечают изумленные иностранцы, кажется, больше, чем людей. Беспощадные снега, с фанатичным упорством заслоняемые знойными фасадами, обнаженными торсами, лаврами и акантами. Висячие сады фейерверков. Фельдъегерь, мчащийся в ночь по улице, только что проведенной по линейке. Парадный вход в империю, за которым... Не будем уточнять. Все ведь и было сделано для

того, чтобы не уточняли, а глаз замороженных отвести не могли... И все это ныне сбросило колючий лоск. Имперские зубы выпали, когти притупились, но державная мантия, траченная молю, местами еще блестит и вздыхает на ветру атласной подкладкой цвета заката.

Бродят по улицам растерянные дети забытого города, и сердца их сжимаются при виде осыпающихся белил и румян, лопнувших мостовых, провалившихся окон — что может быть больнее, чем вид стареющего любимого лица? Город, привыкший прикрывать свои вьюги итальянскими фронтонами, заслонять любезной улыбкой каналов и колонн смрадный оскал имперской силы, наконец заплатил за это. Лишившись державного ореола, он умирает, и его не спасает его красота. Огромная декорация, возведенная над государственной машиной, пылится и выцветает: машина, спрятанная под полом, безнадежно устарела, проржавела, хитроумные механизмы истерлись и требуют срочной замены. Содержимое сгнило, но остался драгоценный футляр, до которого никому нет дела. Его обладатели мечутся в поисках хлеба насущного, забыв о богатстве, лежащем у них под ногами. Странно: ведь когда увядают цветы, вместе с ними не выбрасывают в ведро хрустальную вазу!

Диковинная судьба у Петербурга. Начавший с дерзости и насилия, незаметно превратившийся в баловня и фаворита неповоротливой державы, год от года занимавший все больше места в ее сердце, он сумел-таки добиться ее любви. Да, сумел, несмотря на все проклятья в свой адрес, несмотря на замечание Ключевского, что Русь по-настоящему любила только Киев, Москвы боялась, а Петербург так никогда и не признала. Она, может быть, и не хотела признавать, да слишком много сил, воли, устремлений сошлось здесь, слишком много лучей скрестилось в этой точке. Россия не просто приняла и полюбила Петербург — она сама совершенно по-новому воплотилась в нем.

И с Петербургом произошла метаморфоза. Мертвый город, грозивший гибелью всем, ожил и порозовел. Чуждые, казалось, семена дали неожиданные всходы. Пышное цветение архитектуры заглушило бряцание парадов, коринфские венцы бесчисленных колонн, качаясь в глазах, расхолодили понемногу чиновное рвение, орлиные имперские крылья запутались в туниках кариатид: Аполлон заслонил Марса. Как будто богатая резьба, украшавшая беспощадное оружие, вдруг пошла в рост, закурчавилась настоящими листьями и цветами, скрыв под собою хищное лезвие и лишив его первоначальных свойств. Державный ужас отступил, просветленный искусством. Так темный всадник становится кентавром, так кровавая Троянская война превращается в солнечную «Илиаду».

Однако дорого далась России ее последняя любовь. Так дорого, что она как будто ждала случая сбросить с себя это сладкое иго. Видимо, азиатский темперамент России требует унижения Петербурга, а нам остается склонить голову перед ее волей. Растерянные, ходим мы по увядающим улицам и ломким мостам, подавленные тайной любви и смерти, глядящей на нас из-за всех углов, и сухой, нездешний ветер, взметая пыль, веет нам в лица...

## 2

Развалины империи похожи на осенний лес, пылающий и преображенный: нежная зелень стала кровавой, то, что сияло вверх, обрушилось под ноги, то, что было давным-давно расставлено, развешано по местам, вдруг сорвалось, и закружилось, и понеслось с воем и треском, как виево воинство в ночной церкви. Всем несладко, всем холодно и бесприютно среди этих обломков, но уж те, кто имел несчастье связать свою жизнь со словом, музыкой, живописью или чем-то подобным, — те уж точно ощущают себя не лучше листьев, оборванных ветром и гонимых — кто за дальние рубежи, кто — вниз, в грязь и холодные лужи. Сталкиваемся мы друг с другом с легким шелестом и вздохом, и в каждом взгляде: что дальше?

Об уехавших, как о мертвых, либо хорошо, либо ничего: доля изгнанника, даже добровольного, даже благополучного, все равно слишком темна и сложна, чтобы кто-то имел право о ней судить. Дальние — вдали, остается подумать о ближних.

От этой жизни, в которую давно уже не хочется возвращаться каждый раз по утрам, не покидает ощущение затянувшихся святок. Роли розданы, тулупы выворочены мехом наружу, верх и низ поменялись местами, потусторонний мир теней временно обрел плоть, перемешался с явью, лица скрылись под личинами, масками, харями, темные силы — якобы ненадолго — получили свободу и власть, скаканье, бляенье и хохот день ото дня все громче. Казалось бы, вот-вот наступит Рождество, маски сами собой отпадут, из-под одной явится крестьянин, из-под другой — кузнец, из-под третьей — музыкант, поэт и т. д. и все разойдутся по домам и займутся привычным делом. Но нет, в том-то и штука, что наваждение не кончается, личины не падают, а светлого праздника все нет и нет.

Вот литературное подполье, так долго и успешно разыгрывавшее бесконечную шахматную партию с КГБ. Партия кончилась вничью, но снять маски оказалось невозможным — они приросли. Вот их бывшие антиподы торопливо натягивают другие маски, и Богом данное лицо хоронится еще глубже. Вот художники, бывшие кондовые реалисты, спешно перековываются в новаторов, вот актеры на сцене убирают декорации и начинают перебрасываться табуретками, и это называется — новый язык; вот экран являет нам гениталии крупным планом — и это называется свобода.

Железная маска, долгие десятилетия скрывавшая лицо всей страны, отдирается с проклятиями и с кровью — она тоже приросла. Те редкие фигуры, что ухитрились творить культуру без ужимок, прыжков и боевой раскраски того или иного клана, кажутся теперь тенями. В самом деле, хорошую книгу невозможно выпустить, хороший спектакль невозможно поставить, хороший фильм не возьмет прокат. Свобода дана нищему в насмешку, идейный диктат сменился денежным. И снова те, кто создавал и создает духовную ауру этой страны, оказались не нужны. Почему? Видимо, не зря говорил прозорливец Бердяев: «Русская интеллигенция не была еще призвана к власти в истории и потому привыкла к безответственному бойкоту всего исторического. В ней должен родиться вкус к тому, чтобы быть созидательной силой в истории». Созидательной силой — вот ключевые слова, вот упрек всем — бывшим и настоящим, вот то, чем русская интеллигенция никогда не хотела — или не могла — быть.

С одной стороны — чудовищное государство, самим своим существованием больше, чем в какой-либо другой стране, вынуждавшее интеллигенцию находиться в оппозиции, а значит, постоянно вырабатывать только негативную программу.

С другой — стихийные народные идеалы, искания, выходившие за грань всякой культуры вообще. Свобода духа, возможная, по словам того же Бердяева, только у тех, кто не слишком поглощен земными заботами. Казалось бы, что же может быть лучше? Свобода от земных забот — свобода от мешанства, золотого тельца, от быта. Однако на деле она оборачивается совсем иным — свободой от любви к своему ближнему (можно проливать слезы над участью гонимых палестинцев и ненавидеть старушек, стоящих рядом с тобой в очереди за молоком), оборачивается невниманием к реке, цветку, собственному дому и ребенку, короче — потерей человеческого лица. Вместо него — абстракция светлого идеала. В жизни это — холод и лень, в искусстве — всегда ложь.

Как трудно нам прилепиться душой к теперешнему, здешнему, требующему — сейчас! — руки, глаза, мысли. Как хочется смотреть назад, мечтая что-нибудь возродить, воскресить — казачество, например. Или вперед, опять же мечтая, чтобы все вокруг сделалось — вдруг — как в Париже или Нью-Йорке!

Но нет, невозможно вновь прирастить к веткам листья, опавшие в нашем печальном лесу, сколько на них ни дуй и ни плюй. И пальмы здесь тоже, к сожалению, а скорее — к счастью, не вырастут. Но можно попытаться сделать другое: посмотреть наконец не в сияющие дали, а себе под ноги. Ибо чем меньше мы посмотрим под ноги, тем больше наполняется холодом жизнь. Преимущественное внимание к политике, общественным делам и глобальным проблемам незаметно высасывает соки из самого близкого и насущного. Мы жалуемся, что не ходят в театры, на выставки, не читают стихов — а почему? Потому что люди хотят не холодных умствований и интересных формальных решений, а смеха и слез, настоящих чувств и настоящей психологии, страстей, любви и смерти, драматических переживаний, ярких и своеобразных характеров, они хотят пищи для ума и сердца — настоящей жизни, но не смазанной и обесцвеченной обыденщины, не куска сырой глины, а сосуда, наполненного временем и обожженного искусством. Потому что в конце концов каждому зрителю и читателю интересно поговорить только о себе самом, а современные авторы в большинстве своем перестали быть собеседниками. Ничего греющего душу не увидит, как правило, пришедший на выставку; как сказал петербургский поэт Е. Каминский: «Но лучше жлобы Налбандяна, чем ваше бесполое ню! / Да, я канареек люблю, люблю абажуров я солнца...» — то есть бытовое, земное, теплое, а его-то и нет. Нет его и в поэтических сборниках, все с большей наугой выпускаемых издательствами, — я намеренно не называю конкретных имен, это, по-моему, беда всеобщая. То ли и вправду смертельной оказалась прививка соцреализма с отрицанием «тихой лирики», то ли вообще что-то в нас безнадежно сломалось, но боюсь, грядущие поколения не узнают о нас самого главного — как же мы жили и любили. Мы знаем это о древних греках и римлянах, о средневековых европейцах, о своих соотечественниках — примерно до начала нашего века, со всеми пленительными деталями, предметами быта и обихода, тончайшими психологическими подробностями и неповторимыми приметами времени, — но мы не знаем этого о самих себе. То же самое можно сказать и о других сферах жизни — о семье, о природе. Видимо, одни так долго служили созиданию нового невиданного строя, а другие так долго им противостояли, что сил на саму жизнь ни у кого не осталось.

И главное, выхода не предвидится. Кругом разруха, и все говорят: надо поправить одно, наладить другое, позаимствовать третье и возродить четвертое, а потом уже можно и жить. Нет, нельзя, не получится. Только теперь, только сейчас — обустроить дом, ласкать ребенка, сгорать от любви, «возделывать свой сад» и писать об этом книги и картины — много времени не будет. Мы властны только над теперешним мгновением, и если это не будет понято, на полотне культуры вместо нашего лица зазияет безобразная прореха с рваными краями. А о том, как вернуть себе лицо, сказал еще Розанов, да так, как будто думал не о себе, а о нас: «По мере того, как год за годом и пятилетие за пятилетием ложатся на усталые веки человека, глаза его опускаются долу и начинают видеть иное и иначе, чем некогда, чем ранее. Укорачиваются горизонтальные созерцания, удлиняются вертикальные. «Политика», шумные «партии» — все становится глуше для слуха, скрывается «за гору Аменти», как сказали бы египтяне. Вокруг видится семья — «земля, на которой я стою», священное «аз есмь» каждого из нас: то, что смиренно и безвидно несет около нас труд, заботу, любовь, несет на плечах своих безустанных «ковчег» бытия нашего...»

Без обретения тепла и притяжения земного не обретем и лица. Без овладения нынешним мгновением не обретем будущего. Не став собою сейчас и здесь, не заплакав и не сказав о конкретном — о своем времени, земле, любимом человеке, дереве во дворе, — мы останемся «ни горячи, ни холодны», а значит, Бог «изблует нас из уст своих». Это касается прежде всего тех, кто претендует называться интеллигенцией, к кому протянуты руки за хлебом духовным: не дать бы просящему камень. Кто-то,

быть может, не ведает, что творит, но ведающему — не простится. В конечном счете от интеллигенции зависит будущее, от ее сердца и дыхания — будет ли оно настолько человеческим, земным и горячим, чтобы опять наступила весна и на месте опавших листьев снова появилась легкая зеленая дымка. От нас зависит, придет ли за святками Рождество, явим ли мы миру свое подлинное лицо, или оно навеки останется за размалеванными личинами.

## 3

Готическая ель полна остроконечных выступов и темных углов, затянутых паутиной. На ее травянистой паперти копошатся пестрые жуки, буряя струйка муравьев течет куда-то вверх и возвращается обратно, напуганная мраком и глубиной оживающих под ветром сводов. Ветви, полные движущихся теней, золотых и красных лучей низкого солнца, переплетаются, образуя тяжелые колоннады, галереи, купола, каннелюры и арки. В них кашляют химеры, гнездятся сиплые голоса, белки перебегают пугливым свечным пламенем, остро и душно пахнет смолой, и кто-то все время жалуется и плачет прозрачными слезами. Ель стоит опустив ресницы, медленно перебирая четки фиолетовых шишек. Время от времени черная шелковая ворона встрепенется среди иголок, встряхнет лоснящимися рукавами и, прокаркав отрывисто раза три-четыре, затихнет. Верхушку ели, взметнувшуюся к небесам с одиноким отчаянием, с последним вызовом, венчает крест.

Другое готическое растение, пламенеющее и по форме, и по цвету, — иван-чай. На него нужно посмотреть, когда он только расцветает, когда он опоясан внизу в два-три ряда пульсирующими розетками, малиновыми днем и фосфорически светящимися ночью, а над ними вздымается тонкая башня, шпиль, унизанный изогнутыми бутонами — точно такими, как на соборе святого Якоба в Риге. А внизу — ряды узких и длинных листиков, прорезанных в воздухе, как окошки в иной мир. Шпили тянутся вверх, извиваясь и изгибаясь прихотливо и неуловимо, как языки огня.

Вот замерла у дороги слоистая пагода лопуха, широкие ярусы громоздятся друг над другом, сужаясь кверху, а в каждом пепельном репейном шарике трепещет по угольку.

Молчит рядом крошечный буддийский колокольчик.

Вот выполз слабый стебель выюнка — как будто из волнистого окна в стиле *fin de siècle*, вьется, змеится, еле удерживая перед собой граммофонный раструб бледного цветка. Разбивая рыбу чешую воды, вынырнул лист кувшинки, словно зеленое витринное окно с желтым светильником на длинном стебле. Все линии протяжные, безвольные, капризные, как бы любующиеся собой, ищущие поддержки, восхищения, объятия. Белая лилия покачивается в конце сада, как только что покрашенный дом конца века где-нибудь на Петроградской стороне, — дрожащий от волнения: хорош ли? наряден ли? Этот дом стоит — как будто зеркало перед собой держит, отражается во всем вокруг и сам отражает все, переламявая и искривляя, как стеклянный шар: и прошлое, и будущее, и готику, и ампир, и уже наступающие отовсюду беспощадно параллельные прямые и пустые твердые углы.

Луг, сад, лес — весь мир со всеми городами и деревнями, со всеми царствами, эпохами и стилями. Все построенное уже было, цело, зеленело давным-давно, все чугунные решетки, тяжеловесные арки и кружевные балконы тысячи раз расцветали и рушились — в крепостных башнях крапивы, в могучих литых дудках на берегу реки, в резном кружеве морковной ботвы. Самые изысканные орнаменты, самые остроумные строительные решения затаились в пыльной пыли и укрупных стеблях. Обо всем уже думали до нас, и чертили, и горели, и плакали от восторга. Поэтому ни одна живая линия, ни один живой штрих не окажется в этом мире незнакомым и чужим.

Вот именно — живая линия и живой штрих. Классический лес колонн, цветущее лепное разнотравье рококо растут непосредственно из настоящих стеблей и стволов, расцветают по тем же законам и питаются теми же соками. Сколько прождал жесткий упругий акант, пока не брызнул мрамором со всех коринфских капителей? Сколько томилась длинная шатровая шишка, пока не вспорхнула всеми чешуйками на древнерусскую колокольню?

Пейзаж городов и селений — рос, цвел, он был живым пейзажем. Нам выпало жить — в мертвом.

Кто придумал эти гладковыбритые голые торцы, на которых ничего не растет? Кто придумал ровные плешивые крыши и чердаки, узкие, как лбы кретинов? Кто повелел молиться бесплодной прямой линии, выражающей только ужас бесконечности, которую человеческий разум не может и не должен вместить? Кто, забыв о веселом треугольнике, о прекрасном шаре, провозгласил, что объем имеет право быть только прямоугольным, и никаким другим? Кто, угрюмый и ленивый, пренебрег законом разукрашивать и наряжать все живое для всех живых — зазубривать лист, изгибать ветку, опущать ресницами глаза, одевать резьбой окна и двери, заострять или закруглять крылси, раскрашивать стены?

Где в природе найдется хоть что-нибудь похожее на современный многоквартирный дом, современный памятник и современный фонарь? Слава Богу, природа еще не настолько больна, и хоть сильно покалечена, но жива. Нечто подобное сухим серым линиям наших домов, улиц, стел, заборов можно обнаружить разве что в сухом горелом лесу, утратившем зеленую лепнину и резьбу и устремившем в небо темные унылые стволы. Хотя и это сравнение весьма натянутое, потому что настоящий горелый лес все-таки когда-то был живым, изгибы оставшихся ветвей и стволов напоминают об этом, а тот лес, в котором обитаем мы, живым не был никогда. Строго говоря, его вообще не существует. Это царство призраков, ужасных в своей неподвижности.

Нас уже не будет, мы уже уйдем, отмучившись в своих страшных загонках для безрадостного отправления естественных потребностей, — и тогда дети наши, может быть, вспомнят, что слуховое окошко можно прорезать сердечком, как липовый листок, и что лестница — это не обязательно десяток тупых бетонных углов: она может виться, как горная тропинка, или спадать мягким каскадом, как широкие террасы в тяжелой кленовой кроне. И что решетка — не обязательно покрытие от воров, но что она может быть еще и радостью, игрой, взрывом смеха, лукавым веером, кружевным платком... Много же им предстоит вспомнить...

Это не призыв переселиться в идиллические избы или начать строить старинные особняки вместо блочных домов. Но, продолжая спокойно существовать среди геометрических фигур, противоречащих законам естества, мы все-таки рискуем медленно, но верно сойти с ума. Или мы, не выдержав, начнем снова очеловечивать, закруглять, приближать к земле крыши и наличники наших жилищ, или наше сознание в конце концов незаметно превратится в жуткий набор одинаковых прямоугольных объемов и параллельных прямых, убегающих вдаль. Приближаясь к двери своего дома, сердце должно радоваться, а не обмирать от отвращения. Так оно и было всегда, и только мы, горделиво отделившись от прошлого, забыли об этом и окружили себя мертвым — вместо живого.

## 4

Из тьмы и нежити нашего средневековья мы, люди с вывернутыми шеями, привыкли смотреть назад. Сходство разительно: от ржущих мотоциклов, всадников в шлемах и едва ли не в латах, железно-кожаного антуража музыкантов — до покроя женской одежды. Но главное не вокруг и не внутри, а на горизонте, где и тогда, и сейчас — руины. И все культурное движение совершается если не к ним, то через них.



Одно видение преследует меня последнее время: изогнувшаяся волнами, качающаяся, как веер, изгородь, крепко схваченная нежным и страшным вьюнком в торжественных белых цветах. Слишком яркая лебеда расплескалась вокруг, слишком толстый конский щавель машет ржавыми лопастями, и гигантский фиолетовый репей застыл крылатой стеной. Никто не выдернет отсюда жердь для срочной надобности, никто не приляпает наскоро к дыре желтую шершавую доску. Одна калина безумно краснеет здесь каждое лето, вечная невеста. Ни детского плача, ни плеска воды. Это изгородь, отделяющая нас от самих себя. Куда бы мы ни смотрели, она всегда перед нами, ее, расколовшую надвое времена, не перепрыгнешь и не обойдешь. Голосу, только голосу дано преодолеть непреодолимое, сшить разорванные пространство и время. Именно это имел в виду Блок, предсказав перед смертью, что мы будем аукаться именем Пушкина в наступающей тьме.

Имен, которыми мы аукаемся, много. Более того, наше странное время повалилось справлять странные и грустные юбилеи забытых или убитых много лет назад. Все равно как если бы люди, забывшие о вашем дне рождения, когда вы были молоды и одиноки, вдруг пришли поздравить вас с двадцатилетием, когда вам уже стукнуло семьдесят, — таковы эти запоздалые чествования, отмены приговоров, приведенных в исполнение, принятие задним числом обратно в Союз писателей. Жутковатый карнавал дорогих покойников, демонстрирование внезапно обретенной памяти. Все это нужно, необходимо, но все-таки сегодняшний ветер, сегодняшний дождь может обрести смысл и наполниться голосом, срывающимся только с живых губ. Поэт, прозревая замысел Творца о времени и о себе, оплакивает его неудачу и тем самым как бы воплощает себя и время, дает им новое существование, более реальное, чем то, которое видит глаз. Поэтому эпоха, не имеющая своего поэта, мертва.

Туго приходится стихосложению к концу века. Удлиняется строка, расшатанные еще в начале столетия стопы задыхаются, тяжелеют, выпадая наконец в глухой осадок прозы. Легкие периоды привычных размеров превращаются в хромые дольки, точные колокольные рифмы уступают место надтреснутым созвучиям. Изогнувшаяся, давшая течь форма уже не удерживает смысла, одна фальшь порождает другую, невнятица рядится глубиной, абракадабра — благозвучием. Казавшиеся вечными фольклорные источники пересохли, реки цивилизации смердят и не рожают живое. Ирония обращает острие всякого смысла против самого себя, и, чтобы преодолеть сопротивление взбунтовавшегося мира, лирическое крыло должно быть вдесятеро мощнее, чем раньше.

Но нам голос — был. Он был среди нас, в нас, и мы лишились его, кажется, даже не понимая, чего мы лишились за наши грехи. То есть, конечно, поэт есть, и он пишет, и все читали его сначала в списках, а потом в долгожданных книжках, но, когда Бродский покидал наш город, мне и моим сверстникам было лет по десять, а значит, для нас он никогда не имел плоти. Ускользя от нас, он сразу превратился в некое шумящее древо (лавр?), преобразился в чистый звук, стал частью нашей речи (как, может быть, и хотел). Он, как известно, испил Овидиеву чашу, но ведь и нас постигла кара не меньше: не видеть своего единственного поэта, не дышать с ним одним воздухом, не сказать ему о своей любви. Чувство обкраденности, непоправимого уродства (как без руки или ноги) и жалкое утешение — оплакивать его изгнание, как прежде оплакивали роковые дуэли других.

Потому что поэт и читатель-современник — любовники. Из их отношений во многом складывается культура. Но как бы эти отношения ни протекали — с периодами охлаждения, с пароксизмами страсти, со скачками ревности, разочарований, измен, — единственная настоящая трагедия — это разлука. Она и случилась с нами, глядящими за океан из тихого тлеющего города, где снег расплзается по швам, улицы разрыты, сыплет-

ся пепел штукатурки и нечем дышать; из шереметьевского особняка, шелестящего рассуждениями о том, кто есть русский поэт, а кто русскоязычный; из настороженной глубины Васильевского острова; из зимы, кажущейся вечной, потому что с нами нет нашего поэта.

О чем бы ни писал поэт, он всегда пишет только о любви. Стихов не о любви не бывает. Бодлеровская «Падалъ» — все равно о ней же. Потому что выражение ненависти — лишь молчание, лишь уничтожение, забвение, черный квадрат, а всякое пристальное взглядывание в предмет, всякое внимание к детали, к мельчайшей и недостойнейшей частице мира — это выражение любви.

Среди вышедших в последнее время стихотворных сборников Бродского есть один, составленный совершенно иначе, нежели все остальные, — сплошь из длинных, длинейших стихотворений. Строки наматываются сотня за сотней, как будто натягиваясь на невидимый ткацкий станок, утѳк мысли, логики бегают по ним, скрепляя разбегающуюся основу, — словно автор одержим идеей заткать, заполнить речевой тканью разверзшуюся у ног пропасть. Не важно, какой узор мы видим на этой ткани: косяки бесконечно улетающих птиц, Авраама, бесконечно ведущего по пустыне Исаака, чтобы заклать, двух сумасшедших, бесконечно рассказывающих сны, солдата, пишущего генералу бесконечное письмо, Джона Донна, бесконечно спящего в рубашке и колпаке, — главное, что эти стихи самой своей бесконечностью как бы заговаривают, отрицают страх небытия, перспективу вечной разлуки, заливают ее собою, как морем. (Даты стихов тоже не важны — главные события жизни видятся заранее, издали.) Эти стихи — почти богоборческий акт, почти ночная схватка Иакова с Богом, право на которую поэт выкупил своей жизнью: «Только размер потери и / делает смертного равным Богу». Стихи ширятся, набирают мощь, как лавина, заполняют собой гибельную пустоту пространства — «чтоб сшить свою плоть, шить разлуку». Данте забыл в своем «Аду» еще один, самый последний, круг — круг вечного одиночества, оказывающегося страшнее, чем смерть:

Ведь если можно с кем-то жизнь делить,  
то кто же с нами нашу смерть разделит?

Потому что сознание, любая мысль, любое чувство существуют только в соприкосновении с себе подобными, как полюса магнита, в одиночестве же все превращается в абсурд, исчезает, помноженное на пустоту как на нуль. И Бог создал ангелов и людей, чтобы не быть одному, то есть чтобы существовать.

Пространство есть одежда времени, время вырастает из него, занашивает до дыр и сбрасывает, заменяя другим пространством. Это действие завораживает Бродского, в том или ином виде появляясь едва ли не во всех его стихах; он делает себя и нас его соучастниками. Это — скрепляющий обруч, подвижная ось, благодаря которой его стихи — все вместе — сами становятся неким мирозданием, цельным мифологическим пространством, со своим календарем, системой координат, сквозных опознавательных знаков и образов, встречающихся много раз (как, например, сравнение собора на площади с бутылкой на столе). У того, кто лишился всего, остается один выход — самому стать этим всем. Самому стать странюю, родиной, любовью, не ища потерянного снаружи. Бродскому это удалось.

Он кивает нам издалека, как будто из зеркала. Мелькает китайской тенью в рассказах повидавших его друзей, в кадрах венецианского фильма. Близость и притяжение его стихов пропорциональны для нас его физической удаленности. (И все же боль не отпускает: а ну пред-

ставим себе Пушкина вечным изгнанником — каких нитей и связей, какого силового поля в культуре мы бы недосчитались?) Мы говорим и пишем о нем, чтобы прикоснуться, хоть не рукой — бумагой, буквой, а увидим ли его когда-нибудь — Бог весть. Конечно, дважды в себя самого не вступишь, как в пресловутую реку, не хочется там, где была отмель, угодить ногой в омут. И все-таки, быть может, когда-нибудь нас простят...

## 5

Родина сжимается, как шагреневая кожа, от которой хотели слишком многого. Сжимается, разогреваясь от стремительного движения, обугливается по краям и горит под ногами. В задубелых складках северных изб молчаливо прячется Кремль, синие звезды суздальских куполов, обветшалая резьба. Сжимается кожа земли, кровотока трещинами, сминая леса и выплескивая моря, неудержимо стремясь к центру, к сердцу, сжатому смертной тревогой.

Уж не горит ли Москва? Нет, «Mac Donald's» сияет. Духовые оркестры, сладость и праздник моего детства (вместе с раскидаем и леденцом), надрывают душу возле каждого метро, руки нищих корявыми сучьями прорастают сквозь стены, черный ветер врывается в подъезды, взметая снег и шелуша чешую объявлений: «Сниму...», «Куплю...», «Продам...». На Москве, как всегда, хитрый восточный базар, депутатский колхоз себе на уме, в Петербурге — парадиз, ряд гнилых домов, обнажающихся в галантной улыбке, рубище, украшенное зеленой звездой фейерверка. А в лесах — темно, а в полях — пусто. Вьюга...

Мы никогда не хотели быть детьми этой земли. Мы хотели быть магами и заклинателями — клиентами Бабы-Яги, обладателями Емелиной щуки, ездоками на Сером волке. И волшебное зеркальце литературы помогало нам, являя задумчивых героев на распутье, всегда надеющихся на другого, а не на себя. Герои выпрыгивали из стекла, воплощались, множились. Не пора ли наконец решить, кто такой Иван-царевич — герой или все-таки вор, обокравший трех царей к своей вящей славе? Мы хотели того, что нам не принадлежит, и потому имели правителями черных магов, а не работников; мы любили бряцание и блеск своего дракона, отдавая себя и ближних ему на прокорм. Мы изменили сами себе, исказили Божий замысел о своей душе. Кровь невинных лежит на нас, и ничего не остается, как приносить землю в жертву за грех.

Дай то! Дай это! — кричали со всех сторон, растянув шагреневую кожу на глобусе и прибив гвоздями. Но гвозди проржавели, и она с треском сорвалась, запылав по краям и вспучившись посередине. Птица-тройка, роняя подковы, понеслась по спирали назад. Очнулся и забегал Ноздрев, суетливо продавая то ли ружье, то ли танк, взметнулись и рухнули маниловские мосты, а Чичиков вернулся на таможду. О, незабвенная сила слова, как тут не вспомнить Розанова — что «Россию погубила литература!» В самом деле, кажется, уже и не сыщешь человека, кругом одни персонажи, выдернутые на свет в недобрый час, — то ерофеевские пьяницы, то соколовские блаженные, то соловубовские мелкие бесы. Мы сами их придумали и — о, ужас! — в них превратились. Вряд ли где-нибудь еще существует подобная сила слова — духа, моментально отвердевающего в материю. Где-то поговорили, пошутили — зефир пролетел, а у нас все крыши поносило; где-то покричали — зарницы помелькали, а у нас — кровавым дождем пролилось; где-то написали и забыли, а у нас из букв леса растут, и поля наших книг бескрайни, и строфы стихов — как плуги, выворачивающие по весне влажную блестящую жизнь. Вряд ли поэтому и впредь обойдемся без слова. Что-то покажет нам замутившееся зеркало, кто выскочит из него завтра?

Вьюга свищет по всей земле. Разгуливают добры молодцы с узкими лбами и дубовыми кулаками, ищут, кто виноват. Нервные граждане лепят

решетки на окна. Плачет скрипка в подземном переходе. Рвутся в небо петровские петарды. С печальным хрустом рушатся последние каминьы, растаскиваются последние изразцы, дубовые двери и иконы. Сжимается шагреновая кожа. До каких пор? Где последний предел этого сжатия, этого зловещего стремления к небытию? Не там ли, где уже не слышно слова «дай!», где кончается материя и начинается душа? Земля может сжиматься и скудеть почти бесконечно, поскольку она прах, но если на ней есть хоть сколько-нибудь ее детей, а не чародеев и воров, около их душ она обязана остановиться, поскольку они вечны и неподвластны временным обстоятельствам. Поэтому деланием душ, старинным «умным деланием» предстоит нам заниматься в первую очередь, обжигаясь о время и дуя на пальцы.

И вообще слишком много крови пролилось здесь за последний век, слишком много постаралась для этого и литература — и ведая и не ведая, что творит. Тень Каина скрыла землю, а мы спрашиваем, отчего она не родит. Тень Каина легла и на дух, а мы удивляемся, отчего наше слово бессильно. Старинные поверья говорят, что пролитая кровь требует очистительных жертв, иначе земля становится бесплодной. Видимо, таких жертв требует и оскверненный дух, иначе и он останется бесплоден. И из поцарапанного зеркала словесности по-прежнему будут выпрыгивать безглазые монстры, вялые упыри и мертворожденные гомункулысы.

Свищет вьюга. Шагреновая кожа века сжимается кольцом вокруг наших душ. Но есть ли они на самом деле? Что, если мы только тени, скользящие по темному проспекту, в мертвых отблесках реклам и фейерверков, и ночь болтается на наших плечах, как гоголевская шинель, к которой уже тянутся невидимые руки, чтобы сорвать?..

## 6

Грустно жить в городе Петербурге. Грустно выглядит эта фраза, одиноко повисшая в пустом пространстве листа. Черные буквы, запыленные белым, стоят, как деревья в снегу. Скоро зима.

Но вообще-то Петербург — осенний город. Вечная осень золотит Исаакиевские купола, кровавит стены Михайловского замка, испещряет трещинами перезревшие гроздья лепнины на усталых домах. Вечная осень обнимает нас — бледным небом, «желтизной правительственных зданий», паутинками мостов, которые не смахнуть с лица.

Вокруг Петербурга — леса. Их летняя твердыня вздрагивает от ветра, границы зелени разрушены сиеной и охрой, башни кленов пылают. Осенний лес под дождем подобен древнему Риму в кольце разъяренных провинций, наполненный ненужной роскошью света и тени, вычурным золотом листвы, тяжелыми кистями боярышника; а куст, окаймленный пурпуром, — чем не патриций, идущий неторопливо из бани! Сытые имперские вороны, переваливаясь, расхаживают в траве, изредка вскрикивая, нехотя взлетая.

И внутри Петербурга — леса. То один дом, то другой зарастает вдруг густыми непроходимыми лесами, в надежде помолодеть и возродиться в их ржавой тени. То тут, то там обвиваются вокруг колонн и углов тросы, подпорки, сетки — удерживать расплывающееся каменное тело, собрать и прилепить на место облетающую листву. Остановить если не замысленное вначале цветущее лето — то хотя бы вечную осень.

Город без империи одинок. Он похож на вышедшую из употребления корону, которой поиграли, повертели в руках, выломали кой-какие зубцы и камушки, а потом, за ненадобностью, забросили в угол, завалили бумагами и канцелярским хламом.

Маленькой крепости как будто обидно, что она давно уже и не крепость, и не тюрьма и никому-то от нее не страшно и не тошно, а, наоборот, хорошо ходить по ребристой крыше между бастиянами и пить вино — зеленое, как небо, или красное, как листва далеко внизу.

А в крепости сидит маленький одинокий Петр, оставив напряженный взгляд куда-то мимо, мимо — мимо собора, мимо кладбища, мимо моих глаз, мимо боя часов, которого нет. Давно уж поставили тут эту странную скульптуру Шемякина, огородили зачем-то смешными веревочками, игрушечными заборчиками, а я вот гляжу на нее пристально в первый раз. Так уж вышло. Да, конечно, восковая персона... Но нет, голая беззащитная голова, нервные пальцы, нелепые острые колени, старающиеся стоять по-тверже. Обойдешь сзади — а там пустые трубы огромных рукавов, из них-то и высыпаются на колени беспокойные кисти в нежных манжетах. Закинутый назад затылок. Галуны, обшлага, пуговицы, пересчитанные до одной. Подозрительного стиля креслице со старательными гвоздями. И все-таки убери отсюда это маленькое бронзовое чудовище — и сразу станет пусто, потому что оно тут приросло, как будто век стояло.

Не знаю как, непостижимо, но Шемякину удалось сделать своего Петра настоящим. Бритый, одутловатый, в куцем немецком платье на нескладном теле, застывший в принужденной позе на хрупком сиденье посреди огромной страны — как будто теснимый со всех сторон тяжестью собственных свершений, блестящих, грандиозных, тихо проваливающихся в невский песок, торчащих отсюда кое-где уцелевшими углами. Взгляду, залетевшему за смертную черту, крепость кажется картонной.

Петр сидит, одинокий, как его собственная мысль о Европе. Сидит проглотив аршин, готовый — только тронь — вскочить и огрызнуться. Чуткие пальцы дрожат.

Идея империи не обладает живой и гибкой плотью — она местами пустая, как бронзовые рукава шемякинского Петра. Сдерни кафтан — и все развалится, раскатится в разные стороны. Так вот раскатывается Петербург, эту идею воплотивший. И трещат мозги у каждого гражданина, вернее, бывшего подданного, потому что у каждого в укромном уголке закатился, затаился, крепко застрял известный обломок. Образ империи не выкинешь, как старую шляпу.

Да и вообще приобрести что-нибудь — болезнь, например, или шкаф, или привычку — легко, избавиться же затруднительно, иногда невозможно. Только привыкни жить в тени широких орлиных крыл, под взглядом двух хищных голов, — а потом попробуй обойтись без этой тени, без баюкающего клетота, без восторга — когда глаза слезятся от яркого солнца. Даже тот, кто говорил: «С миром державным я был лишь младенчески связан», — тем самым признавался, что связан с ним как раз теми узами, теснее которых нет, — что же крепче и неистребимее младенческого?

Связь бывает радостная — в виде восхищения и гордости: «птицатройка», «Клеветникам России» и т. д. — список текстов, искрящихся, как праздничное шампанское, велик. Но даже связь отрицательная — в виде протеста, бунта, отвращения и страха — все равно связь. «Если выпало в империи родиться, / лучше жить в глухой провинции у моря», — да, конечно, не хочу, не буду, но зато какая перспектива, какие дали, моря, леса, какие струны натягиваются между столицей и провинциями, блестящим центром и насмежливыми окраинами. Это совершенно особая жизнь, обязанная своим трагизмом, игрой, перспективой, глубоким дыханием — кудрявой имперской раме, в которую эта жизнь заключена.

Я помню демонстрации, всплывающие из того же младенчества. Когда тебе четыре года, и ты сидишь на плечах у отца, и тебя еще не тошнит от свекольника портретов и лозунгов — тогда река толпы, вздымающаяся, уносящая с собою, укачивает и опьяняет, даром давая ощущение волшебной легкости и силы. Это зелье все мы испили в детстве, и оно до сих пор неслышно переливается в крови.

Империя может позволить себе широкие жесты. Дарить зараз по несколько сел и деревень. Высылать поэтов куда-нибудь в Бессарабию или на Кавказ. Поворачивать реки и осушать моря. Каждый из нас к этому

вроде бы не причастен, но когда границы сужаются, у каждого екает сердце и где-нибудь жмет — словно одежду выстирали и она села. Каждый ненавидел ложь, ненавидел пальцы, ощуtimo лежавшие на горле, но все же отвыкнуть от империи не так просто. Словно, приучившись к определенному давлению и внезапно лишившись его, вдруг замечаешь впервые страшную тяжесть собственного тела, видишь неудобную форму души, с которой всегда твердо знал, что делать: прятать, — а теперь?

А теперь стыдно. Силы ушли на то, чтобы сохранить. Что? Зачем?

Рассыпаются фейерверки, набухают пузыри воздушных шаров, как в дурном сне, поднимается за спиной скелет осьмнадцатого века. Круг замыкается. Глаза слезятся уже не от яркого солнца — просто что-то попало в глаз, нет, глубоко в сердце, — то же самое, что и Каю в длинной морозной сказке: осколок зеркала тролля, коверкающий все живое, ищущий истину в мертвом и ледяном. Осколок, который притягивает и «слава, купленная кровью», и ровные рощи знамен, и регулярные парки братства и процветания. Осколок, который можно вымыть только слезами.

Всякая любовь кончается. Вернее, всякая любовь кончается во времени, потому что в вечности она не кончается никогда. Влечение провинций к победоносному центру, овеянное магией силы и власти, когда-нибудь завершается презрительным взглядом на дряхлеющего властелина: «Старый муж, грозный муж...» Его больше не боятся. Его больше не хотят — ни его языка, ни его культуры, ни его побед. Хоть режь. Хоть жги. Его даже не желают помнить — ни как любил, ни чем дарил, — разве что как наказывал. Гордо передергивают плечами и уходят в ночь. Потому что — пусть любил, пусть дарил — нельзя забыть унижения. Потому что, расставаясь с тем, с кем прожито полжизни, хочется вспоминать только побои — чтоб не жалеть о поцелуях. Ласки, отравленные унижением, горьки и колючи, как чертополох. Осень империи забрызгана красным. Пылают щеки детей, краснеющих за отцов. Сжимается сердце, где все еще не растаял ледяной осколок, упрямо вставляющий в незримую раму великой державы любой пейзаж, любой дворец, любую помойку — и только в собственную душу упрямо не желающий взглянуть. Обагрятся далекие границы. Обнажаются черные дула сучьев, холодные острия ветвей. Скрюченная, еще сильная рука сжимается в забвении — нащупать, удержать, сдвинуть в последний раз то, что неотвратимо ускользает. Брызжет кровь.

Просыпаются тени... Пьяные окрики, выстрелы, звуки приближающейся охоты. Сытые холеные егеря пронесаются мимо, взметая облака пестрых листьев с горьким запахом. Летят борзые, узкие, как бритвы.

Вновь тишина.

Частная жизнь — прозрение, выдох сластолюбивых губ Розанова, пронизанных мученической складкой; шелест голоса, мятущегося на осеннем ветру, пылающего, как осенний лист — перед тем, как сорваться с родимой ветки. Частная жизнь, плоть и кровь времени, разрушающая царства. Почти исчезающая, густо перечеркнутая жирными карандашами государственных планов, ушедшая, как река, глубоко в кровавую глину, только она размывает исподволь незыблемые твердыни, бронзовые постаменты, так что истуканы, стоящие на них, сморщиваются и усыхают. Опускается рука, властно указующая вдаль, на новые рубежи, конь, клубящийся вперед и вверх, съезживается до четвероногого стула, взлетающий кафтан сонно складывает крылья. Ветер, бурлящий в волосах, стекает потом с голого черепа, лицо, дышащее огнем, замерзает, подергивается ледяной корочкой, глаза стекленеют. Медный всадник на открытом берегу превращается в бронзовую персону, заключенную в собственную крепость, как в шкапулку.

Вот он сидит, близкий и нестрашный, — можно потрогать игрушечную шапку, острые коленки, но заглянуть в глаза нельзя: он не видит нас, гля-

дя куда-то вверх. Лицо двоится, троится, слюится темной водою, а в глубине мерцает дно — смутные черты языческого идола, ждущего жертвы. Как дракон свои сокровища, он охраняет империю. Его почти не видно, разубранного лентами маскарадов, закиданного конфетти орденов и салютов, — но древний деревянный рот не успокоится, пока не будет смазан кровью. Он жаждет унижения окраин, крови сыновей, невинности дочерей, он жаждет наших душ, обращенных к нему, а не себя, он жаждет забвения жизни, любви и смерти — и оглушительного «Виват!». Бог даст, не дождется.

Никакого идола невозможно сокрушить, разбив и бросив в реку, — капища, пусть невидимые, снова вырастут, как грибы. Идола можно только забыть. Смерть Кашея — на кончике иглы, на кончике памяти. Идол умирает от равнодушия. Частная жизнь дерева, частная жизнь рук, лежащих на любимых плечах, частная жизнь души, его не замечающей, — ему оскорбительна. Идол империи, требующий обожания и крови, живет, пока есть руки, протягивающие ему положенную жертву, но он умирает от голода, если его не кормить. Его надежда — взгляд, обращенный из души наружу, — этот взгляд можно уловить и заморозить заклинаниями о силе, доблести и власти. И только взгляд, обращенный внутрь души, неуловим, неуязвим и бесконечен.

Треплется красный лист над головой бронзовой персоны, падает на колени — мимо дрожащих пальцев. Неровные подсохшие края похожи на края страны. Душа замирает, глядя в неподвижные глаза истукана. Чтобы не сойти с ума, как бедному Евгению, нужно вовремя отвернуться.

Тишина. Осень.

Ворона, взорвавшись в ветвях, тяжело перемахивает через бастион и скрывается на том берегу, в ржавых лесах дворца.



---

---

ЯН ГОЛЬЦМАН

\*

## ЧУДИТСЯ, СВЕТИТ, МЕРЦАЕТ...

*Этюды*

### ЯНВАРСКИЙ ДЕНЬ, ГЛУБОКАЯ ЛЫЖНЯ...

**Я**ркий полдень в сосновом бору. Легко скользить по накатанной, давно пробитой в сугробах глубокой лыжне.

...Серый шарик — круглый мышонок — вдруг выкатывается откуда-то сбоку, слепнет от солнца и снежного блеска, не успевает юркнуть в дырочку по другую сторону тоннеля, прорезанного моей лыжиной, и теперь бежит, бежит, бежит впереди меня по бесконечному белому коридору, по твердому доньшку студеной траншеи, испуганно озираясь на ходу. Малыш понимает: далеко ему не уйти, а потому отчаянно бросается — то влево, то вправо — на отвесные стены, только не выскочить ему из глубокой колеи!

Между тем нечто чудовищное по размерам неотвратимо надвигается, тяжело сопит, нависает, застит ясный свет. Все это — над землю, а понизу лязгает и шипит, чуть ли не вплотную к хвостику подсакивает рывками спереди загнутая, сверху заостренная, остро пахнувшая смолою широкая доска.

Я представил себя — бр-р-р! — на месте крохотного звереныша и устыдился своего азарта. Лыжи скрипнули и стали. Лыжник выдохнул клуб белого пара. В наступившей тишине Серенький пробежал еще сколько-то, виляя из стороны в сторону, кося темной бусинкой глаза, и, наконец-то углядев родственное отверстие в снежной стенке, канул в темноту сугроба.

...Уже за полночь, когда березовый жар в печи потемнел, подернулся пеплом, хрупкий слой которого округлял очертания углей, я, погружаясь в дремоту, припомнил сияющий наст, густые тени на снегу, мышонка. Подумалось: «Вот и мы, стиснутые обстоятельствами, гонимые судьбой, бежим, бежим, бежим по своей глубокой колее. Бежим, куда не скроемся во тьму».

Но в ту зиму я был еще молод, самонадеян, полон ожиданий, а потому горькая мысль показалась мне излишне скорбной, больно красивой, слишком литературной. Через несколько часов над заснеженными соснами восточного берега обещал вспыхнуть рдяной полоской новый, просторный, ослепительно синий январский день. И, глубоко вздохнув, я уснул с легким сердцем.

### ЛЕШИЙ ВОДИТ

— Блудливо Куусэньское болото. Блудли-и-во!

И впрямь разлапистое, унылое, во всю свою ширь и долину утыканное редкими соснами, чахнувшими на кочках посреди мочажин, изредка пере-



межающееся низкими боровыми языками, где стволы разве чуть повыше и погуще, лишенное заметных возвышенностей болото таково, что закружиться в его морошечных мхах — раз плюнуть.

И все же по Куусеньскому я всерьез не плутал. Верно, потому, что не зарывался, не отходил далеко от старой тележной дороги, которую напо-следок, перед закрытием «химдыма», угробил списанный армейский бронетранспортер. Долгие канавы, прорытые его слепыми гусеницами, вечно полны водой, а посерединке, промеж колеями, тянутся гуськом елочки-сосенки да стоят по осени всякие грибы.

Зато на Великом болоте я, извиняюсь за выражение, блудил, блудил и блудил. И всякий раз случалось это по весне — в конце апреля или начале мая, после бессонной ночи на глухарином току, пока еще держит, вздымает наст, предательски слабнувший под дождем или туманом, не говоря уже о рассветных лучах. Впрочем, и солнца не было во дни моих заблуждений-блужданий: кружил я всегда в дождливые, темные зори, когда весь окоем однообразно, беспроблетно ровен. Кабы проблескивало Светило, я бы точно знал, куда мне идти.

Закоренелый нетурист, пешеходец-одиночка, я, считай, всю жизнь прожил, не прибегая к помощи магнитной стрелки, доверяя собственному чутью. Компасы, которые я заводил поначалу, как-то не приживались — вскоре начинали дурить, ломались, терялись... Доводилось, само собой, ошибаться, плутать, но я нимало о том не жалею. Двигаться в групповом порядке, загодя зная, куда придешь, всегда казалось мне занятием пугающим, и если не вконец бессмысленным, то уж, во всяком случае, лишенным тайны и очарования.

...Кстати, потеряться на Великом болоте — запороться в широкую разливу, журчащую на разные голоса, гроыхающую темным ночным ледком, или в частый колючий ельник его грив-островков очень просто не только в потёмни, но и при белом свете, поскольку на глухариный шелк-скрежет идешь поминутно замирая, не глядя по сторонам, почти не разбирая пути, случается, подолгу, делаешь крутые повороты, и заносит тебя в конце концов Бог весть куда.

— Пробегу по борам и скоро вернусь!

Обычно приветливая, ровная в разговоре тетя Катя оборвала меня сухо и строго:

— Не бай так николи! Старик Федя пошел, сказал: «Ставь, бабка, самовар, скоро с лесу приду». Дак боле его и не видывали...

И то сказать: откуда в нас эта самоуверенность, граничащая с наглостью или вызовом? А может, напротив — вера наша и хранит нас по молодости? Живем и верим, что ничего дурного с нами случиться не может.

Много лет назад пропал в тутошних лесах молодой мастер химлесхоза. Вышел из одной избушки подсочников и бесследно исчез, как в воду канул, так и не дошел до другого участка. Несколько месяцев шарили по окрестным малягам<sup>1</sup>, да отступились и махнули рукой.

— Не бай так николи: то слово, что стрела! Скажи: «ненадолго в лес схожу», «скоро приду», «прямиком пройду» — тут и все, шабаш. Услышит — заведет, что и не выйтить. Не-е-е, не выбирисся!

...И старухи наши встрепенулись, заговорили разом, перебивая друг дружку...

Лично я Лешего покуда не встречал, врать не стану. Зато многожды видел Федю Кукасовского — Царствие ему Небесное! Когда-то он дважды в неделю привозил на рыжей коняшке зеленый ящик с хлебом — трудился, добирал недоданные ему по бумажной оплошности пенсионные годы. Был дедок не стар, а как-то древесно-древен, росточком мал, коряв, к тому же

<sup>1</sup> Маляги — глухие распадки (сев.).

невнятен и причудлив в беседе по причине крепкой глушины. Невеликое личико его скрывали клочковатые сивые волосы. Светлые глазки живо поблескивали из густых зарослей. Обычно Федя азартно и невнятно спрашивал о чем-то. Сколько-то выждав, не дождавшись или не расслышав ответа, сам себе кивал-отвечал, видимо давно уже не надеясь на отклик человечества, и тихо отъезжал на скрипучей телеге, растворялся в бору.

Не помню подробностей, но ощущение осталось: даже причудливое одеяние маленького деда Федора, который приезжал из деревни Кукасово, дивно соответствовало его образу. Иной раз думаю: а что пришло бы в голову мне, человеку не шибко суверенному, встретить я такого Федю с посошком в руке на глухой таежной тропинке?

— А от молодых Он ноне отпёрся. Отпё-ё-ёрся! Они, молóды, не верют — Он и отпёрся... А уж все-таки есть кака-то сила, что ни скажи, а е-есть!

...Я уже немолод. И грехов, надо думать, не поубавилось. Опять же, стоит нам постареть — и у Лешего появляется верный союзник — потеря памяти, склероз. Однажды рыбаки-пудожане привели в деревню мою соседку: самая молóдая из наших пенсионных, но женщина грузная, любившая подолгу сидеть на лавочке, она закружилась, считай, у собственного порога, за ближним перелеском. Потерянно стояла и плакала на развилке дорог.

Видно, пора безоглядной самонадеянности миновала. Можно ли теперь, прожив долгие годы, исколесив тыщи верст, дерзко сказать: «Пройду из точки К в точку Х», «Пробегу по лесу и на закате вернусь»? А что, как вернешься ты через неделю, через месяц, через несколько лет? Или не придется никогда...

Помимо ледниковых гряд — бессчетных каменисто-песчаных волн (порою весьма крутых, почти отвесных — трепещи, сердечник!), кроме бесчисленных болот и болотинок, среди которых ядовитой зеленцой и тусклой ржавью поблескивают окна-глазови́нья, есть у северного Лешего еще бездонные озера.

Малые ла́мбушки<sup>2</sup>, темнеющие меж крутыми кряжами, и просторные водные зеркала на равнинах — все они живописны и коварны по-своему, но роднит их... отсутствие твердого дна.

Прошлой осенью я впервые разглядел одно из таких озер, хотя мимо него и по берегам проходил не однажды. Долго плавал я в плоскодонке-дощанике, любуясь чистым отражением октябрьских березняков и осинников в недвижной светлой воде. Тучи уток. Тишь и оглушающее эхо. Мое «эй!», мгновенно отраженное высоким берегом Кíзера, успевало трижды повториться, перелететь туда-сюда, и всякий раз эхо было громче породившего его голоса.

По всему пространству тихой воды просвечивало почти ровное близкое дно. До него, казалось, рукой подать, однако весло, кое-некое вырубленное из горбыля, всякий раз уходило в никуда, поднимая темное облачко взвеси.

Сколько местных, не говоря уже о пришлых людях, кануло в такой вот прозрачной воде! Обычно бездонное, озерко кажется теплым и мелким, как евпаторийское побережье, но если с берега, прогибающегося под ногами, ткнуть шестом, шест, как в масло, уйдет в темноту, не встречая опоры. Многометровый слой бурой взвеси — остатки водных растений, густо поднимающихся в июне и оседающих в предзимье, — неуплотнившийся покуда торф будущих тысячелетий лежит в глубине.

Даже сильному пловцу суждено пропасть, не выбраться из этого киселя, если разошедшийся челнок вдруг затонет посреди бездонной ламбины, такой безобидной с первого взгляда.

<sup>2</sup> Ла́мба, ла́мбина, ла́мбушка — малое лесное озеро (сев.).



га чистая, кўлгомска — ни бурелому, ни воды. А лукошко так и не сыскала, не-е-е. В майку ягоды сыпать стала...

— А Федя-то Агапитов! Сено косили, пошел носов посмотреть. «Я ужо недолго, носов погляжу». Но... только вышел, в лес входить стал — Григорий Кукасовской навстречу. «Ты чё, носов поглядеть?» — «Ну, носов...» — «Подём, я те покажу».

Иду за им, грит, а он шибко бегит, я все назади. Чё ни спрошу — не разговариват. А кругом — така чаща, така чаща! Тут мне в ум и вдарила: «Дак не Гриша ведь, не Кукасовской! Кабы Гриша, пошто не поздоровкался? Пошто не разговариват?»

Стал я на месте, спинжак вытряс, рубаху вытряс, споднее — тож. А он так обернись да спроси: «Што стал-то, подём, подём». — «А поди ты, — кажу, — на хуй!»

Эх, как он загогочет, в долбни хлопнул, засвистал... Не скоро я выбрался. «Где был?» — спрося. «Где был? А Леший мя водил...»

... — А то был еще старик Солодяжников, век свой полёсовал. Хо-ороший охотник был, знамениты. Ни лешего не боялся: за белкой уйде — две недели в лесах пробродит.

Сижу, грит, у костра — под вечер уж дело, — приходит, садится. А порты-то ватны — худы-ы, все причиндалы видать.

«Ну у ты и порты, — говорит Солодяга. — Одна срамота. Тьфу!» Эх, как он вскоче, да как засвище, да как хлопне, да пойде — захохоче: «Солодяга, — грит, — порты хорошие! Солодяга, — грит, — порты хорошие!»

...Я просыпаюсь от сырости и вновь проваливаюсь в дрему под заунывное шелестение бисерного дождя. И опять приходит ко мне маленький дед Федор из деревни Кукасово. Шевелится, выпячивается, что-то настойчиво выкрикивает его шерстной беззубый рот. Тычет куда-то черный неразгибающийся палец. И опять я силюсь, силюсь, да никак не могу понять: о чем он твердит, чего от меня хочет?

## ВАНЬКА И ФОМКА

Во флотской команде, где я дослуживал срочную, был Ванька Баранов по кличке «жид», старшина мотористов из глухой алтайской деревни. У меня была более благозвучная по тем временам кликуха — «комиссар»: все четыре года в полном соответствии с демократическими нормами я избирался комсоргом, что свидетельствовало о некоем общественном признании. «Патриотические» газеты тогда еще не издавались, так что национальный вопрос в нашей сильно интернациональной команде решался чисто интуитивно.

Впрочем, это опять некстати ветвится глициния ассоциаций, кучерявится хмель моих воспоминаний. Я не про Ваньку Баранова, совсем напротив, — я про барана Ваньку, который некогда летовал в нашей таежной деревне.

— У-у, жид сатоньский! — говаривала, бывало, Лизавета Ивановна, имея в виду барана.

По осени он вместе со своим вконец задолбанным, вечно брюхатым, безропотным блеющим гаремом увозился в соседний поселок, где постоянно обитал его хозяин — заядлый рыбак. Там Ванька всю долгую северную зиму томился в темном и тесном закутке за крепкой огорожей, орал дурным басом, тосковал по тощим, стриженным уступами ушастым женам, которые наконец-то могли отдохнуть от его зверской любви, и готовился к весеннему реваншу.

В первых числах мая крытый леспромхозовский вездеход тяжело взбирался на деревенский угор, и дюжие руки решительно вышвыривали в

первую робкую зелень еще более щедушных, запаршивевших от неподвижности и темноты ярушек и овец. Первым, естественно, кубарем вылетал матерый баран. Зычно крикнув при встрече с родимым суглинком, он невозмутимо подымался на ноги, запрокинув круторогую башку, раздувал ноздри, шумно вдыхал острые запахи вешней земли и победно озирал подвластные ему уголья: синее пространство большой воды, со всех сторон обступившее горбатый полуостров, пятнистую прозелень ложин, ветхую часовенку у дороги...

С этого дня Ванька брал власть в свои руки.

Люди, которым он, как им, людям, казалось, принадлежал, навевались нечасто: проверят, переставят сети-ловушки — и снова укатят в поселок. Баран сам поутру выводил свое малое стадо на сладкие мелкие «овечьи» травы, сам на закате приводил их к старой избе на берегу. Когда приходила пора покоса, на луговых травянистых всхолмьях темнели заметные тропы: стадо ходило гуськом по одной и той же дорожке. Ванька величественно шествовал впереди, овцы, как восточные жены, следовали в некотором отдалении. Если Сам останавливался, углядев на обочине клеверинку или лиловый мышинный горошек, и принимался задумчиво жевать, встряхивая кудлатой серой, утяжеленной завитыми рогами башкой, тут же останавливались на почтительном расстоянии и самки, и ягнята, и молодой баран, которого вожак постоянно бодал — держал в черном теле. Все начинали что-то выискивать в густой траве, флегматично двигать челюстями под звон кузнечиков, роняя зеленую слюну. Но стоило Ваньке не оглядываясь двинуться вперед — вслед за ним трогалось все жвачное семейство.

Летом вымирающая деревня временно оживала, появлялись автолюбители природы, наезжали городские дети-внуки. Людей баран откровенно презирал. Он мог, скажем, ровным шагом подойти к человеку и не задумываясь укусить за ногу. Белую лайку, приехавшую из столицы, Ванька решительно загнал в угол и, вскочив на испуганно озирающуюся сучку со стороны пушистого хвоста, попытался сделать то самое, что привык ежедневно проделывать со своими безропотными комолыми женами.

Кстати, бедным овцам он досаждал не на шутку. Особенно страдали от его домогательств тяжелообрюхие на сносях, а также щуплые ярушки-отроковицы. Доходило до прямого членовредительства. Порою человек из поселка, которому принадлежало стадо, запирали самок в нижний двор, а похотливого Ваньку крепким батоном гнал за калитку. Баран тут же принимал ответные меры.

...Склонив голову к земле, он неспешно пятится, что-то кумекает, примеривается. И вот, опустив рога, с каждым шагом убыстряя галоп, Ванька уже несется туда, где поблескивает стеклом и никелем, пованивает бензином темно-красный мотоцикл с коляской, принадлежащий обидчику. Удар! Звон разбитой фары, скрежет прогибающегося металла. Крик, матерчат. Между тем взбешенный Ванька вновь отходит на ударную позицию...

Случалось, рыбак приезжал на озеро с опозданием, и тогда в сетях белело сколько-то снулых, успевших «залиться» в теплой воде окуней и щучонок. Ваньке так понравилось жрать «залитую» рыбу: с хрустом перекусывая, разжевывая осклизлые рыбы тулова, головы и хвосты, что он прихорючился встречать хозяина еще на берегу. Стоило лодке ткнуться носом в траву, как с крутого бережка, завидев улов, с ходу прыгал грузный баран. Выкинуть его из лодки было потом делом совсем непростым.

Словом, ни сладу, ни удержу не было с этой скотиной!

...А повыше, через лужок, жили Васина и Пеша — Царствие им Небесное! Пеша, Петр Петрович Абрагимович, в юности белорусский партизан, затем сталинский интеллигент и, наконец, карельский серогон-подсочник, как и положено белорусу, любил сало, а потому держал свиней. Сперва повизгивая, потом похрюкивая, постепенно увеличива-

ясь в размерах, две свиные особи так и ходили за ним повсюду. В пределах деревни, разумеется. Когда наступало время забоя, Петр Петрович искренне скорбел, страдальчески морщился, куда-нибудь прятался и появлялся вновь уже на стадии разделки туши. Свинку Пеша неизменно называл Машкой, кабанчика — Фомкой. Изредка — случалось и такое — по пятам за бывшим партизаном трусили, похрюкивая, Фомка и Еремка.

С харчами в те годы было просто: автолавка мешками возила в деревню всякие крупы, только закажи. Молочные поросята на каше и хлебушке скоро становились подсвинками, а перезимовав, выходили на травку ладными свиньями-кабанами. Но в запасе у них еще имелось целое лето, к полному корыту прибавлялись летнее разнотравье, чистая водушка и благодатное тепло, так что к сентябрю Машки-Фомки-Еремки тучнели и матерели, сильно увеличивались в размерах, но при этом не теряли первозданной подвижности, ведь обитали они, можно сказать, на природе.

В тихий сентябрьский день, когда Машка и Фомка безмятежно рылись у соседского хлева, на них и налетел вконец распоясавшийся баран. Толстозадая Машка, получив удар в бочину, пронзительно залилась по-поросячьи и, повизгивая, кинулась к своему двору, но в подслеповатых глазках добродушного Фомки зажглись мстительные, недобрые огоньки.

Тут-то и нашла коса на камень: бешеный Ванька неожиданно-негаданно встретил решительный отпор. Теперь на зеленом склоне, на лужайке между старыми избами, серебристыми от бесчисленных дождей и вьюг, почти ежедневно сходились поединщики. Редкие свидетели этих стычек едва ли догадывались, что разворачивается битва не на жизнь, а на смерть. Не подозревал об этом и сам зачинщик скандала: голокожая безрогая хрюкающая туша на коротких ножках казалась Ваньке славной мишенью, толстой тренировочной грушей, набитой салом и потрохами.

Сходились, значит, на береговой луговине промеж домами. Именно туда стал неуклонно выходить многожды избитый Фомка. Похоже, за толстой жировой прослойкой стучало сердце турнирного бойца, а в продолговатой коробке черепа таилась и зрела мысль.

...Завидев врага, баран давал задний ход, пятился, пятился... Отходил метров на пятьдесят, останавливался, фыркал, взрывал дерн задним копытом, рывком опускал твердолобую башку и, косясь исподлобья, бросался в атаку. Гулкий удар, постыдно-поросячий вопль: «Й-е-е-е-е!» — и все повторяется сначала: Ванька пятится по жнивью, а Фомка ненавидяще, хрипло похрюкивая, стоит, где стоял. Ему нечем встретить сокрушительный лобовой удар — рыло для этого не годится. Что остается? Остается в последний миг подставить лопатку, защищенную толстой шкурой и салом.

Удар! Слышно, как что-то екает и клацает в потрясенной кабаньей утробе.

Й-е-е-е-е!

Но Фомка не отступает. Стоически переносит битье, вопит, хрюкает и, видимо, медленно свирепеет. День ото дня становится все отчетливее, зреет кабаньих замысел. И вот однажды, тотчас после удара, «мишень» ухватила-таки притормозившего по инерции Ваньку за ногу — рывок! — и опрокинутый баран уже предсмертно хрипит, а страшная кабанья пасть сжимает баранье горло.

Набежавшие люди едва отбили барана: Фомка сипел и отплевывался шерстью, в красных глазках его светился праведный гнев.

...Вскоре потерявший всякое терпение рыбак-хозяин зарезал Ваньку. Мясо, как водится, съели, а изжелта-серую свалывшуюся шкуру бросили, верно, на «вышку» — на чердак.

Да и Фомка, бедолага, ненадолго пережил своего врага...

## ЧУДИТСЯ, СВЕТИТ, МЕРЦАЕТ...

Еще вчера угоры, высокие береговые носы, лесистые острова и островки светились как-то неправдоподобно, а недвижимое озеро еще удваивало блеск — выдавало опрокинутые сияния багряно-лимонных или иссиня-карминных осинников, нитяную голубизну пустых березняков.

Острое светлое пламя октябрьских черемух... Легкая пестрота и восковая тяжесть склоненных над водою рябин...

Размах и чрезмерная яркость зрелища временами вызывали чувство почти мучительное: вновь и вновь я ощущал себя единственным зрителем дорогостоящего представления. Неужто ради меня одного явлена вся эта избыточная красота?

На островах — горьковато-терпкий дух вянущего листа, темные соцветья подсыхающей костяники. Редкие ягоды черной и красной смородины поблескивают на почти голых уже ветвях, но какой полнотой вкуса дарят эти последние ягоды!

Сквозь пестроту опавшей листвы еще пробиваются белые грибы. Издали семафорят рослые и крепкие октябрьские красноголовики.

...Две недели к югу тянули гуси. Плавно изгибались на лету их пунктирные клинья. То они рвались и дробились, то на глазах перестраивались и опять сливались воедино. Резкие гортанные крики гусаков перемежались нежными, умиротворяюще-воркующими голосами гусынь, и всякий раз эти звуковые волны, медленно проплывающие в вышине, вызывали чувство необъяснимой тревоги.

Давно отлетели и чайки, и крачки, и журавли, и гагары.

Завершился наконец и гусиный перелет. Смолкло небо. Только малые табунки заполярных уток изредка еще пронеслись над озером.

...Тишина была такой же нерушимой, как и накануне, только небо, ровно занавешенное облаками, слабо пропускало солнечные лучи. Буйство красок сразу поутихло. Сегодня озеро уже не сверкало, но светилось мягким жемчужным светом. Тихий день тихо клонился к закату, я плыл к дому, и за кормой лодки долго светились две дорожки медленно гаснущих круглых следов, оставленных веслами.

...На глади долго виден след весла...

Не знаю, почему мой взгляд остановили яркие блики у дальнего острова Васильева. Два пятна белели под самым берегом, в той полосе, где лежали отражения прибрежных деревьев. Разве чуть подальше от земли. Подмытые волной, затонувшие березы? Но я знал — берег там крут и заглубист: даже вековое дерево кануло бы со всею кроной.

Нет, что-то не так! Я развернулся и, не теряя из виду мерцающую белизну, стал табанить — погнал лодку кормой вперед.

Светлые блики, удвоенные, вытянутые отражением, явно перемещались. Вот они почти слились... Вот между ними возник промежуток... Лебеди! Чем ближе я подплывал к Васильеву, тем отчетливей сияли и отражались в недвижимой воде две большие яркие птицы. Завидели меня, сблизились, быстрее поплыли вдоль берега, выгибая долгие шеи, тревожно поворачивая легкие головы.

И тут в какой-то миг мне почудилось, что над водой, матово, мягко светящейся как бы изнутри, изгибаются не две, а три лебяжьи шеи. Нет-нет! Не три, а четыре, несколько лебединых вый змейно переплетались, двигались, мерцали, порою дробясь, теряясь в полосе береговых отражений, а затем вновь возникая на чистой воде.

Я даже плеснул в глаза, только наваждение не отступало: то я отчетливо видел двух лебедей, то мне мерещились несколько смутных силуэтов. Когда до острова оставалось метров триста — четыреста, сторожкие птицы не выдержали, встали на крыло и пошли над озером невысоко и несоро

Редко вздымались просторные крылья, длинные, вытянутые в струну шеи при каждом взмахе плавно изгибались у своего основания.

Их было пятеро: два матерых снежно-белых кликуна и три молодых светло-серых лебеда. Юные были почти неразличимы на глади мерцающей воды.

## ЖУТЬ

Бесприютны декабрьские ночи, особенно когда за бревенчатой стеной постанывает поземка да крупитчатые заряды секут по стеклам.

Среди ночи Шура Клошкина и вздымщики-серовоны — «химдымовцы», которые до снега добывали в тайге живицу, а теперь жили-ночевали у нее в избе, — разом проснулись и сели на своих лежаках, тараща глаза во тьму. Глухой, басовитый, утробный рев сотрясал темные стены. Его сопровождали гулкие удары.

У-у-у-о-о-о-а-а-а-ы-ы-ы! — гремело за печкой. И тут же — оглушительно: бух! бах! бабах!

Низкий, яростный, хриплый рев был, пожалуй, сродни медвежьему рыку, а главное, был он никому не ведом и как-то особенно страшен именно своей необъяснимостью.

Вздымщики, успевшие с вечера захмелеть, скоро протрезвели, у трезвых тихо пощелкивали волосы на темени. Сидели затаив дыхание, готовые ко всему...

А Оно завывало, ревело, чем-то оглушительно бухало во мраке. Однако Ночная Жуть почему-то не приближалась, но продолжала громыхать и гудеть за печкою, у порога...

Ы-ы-ы-о-о-о-о! У-у-у-ы-ы-ы!

...Спички крошились в дрожащих пальцах, кое-некое сообща все же затеплили тусклую керосиновую лампу. Самый отчаянный и тертый вздымщик, дважды прошедший суды и лагеря, нащупал топор, перекрестил лоб, осторожно высунулся из-за печи.

У порога в полном изнеможении лежал кот Дымчик (или Вздымщик, как прозвали его «химдымовцы») и тяжело дышал. Бедолага изловчился протиснуть усатую башку в горло литровой банки, чтобы достать крошки творога на дне, да застрял — ни туда, ни оттуда! Шерсть на Вздымщике стояла торчком. Вконец ошалевший, оглушенный ударами и собственным утробным ревом внутри литры-резонатора, кот колотил банкой-башкой по половицам, завывал басом да перекошенно поглядывал на людей сквозь мутную линзу нечистой банки выпученным страдальческим глазом...<sup>3</sup>

Правда, не крохи благополучия-успеха, а скорее извечная тоска самовыражения, попытки остановить, удержать утекающую жизнь понуждают иных лезть в бутылку, биться головой о стену и завывать — зачастую при этом ни единого звука не издавая! — внутри своих бетонно-кирпичных или бревенчато-рубленых «банок».

Собственный голос кажется порою оглушительно полным, чарующе-свежим, насущно необходимым, хотя его едва улавливают жена на кухне и дочка за стеною.

Соседи по лестничной клетке? О них я уже не заикаюсь...

## МАЛЫЕ И БОЛЬШИЕ

Что и говорить, именно мелким пернатым достался певческий дар: жаворонок, малиновка, канарейка, зяблик, щегол, чиж — признанные вокалисты.

<sup>3</sup> Стоит ли говорить, что каждый, имеющий отношение к искусству, тоже — Дымчик-Вздымщик.



Простодушно-ликующая песенка деревенской ласточки над твоим окном. Нескончаемые трели едва различимого по малости своей речного сверчка на ивовой ветке! А серебряный бубенчик желто-зеленого существа, которое почему-то прозвали синицей?

Всех малых — от городского воробья: «джив-джив», до соловушки, солирующего в майском перелеске, — роднят бодрость и живость характера. Щебет и посвисты, трели, рулады, которыми они озвучивают землю, всегда светлы, исполнены радости существования.

Совсем иные звуки издают крупные, обычно молчаливые обитатели неба. Их голоса тревожны и печальны. Чибис, долгоносый кулик — большой кроншнеп, коршун, недвижно вычерчивающий круги над поляной, ворон, болотный лунь... Долгие, похожие то на детский плач, то на завывание милицейской сирены стоны гагар по ночным озерам.

Порою большие летуны явственно озвучивают страсть. Как клокочет и рвется она из груди токующего черныша-косача! Неизъяснимо волнует дикий, каменно-деревянный — негромкое шипение, скрежет, сухие щелчки — зов глухаря в глубине таежного болота.

Горестная, шемящая музыка гусяного перелета, бьющая по воде на манер гагары — правда, гораздо реже и тише.

Я видел обычно пару или трех-четыре журавлей. Не больше. Но однажды в знойный полдень где-то в середине июля к острову Бодунову, который зеленеет прямо напротив моих окон, неожиданно вылетела стая крупных ширококрылых птиц. Протяжная шея у каждой вытянута вперед, длинные ноги — продолжение линии — назад. Сперва они медленно проплыли гурьбой, потом развернулись в тишине и тотчас выстроились классическим углом. Затем вытянулись в цепочку и — один за другим — тихо скрылись за прибрежными лиственницами — сели на поле. Итак, первый пробный полет будущего журавлиного клина состоялся. Матерые — старики — еще заметно отличались от юных размерами.

Я насчитал двадцать четыре птицы...

## ЖРЕЦ ТЮЛЯ

«Что живо, то и умно», — говаривала Екатерина Игнатьевна. Воистину так.

Прежде на Пелусозере частенько появлялись неказистые рабочие коняшки — рыжая кобыла Машка и гнедой мерин Тюля. Серогоны-подсочники на Машке обычно вытягивали двухсоткилограммовые бочки из самых глухих малягбв, куда не смогли пробраться ни грузовик, ни списанный армейский бронетранспортер «химдыма». Тюля был совхозным пенсионером, и его обычно пригоняли из Колодозера, чтобы вспахать огороды старикам, вытащить из лесу поленницу дров, убрать по осени картошку.

И Машка и Тюля, похоже, все знали про эту жизнь. Невозмутимо-печально взирали и на раздолбанную апрельскую колею, и на заунывную февральскую поземку, и на июльское разнотравье, озвученное кровососами, их блестящие, выпуклые, замутненные старческой голубизной глаза.

Говорят, тертые зеки из лесных лагерей, те, которым давно уже нечего терять, уходят по весне в тайгу, чтобы вздохнуть полной грудью, полежать на солнцепеке. Они щиплют ягоду, ловят рыбешку, а с наступлением холодов покорно возвращаются на свои нары, получив, как водится, очередной довесок к сроку.

Уработанная, загнанная, до крови исхлестанная палками, с холкой, стертой до живого мяса и облепленной мухами кляча, которую выпрягали из телеги, тоже время от времени исчезала. Даже стреноженная, Машка умудрялась добраться до чащобы и — как репка в ямку! — скрывалась на

несколько дней, на неделю. Отыскать ее было непросто: толковая кобыла не отзывалась, а когда на шею ей вешали ботало-погремушку, часами стояла недвижно или тихо лежала на беломошно-брусничных подушках, если чувствовала, что люди неподалеку.

Самоволка кончалась так же внезапно: в одно прекрасное утро отдыхавшуюся, залечившую ссадины клячу находили у старой конюшни. Машка ровно пощипывала траву, смирно стояла, доверчиво обдавала запрягавшего работника теплом своего дыхания.

Однажды после очередной Машкиной отлучки я повстречал ее ранним утром на берегу. Плотный пласт ночного тумана лежал над землей, а над ним возвышались долгая темная шея и крупная голова то ли ящера, то ли жирафа. Башка вроде бы и походила на конскую, но лошадиной спины там, где ей полагалось быть по всем правилам анатомии, не обнаруживалось. Ошеломленный, я долго стоял в рассветной тишине и не верил своим глазам.

Только когда поднялось солнце и малость развиднелось, я понял, что Машка не стоит, а... сидит на траве, опустившись на круп, вытянув перед собой задние ноги и по-собачьи опираясь на передние! Да, кобыла сидела, сидела, недвижно глядя на восходящее светило.

Потом в каком-то документальном фильме, снятом в венгерских степях на Большой Средне-Дунайской низменности, мне показали, как мадьярские табунщики-ковбои, демонстрируя чудеса выучки, мановением руки укладывают набок или усаживают своих породистых жеребцов. Но «химдымовскую» клячу-то где учили? До встречи с Машкой я и слыхом не слыхивал о существовании сидящих кобыл.

...Свои маленькие радости были и у старого мерина Тюли. Во-первых, он презирал спешку. Понукать, торопить гнедого не имело смысла: в любом случае он шел ровным, размеренным шагом. Во-вторых, хитроумный Тюля, неспешно продвигаясь вдоль борозды и чуть ли не под прямым углом выгибая на сторону выю, умудрялся ловко выхватывать мягкой губой картошины из соседней борозды. Смачный хруст, десяток шагов — и снова долгий земной поклон на ходу. Ладно еще, если клубни истреблялись по осени, но точно так же Тюля вел себя весной при посадке: тащит плуг и собирает только что брошенные семена, а лемех заваливает порядком опустошенную борозду.

Лизавета Ивановна долго косилась на разбойника Тюлю и наконец не выдержала:

— Жрё и жрё, жрё и жрё: у-у, жрец!

## ПЛАЧ ПО УШЕДШЕМУ ЛЕТУ

Ясной декабрьской ночью мое глубокое озеро наконец затихло, смирилось — исчезли последние пятна дымящейся темной воды, умолкла под окнами долго брэнчавшая взломанным ледком волна. Весь простор до окоема, все пространство между высокими берегами и семнадцатью островами застеклил прозрачный лед-яседец.

Такая тишина, что слышно, как тетерева срывают сережки с бсрез на соседнем острове.

К вечеру ледок поокреп, а ночью окрестные угоры, лесистые берега, все озеро разом накрыл, выбелил снегопад.

По первому льду! Только рыбак понимает, что таят три коротких слова. Осторожно скользят широкие охотничьи лыжи, потрескивает под ногами неокрепший ледок, а глаз старается угадать обойти теплинú — неверное родничное место.

Впрочем, от наступорженности не остается и следа, когда на льду пружинисто изогнется первый красноперый окунь или засветит бледным пюзом пятнистый, как десантник, черно-коричневый налим.

...Звук, огласивший тишину, был неожиданным и странным. Переливистый долгий вопль то возвышался до визга, словно кошке — и раз, и два, и три раза кряду! — наступили на хвост, то в длинной вибрирующей ноте угадывалось слабое подобие скулежа и подлаиванья, точно щенку отдавили лапу.

Огляделся — никого. Однако плач или стон вскоре повторился. Долгий вой вовсе не походил на собачий, да и волчьи напевы звучат совсем по-другому. Безысходность и отчаяние угадывались в странном голосе. Никогда еще не доводилось мне слышать подобные звуки.

Не сразу на береговом склоне, чуть пониже оранжевых лиственниц и темных кустов вереса-можжевельника, я углядел на снегу рыжий столбик. Звуки явно доносились оттуда.

Лис! Это был лис. И я его, кажется, понял. Звереныш-первогодок, только начинающий самостоятельную жизнь, впервые встретил зиму. Еще вчера мир был привычно зеленым, многоцветным, теплым, полным запахов. Вода журчала и светилась, ее можно было лакать. И вдруг — в одночасье! — все стало одноцветным, белым, леденящим. Даже мышиноного следочка не видать. Даже вода отвердела, и ее теперь нипочем не отличить от суши. Даже земля принялась больно студить подушечки лап!

Юному лису стало одиноко и жутко: он сидел на берегу, глядел в холодный белый простор и плакал навзрыд.

## ДИКАЯ ИСТОРИЯ

На острове Кизи в ту пору было еще пустынно и чисто — ни металлических тебе стрелок-указателей, ни запретительных табличек, ни ресторанов, ни сортиров... Толпы туристов не выгапывали на каменистом острове бедные цветы, а за полтинник в сутки можно было снять каютку с круглым иллюминатором на скрипучем дебаркадере и прямо с борта удить плотицу.

Много веток —  
 Колючки острые.  
 Много ветра  
 На острове.  
 И — четыре спокойных старухи,  
 И четыре козы,  
 И восемь кошек.  
 И над черными проломами окошек  
 Деревянных крестов сухие руки...

...Впрочем, кроме четырех коз был в деревне Ямки еще и козел.

Той осенью я впервые привез в Заонежье своих друзей — двух Вовушек, Леванского и Леоновича. Никто нас и тогда, естественно, не издавал, не печатал, каждый рубль был на счету, кормиться мы рассчитывали подножно, а потому я приволок в рюкзаке свою «Полундру» — надувную лодочку — и рыболовные снасти. Серьезные надежды, помнится, возлагались на перемет-продольник. Конструкция была продумана во всех подробностях — успех казался неизбежным.

И вот на берегу Снега между нашей плавучей гостиницей и деревенскими избами мы размотали тонкий, но прочный капроновый шнур, широкими петлями уложили его на луговую травушку и принялись дружно подвязывать поводки. Дело спорилось. Слабо попискивали чайки, пригревало нежаркое солнце, еще немного — и кормилец-продольник явился бы перед нами во всей красе. Я уже крепил к поводкам блестящие новенькие крючки, когда в моих ладонях неожиданно оказался третий, невесть откуда взявшийся, конец коренного шнура. Белый капрон был измочален, перетерт, его окрашивала легкая зеленца.

Только тут я пристально глянул на одинокого козла, невозмутимо бродившего вокруг. Присмотрелся и вижу: на противоположном краю лужайки козел приподымает с травы мою снасть, меланхолично жует, а несколько мгновений спустя выплевывает два обмусоленных урывка! Тут-то и выяснилось: наш трест лопнул. Промысловая идея загублена на корню: пахучий капроновый шнур изжеван вдоль и поперек, съеден, разъят на части.

О, праведный гнев! Я ухватил тупое жвачное за рога и одним взмахом ножниц отсек козлу полбороды.

...И опять осень, давно позабыт съеденный продольник. Я шагаю из Боярщины в Подъельники, бреду вдоль длинной каменистой гряды окрай старой межины. Сюда хлебопашцы веками сносили булыжник, очищая скудную пашню. Иду себе и гляжу под ноги: стараюсь не наступить на гадюку.

Дело было на Кижском Берегу, широкая полоса тусклой воды отделяла меня от острова. Безлюдье, прохлада. Тихо плыли в отдалении купола кижских соборов.

...Внезапно появившийся передо мною козел рывком встал на задние ноги, передние с маху опустил мне на плечи, приблизил к моим глазам желтые немигающие зенки, раззявил пасть и, клацая языком, глухо пробормотал: «Бла-бла-бла-бла-бла-бла!»

В лицо пахло утробным смрадом, теплой горечью трав. Суеверный ужас, темная пещерная жуть мгновенной стужей протекли по корням волос, стянули кожу на затылке... Миг, другой — оцепение прошло. И вот я уже гоно убегающего наглеца камнями — стараюсь искупить унижительное чувство только что пережитого страха.

Что это было? Неужто кижский козел переплыл на материк, чтобы выразить мне свое «фе»? Или его соплеменник вступился за честь родича?

...И снова протекли годы. На противоположном краю державы, в городе неправдоподобно живописном, с высоты птичьего полета очень похожем на театральную декорацию, — в благодатном Тбилиси, в теплом доме Гии Маргвелашвили, остролова и ценителя русской поэзии, течет неспешная беседа за чашкою чая. За столом, чудом уцелевшие в двадцатые — тридцатые, затерявшиеся в пестром Тифлисе Василий Алексеевич Голицын, краткий Рюрикович, бухгалтер-пенсионер, выращивающий фиалки в крошечном садике, в живописных дебрях старотбилисского двора, и Татьяна Сергеевна Шевякова, урожденная княжна Щербатова. Десятки лет Татьяна Сергеевна карабкается по горам — снимает копии осыпающихся древних фресок в полуразрушенных грузинских храмах.

Зашел разговор о Русском Севере. Наряду с прочими вспомнилась мне история о заонежских козлах.

— Ну, это ясно, — сказала бывалая художница. — Так козлы выражают любовное желание.

Вот те раз! А я столько лет ломаю голову. Как-то даже обидно. Опять же, возникают некоторые сомнения... Нет, что ни говори, а не хочется верить в столь приземленное и скучное объяснение этой мистической истории.

## НАДЕЮСЬ ВСТРЕТИТЬ РУСАЛКУ

Илекса — самый дальний, самый глухой и потаенный угол озера. Чёрна-лахта и два других неглубоких залива первыми прогреваются по весне. Именно здесь, чуть засветятся забереги, бултыхаются на разливе между затопленными кочками матерущие шуки, а белыми июньскими ночами в прибрежной тресте Илексы трутся, грохочут, блещут, выворачиваясь, сотни нерестающихся лещей.

Лилиями и желтыми кувшинками усыпано мелководье вкруг двух малых островков — Вичного и Мясного. В глубине — причудливая путаница

подводного леса. Черный Илесейский ручей бесшумно вливается в Илексу из глухого Илесейского болота. Лиственницы и ели, рухнувшие в озеро, тут и там вздымают над водой толстые изломанные сучья. Причудливо изрезанные берега — и левый невысокий, и правый крутой — стены старого темнохвойного леса. Должно быть, это придает тихим заливам странный, светло-сумеречный характер.

...Майское утро, мы возвращаемся из Илексы. По дну лодки стучат хвостами пятнистые белобрюхие шуки, вытряхнутые из мереж, хлопают мокрыми жаберными крышками, щелкают челюстями, а Степан Семенович щурится на солнце, изредка подгребает кормовиком и говорит буднично, ровно, как говорят о деле привычном и даже поднадоевшем:

— Плыву рано по Илексе, а русалка сидит на камне и мокрый волос гребнем чеше. Да-а-а... А тут еще птица налетела — больши-и-инская, испод крыла белый, — пала, что твой камень, взлетела — леща в лапах держит. Так с рыбиной и умахла к зимнику...

...Минули годы, давно лежит под соснами на Плоском Бору Степан Семенович Калинин, но слова его не позабылись. И вот однажды в июльский полдень вижу я неподалеку от своего порога неведомую мне большую птицу. Она зависает над мелководьем, камнем падает в травы — громкий всплеск, несколько всплесков потише — и незнакомка тяжело взлетает, посверкивая светлыми подкрыльями, в ее когтях бьется и блещет на солнце довольно крупная рыбина.

Я понял, что диковинная птица — скопа, занесенная в Красную книгу, а вскоре мне удалось отыскать на берегу, за островом Саничным — действительно у старого зимника! — гнездо, неряшливо сложенное из крупных сучьев в самой вершине старой лиственницы.

Теперь надеюсь встретить русалку.

## НАСТОРОЖЁННЫЕ КАПКАНЫ

Порою бесследно — как в воду канули — пропадают в тайге промысловики, умирают, и по большей части внезапно, старые охотники, а у ручьев и речек, в темных распадках и на сосновых гривах среди болот годами потом подстерегают свою добычу настороженные ловушки — капканы, петли, ямы, слопцы. Срабатывают они всегда неожиданно, случаются, с непоправимым опозданием — и только понапрасну губят душу живу.

...В туманный апрельский день, заплутав на Великом болоте, выбрел я на небольшой, но высокий островок. По его подолу темнел чахнувший ельник, выше сквозь еловую черноту желтели стволы сосен. Три смолистых ствола стояли вполската, наклонный помост из замшелых еловых жердей опирался на развилку срединного дерева. Опавшие сучья и ветки, рыжие кисти иссохшей хвои скрывали мосток, но клочья серой шерсти под ним, в темно-зеленом брусничнике, были заметны издалека. Красный от ржавчины дедовский, кузнечной работы капкан с пластинчатыми пружинами, должен быть когда-то поставленный на куницу, мертвой хваткой сжимал останки матерого волка. Между клоками иссохшей, истлевшей шкуры на помосте светили промытые дождями серо-зеленые ребра, скалила желтые клыки вывернутая челюсть. Ближе к земле угадывалось жалкое подобие дымчатого хвоста.

...Помнится, морозным декабрьским днем я возвращался из Усть-Реки, звонко уминая наст, брел по заснеженному льду. Едва миновал луду<sup>4</sup> Полузэрную, мой путь пересекла свежая тропа волчьей стаи, а вскоре я заметил, что рыхлый снег под береговым кряжем крепко вытопан по кругу. Посередке темнела продолговатая твердая глыба зе-

<sup>4</sup> Луда — подводная возвышенность (сев.).

леноватого цвета, походившая на большую приплюснутую дыню. Среди множества волчьих следов встречались отпечатки копыт сохатого, желтели размытые пятна крови.

Глубокий лосиный след уводил к береговому откосу, наискось по склону тянулся в белые сосны. Над озером стояла сторожкая тишина, и только ворон — зловещая, вещая птица — резко покрякивал и кружил надо мной.

...Сохатый, видимо, шел по льду — так ему легче, — запрокидывал тяжелую голову, дотягивался до более нежного корма. Высоко над ледяной гладью сильные резцы звучно состругивали зеленые ленты мерзлой, горькой осиновой коры. Волки наверняка обошли его сбоку, отсекали от берега, выгнали на лед. В чашобе он, долгоногий и могучий, мог бы часами ломить по бурелому, по высоким снежным надувам, изматывая вязнувших в снегу хищников, но на открытом месте лось беззащитен перед стаей. Волки набросились разом, считай, отовсюду, повалили, вспороли клыками мягкое брюхо... Зеленая «дыня» на льду — пережеванная и смерзшаяся осиновая кора, содержимое лосиной утробы, то единственное, что не представляло для серых ни малейшего интереса.

И все же у обреченного еще достало силы вскочить, разметать врагов, добраться до берега и даже одолеть поросший ельником кряж. Тут, в высшей точке берегового откоса, ослабевшего лося настигли. На вытоптанном снегу розовели ребра, валялись две обгрызенные голяшки с копытами. Неподалеку лежала обглоданная комолая голова: лосиха!

Я покидал озеро до весны, однако на другой день все же вернулся к месту волчьего пиршества и поставил под сосной тугой — старой кузнечной работы — капкан, почему-то считая, что стая непременно вернется.

В апреле, едва добравшись до дому, я встал на лыжи и поспешил на Полузерную.

В моем капкане чернел истлевший ворон...



---

---

# КАК ДЕТСКОЕ ЛЕТНЕЕ ПЛАТЬИЦЕ



ОЛЬГА КУЧКИНА

Зимнее

1

Она его так любила.  
А он не понимал, с чем это едят.  
Тогда она приготовила ему острую закуску.  
Он выпил и порезался.

2

Она сказала:  
купи мне собаку.  
Он сказал:  
у нас уже была собака.  
Она сказала:  
у нас уже была любовь.  
Он сказал:  
ее нечем кормить.

\* \*  
\*

Эта женская игра,  
узкий локоть на столе,  
пальцы в кольцах на стекле,  
мелкий смех из серебра.  
Этот заданный каприз,  
этот выверенный взгляд,  
в малой дозе верный яд,  
вот карниз, и тянет вниз.

Визит

О Боже мой, какая жалость,  
какая медленная скука:  
все зажилось, все залежалось  
и ждет надтреснутого звука.  
Заржавленные граммофоны,  
и запыленные портреты,  
и соль вопросов потаенных —  
неразличимые ответы.  
Вслед за хозяином сердечным,  
вслед за хозяином сердитым —  
тень женщины былой и вечной,  
как жизнь, предметы перебиты.



## ЛАРИСА МИЛЛЕР

\* \*  
\*

Опять минуты роковые.  
Опять всей тяжестью на вые  
Стоит История сама  
И сводит смертного с ума  
И гнет деревья вековые.

И снова некогда дышать  
И надо срочно поспешать  
В необходимом направленье,  
Осуществляя становленья  
И помогая разрушать.

А что до жизни до самой —  
То до нее ли, милый мой?  
И думать не моги об этом:  
Мятеж весной, реформы — летом  
И перевыборы зимой.

\* \*  
\*

Цветные мелочи, ура!  
Цветные мелочи, живите.  
Рутины спутанные нити  
Связуют ЗАВТРА и ВЧЕРА.

Цветные мелочи, виват!  
Все эти фантики, обертки...  
Мой день натерт на мелкой терке,  
И быт привычно виноват,

Мешая горестно пожить  
Среди возвышенных материй,  
То заставляя смазать двери,  
То к шубе вешалку пришить.

\* \*  
\*

А следом, следом шел июль,  
Июльский дождик мчался следом,  
Носили молоко по средам,  
А по ночам на окнах тюль  
Белел. А днем была жара.  
Жасмина изгородь живая  
Цвела, полдома закрывая,  
А после дождика сыра  
Была земля. Сыра, бела,  
Бела от лепестков жасмина,  
Которых целая лавина  
Сошла. О Господи, дела  
Столь утешительны Твои  
Для слуха чуткого и взгляда,  
Что больше ничего не надо,  
Все остальное утаи.





## НАНА ЭРИСТАВИ



Кто поддел твою жизнь на крюк?  
 Прошлое —  
 скрип кожаных краг.  
 Прошлое — крик.  
 Замкни себя в заколдованный круг.  
 Друг,  
 битый в десятках драк,  
 герой безымянных драм,  
 каждый твой шаг  
 на небесах — против тебя засчитан.  
 Ты продолжаешь дышать,  
 и каждый твой вздох —  
 отказ от всевышней защиты.  
 Не Бог — Боль с нами!  
 Снами, алыми снами  
 цветут лаосские маки...  
 Это ль не магия?!  
 Утру — свое довлеет.  
 Свет на стене — как итог, как черта.  
 Тоска да время —  
 более нет у тебя ни черта.  
 Еще шаг.  
 Как стеклянный магический шар  
 может душа расколоться.  
 Мне б — успокоиться  
 на дне голубого колодца!



Сколько на этом свете  
 нормальных людей!  
 Даже становится страшно.  
 По ночам  
 к ним слетаются сны —  
 в белых рубашках,  
 при галстуках и жилетах.  
 Ни одного — в зеленом  
 или желтом в синюю клетку,  
 как фермерская рубаха,  
 ни одного —  
 бирюзового в алый горошек,  
 как детское летнее платье.

Нормальным людям,  
 конечно,  
 и в голову не приходит  
 видеть во сне  
 бананы и бабуинов  
 или  
 ловить разноцветных тигров  
 в огненно-красных джунглях.  
 ...И только патлатые парни  
 в линялых майках  
 видят сны —  
 перепутанные и пестрые,  
 точно дешевые бусы  
 из пыльного Катманду.



---

---

АЛЕКСАНДР ГАНКИН

\*

## АВГУСТ

*Рассказ*

**М**ой сосед Август Солин, вероятно, латыш. Он высок ростом, тощ, узкогруд и блекло-рыж, словно пук соломы. Говорит размеренно и тихо, с еле заметным акцентом.

Каждый год в конце лета к нему из деревни приезжает погостить мать. Накануне он заходит ко мне в комнату и просит помочь ее встретить; в тонких, похожих на плети руках Августа нет силы, а мать обычно привозит для него кучу гостинцев, разносолы, теплое белье на зиму.

Я соглашаюсь, с трудом утаивая радость.

Наутро мы выходим из дому, когда солнце уже висит высоко в небе. В любую погоду Август наглухо застегнут на все крючки и пуговицы, он также тщательно причесан на прямой пробор, серьезен и не слишком разговорчив.

Молча мы переходим мост. Под нами снуют поезда, бренча колесами, слышно режут гудки, и снизу приятно тянет горьковатым запахом тлеющих листьев: потихоньку, хоть это и запрещено, жгут костры в канавках, выкопанных вдоль путей. Около Рижского вокзала садимся в старый разболтанный трамвай. Пропуская вперед, Август учтиво придерживает меня под локоток.

Тут некоторая странность. Из Латвии в Москву народ приезжает на Рижский вокзал, единственный столичный вокзал, почти целиком отданный на откуп одной маленькой республике. Однако сейчас мы едем на Белорусский, куда прибывают поезда из Минска, Литвы, с Запада... Может, Август — литовец или поляк?

В трамвае спорим, кому из нас пробивать билеты. Чаще побеждает Август. Потом вежливо, но непреклонно он усаживает меня на свободное место, а сам, держась за верхний поручень и неотрывно глядя в окно, нависает надо мною таким заботливым зонтом. А за окном рваной угловатой линией проносятся дома, перемежаясь пустырями и редкими деревьями, а затем слева на пригорке вырастает старинная церковь с белыми, мягко оплывающими боками. Остановка рядом, и пассажиры таращат на нее глаза, пока вагон не стронется с места.

Снова дома, снова пустыри и стройплощадки, заминка перед красным глазом светофора — и скоро трамвай заканчивает бег возле другой церкви, тоже белой, зажатой со всех сторон пристройками и сараюшками; слева торчит неуклюжая колокольня.

Привокзальная площадь напоминает стертый пятак, мы огибаем ее точно по ободу. По пути Август обязательно стреляет у прохожих папироски и курит поспешно и нервно, задыхаясь то ли от внезапно нахлынувшей

---

Ганкин Александр Михайлович родился в Москве в 1951 году. Окончил экономический факультет МГУ. Автор книги «Вторая реальность» (изд. «Carte blanche», 1991). Печатался также в журналах «Столица» и «Собеседник». В «Новом мире» (1995, № 8) опубликован его рассказ «Бин хаер».

сердечной дрожи, то ли от резкого дыма. Если еще есть время, я пью в киоске газированную воду — Август и здесь успеваает заплатить раньше меня.

Наконец сквозь двери, вернее, ворота, увесистые и резные, просачиваемся в закрытый от солнца дворик, прохладный, огражденный решеткой. Внутри как вечные часовые — два бюста, два черных истукана. Поезд уже подкатывает к перрону.

Я знаю, что последует дальше. По ступенькам вниз шагнет аккуратная седая дама в очках и шляпке на тонком шнурке. Тут-то я непременно пригожусь, потому что, завидев сына, она начинает в волнении ронять на перрон кульки, баульчики, разную снедь, а я все это буду подхватывать и ловить.

На мгновенье Август скроется в плеске мелких старческих ручек, нечаянно я подслушаю путаный шепоток, имя «Август», произнесенное страстно, взახлеб, и тут же отвернусь, украдкой похитив толику чужой материнской любви.

Потом я иду чуть впереди, держа в каждой руке по чемодану, а Август с матерью любовно квохчут на языке, щедром, как кажется, на разные сюсюкающие звуки. Обилие, я бы даже сказал — водопад этих звуковнисколько меня не раздражает, а вот гласные, на мой аршин, можно было бы растягивать чуть покороче.

Иногда, купаясь в теплых родственных струях их речи, я забывал, что я — всего лишь носильщик. Между нами возникала невидная, но прочная связь, и их беседа, похожая на легкое любовное пожатье рук, становилась мне абсолютно понятной. Я начинал верить, что из всего потока горстку теплых материнских слов Август великодушно мне уступает. На своей правой руке я вдруг ощущал тревожную и радостную тяжесть как бы оттого, что на нее оперлась пожилая дама. С этой дамой мы безмолвно переглядываемся, нам не надо слов, чтобы выразить то, что нас переполняет, а Август держится чуть поодаль, благожелательно и ласково разделяя наши чувства. Несколько мгновений он мне родной брат.

Домой мы едем знакомым путем. У дверей Августовой комнаты нашей бессловесной близости приходит конец, — мать благодарит меня за помощь и зовет вечером в гости на пироги.

...Пироги ее вкусны, чай горяч и отменно заварен, часы неторопливы, и незаметно я снова про себя начинаю толковать с ней о том о сем: о погоде, здоровье, ценах, ну и, конечно, о родной деревне или крошечном городке — аистах на крышах, чинном садике, парном молоке, сытых, разодетых господах, идущих в церковь семьями... Этот мир, навеки забытый, утраченный еще моими предками, я воображаю мучительно, так что слезы текут по щекам. Благословенный, недоступный мне покой! — я оплакиваю его, пугая слезами добрую мамашу, и, стыдясь своей плаксивости, стремглав убегаю к себе в комнату, в свой неудобный, почти станционный развал.

Отныне я стараюсь не попадаться ей на глаза.

На проводы меня не зовут. Корректный Август не хочет меня беспокоить. Вещей стало существенно меньше, гостинцы съедены, один жилет носит Август по случаю внезапного похолодания, другой, аккуратно сложенный, дремлет в нижнем ящике шкафа.

Все же мать Августа заходит ко мне попрощаться. Прощается она истоиво, рассыпаясь в любезностях и обязательно приглашая навестить ее вместе с «сыночком Августом». Однажды, уже переступив порог, она вдруг обернулась и губами легко-легко коснулась моей щеки и тотчас отпрянула, смутившись, потому что я запыхал — будто костер из осенних листьев и трав.

Это лето было чересчур жарким: плавился асфальт, раньше времени свернулась и пожухла листва, а глупые распаренные зноем воробьи ленились подниматься с мостовой. Они гибли во множестве, раздавленные машинами и пожарные проворными кошками.

В конце этого лета мать Августа не приехала. Я терялся в догадках, но Август был нем как рыба. Самые печальные мысли лезли в голову: может,

неистовая жара спалила посевы и мать Августа вместе с односельчанами спасает от безжалостного солнца то, что осталось. А может быть, — я гнал эту мысль, но она все упорнее западала на ум, — человек не вечен, особенно пожилой, и матери Августа уже нет на свете?

Я долго терзался, извелся вконец, не решаясь спросить Августа напрямик. Но однажды, набравшись храбрости, подстерег его в коридоре. «С мамой все в порядке, только мы с ней поссорились. Зимой она прислала мне плохое письмо, и мы поссорились», — повторил он и, не дожидаясь дальнейших расспросов, ушел на кухню.

В тот же миг я почувствовал огромное облегчение: мать Августа жива! Праздник царил в душе ровно час, а потом накатила душная тоска, накрыла словно раскаленное пустое небо. Я лег на кровать и пролежал не двигаясь долго-долго.

Потом мною овладела безграничная ненависть и обида. Я ненавидел Августа, как ненавидит узник своего тюремщика, отнявшего у него свободу, вкусную еду, мягкую постель и любимую...

Никогда больше я ее не увижу. И даже высказать Августу свою горечь, свою боль, свою претензию я не могу. «Какое ты имеешь к ней отношение?» — удивится он с характерным для него брезгливым отчуждением, и, без сомнения, будет прав.

В один прекрасный день я понял, что обида моя угасла и я скорее испытываю к Августу невольное уважение не без примеси страха: его бестрепетная решимость была неподвластна моему разумению и внушала определенную тревогу...

Нынче уважение и страх перед Августом тоже ослабли, он перестал меня интересовать, и все истории, связанные с наездами его матери, вспоминаются как приятный, но далекий и не вполне правдоподобный сон. Вот уж не думал, не гадал, что я такой непостоянный в своих симпатиях. И еще: я совершенно точно выяснил, что Август Солин в самом деле латыш и мама его живет в Латвии. Ее поезд обычно отправлялся из Калининграда, бывшего Кенигсберга, и по пути в столицу проскакивал небольшой кусочек Латвии — город Даугавпилс с окрестностями, откуда Август и его мать родом.



---

---

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ



## ПОГОДА В НОЯБРЕ

*Рассказ*

**Н**е успели деревья сбросить последние листья, как посыпался мокрым крошевом снег. Ветки слиплись, отяжелели, листья свисали с них сырým затхлым мотъем, грозя остаться так на всю зиму. Лужи, успевшие за ночь покрыться корочкой льда, днем превращались в звенящую под ногами шугу.

Я не вылезал из постели с самого утра, чувствуя, что простыл; нос так заложен, точно его не было, — приходилось дышать ртом, чего я не любил.

Надев шерстяные носки и закутавшись в большой вязаный пуловер, покашливая, я прошел на кухню. Включил газ, прикурил от огня и сел спиной к теплу, стараясь не поддаваться донимающему кашлю. Несмотря на простуду, я все-таки приоткрыл запотевшее от чайника окно и в щель внимательно наблюдал со второго этажа, что происходит на улице.

А там был пар. Пар от канализационных люков; от асфальта, который блестел подобно черной спине кита там, где под ним залегли трубы водопровода; пар шел изо рта проходящих людей; собаки лаяли и цапали зубами свой же пар; кошка выпускала из розовой пасти матовый клубочек, и даже вороны, прохаживаясь у помойки, оставляли бледный след, или это мне только казалось; машины, выхлопывая ленивый сизый дым, примешивали свой едкий запах к запаху отбросов, дымящегося асфальта, мокрых животных.

У прохожего запотели очки; зажав портфель коленками, он снял их, протер пальцами и зачем-то дыхнул, отчего стекла вновь покрылись испариной; он протер их опять, надел, взял портфель, однако не прошел и двух шагов, как остановился; чему-то неловко улыбнувшись, полез за пазуху, дернул что-то, видимо платок, — полетели бумажки, посыпалась мелочь... Лицо его исказилось и приняло злобное и одновременно общительное выражение, будто бы искал виноватого; сейчас он точно проснулся и подключил всю свою волю, чтобы устранить неудобство. После изнурительной работы мысли — а я, кажется, даже слышу, как вращаются шестеренки в его голове, как лязгают какие-то рычаги, — он кладет очки во внешний карман пальто, пересыпает из левой руки в правую мелочь, прячет деньги куда-то вовнутрь и только затем приступает к вытиранию линз платком, и делает это с усилием, даже остервенением. Но вот свежeproтертые очки на лице, и, победно изказив рот, прохожий трогается в путь.

Выбрасываю, погасив, окурок и захопываю окно. На улице похолодало, и пару прибавилось: стало вообще как в бане, а гарью-то несет! как на пожаре! Добравшись до постели, я лег на спину, положил над пазухами

---

Иванов Алексей Петрович родился в 1965 году в Москве. После школы работал во МХАТе и в Театре мимики и жеста (рабочим сцены). В 1989 году окончил Московский государственный институт культуры. В 1992-м поступил на очное отделение Литинститута, где и продолжает учиться в настоящее время (семинар А. Рекемчука).

Печатается впервые.

носа мешочки с разогретой солью, вытянулся, запрокинув голову и проклиная насморк, и тут — телефон. Ругаясь последними словами, подхожу.

Звонила Сашкина мама: оказывается, он лежит — или сидит? — в психушке на улице Бехтерева, с истощением нервной системы. Я начал одеваться.

Познакомились мы давно. Еще только начинал строиться Театр-студия на Усачевке. Несмотря на необустроенность, на то, что зачастую не было даже сидений в зале, спектакли все равно шли.

Однажды перед началом я пошел за кулисы — кажется, за какой-то бу-тафорской саблей. В проходе горела всего одна лампочка, и я наткнулся на нечто свисавшее — свисал здоровенный кожаный башмак с подковками на толстой подошве, — я дернул за него. Куча тряпья зашевелилась, из-за свернутого рулоном, пропахшего кошками половика показался клочкастый ежик волос, заспанное лицо приблизилось к лампе — та качнулась, беспокойно залетала пыль, — лицо чихнуло. Тряпки раздвинулись — заблестели пуговицы кавалерийской шинели.

— Что же вы ноги разбрасываете? — вглядывался я в незнакомца.

— Виноват: заснул, — извинился Сашка: это был он.

Теперь, когда лицо приблизилось, я смог рассмотреть его как следует: низкий лоб, глубоко, близко посаженные голубые, почти белесые глаза; прямой острый нос, широкие обветренные скулы, несокрушимая нижняя челюсть, выдающийся подбородок с завершающей его шишкой, а в ней глубокая ямочка — как он ее пробривает-то по утрам? Сашка широченно зевнул, обнажив белейшие крепкие зубы, закутался потеплее в шинель и уткнулся лбом в кирпичную стену. Честно говоря, первое впечатление было неприязненное.

Итак, жил Сашка в общежитии, где тоскливо пахло борщом, где из окна его подчердачной кельи виднелась изумительная по тоскливой своей достоверности картина: железнодорожные пути, складские помещения, задворки вокзала, кучи ржавеющего металла, запыленные люди в черной рабочей одежде, стрелочники, машинисты; и вдруг — дико! — рядом с невзрачной конторой, где работают девушки с грустными глазами, которые по вечерам несут в сетках протекающие пакеты молока, вдруг неизвестно откуда — пихта! и конечно же — кумачовый плакат и тут же гипсовая, крашенная золотым, статуя... Уродство это было так законченно, чуть ли не совершенно, что сердце мое ныло ностальгической болью, словно я принадлежу этому миру и насильно оторван от него, — и я готов был предложить руку и сердце любой грустной девушке с кефиром, взять ее под свою защиту и нарожать с ней кучу детей. Вот идет одна — и я высовываюсь из окна, идет она с авоськой, наверное, домой. Девушка заворачивает за угол, и пусть я уже не вижу ее, однако не упускаю. Что там? За углом? Дома, улица, девушка; она купит себе бессмертники. Улица и дома словно намалеваны дегтем; желтоватое небо спускается к горизонту и рыжим мохнатым брюхом нависает над табачными крышами. Девушка с кефиром войдет в продуктовый магазин, отстоит очередь, уткнувшись в чьи-то мокрые драповые плечи, купит сыр. У себя, в неосвещенной комнате, она разденется — в неразборчивом зеркале отразится бледная неразвитая грудь, короткая стрижка, угловатое, как у мальчика, тело. После сядет на подоконник, упершись пятками в батарею, нальет кефиру в стакан, наверняка забудет вытереть кефирные усы, направится к постели, приостановится, обернется, чуть задержится взглядом на какой-то полузабытой смешной игрушке. Она поставит цветы у изголовья и ляжет в ломкую постель, и эта ночь не приблизит ее к старости...

Я спохватываюсь и возвращаюсь — обратно, через свое окно. Сашка сидит на койке; в руках у него объемистая «Божественная комедия» с иллюстрациями Доре.

Как-то были мы с ним на итальянской выставке в Пушкинском музее. Было там ветхое полотно Тициана: все темное, сплошные тени, различ-

мы лишь синюшно-белая колоннада и две фигуры: одна — в пурпурной, шелковой, судя по отблеску, мантии, клубами развевающейся по ветру, с выющимися медными волосами, другая — тоже с кудрями, но с черномасленными завитками, в шелковой же, но зеленой мантии. Картина называлась «Нисшествие ангела». Кто из них — ангел, я так и не смог сообразить. Сашка спросил — я пожал плечами. Мы стояли, всматриваясь, до тех пор, пока нас не оттеснила группа экскурсантов, предводительствовал которой седенький старичок, борода клинышком, очки в серебряной оправе, глаз — хитрый; стал он рассказывать и, между прочим, показал на пурпурного, вот, мол, — ангел. Сашка услышал — встрял, перебил старичка: дескать, тот, красный, на ангела не похож. Старичок понимающе ухмыльнулся:

— Вам, молодой человек, разумеется, лучше известно, как выглядят ангелы.

С этим Сашка не мог не согласиться.

Я слышу, как бултыхнулись в стакан кусочки сахара, и оборачиваюсь. Сашка отхлебывает чай и мычит:

— У-у, — указывая подбородком на вскипевший чайник.

— Сейчас, — докуриваю я бычок.

Кажется, мы чего-то ждем. Может, когда откроется ночная пельменная за Политехническим музеем? Нет. Тогда чего же? Не помню. Не могу вспомнить. Мы пережидаем. Что мы пережидаем? Бог его знает. И это не главное; главное — в молчании и в крепком чае. Оранжевые чайные зайчики на ладонях, на подбородке, ложечка колокольчиком постукивает о стенки стакана. Сумерки, наполненные молчанием и чайными зайчиками, — там, столько лет назад. И кажется мне, что и сейчас мы все так же что-то пережидаем, ждем чего-то. Но мне никогда уже не будет так *ярко*, как прежде.

Где я? Присел ли перед дорогой или по-прежнему стою с чаем все у того же окна? Хотелось бы, чтобы с чаем и у того окна.

А за окном, над искореженным переплетением каких-то конструкций, над рядами бочек с бензином, над складскими кранами-козлами, склизкими от железистой влаги, над горькими рельсами, над шпалами с привораживающим запахом мазута, над вагонами с нечистыми уборными, над вагоноремонтными мастерскими, над потухшим костерком, над шапкой сторожа, над его собакой, — нависло сиреневое небо в розовых трещинах, и пусто, и беспитчие, и ничего в небе, кроме ангелов.

Иногда Сашка пропадал куда-то на целые недели, а когда бросил институт, то, бывало, и год ни слуху ни духу.

Смеркалось. Я вышел из дому. Мелкий снег обильно посыпал меня холодной крупой. На крыше канализационного люка стояла человекоподобная ворона и долбила заматеревшим клювом кусок сала, видимо отравленный и предназначенный для крыс.

Я долго ждал троллейбуса, в троллейбусе гораздо уютнее, чем в автобусе, троллейбус связан проводами со всем миром, автобус же ни от чего не зависит: он может нырять в этот снег куда хочет, заплывать, как осьминог, бог знает куда и забраться под камень.

Потом я ехал в метро, сошел на незнакомой мне станции и сразу же ощутил холод неизвестной страны. Нашел какую-то автобусную остановку без единого человека, принялся ждать, заметаемый снегом, прятался от него, стараясь посильнее завернуться в свое пальтецо. В автобусе ехал очень долго, так долго, что забыл, когда и зачем сел, и что со мною, и куда еду, и кто я такой, и почему вокруг грубые расплывчатые мазки вместе с людьми. Впрочем, и не задавал себе такого вопроса: я не интересовался теми, с кем ехал. За окном проплывали заводы, складские строения, пус-

тыри, жерла теплоцентрали, горы угольного шлака; чудовищными скелетами торчали железные фермы, штабелями покоились трубы... Входили и выходили люди, шептались, отдельные слова я даже различал, но это был далекий чужой мир, и все меня здесь угнетало. Проскакивали пригородные поезда, грохотали товарняки, груженные лесом и серым щебнем; ехали куда-то разобранные комбайны и какой-то угловатый груз, обтянутый зеленым брезентом; степенно продвигались в дымке вагоны-ледники; простучал колесами скорый поезд, унося с собой светящийся ресторан с улыбками сидящих перед раскрытыми шторами едоков, — а мы все ехали и ехали, и я не знал, где мы, и подумал, что, наверное, в пригороде, где-нибудь в Балашихе, а может, и в Мытищах или даже и вовсе в Можайске? Интересно, можно ли сейчас купить водку в Можайске? И вышел я только тогда, когда понял (непонятно — как), что все это время — через свалки строительного мусора; через болота с полузатонувшими автопокрышками; через жилые кварталы со светлыми окошками, где живут в тепле люди, знающие, как найти дорогу к себе домой; через чужие сны; через улицы с незнакомыми названиями: кроткими, как Родничковая, или таинственными, как Резиносмесительный переулок, или помпезными вроде улицы Тысячного Дирижабля; через все эти семафоры и шлагбаумы — я ехал не в ту сторону.

Я вышел и постоял в оцепенении, покуда не разглядел на противоположной стороне улицы палатку, освещенную изнутри: желтый проем окна над прилавком, залитым пивом. Порылся в карманах, нашел мелочь и одну оловянную пуговицу, набрал сорок копеек, взял кружку пива, холодного, с легкой, как февральский снег, пеной. Я пил зажмурившись от удовольствия, и в то же время необъяснимая тоска начала одолевать и грызть меня: я уже знал, что потерялся здесь навсегда, что первоначальной цели своей никогда не достигну: не найду больницу на улице Бехтерева, пускай бы мне дали еще десяток жизней — я все бы прожил здесь, неподалеку, и никогда бы не вспомнил, кто я, что я и куда иду.

Какой-то старик, с глазами грустными и заснеженными, предложил папиросу. Свою шапку, еще хуже, чем у меня, он довел до последней степени смятости и замасленности; уши подвернуты, но не связаны шнурочками по той простой причине, что кем-то и зачем-то выдраны с мясом.

Старик курил «беломорину» и все говорил, говорил, я не прислушивался, хотя он говорил со мной, и ему, видимо, было все равно, что я молчу, все же до меня долетали отдельные слова; изредка я будто бы отвечал, однако не слышал себя; его хриплый голос доносился обрывками: «...дочка, милая моя. А я уже старик, старик уже... а дочурка хорошая, покойница мать ее баловала, да вот тоже не удалось у ней... все в девках ходит, а кругом одна пьянь, одна пьянь! и сам я пьянь! и под забором подохну!.. Сейчас, может, и не замерзну... снег беспокойный, нет, сейчас не замерзну... А я старик и знаю, ты со мной можешь делать что хочешь. Избить, деньги отнять. Правильно? Можешь? А я старик... Дочку жалко: любила ведь одного подлеца. Все знают. Да я б его руками, сучару, руки у меня крепкие, как клещи...»

Его слова унесли меня куда-то, и я представил себе темный подъезд: разбитая лампочка торчит огрызком в пыльном патроне, пахнет мочой и кошками. Два звонка в дверь. Захламленный коридор: детские санки, велосипед над головой, готовый сорваться, этажерка с книжками — «Справочник рыболова», «Расписание пригородных поездов». Больно пахнет борщом. В детстве я жил в интернате, и у нас всегда так несло, именно такой был запах борща из гнилых овощей и несвежего мяса. И я знаю: он будет преследовать меня всю жизнь. Где же она? Сколько лет я ее уже знаю? Я даже устал ее видеть. Вот я сажу за столом и, пока жду, что она принесет мне суп, съедаю весь хлеб. Заметив это, я ничуть не расстроился — знал: она пожалеет меня и принесет еще. Вот подошла с тарелкой и, увидев, что хлебница пуста, как-то нарочито ласково сказала: «Ах ты, ду-



рилка картонная». Что-то не понравилось мне в ее голосе — как если бы маленький злой зверек пробежал между нами.

Я делаю вид, что не расслышал. Она повторяет: «Дурилка картонная». Вот теперь-то, когда я внимательно понаблюдал за ней, пока она произносила эти дурацкие слова, я понял, что она следила за собой. Значит, нарочно. Значит, все-таки обиделась. Или рассердилась. Ах, зачем я тогда встретил этого старика?

Прихожу в себя, старик по-прежнему здесь и пьет пиво.

Мне становится не по себе. Беру еще одно пиво и ныряю обратно — то ли в старика, то ли в свое будущее...

А в комнате сидит Она: молчаливая и преданная. Она кормит тебя, ходит за тобой, как за ребенком. Она по-матерински, по-женски ответственная. И ты привык к ней...

Я допиваю свою кружку, потом захожу в ближайшие кусты, облегчаюсь и снова иду. Прозрачные, точно стеклянные, льдышечки под ногами пересыпаются и звенят. Снежная крупа больно хлещет мокрое лицо, изощряется побольнее, нельзя распахнуть глаза: ядрышки попадают в них, наполняя лжеслезами, даже в носу щемит. Я снимаю перчатку и смахиваю с лица воду... Ощущение такое, будто нос, распухая, увеличивается в размерах. Что за ноябрь? Что за погода? Крупа закатывается за воротник и там тает, левый сапог дал течь, и дырка работает, как насос, и уже бухтит в сапоге, хоть выжимай. Кругом — черным-бело: что небо надо мною иль подо мною что-то — все едино, и белая слепота — сквозь слезы.

Я сковылял с дороги прочь, стащил сапог: так и есть, натекло, присел на ограждающий шоссе барьер, вытянул носок и, скрутив его, выжал. Надо мною тускло светил лиловый фонарь, на нем сидела большущая ворона с холмиком наметенного снега на голове. Может быть, призрак той, которая уже отравилась? Я всматриваюсь — ворона исчезает. Где-то: то слева, то справа — чихает выхлопная труба, прострекотал саранчюю движок, доносится лай собак — сверху ли? снизу ли? И что за химический запах? Похоже, вываривают грязную строительную робу, толстый ватник, ватные штаны и даже, наверное, самого строителя... И я вдыхал этот воздух полной грудью.

Вдруг крошево надо мной разверзлось, и я увидел три черных гигантских трубы с раструбами наверху; дым валил из них и светился — матовоголубой, собирался в клубы, поднимался выше уже розовым облаком с запорошенным брюхом, над самой головой таял до сиреневой дымки, чтобы слиться с моим фонарем. Новый порыв ветра полностью ослепил меня, хлестанув, будто старуха дворничиха, крупитчатой каменной солью. Да что ж ты вытворяешь, косматая ведьма? Хочется крикнуть, но не могу раскрыть рта.

И все-таки я продвигался вперед. Видно, оделся слишком тепло и потому даже взмок, пока шел; стало щипаться нижнее белье, а шерстяной шарф просто терзал. Так я двигался, вернее, перемещался от фонаря к фонарю, пока внезапно надо мною не навис прямоугольный желтый палаш с острыми углами. Черт меня дернул выйти сегодня из дому! Приглядевшись, однако, к палашу, я заметил название остановки и цифры разных цветов...

Когда-то, тысячу лет назад, из снежного кошмара выплывал, ныряя носом, спотыкающийся на стыках трамвай и тренькал: трень-тррррррр-трррррр; тысячу лет спустя я все так же сижу в нем. Мне никогда еще не было так все равно и тепло...

...И когда Сашка пропадал надолго, я представлял себе, как он идет по какому-нибудь Можайску в своей длиннополой шинели. На лице — мука самокопания. Жарко — он запарился, но движется быстро: он ищет водку.

Пыль дымится у него под ногами, улицы безлюдны, слепые запаутившиеся окна домов. Вот он спускается в овраг, заросший бурьяном, скользит по глине, цепляясь за колючий барбарис; склизкие бревна внизу, низенькая скамеечка, бьет холодный ключ. Он напился и, даже не умыв лица, быстро поднимается вверх. А если зима? Тогда он наверняка где-то в Питере. Переходит Невский проспект, направляется к Лиговке. Стремителен, размахивает руками, брызжет талый снег из-под ног, полы порыжевшей шинели разлетелись, под шинелью — ничего, кроме рубашки; идет, широко вышагивая, в черных высоких ботинках, в серых обмотках до колен; левое плечо немного вперед, а правую руку чуть закинул за спину, согнув самую малость в локте, — он идет, как какой-нибудь царевийца-студент. И в эту самую минуту подъезжает открытый «фиат» с кожаными чекистами. Они стреляют в Сашку. Но он скрывается от них в бурость домов, где в подворотне, черный, как жук, сверкает блестящей крышей «Руссо-Балт». Сашка загибает за угол, они — за ним и стреляют. Он выдергивает откуда-то пистолет и, раскинув, как бабочка, шинель, отвечает кожаным — очередью, те вторят ему беспорядочной пальбой. Он убегает от них по каким-то петербургским дворам-колодцам. А куда ему бежать? Кто-то метит ему в спину! Но чтобы Сашка замер как вкопанный, разбросав руки и погасив фалдами проем подворотни, и гневно закричал в небо, повернувшись винтом, а потом упал в жидкий снег лицом, и крови не видно? Не бывать этому! Вот он врывается в первый попавшийся подъезд, в него опять стреляют, но мимо, мимо, и дверь захлопывается прежде, чем долетает пуля; он бежит по каким-то лестницам, мелькает в пролетах, скатывается кубарем, громыкает ботинками, вываливается на улицу, отталкивает прохожего, несется. Машины начинают пукать и верещать на него клаксонами; он поскользнулся, но устоял, потом еще раз, падает на спину, однако успевает втянуть голову в плечи и не ударяется затылком о булыжник. Вот он выскочил на какую-то длинную улицу. Как будто пригород. Но куда он бежит? Интересно взглянуть ему в лицо. Я догоню: глаза огромные, без белков, пепельно-синие, залитые влагой и сумасшедшие. При каждом шаге косая складка мелькает на его косоворотке: сверху вниз, слева направо, справа налево, слева направо, справа налево — однообразно, как и чавканье под ногами. Он бежит, втянув голову в воротник так, что видна только макушка. С силой заглывает воздух, с мучительным горловым звуком, похожим на икание. Я покидаю его и возвращаюсь на несколько шагов назад, прислушиваясь: нет ли погони? Где-то позади клизмят клаксоны, но нет уверенности, что это — за ним. Да что ему они, эти клизмы-клаксоны, эти медные мягкие раструбы-поганки, пускай клаксонит сколько им влезет, пускай клизмят, гутнявят — да подавись! Пусть рядом с ним едет этот «фиат», набитый теми, — не беда, пусть стреляют, он не сбавит бега и может даже выдернуть с корнем одной рукой медные верещалки, а если нужно, вообще обогнать. Крепконогий, он здоров, как древний грек. Бег его широк, без оглядки. При каждом шаге воротник шинели трет ему затылок: все трет и трет, трет и трет — как терка, видна даже покрасневшая кожа. Дорога резко опускается вниз, и в том месте, где она горбатится, Сашка отрывается от земли и летит. Внизу пустырь. Там, в бурьяне, стоит детский дом из багрового кирпича с огромной холодной трубой отопления — бездымной. Пахнет подгоревшей гречневой кашей.

Я опять один, впрочем, как и всегда. А где я? Позади остановка трамвая; но тот трамвай уже уехал от меня, громыкая и обдавая сугробы снопами искр. Передо мною какой-то котлован, в нем незаконченные постройки. Как он оказался у меня на пути? Но нужно пройти через него. Зачем? Не знаю. Нужно.

Я спускаюсь по пологому скату, думая только о том, что если вдруг попадет какой-то железный прут, то я раздеру пальто, а прут, ржавый, в строительном мусоре, известке и цементе, войдет в мое тело и разрушит то, чем я являюсь.

Я иду по кирпичным пространствам. Плутаю в лабиринте коридоров, но все иду и иду, разговаривая с кем-то, кто говорит мне, что пора завязывать, и часто спрашивает, кто я такой. «Кто ты такой?» — «И кто же я такой?» — «Да ты уже показал и мне, и всем, кто ты такой». — «Да ничего я не показал. Я все пока тщательно скрывал. Скрывал, что сил нет, не осталось». — «Ну?..» — как будто поперхнувшись и покраснев от моей тупости, вопрошает мой собеседник. Я сажусь и закуриваю. «Пошел ты! Эй! А сам-то ты — кто такой?» — сделав большую затяжку, говорю я. «Угомонись! — И как будто топает ногой. — Скоро узнаешь — кто».

Я добираюсь до противоположного склона котлована. Сейчас поднимемся...

Наверху. Вижу, кажется, автобусную остановку.

Снова еду. Ревет, завывает мотор, словно вьюга в динамике, лязгают двери. Конечная. И здесь снег, и я уже промок, как тряпичная кукла. Но темнота вокруг меня вдруг наполняется каким-то смыслом; не замечая снега, пытаюсь осознать, что же произошло. Ведь произошло что-то очень важное, но что? Я на улице Бехтерева, и это есть то самое важное.

Темная улица Бехтерева длинна, как Млечный Путь. Ищу, высматриваю больницу, вернее — похожие дома. Я должен ее узнать: она похожа на тюрьму, бурая, кирпичная, с мертвыми окнами, я должен узнать ее по запаху, должна она пахнуть подгоревшей кашей, тогда уж не ошибешься: так пахнут тюрьмы, сумасшедшие дома, интернаты, дома престарелых, дома ветеранов сцены, тем же самым пропахли Сокольники из-за Матросской Тишины, лефортовской кухни, вареного постельного белья, хлорки, мочи, прогнившего линолеума венерического диспансера на Короленко. Чья-то непростая служба, тюремщики, санитары, медсестры, чье-то отчаяние, однако недолгое: этот запах разрушает волю, отупляет, заворачивает — моя мама была медсестрой, и ее халат пропитывался *этим*, — и всякий раз, когда я — среди этого запаха, я глотаю его, пожираю, втягиваю ноздрями с хрипом неутолимости, невозможно родной, близкий — запах волчьего отчаяния, камфоры и сульфиды, запах уничтожаемой человеческой природы — всего, через что и мне пришлось пройти. Люблю тебя сильно, злой любовью, скучаю по тебе и боюсь тебя учуять, будучи запертым в четырех стенах. А этот дом я найду — я возьму его на нюх.

Какое отношение имеет Бехтерев к этому бескрайнему пустырю, за которым гудят поезда, к воющим волкам, подбирающимся к самым окнам?

На пустыре с ржавыми диванными пружинами и множеством кошек дрожали и выли на холоде сваи. Одна из кошек подкралась ко мне и уставилась, я протянул к ней руку, и тогда что-то случилось: произошло изменение в домах, они стали как будто меньше, а главное — задымили печными трубами. Перед глазами замелькали разные мензурки, пробирки, колбы, реторты — клянусь, я видел реторту — и Бехтерев в халате, пропахшем кислотой и реактивами, бородатый, в руках у него что-то бурлит.

— Вы дедушка Блока? — спрашиваю я уважительно, и тут же мне становится стыдно: дедушка Блока — химик Бекетов. А Бехтерев психиатр.

Психиатр № 1 смотрит на меня из-под очков строго и не отвечает. Я хочу пройти мимо него, но вижу, что нахожусь уже в прихожей старинного дома.

— Проходите. Подымайтесь наверх. Я сейчас приду, — говорит профессор.

На второй этаж ведет широкая деревянная лестница. Я заскрипел ступенями — наверх. Огляделся и повернул бронзовую ручку двери. В комнате темно, но коридор освещен. Посреди комнаты, наверное столовой, я увидел как будто самовар, на его боку медленно расплзлось оранжевое окошко. В столовой, кроме длинного стола, покрытого белой скатертью, на котором и стоял самовар, в сумерках можно было разглядеть контуры стульев; высокие часы с боем поблескивали циферблатом; большой буфет,

сервировочный столик — и больше ничего. Задернутые гардины не впускали с улицы дополнительный свет, хотя, несмотря на позднее время, он там еще оставался и вполне мог бы рассеять совершенную тьму — чтобы пройти не споткнувшись через столовую в библиотеку, а затем в кабинет. Я долго не решался закрыть дверь, опасаясь что-нибудь уронить, но в то же время понимал: невежливо в чужом доме не закрывать за собой двери. С замиранием сердца я погасил окошко на самоваре и, выставив, как слепой, руки, пошел через столовую — в страхе перед мебельными углами, доверяясь только ненадежной путеводной нити — тончайшей полоске света под дверью, ведущей в библиотеку.

Я двигался вытянув руки и поджав пальцы. Я особенно опасался за свой лоб и глаза, поэтому опустил голову, втянул шею, положил подбородок на грудь, предугадывая попадание во что-либо твердое или твердого в меня: ведь мог же острый угол буфета, крадучись, выследив в темноте, нанести мне удар. И тут до меня дошло, что все предметы — и мебель в комнате, и паркет подо мною — двигаются и нужно умело отклоняться телом, чтобы устоять на ногах. Несмотря на принятые предосторожности, я готовился получить удар, причем неожиданный, поэтому лихорадочно вспоминал особенности этой боли — боли от предмета, не проникающего в глубь тела. И все-таки я достиг светлой полоски и толкнул дверь, ударившись при этом коленом о какую-то каменную плиту. Чертыхаясь в досаде, я вошел в библиотеку. Мое внимание сразу привлекло многообразие книг. Тут были и физиологические атласы, и медицинские энциклопедии на разных языках, научные труды Дарвина, «Брокгауз и Ефрон», на верхней полке — золотыми брусками несколько эльзевиров, в других же шкафчиках — труды самого профессора, в большинстве своем с личными ярлычками — экслибрисами: «Общая диагностика болезней нервной системы». С-т-П. 1904, «Проф. Казанского университета Вл. Мих. Бехтерев». Библиотека представляла собой расставленные по периметру застекленные книжные шкафы, а также шведские полки. Створки шкафов заперты на маленькие висячие замочки. Я взял в руки один — крохотный, медный; несмотря на свою малость, замочек вызывал у меня уважение и внушал доверие своей надежностью, своим выдавленным сбоку фабричным, почерневшим от времени, клеймом «Corbin». Бронзовые петли и толстые стекла дополняли картину надежности. Почти все шкафы были орехового дерева, фанерованные капом карельской березы понизу, разводы напоминали баранью шкуру. Один из углов библиотеки занимала облицованная кафелем стена камина, отопливаемого, видимо, с коридора, а может, и из кабинета; на высоте человеческого роста на ней тускло блестели две медные заглушки, немного окислившиеся и позеленевшие на стыке с кафелем.

За окном хлопьями падал снег. Огромная дуплистая липа надела на каменный забор с чугунной решеткой наверху, отчего тот перекосялся в сторону улицы, и казалось, вот-вот рухнет и похоронит под собою незадачливого прохожего. Ветки боярышника, с еще сохранившимися ягодами, сквозь ограду просунулись наружу. Собака дворника с заиндепевшими бровями беззвучно, но надрывно лаяла. Кто-то закашлял — я огляделся и увидел старичка-истопника. Он бесшумно прошел мимо меня в огромных белых валенках, открыл дверь в кабинет, разложил поленья у камина и, покашливая, принялся подкладывать их в огонь. Его взъерошенный заячий затылок был совершенно бел, сквозь редкие волосы просвечивала розовая кожа. Я вошел за ним, наблюдая, как он управляет со своим делом. Хотелось что-нибудь почтительно спросить, завести беседу, но почему-то от этого желания мне вдруг стало тошно, и я присел на гобеленовый стул. Старичок, закончив с дровами, пододвинул каминный экран к решетке и, собрав мусор на мраморных плитах, защищавших паркет от головешек и искр, завернулся в маленький, совсем детский овчинный тулупчик, обвязал себя в два обхвата чем-то кожаным и удалился со своим черным совком в соседнюю комнату.

На стенах кабинета — семейные фотографии в рамках и олеографические картинки с изображением паровозов и пароходов, в основном — речных. Поразительно, ведь я тоже собирал когда-то изображения именно старых и именно речных пароходов и даже делал их модели! Мне сразу стало уютно. На одном отпечатке я узнал купола Новодевичьего монастыря, а на другом — очертания Казанского кремля, вид с Волги. Посреди комнаты стоял письменный стол, накрытый зеленым сукном, с яшмовой чернильницей, серебряной, почерневшей от времени, кружкой, когда-то пивной, с целым ворохом карандашей. Профессорское кресло — жесткое, высокое, черного дерева; были еще два больших кресла, но мягкие, обитые гобеленом, вероятно, для посетителей. В нише между окнами стояло старое венецианское зеркало с мелкой сеточкой трещинок по краям. На столике ветвился позолоченный, но залитый свечным воском, покрытый копотью и потому тусклый канделябр с фаянсовой сердцевинкой в виде шара; на нем — четырехгранная колонна с выглядывавшими по каждой стороне головами длинномордых овнов, словно утопленных в ней по шею; золотая змейка ползла по канделябру вверх, но утыкалась в шар.

В углу, на конторке, сиял какой-то черный предмет; приблизившись и рассмотрев его, я прочел: «Edison business phonograph», на розовом ярлычке колпака — надпись: «М. Симбирц<sup>к</sup>в. Арии из оперы М. Глинки „Жизнь за царя“».

Я был в кабинете, когда услышал приближающиеся шаги. Профессор включил свет в столовой и вышел прямо на меня.

— Прошу. — Он сделал рукою жест, предлагая мне войти в кабинет первому, поскольку из кабинета я к тому времени вышел — ему навстречу.

Он стоял у приоткрытой дверной створки, и я, проходя, нечаянно почти вплотную приблизился к нему, и тут он дыхнул на меня — я чуть не закашлялся, но совладал с собою, — это был щекочущий запах разложения, сладковатый и омерзительный, такой бывает у очень старых людей, но профессор не был так стар. Платка с собой не было, а сплюнуть некуда, я с отвращением проглотил слюну и, подняв глаза, увидел, что он следит за мной, и даже внимательно, еле заметно повторяя мои же движения, очевидно неосознанно, для себя, так дети прошевеливают губами слова, обращенные к ним другими людьми; он изучал мои глотательные движения таким же образом.

— Ну-с, какая нелегкая принесла вас сюда? На что жалуетесь, молодой человек? Вялотекущая шизофрения или спинной мозг? — спросил он весело, как-то даже по-студенчески, точно он был мой университетский товарищ.

— А вы разве уже переехали из Казани? — спросил точно кто-то за меня.

В ответ Бехтерев как-то странно прокашлялся не раскрывая рта, посерел чуть и пробормотал:

— М-да, вот купил дом в Царицыне.

— Извините меня, профессор, — сказал я, — вообще-то я зашел случайно.

— Вот как? Ну, это вы бросьте, милый друг. Через столько-то верст — и случайно? Да не шарьте по своей шинельке, господин студент. Не так ли? По всей видимости...

Я кивнул.

— Я за первое посещение денег не спрашиваю. Рассказывайте. Может, и обойдется. А после мы с вами поужинаем. Сегодня у меня караси в сметане, — по-университетски демократично хохотнул он.

— Вообще-то я голоден, — смущенно улыбнулся я, — останусь.

Все это время я тщетно пытался понять, почему он до сих пор не попросил меня представиться и даже не предложил оставить пальто в прихожей.

— Видите ли, господин профессор, это очень долгая история. Право, не знаю, стоит ли?..

— Стоит, стоит! — перебил он, замахав руками, обращая ладони в мою сторону, якобы снимая этим жестом все мои сомнения.

За разговором прошло какое-то время. И вдруг я понял, что профессор глумится: он внушал мне, что нету времени, в котором я живу, что нету Сашки, моей, пусть и недолгой, жизни, даже меня — нет. К чему, дескать, привязываться? К тому стакану чая в подстаканнике, что ли? Он убеждал меня, что я сумасшедший. Может быть, и так. Но главное, он не позволял мне ничего предпринимать. Пока. Пока я — сумасшедший.

Я встал и в волнении зашагал по комнате. И тут в окне, на уровне второго этажа, будто большая синяя рыба, проскользнул троллейбус и ушел под крышу — я провел рукою по глазам и отшатнулся. Обернувшись, увидел огромные желтые глаза профессора на пергаментном лице. Я шагнул к нему — и желтое в серебряной оправе, мелькнув, скрылось, а на *том месте* пальцы принялись мять переносицу. И этот запах... запах...

— Ну-с, так что же, — говорил он, — вам нужен отдых. Нет никакой подземной железной дороги и этих ваших троль-лей-бусов. Ха-ха! Ну, вы их, извините, назвали: троль-троль-ля-ля-лейбузен, трольлейбузен. Просто какие-то детские выдумки. — Тут улыбка спала с его ставшего внезапно злым лица. — Нет у вас никого! Слышите? И ничего нет! Идите спать! Вы никуда не должны ехать. Спать, и на ночь потрите виски уксусом.

— А как же караси?

— Отменяются!

— Нет. Все же есть. Есть.

— Нету! Не-ет, говорю вам, нет! Нет никаких троллейбусов, дилижансов без тягловой силы, конок без лошадей! Ну, трамвай — это другое дело...

— Там ток в проводах...

— Чего??

— Ну... на токе в проводах... Не знаю... в общем, — сопротивляюсь я, чувствуя, что мне становится мутно.

— Ну вот видите? Вы сами ничего не знаете. Идите домой и на ночь выпейте мою настойку горицвета.

В нос ударило псиной. Я разомкнул наконец тяжелые веки.

— Это не ваша настойка. Вы не Бехтерев.

— О-ох. — Профессор устало махнул рукой, хлопнув ладонью по подлокотнику, однако глаза его почему-то забегали.

— Это вас нету. И самозванец — вы, — говорю я суконным голосом, еле ворочая языком, и трясую головой, стряхивая кошмар.

— Что вы делаете? — закричал он. — Перестаньте! Остановитесь! Слышите?! Вы слышите меня?! — кричал профессор, и голос его становился все отчаянней. — Хорошо, я буду с вами начистоту. У вас нет друзей! Да очнитесь же! У вас никого нету! Вы! Сумасшедший! Кроме меня! Неужели вы не понимаете, что опять придете ко мне? — (Смешок.) — И вам будет уже сложнее начать. Я вам приказываю остановиться!

Но я продолжаю мотать головой, растирать лицо, напрягая шею, стиснув зубы, — пытаюсь уйти от него.

— Перестаньте! Перестаньте! — Голос его невыносимо высок. — Перестаньте! Ну пожалуйста, перестаньте... — (Почему он так сильно просит?) — ...перестаньте, перестанд, пересту... перестутуте... ту-ту... У-у-у-у-унн...

Мой сосед отсел от меня. В троллейбусе было еще много свободных мест. Я перестал мотать головой и огляделся, прислушиваясь: в динамике над дверьми ревели вьюга, а в ушах как будто еще остались крохи пачкотни твердыми маленькими буквами: перь, ту, у-у, те, т.

Я уже пропитался троллейбусом, он течет в моих жилах, и мне стоило неимоверного труда убежать от него прочь, когда до меня донесся запах подгоревшей гречневой каши.

Вижу пока только жилые дома. От каждого окна здесь веет своей памятью, своим внутренним миром. Окна зеленые, малиновые, желтые. На первом этаже, в желтом окне, мужчина ест жареную картошку. Женщина баюкает на руках ребенка, на полу раскиданы игрушки, лежит плюшевый медвежонок. В этом доме свой запах, как и у каждой семьи, свой мир, и я тревожно хочу присоединения к нему и потому бегу, бегу от него дальше, без оглядки.

Но все попусту: я уже чувствую, что приходит она — моя болезнь, мой припадок. Вот-вот, еще немного, стоит только дотронуться до души — и *наступит*. Помню, в детстве у нас во дворе, среди лопухов и волчьих ягод, рос какой-то удивительный московский сорняк, покрытый крошечными огуречиками, и стоило только, когда они созревали, дотронуться до одного из них хоть травинкой, он сейчас же взрывался: вылетали семена, а кожица огуречика, как живая, скручивалась в спиральки, и, мертвее, они замирали. Вот так же и я сейчас боюсь смотреть по сторонам, боюсь прислушиваться, чтобы не прикоснулось это внешнее к моему внутреннему, вечно томящемуся, взрывающемуся плоду. Но чувствую: *приближается*, и умоляю себя остановиться, и не знаю — как. *Как?!* И тут мой дух устремляется наружу. *Вверх!* Вверх вспархивает дух мой и уносится под крыши домов и уже заглядывает в окна. И проникаюсь я чужой тоской и обрывками чужих мыслей, становятся моими и фотографии на стене и такими знакомыми чужие руки и волосы. И плачу я вместе с чужим, просолив горло ошибками чужого, чужой несостоявшейся жизнью или состоявшейся. Изнемогаю, ослабеваю, уже истерзав всю грудь чужими снами, и горю, мучительно, как в печке, ощущая, что в жилы мои вливается иная кровь, иное детство, иные мучения, иные мать, отец, двор, пионерские лагеря — все *иное*; иное ощущение женщины, вкуса вина, опьянения, иной запах собственного пота, иной оргазм, иная любовь, боль иная... Нет мочи терпеть! Перерождаюсь!.. перерождаюсь! И противно моему телу от нового духа: чувствуются чужие резкие силы, чужое тепло, запах — как будто кто-то только что снял натруженную обувь и мне приходится ее, еще теплую, надевать. Приходя в себя, думаю: лишь бы не окунуться в женщину в следующий раз, а то я просто начну волком выть от неизбежной тоски чьего-то несостоявшегося материнства. Иду настороже, на людей не смотрю...

Больница. *Боль-ница!* Что ты? Что с тобой? *Больница же!* Ну и что? Как ну и что? Ничего. Ничего, я успею, я успею вернуться в себя. Вот сейчас. Только закуру.

Я добрался до кирпичного забора. Вхожу в ворота. Никто меня не останавливает. Поднимаюсь на третий этаж. Стучу в дверь. Из окошка выглядывает сиреневая накрученная голова. Медсестра говорит, чтобы я уходил: время посещения закончилось полчаса назад.

— Как?? — кричу я. — Мне — все сначала?! Но ведь я так долго добрался! Я промок, как собака, насквозь! А теперь — обратно? А потом — все сначала? Впустите!

— Мое какое дело?

Я смотрю на неправдоподобные мяса медсестры. Она преграждает мне путь. Неужели можно так располнеть от жидкой овсянки с яйцом, от воняющей манки, перемешанной с творогом? И вдруг я замечаю понурую фигуру Сашки. Он несет из столовой миску, и лицо его искажено отращением.

— Сашка!! — кричу я ему через толщу жира. — Сашка! Я здесь! Куда смотришь!

Сашка удивленно оглядывается.

— Здесь я! За медсестрой!

— Леха! — восклицает он и улыбается во все лицо. Он ставит свою миску куда-то и подбегает к окну: — Пустите его! Он ко мне!

— Почему так поздно? В самый ужин. Больных нужно кормить! — упирается медсестра.

— Да бог с ним, с ужином, — говорит Сашка.

Сестра, как мне кажется, с какой-то плохо скрываемой завистью смотрит на отставленную миску и понемногу начинает смягчаться. Наконец дверь открылась, и мы обнимаемся, хлопаем друг друга по плечу — кто сильнее — и отходим в сторону.

Ко мне бодро подсакивает мужичонка, в такой же полинялой голубой пижаме, что и на Сашке. Сашка смотрит на него снисходительно, но в то же время, замечая, держится с ним осторожно, я тоже поглядываю недоверчиво. Глупо спрашивать у этого человека, отчего он здесь. По его испитому лицу с собачьими страдальческими глазами можно определить, что попал он сюда с белой горячкой, — впрочем, это самое незначительное — от чего здесь лечат. Он что-то говорит мне о выпивке, но я мало понимаю: склада в его речи нету. Издерганный, болтливый, он мне чем-то неприятен, но в то же время вызывает сочувствие. Он заговаривает меня, и вскоре как-то само собой складывается впечатление, что я пришел к нему. И все-таки Сашка отрывает его от меня и объясняет, что этого человека просто никто не навещает. Мы удаляемся в комнату трудового перевоспитания, тут совсем никого, можно даже незаметно покурить. Я не спрашиваю у Сашки, как и почему он заболел, поскольку о такого рода болезнях неудобно допытываться, тем более что он все рассказывает сам: о том, как спал на вокзалах в каком-то сибирском городе, как свалилось на него это истощение, как сумел добраться, что уже лучше, скоро выпишут, а раньше даже говорить не мог. Но все уже позади.

Я делюсь с ним свежими анекдотами, и не потому, что такой уж я весельчак. Нет, просто знаю: ему это нужно сейчас — посмеяться. По себе знаю, как полезен смех, непосредственный смех, от души. Он хохочет, просто задыхается, заваливается набок, едва не падая со стула, удерживаясь лишь за счет того, что успевает вовремя опереться кончиками пальцев о пол, стул трещит под ним безбожно. Краем глаза я замечая, как тот самый горячечный стоит за дверью; рифленое зеленоватое стекло просвечивает, и я вижу половину его лица в приоткрытой двери. Когда я рассказываю анекдоты, то половина лица смеется, но он тут же зажимает себе рот узловатыми пальцами, тогда видна только покрасневшая дряблая кожа и один слезящийся от смеха глаз, который по-детски, без страха быть застигнутым за подслушиванием, смотрит мне прямо в рот.

Нахохотавшись вдоволь, мы закуриваем. Сидим беседуем. В комнату то и дело заглядывает горячечный. Сашка незло грозит ему кулаком, и тот исчезает, чтобы появиться снова.

Вскоре Сашка идет выяснять, осталось ли что от ужина. Оказывается, осталось. К тому же горячечный отказался от своей порции в мою пользу.

Мы поели, напились чаю, и пришло время уходить.

— Звони, — говорю я Сашке, жму ему руку и ухожу.

Я вышел из подъезда и вдруг слышу, как кто-то зовет меня. С третьего этажа, нелепо высунув голову в форточку, меня окликает наш с Сашкой горячечный друг.

— Леха! Леха! — зовет он пронзительным шепотом.

— Ну чего тебе? — отзываюсь я неохотно: все-таки не могу преодолеть предубежденности. А ну как бросанет сейчас чем-нибудь! И я представляю, как летит бутылка из-под «Агдама», я уворачиваюсь и успеваю заметить его досадливо накуксившуюся физиономию, вторая бутылка попадает мне в спину, слева, я бегу, но третья догоняет и оседает точно на затылочную кость, а края донышка с выпуклыми тавровыми знаками соответ-



ственно вдавливаются в шею и мозжечок. Я тут же обрываю себя на этих мыслях. Как тебе не стыдно? Ведь человек отдал тебе свой ужин! А ты так о нем думаешь, неблагодарный!

— Леха! Ну подожди! — надрывается шепот. — Ты еще придешь? Честно? Придешь?

— Нет. Не знаю. Смотря когда его отпустят. Может, и приду. А тебе что? Это дело, что ли, принести? — спрашиваю я, щелкнув пальцем по горлу. Он молчит. — Ладно, принесу, если приду, — говорю я, полагая, что разговор окончен.

— Леха! — снова слышу я отчаянное. — Ты правда придешь? — И глаза его блестят мученически.

Неужели ему так нужно в это верить? Что кто-то придет? Обязательно нужно ждать кого-то? Иначе он не успокоится? Раз так, то пускай верит.

— Приду, — кричу я. — Закрой форточку. Простудишься. Приду.



---

---

КОНСТАНТИН ПЛЕШАКОВ

\*

## СТАРОСВЕТСКИЕ ИЗМЕНЩИКИ

Рассказ

Сначала она говорила, что нельзя разводиться, потому что у Лидочки и Вити был двадцатилетний Вадечка, что Витя, должно быть, одумается и бросит ту, другую, что надо подождать, что (цитируя Толстого, Вера Ивановна поднимала трясущийся пальчик) все образуется, что в сорок пять лет у Лидочки просто был опасный, горячий возраст, — она говорила, но ничто не помогало. Лидочка начинала возражать и плакать. Тогда Вера Ивановна сказала, что папе (Анатолий Семенович умер год назад, неполных семидесяти лет) было бы неприятно услышать о таком, и *может быть*, и сейчас неприятно слышать. Но Лидочка сказала раздраженно, утирая ладонью слезы и смешивая их с сиреновой тушью, что после такой счастливой и спокойной жизни, которая была у них с папой, Вера Ивановна просто не может понять, что значит жить в одном доме с человеком, который время от времени обнимает другую женщину.

Только тогда Вера Ивановна все и рассказала.

Она рассказывала сидя на веранде своего крепенького домика на склоне горы, неотрывно глядя на море, часто помаргивая напрочь выцветшими глазами. Положив руки на подлокотники плетеного кресла, утонув в нем — маленькая, но грузная и каждой клеточкой ощущающая, как прожитые семьдесят лет тянут ее вниз, даже не в ветхое сиденье кресла, а глубже — в землю, туда, где уже год лежал Анатолий Семенович.

Сад, состарившийся вместе с Верой Ивановной, рос террасами книзу и не загораживал ни бледного моря в ситцевую рябину, ни — справа — белого города, на который Вера Ивановна время от времени переводила взгляд, но потом спохватывалась, потому что это могло показаться Лидочке «уж слишком». И снова подмаргивала морю, как немощный маленький маяк.

Тридцать пять лет тому назад, когда Лидочке было десять лет, Анатолий Семенович возвратился с работы, походил по дому, погладил кончиками пальцев мебель, покашлял и сказал Вере Ивановне, что влюбился и что, промучившись два года, наконец месяц назад стал любовником.

Вера Ивановна, мешая вишневое варенье в тазу и снимая пенку для Лидочки, охнула, прикрыла губы ладонью, как от удара.

Все еще кашляя, морщась и крутя головой, Анатолий Семенович мычал что-то про Лидочку, про дом, про привязанность к Вере Ивановне, но и про невозможность порвать с той женщиной.

«Она замужем?» — спросила Вера Ивановна.

Да, она была замужем. Больше ничего о ней Анатолий Семенович не сказал.

---

Плешаков Константин Викторович родился в Ялте в 1959 году. Окончил МГУ. Автор романа «Физика» (изд. «МЭИ», 1992), а также повестей, рассказов и эссе, публиковавшихся в «Новом журнале» (Нью-Йорк), «Согласии» и «Новом времени». В настоящее время работает в Институте США и Канады.

В «Новом мире» печатается впервые.

Поплакав молча, но все еще мешая варенье (с тех пор она ненавидела вишневое и в гостях испуганно говорила: «Нет-нет, спасибо»), Вера Ивановна спросила в том духе, чего Анатолию Семеновичу не хватало.

Он долго мялся (в конце концов, он говорил не с проституткой, а с женой) и наконец, покраснев и вспотев, выпалил: «Постели».

Постели! Вера Ивановна не поняла и даже покосилась на комнату, в которой стояла их никелированная кровать с шариками. Пытаясь понять, она задумалась. Она смотрела на редкое маятниковое движение ночью как на стирку: у мужа должна быть чистая рубашка, и мужчинам это маятниковое движение зачем-то надо. Сама она ничего не испытывала, кроме любопытства по первости, и ее удивляло, чего теперь могло не хватать мужу.

Зардевшись, она пробормотала: «Мы редко это делаем?»

Он сморщился от жалости к ней и себе, открыл рот, но задохнулся, как рыба, и почему-то сказал зло: «Не мучай меня».

Вера Ивановна возмутилась, наговорила мужу резкостей, но из дома не выгнала, втайне от Лидочки поплакала, а потом подумала, что развод будет позором для девочки (а в глубине души она думала, что это будет позором и для нее, Веры Ивановны), и решила жить с мужчиной, который причинил ей страшное зло.

С этого вечера она молча, но решительно стала стелить Анатолию Семеновичу на веранде и сказала Лидочке, что папе доктор велел спать на свежем воздухе, потому что у него голова болит. Вера Ивановна машинально спрашивала себя, что она будет делать, когда станет холодно и спать на веранде окажется невозможным, и соседство с мужем в постели, бывшее раньше таким же незначущим, как объятие с подушкой, теперь представлялось ей исполненным какого-то грозного и страшного смысла.

Как полагалось, она спрашивала себя, любит ли она этого ничтожного человека, и не находила в себе никакого особого чувства, и, сравнивая эту пустоту с теми радужными дождями, которые окружали ее роман с Анатолием Семеновичем двенадцать лет назад, она поняла, что ответа на ее вопрос лучше не искать. Ей стало легче. Она принялась исподтишка наблюдать за Анатолием Семеновичем. Он всегда ночевал дома, иногда отлучаясь в командировки, но такие командировки случались и раньше. Однако он стал чаще менять рубашки, и по тем дням, когда он смотрел на свое отражение в зеркале, бреясь с какой-то насмешливой удалью, Вера Ивановна знала, что сегодня он будет встречаться со своей женщиной. В такие вечера, после его возвращения, она старалась незаметно, сзади, наклониться и принюхаться, — и что же, иногда от него действительно шел запах духов. Когда Вера Ивановна опознала в них дорожную «Красную Москву», она дрогнула, но потом проверила свои хозяйственные записи и успокоилась: если Анатолий Семенович и делал той женщине подарки, это шло помимо его зарплаты и премий. О всех его зарплатах и премиях Вера Ивановна знала досконально, потому что работали они вместе, рядом с домом, в поселке на склоне горы. Анатолий Семенович не мог воровать, рассуждала она, обедал он дома, значит, он откладывал копеечные командировочные. Ей стало казаться, что из командировок он действительно возвращается более голодным, чем раньше.

Поздней осенью она сказала Анатолию Семеновичу (сам он героически терпел увеличивающуюся стылость ночи): «Здесь холодно спать» — и перевела его на общую кровать. Они спали, каждый отодвинувшись к своему краю, и когда во сне соприкасались, то, проснувшись, в перепуге отползали прочь.

В декабре у Веры Ивановны был день рождения, и Анатолий Семенович из общих денег (других не было) купил вазу из бледно-бордового стекла в горошек. Вера Ивановна смотрела на вазу с осуждением, но делать было нечего. Особенно ее раздражал легкомысленный уютный горошек.

Постепенно она свыклась со своим положением обиженной, но мудрой женщины. Она уже перестала спрашивать себя, когда Анатолий Семенович уезжал в белый город, видный с их веранды, действительно ли по делам или — к *той*, и, когда ее поездка в белый город совпадала с поездкой Анатолия Семеновича, уже больше не шарила глазами по сторонам, с мукой выискивая его и ее, которые, по ее предположениям, должны были затаиться в какой-то непроезжей аллее. Так прошел год; Вере Ивановне шел тридцать седьмой. Однажды ее вызвали на совещание в белый город. Она надела черное платье в смутный мелкий серебристый листок, приколотла к вырезу потемневшую брошку в стеклянной пыли, надела белые узкие туфли на каблуке и взяла белую сумочку. Другого выходного наряда у Веры Ивановны не было, и она очень стеснялась за сумочку, у которой начал рваться ремешок у основания; она зашила его мелкими стежками, но сумочку все равно лучше было прятать.

Совещание было назначено в дореволюционном доме из неровного серого камня. Вера Ивановна очень уважала этот дом, его каменную ограду, повитую бледной глицинией, черный нахмуренный кедр у входа, потрепанные пальмы вокруг узкого цветника, старые, скрипящие половицы внутри, толстые, как слоновьи хоботы, деревянные перила, свободные полукруглые окна. Мебель в доме была такая же черно-слоновья, потрепанная, но вечная, и Вера Ивановна всегда с некоторым трепетом садилась за влажно пахнущий длинный стол в зале заседаний.

В этот день делал доклад недавно назначенный в город специалист: он был в старых проволочных очках, зачесывал волосы назад и был похож на худого ежа. Вера Ивановна сначала стеснялась, а потом начала спорить, да вошла во вкус и даже сделала одно едкое замечание, так что все рассмеялись, и Вера Ивановна тоже слегка улыбкулась, очень довольная.

После совещания новый специалист подошел к ней и сердито заговорил о ее возражениях; он говорил солидно, а Вера Ивановна краснела, приседала и жестикулировала, как школьница в драмкружке, так что выходило совсем не по-научному, и она чувствовала это. Но, видно, в том, что она говорила, был толк, и специалист (он был винодел) повел ее в свою лабораторию и стал сердито объяснять, почему вот именно это не может быть именно так, как говорила Вера Ивановна. Они спорили до изнеможения, а потом она нечаянно сказала что-то такое, от чего винодел хмыкнул и замолчал. Он курил толстую папиросу, пуская дым через ноздри, а Вера Ивановна вызывающе села на диван (пригласить ее сестра винодел не догадался). Потом винодел сказал сердито, что им стоит объединить усилия.

И что же, дело быстро завертелось, и то он приезжал к ней в поселок, то она ездила к нему в тот дом, который так любила, и уже зимой они наконец поняли, отчего то выходило так, а не этак, и винодел на радостях откупорил бутылку «Пино-гри», а Вера Ивановна бестолково смеялась и взмахивала руками.

Она была дурно одета, потому что у нее не было выходного зимнего, и сейчас, когда она сидела за столом в лаборатории с виноделом, который нехотя признавал, что она, Вера Ивановна, хоть и женщина, а понимает, ей хотелось быть не только умной, но и уметь красиво выражать свой ум, и она почему-то подумала: «Надо было купить тот шерстяной отрез с огонечками».

Было уже поздно, и все ушли домой. Тускло горели лампы; две из них были с битыми абажурами. «Ой, прелесть какая, зима, а на вас бабочка», — вдруг сказал винодел и протянул к Вере Ивановне руку. Она вскрикнула, потому что боялась бабочек, а он сказал: «Не шевелитесь, я ее сейчас сниму», подсел к Вере Ивановне, крепко обнял и поцеловал. От изумления она не пошевелилась, к тому же она выпила полтора стакана вина, и сейчас в голове ее вертелось одно: «Во тебе и бабочка!» Они сидели на черном кожаном диване, и все получилось очень быстро. И то ли оттого, что Вера Ивановна давно не занималась маятниковым движением,

не то оттого, что она была слегка пьяна, не то оттого, что кожа винодела пахла чем-то мятным, но все вышло необыкновенно хорошо.

Когда они оправились, Вера Ивановна вдруг сказала, пряча лицо: «А вы знаете, мне муж изменяет». И сбивчиво рассказала виноделу про Анатолия Семеновича. «Изменять такой женщине!» — сказал винодел фальшиво — сам увидел, что вышло фальшиво, и закурил.

Вера Ивановна, трясаясь в автобусе по дороге домой, удивлялась, что не испытывает раскаяния, но на кухне, столкнувшись с Анатолием Семеновичем, вдруг зарделась как девочка. «У тебя температура!» — сказал он. «Простудилась немного», — сказала она тихо и вдруг с ликованием ощутила себя ровней ему. «Сейчас малины съем», — сказала она зачем-то и, спрятав лицо за дверцей шкафа, вдруг широко улыбнулась темноте и банкам.

Через неделю винодел приехал в поселок и поцеловал Веру Ивановну в ее кабинете. Она увернулась и повела его показывать культуры, которыми занималась. «Как жалко, что зима, — повторяла она, — совсем замерзли, бедные». — «Совсем как вы», — сказал винодел и назначил ей свидание в своей лаборатории.

И действительно, Вера Ивановна как-то отогрелась у него. Он был женат, и встречались они только в каменном доме, после шести, когда все уходило домой. Они пили чай, а вина больше не пили, потом садились на кожаный диван, и Вера Ивановна уже хорошо знала, как надо лечь, чтобы не попасть на выпирающую пружину. Они смеялись тишком, чтобы вахтер чего не подумал, и часто вспоминали, как он обманул ее с бабочкой в первый раз.

Всякий раз Вера Ивановна возвращалась домой как хмельная, и однажды Анатолий Иванович, который за это время слегка обнаглел, сказал: «Что-то ты в город зачастила». Она сжала губы, а утром сказала ему: «Толя, давай договоримся: будем уважать друг друга, а жизнь у каждого будет своя». Анатолий Иванович посерел, надолго замолчал, а потом сказал: «Это я виноват. Давай». И — удивительное дело: после этого постепенно они снова стали разговаривать и даже смеяться, и Лидочка, которая не понимала, отчего больше года в доме было как-то тускло, и даже сама стала тусклой, как заброшенное растение, очень обрадовалась.

Они по-прежнему спали на разных краях кровати, но теперь случайное соприкосновение во сне уже не ужасало их, и они спокойно отодвигались и засыпали снова.

А потом Вера Ивановна надоела виноделу. Он стал ей грубить, и после одной невыносимой грубости Вера Ивановна сказала ему: «Надеюсь, ваша жена поступит с вами так же, как я поступила со своим мужем» — и прекратила всякие объятия раз и навсегда. Они еще какое-то время работали вместе, а потом работа кончилась, и они только равнодушно здоровались на совещаниях, и Вера Ивановна только дивилась тому, как все проходит.

Сама того не замечая, она стала задерживать взгляд на мужчинах, и однажды, когда она была в командировке в области, за ней стал ухаживать большой начальник. Он был красивый мужчина, но Вера Ивановна с сожалением отметила, что его портят короткие руки. Он пригласил ее в ресторан. В ресторане Вера Ивановна не была лет десять, очень волновалась и радовалась, что все же купила тот шерстяной отрез в огонечках. Начальник был очень забавный, беспрестанно шутил, а потом отпустил шофера и сам повез Веру Ивановну в горы, говоря, что она должна непременно увидеть рассвет. Однако рассвета она не увидела.

По дороге обратно в город начальник, подавляя зевок, спросил: «Что тебе подарить? Я хочу сделать тебе подарок». — «Просто помните меня», — сказала Вера Ивановна, чувствуя себя роковой женщиной. «Конечно», — с жаром сказал начальник, и она потом думала, не воспользо-

вался ли он необходимостью энергично ответить для того, чтобы скрыть еще один зевок.

Три года в ее жизни никого не было, кроме Лидочки и Анатолия Семеновича. Лидочка была уже барышней, Анатолий Семенович, видимо, расстался с той женщиной, потому что ходил какой-то потертый и забывал менять рубашки, а потом стирки снова прибавилось, и Вера Ивановна поняла, что Толя нашел себе другую.

И тут она встретила Петеньку. Петенька был монтером и приехал из белого города чинить в поселке электричество. Он все время работал на улице, и его начинавшее морщиниться лицо было смуглым. Он был так худ, что штаны с него падали, и он подтягивал их, улыбаясь своей замечательной улыбкой, обнажавшей желтые зубы страшного курильщика. Он долго балагурил с Верой Ивановной, и запах табака, металла, масла и кожи, исходивший от него, был ей неприятен. Но он был очень веселый, такой веселый, что она хохотала до слез, а он все уговаривал ее поехать с ним рыбу ловить. «Живете у моря — и никогда на лодке не катались, ну, вы, женщина, меня изумляете, ведь все женщины качку любят!» — и он подмигивал ей. «А вот возьму и поеду», — вдруг сказала Вера Ивановна. «Так завтра в семь на Желтышевке», — сказал он.

Вера Ивановна надела старенькое платье, потому что, во-первых, боялась порвать или запачкать новое, а во-вторых, монтер сам был одет кое-как. Ей очень захотелось вдруг покататься на лодке — покататься на лодке, и ничего больше. В самом деле, она и на море-то купаться ходила, только пока Лидочка была маленькой, и почему-то ей захотелось увидеть воду вблизи.

Петенька испугался, когда увидел ее. Он совершенно забыл, что плел вчера какой-то женщине, которую толком-то и не разглядел, и сказал вчера единственную правду — что он идет на рыбалку.

Он мрачно сказал: «Ну залезайте, раз пришли», с силой оттолкнул лодку и выгреб в море. Он стеснялся раздеться при ней, ему было жарко и неприятно, и он противно молчал. Но Вера Ивановна только купала руку в воде, улыбалась зеленому морю, щурилась на горы, прикрытые дымкой зноя, как кресла чехлами, и, в сущности, ни о чем не думала.

Петенька, злясь на все на свете, закинул в воду самодур. «Ой, какие крюочки разноцветные», — только и сказала Вера Ивановна. Петенька посмотрел на нее волком. «Не будет рыбалки с вами, — сказал он. — От женщины на воде одна неприятность». Вере Ивановне не хотелось ни ругаться, ни обижаться. «Больше не поеду», — спокойно сказала она, а сама подумала, что надо будет попросить Анатолия Семеновича покатать их по морю с Лидочкой.

Рыбка тем не менее ловилась, и Вера Ивановна залюбовалась на радужную скумбрию, блиставшую, как бабочка, и гаснувшую на глазах, как экран в кино.

На берегу Петенька завернул ей в газету пять крупных рыбок и сказал: «Ваша доля». — «Спасибо за труды», — сказала Вера Ивановна и поехала домой. Она зажарила скумбрию, сказав, что купила ее на базаре. Ее даже повеселило, что вот она таким необычным образом сэкономила немного денег.

А через неделю в поселке снова появился Петенька. «Как у вас тут с напряжением?» — поинтересовался он у Веры Ивановны. «А у нас тут все нормально, и с напряжением, и с воспитанием», — ответила она. Петенька взбесился, прыгнул в машину и уехал.

Где-то в августе она несколько раз ходила на Желтышевку и наконец застала Петеньку, снаряжавшего лодку.

«А я за рыбой пришла», — сказала Вера Ивановна. «Садитесь», — вежливо сказал Петенька.

В этот раз они поговорили; Петенька жаловался на жену, что отбьет деньги. «Так ведь, наверно, пьете?» — спросила Вера Ивановна.

«Пью», — согласился Петенька. «А почему пьете?» Петенька задумался и загрустил.

Подгребя к берегу, он застенчиво разделся до черных сатиновых трусов, попросил Веру Ивановну подержать лодку и бережно нырнул в воду. Вера Ивановна забеспокоилась, но Петенька, пробив под водой очень долго, вынырнул с большой горбатой ракушкой. «Выварю гада, чтоб не пах, — сказал он, — и вам подарю. Вот через неделю приходите на то же место».

Вера Ивановна пришла и получила большой рапан, оранжево-розовый, как персик, внутри. Она положила его на свой стол в кабинете и, когда спрашивали, говорила небрежно: «Дочка забыла, наверно», а когда никого не было, прикладывала раковину к уху и слушала глухой, свистящий ночной говор моря.

За этот август они еще несколько раз ездили рыбачить на лодке, а осенью Лидочка уехала в институт, и вечера Веры Ивановны сделались совершенно пусты и свободны, и, как того давно добивался Петенька, она пошла с ним после наступления темноты на мыс у виноградника. Было тепло, трава кололась, цикады освещали ночь звуками, и запах табака, металла и промасленной кожи, исходивший от Петеньки, уже не показался ей противным.

Зимой они — опять же вечерами — гуляли в парках; Вера Ивановна заставила смущавшегося Петеньку отдать ей худые носки и рваные рубашки и все заштопала. Она даже пекла пирожки и едва не плакала, глядя, как он, давясь от жадности и смущения, пожирал их на скамейках. Петенькина жена казалась ей по рассказам каким-то чудовищем. Впрочем, в отличие от нее Вера Ивановна ни разу не видела Петеньку пьяным, только ругала за гадкий запах от вчерашнего безобразия. А летом они снова уезжали в море, и Петенька сидел у Веры Ивановны в ногах и иногда плакал от счастья.

Так прошло семнадцать лет. Лидочкиному сыну, любимому внуку Вадечке, было уже десять. У Петеньки открылся рак. В больницу к нему ходить было нельзя, и они условились, что Вера Ивановна будет только гулять под окнами, а он — махать ей из коридора. Еще она приносила ему обильные передачи, впервые в жизни готовя на него как на мужа. Жену его она никогда не видела, хотя та и приезжала в больницу через два дня на третий.

Петеньку прооперировали, и два раза они встречались на скамеечке в парке, и Вера Ивановна говорила ему, что после операции он и должен чувствовать себя хуже. А на третий раз Петенька в парк не пришел.

Самое трудное было в день Петенькиных похорон. Вера Ивановна узнала о назначенном дне по телефону, на станции, где Петенька работал. Она долго выбирала, где ей встать. Наконец выбрала площадь, по которой Петеньку неминуемо должны были пронести. Надо было встать так, чтоб ее никто случайно не увидел, а если бы и увидел, то чтоб ничего такого не подумал, но чтоб она увидела Петеньку в гробу. Она решила, что встанет на крыльце молочного магазина. Она подгадала время к самым похоронам и расплатилась с кассиршей, как раз когда слышался заунывный, страшный вой духового оркестра. Она поспешила на крыльцо. Там уже стояла какая-то женщина, с жадным ужасом присматривавшаяся к похоронам. Вера Ивановна что есть сил сжимала сетку с кефиром и смотрела на шевелящуюся толпу, которая почему-то напомнила ей кошмарного червя.

Впереди тучный мужчина, морщась от натуги, нес на голове красную крышку гроба, за ним двое молодых ребят с поглупевшими от торжественности лицами несли венки. «Два веночка-то всего», — нараспев сказала женщина, стоявшая рядом с ней. А дальше — дальше над толпой, на чьих-то жарких плечах, плыл Петенька, весь ушедший в гроб, так что всего-то и было видно что кончик носа, скат лба, седой венчик. Вера Ивановна знала, что вот сейчас-то как раз и надо прощаться, но смешалась, потому

что кольшущийся червь толпы, красный цвет гроба и режущая не сердце, а уши музыка с ее безобразным заунывным распевом отвлекали ее. И только когда похороны пошли в гору и Петенька немножко съехал вниз в гробу, она увидела какие-то смешанные гипсовые складки там, где полагалось быть его лицу.

«Ой, миленькая, — сказала ей женщина, — кефирчик-то пролился!» Вера Ивановна рассеянно посмотрела вниз и увидела, что кефир действительно пролился, залив сумку и запачкав платье. Не оттирая ни того, ни другого, она пошла прямой дорогой куда-то в парк, там села на скамейку, закрыла лицо руками и так плакала, плакала.

Поэтому, когда через восемь лет после этого в больнице умирал Анатолий Семенович и женщина позвонила ей домой и стала, запинаясь, рыдать в трубку, Вера Ивановна решительно сказала: «Он в шестой палате. Ходите к нему по нечетным дням. — И прибавила дрогнувшим голосом: — И на похороны приходите», и в горле задрожал комок, потому что все смешалось: и гипсовые черты Петеньки, и умирающий Анатолий Семенович, и ее собственный скорый одинокий конец.

На похоронах женщина держалась хорошо, стояла в стороне, и Вера Ивановна ей даже покивала сквозь слезы.

Все это она и рассказала Лидочке на веранде своего крепенького дома, на которой Анатолий Семенович проспал тридцать пять лет назад все лето и половину осени, рассказала монотонно, стараясь не отрывать глаз от моря, потому что если посмотреть на белый город, то отсюда был виден холм с кладбищем, на котором недалеко друг от друга в кипарисовой роще лежали и Петенька, и Анатолий Семенович, и даже винодел. Вера Ивановна все хотела сказать Лидочке: что вот уже поздно что-то делать для всех, кто лежит в кипарисовой роще, но что дорога к роще очень длинная и ее не объять ни умом, ни сердцем и что не надо слушать умных подруг, не надо размазывать слезы перед старухой матерью, а надо делать что-то совсем иное. Хотела — но не сказала, потому что не подобрала слов.

Лидочка удивленно выслушала ее, вздохнула, закурила, сказала себе, что все это не имеет к ней никакого отношения, но обещала подумать. Однако к Новому году она все равно развелась и тут же уехала по путевке в Польшу, оттого что жизнь проходила мимо и нужно было встряхнуться; Вадечка уехал на студенческие каникулы, и поэтому никого не было дома, когда пришла телеграмма. На кладбище Веру Ивановну никто из родных не провожал. Впрочем, деньги на похороны она оставила под ракушкой, которую ей вечность назад с самого дна моря достал Петенька, поэтому шевелящемуся провожальному червю хватило и на венки, и на музыку.









## ЛЕОНАРД ЛАВЛИНСКИЙ

...лет назад.

## 1

Мне стукнуло — не шутка! — в январе  
Пятнадцать лет. А стужа на дворе!

И вечер синий. И клубится иней,  
Перерастая в сон трамвайных линий.

Девицы чуть постарше — догони! —  
Гурьбой спешат на клубные огни.

К подруге забегут, шубейки скинут  
И скроются — на танцах жаркий климат.

Для Ани я растяпа и никто,  
Смешной подросток. Но мое пальто

Ее согрело. Жутко рядом с нею  
И хорошо. Не видно, что краснею.

Дверь настезь. И в объятья кавалера —  
Свое пальтишко. Паж и королева?

## 2

Простить себе пижонства не могу.  
Глаза сомкну — увижу сквозь пургу:

Спешит на танцы Аня Романенко.  
Прическа драгоценного оттенка

Венцом сверкает. «Вы? Я провожу».  
Но грех пажу — влюбиться в госпожу.

В разломе века, на исходе мая,  
Проснется, ничего не понимая.

Где сверстница? Минуту с ним была...  
А голова юнца уже бела...



---

---

ЗУФАР ФАТКУДИНОВ

\*

## АФОРИЗМЫ

**В**ечность: никто ее не любит — и все к ней стремятся.

Зависть, подлость, бессовестность и невоздержанность — разные дороги к одной бездонной пропасти.

Эгоист не терпит ни тех, кто ему помогал, ни тех, кто просил его о помощи.

Чувство смертности толкает человека на крупные свершения, а чувство бессмертия заставляет работать без оглядки на время.

Многие хотят командовать, немногие — повиноваться. Не парадокс ли? С другой стороны, удивительно, что эти последние вообще есть.

Некомпетентный человек, заняв должность, более подвержен коррупции, нежели профессионал.

Первыми к власти рвутся люди некомпетентные и бессовестные: профессионал трижды подумает, стоит ли ему бросать свое дело ради политики, а совестливый не возьмется за то, чего не умеет.

Печальна страна, живущая грандиозными планами.

Насколько не ограничено право быть неправым для «верхов», настолько же ограничено право быть правым для «низов».

Постигая прошлое, мудрец живет в будущем.

Государство, обирающее своих граждан, не оградит их от грабителей.

Народ склонен верить авантюристам и проходимцам тем больше, чем хуже он живет.

Развращенными, лишенными «самостоянья» (Пушкин) людьми легче управлять: они «правильно» реагируют и на кнут, и на пряник.

Враги есть даже у отшельников.

Всякая религия отвергает чужие святыни — в этом ее сила и слабость.

Муж имеет на свою жену не исключительное, а преимущественное право.

Самый умный мужчина умнее самой умной женщины, но самый глупый мужчина глупее самой глупой женщины.

Большинство политиков живет для себя; немногие — и для себя, и для других; лишь единицы — для других.

Ни в чем так не проявляются человеческое ничтожество и слабость, как в неблагодарности за добро.

Доверие к разуму подрывают те желания, что не подчиняются ему.

Предания об утраченной национальной независимости неистребимы ни пропагандой, ни насилием.

Не всякая эпоха благоприятствует авантюризму. Недавно можно было сколотить разве что альпинистскую группу. А теперь — и фонд. И секту.

Для начала спроси себя: «Что хочу?», «Что могу?», «Что необходимо?».

Грабят богатых, а расплачиваются бедняки, с которых богач так или иначе взыщет свой убыток.

Эгоизм труженика — не так уж и плохо.

Истина одна, ложь — многолика. Бесполезно искать главную истину среди многих.

Избыток нетворческой энергии — обычная беда политика.

Свобода без традиций — весьма легкомысленная дама.

Бесчестные, как никто, уверены в своей честности.

Политики, вмешиваясь в историческую науку, приносят ложь. Вмешиваясь в законы экономики, приносят разруху. Вмешиваясь в военное искусство, несут поражения.

В молодости переживание неудач тянется дольше, чем в старости.

Чудо — это возможность в невозможной среде.

История государства начинается с его рождения, история личности — с ее смерти.

Доброжелательные люди больше замечают таланты среди живых, остальные — только среди мертвых.

Самая опасная мораль властей — попрание собственных законов ради «блага народа».

Моральное падение общества олицетворяют политики и преступники.

Власти оправдывают средства целью. А недостижение цели — недостатком средств.

Законы повседневной жизни каждый проверяет самостоятельно. И всю жизнь.

Опыт страданий учит современников, но не потомков.

Ни в ком и ни в чем люди не обманываются так, как в своем будущем.

Только добрые помнят добро.

В тяжелые времена вера — лучшая опора. Или кажется таковой.

Разводы народов столь же скандальны, как и разводы в семьях.

Чрезмерные налоги — налоги на совесть: их не выплатить без обмана.

Слава — наркотик: добыть трудно, привыкнуть легко, расстаться мучительно.

Лучше всего усваивается не то, что интересно или полезно, а то, что хочется услышать.

Умные советы: спрос на них — кот наплакал, а предложений — море.

Нация, игнорирующая свои таланты, безнациональна.

Война с природой: в любом случае поражение неизбежно.

Пока обвиняются только правители, а народ предстает только жертвой, не может быть истинного прогресса.

Убеждения — это не честь и не совесть, а воззрения на окружающий мир, и меняются они вместе с ним.

Самые фантастические представления человека — о самом себе.

Мысль, захватившая человека, превращается в поступок; мысль, захватившая группу людей, рождает партию; мысль, овладевшая народом, рождает историю.

Семейные проблемы создают мужчины, а расхлебывают женщины.

Большие идеи, если они не истинны, оборачиваются трагедией.

Посредственность учится на своих ошибках. Умный — на чужих. Глупый не учится ничему.

Ступив на первую ступень, спроси, твоя ли это лестница.

Народ не выбирает правителей, правители не выбирают народ — откуда же ждать взаимопонимания между ними?

Истина, как и клад, открывается одиночке, а не толпе.

Одни и те же мечты для одних оказываются путеводителем в будущее, а для других — гибельным тупиком.

Политик солгал — народ умылся кровью.



---

---

# Н О В Ы Е П Е Р Е В О Д Ы

ТОРНТОН УАЙЛДЕР

\*

## КАББАЛА

*Роман*

Глава 3

АЛИКС

**К**аббалисты приняли известие о смерти Маркантонио философически. Отчет об этом событии, который безутешная мать дала мисс Грие, был верхом непонимания. По ее словам, я сотворил чудо. В действительности же это было внезапное и полное преобразование мальчика, которое сломило его. Она, она была виновата. Она должна была знать заранее, что нельзя требовать абсолютного воздержания от такого повесы. Он обезумел от чрезмерной добродетели и вытолкнул себя из столь насыщенного безгрешия. «Это вне пределов наших возможностей, дорогая Леда», — постаралась утешить скорбящую мисс Грие. Кардинал воздержался от комментариев.

Каббала вернулась к своим обычным занятиям. Будучи биографом конкретных личностей, но отнюдь не историком социального слоя, я не стану уделять особенного внимания ни подробностям разгрома мисс Пол (она имела наглость надерзить мисс Грие), ни драме Ренана («Жуарская аббатиса» в Констанзи ни разу еще не ставилась как бенефис). Из совершенно бескорыстной любви к традициям Церкви они провалили канонизацию нескольких безликих ничтожеств, которые были предложены в святые, чтобы вознаградить чью-то преданность на Сицилии и в Мексике. Они позаботились о римских налогоплательщиках, приобретя сотни картин современных итальянских художников и устроив постоянные выставки. Они изучали общественное мнение по обрывкам разговоров в Сикстинской капелле. Когда заболели дубы в парке Боргезе, не кто иной, как Каббала, подала правительству мысль о приглашении из Берлина знаменитого ботаника. Сказать правду, их достижения были не очень значительны.

Скоро я понял, что застал их в тот период, когда их влияние стало ослабевать. Вначале они были уверены, что в состоянии устроить что-нибудь наподобие революции, фашистского путча или, на худой конец, обструкции в Сенате. И лишь ухлопав на свои интриги огромные деньги и безрезультатно утрудив сотни людей, они поняли, что новый век отнимает у них прежнее могущество и они не в силах его удержать. Но они продолжали свое дело, хотя и с меньшими претензиями.

Я бывал у них все чаще и чаще. Моя молодость и иностранное происхождение не переставали их забавлять, и они даже стали ощущать некоторую неловкость, придя к мысли, что очень мне понравились. Они полагали, что в моих глазах из подозрительных они превратились в люби-

мых. Порой они указывали пальцем в ту сторону, где сидел я и разглядывал их с непритворным удивлением.

— Он чем-то напоминает настороженную собаку с высунутым языком, — сказала как-то Аликс д'Эсполи. — Что он такое в нас высматривает?

— Он все еще надеется, что мы вдруг выскажем что-нибудь значительное, — откликнулся Кардинал, остановив на мне задумчивый взгляд — взгляд великого оратора, который знает, что без Босуэлла<sup>1</sup> его величие умрет вместе с ним.

— Он приехал из богатой молодой страны, которая станет еще богаче и величественней, тогда как наша страна превращается в руины, в кучу мусора, — вздохнула донна Леда. — Вот почему так сияют его глаза.

— Ну почему же? Напротив! — воскликнула Аликс. — Мне кажется, он любит нас. Но только любит платонически, как это принято в Новом Свете. Когда-то у меня была чудеснейшая собака, ирландский сеттер по кличке Сэмюэль. Он все дни занимался тем, что сидел где-нибудь в уголке и с огромным любопытством следил за нами.

— Кроме этого он хоть что-нибудь делал? — спросила педантичная донна Леда.

— Совсем не обязательно было закармливать его сэндвичами, чтобы добиться его преданности: он любил любить. Вы не будете на меня сердиться, если отныне в память о нем я буду звать вас Сэмюэль?

— Совсем не обязательно говорить о нем при нем же, — проворчала мадам Бернштейн, занятая пасьянсом. — Молодой человек, подайте мое боа, вон там, на рояле.

Позже княгиня объяснила мне свои эскапады. Какую еще более ценную услугу можно было мне оказать? Что другое могло бы сблизить меня с Каббалой так быстро и так легко? В действительности княгиня вовсе не была современной женщиной. Подобно ученым, которые умеют по определенным почти вымершим видам австралийских птиц восстановить целую древнюю эру, мы через личность этой занятой женщины могли бы заглянуть в семнадцатый век и представить себе аристократическую систему в ее расцвете.

Княгиня д'Эсполи была чрезвычайно миловидной и обладала парижским изяществом. Ее очаровательная головка, обрамленная копной песочно-рыжих волос, всегда была склонена к одному или другому тонко обрисованному плечу. Весь ее характер выражался в грустно улыбающихся глазах и в очертаниях маленького красного ротика. Ее отец происходил из провансальской аристократии. Свое детство она провела в провинциальных монастырских школах или лазая по горам, окружавшим их родовый замок. Когда ей исполнилось восемнадцать, ее с сестрой отняли от родных скал, туго зашнуровали в корсеты и отправили, подобно товару, по гостиницам наиболее влиятельной родни в Париже, Флоренции и Риме. Ее сестра вышла замуж за автомобильного промышленника и стала задавать тон на Лионском побережье. Аликс вышла замуж за князя д'Эсполи, который тут же впал в глубочайшую мизантропию. Погруженный в крайнее рассеяние, он не выходил из дому. Друзья его жены не видели его и не упоминали о нем; мы случайно догадались о его существовании по ее поздним приходам, торопливым уходам и порой возбужденному виду. Она потеряла двух детей еще младенцами. У нее не было того, что у других людей называется семейной жизнью. С тех пор самым большим страданием для нее стало поддерживать тот милый тон, к которому все привыкли, — этот чистый родник легкомыслия, истекающий из разбитого сердца.

Неподражаемая на всех сценах общественной жизни, прекраснее всего она бывала в застолье, где являла собой воплощение изящества и блеска, подобных тем, что ненадолго осеняют самых одаренных актрис в их звезд-

<sup>1</sup> Босуэлл Джеймс (1740 — 1795) — английский писатель, автор биографии Сэмюэла Джонсона (1709 — 1784), английского писателя и лексикографа, автора словаря английского языка.

ные минуты в Милламантах, Розалиндах и Селименах. Ни в ком больше не встретишь такого обаяния, таких манер, такого остроумия. Она болтала о своих собаках или кошках, описывала отправление поезда или ругала городское пожарное ведомство с совершенством исполнения, не уступающим искусству Ивет Жильбер<sup>2</sup>, — с тем безупречным совершенством, в котором не было ни грана театральности. Она была наделена тончайшей мимикой и могла вести бесконечные монологи. Но главная особенность ее таланта состояла в том, что ей не требовалось участия в разговоре всех остальных; от остальных нужны были лишь знаки согласия, возражения или нестройные возгласы, — такие издает толпа на сцене в шекспировской пьесе перед тем, как прима покажет свое непревзойденное искусство. Она обладала необыкновенно чистой речью — даром, который у нее лежал глубже, чем простая склонность к благоприобретенной грамматической правильности в каждом из четырех европейских языков. Этот дар проистекал из свойств ее ума. Ее мысль развивалась сложным образом, но без правил, в долгих петляющих вводных предложениях, в тонкой сети условных синтаксических конструкций, которые неизменно оканчивались каким-нибудь изящным кульминационным оборотом, каким-нибудь неожиданным обобщением или подводящим итог афоризмом. Однажды я поймал ее на том, что она говорит периодами, и она призналась, что учителя-монахини у них в школе, в Провансе, требовали от нее каждый день сочинять устные этюды по формулам, составленным главным образом из рецептов мадам де Севинье<sup>3</sup>, завершавшихся «а *conpetto*»<sup>4</sup>.

Такие исключительные личности не способны жить обыкновенным человеческим укладом. Ходили постоянные слухи о странных бурных романах княгини. Казалось, она была обречена собирать по римским гостиним урожай привязанностей столь же кратких и экстравагантных, сколь пылких и разочаровывающих. Природа решила замучить эту женщину, принуждая ее к любви (как финалу лихорадочных расспросов, поисков, притворного безразличия, бесконечных одиноких пасьянсов, смешных видений недостижимого счастья) с молодыми людьми того сорта, для которых она отнюдь не была соблазнительна: с холодным безликим ученым или молодым атлетом-северянином, с секретарем Британского посольства, с русским скрипачом или германским археологом. И хотя ее связи были не столь уж многочисленны, молва настолько их преувеличивала, что хозяйки римских гостиных, где она бывала, зная о ее увлечениях и желая, чтобы за их столами княгиня сверкала своим даром в полную силу, намеренно включали в список гостей также и последних избранников княгини, для которых, собственно, она и пела весь вечер напролет, подобно лебедю, свою песнь разбитой любви.

Еще девушкой, насколько мне удалось восстановить историю развития ее личности, она осознала тот факт, что в ней есть нечто, мешающее ей приобретать друзей, а именно — ее интеллект. Всякий умный человек, который действительно хочет, чтобы его любили, очень скоро, в крайнем случае после нескольких сердечных разочарований, научится скрывать свой ум. Постепенно такие люди направляют свою острую чувствительность в практические формы, в целостную систему технических приемов обольщения других людей, в оборотистую речь, в эвфемизмы показной привязанности и стараются смягчить все грубые линии своей души. Все совершенства княгини, по существу, являлись почти бессознательными попытками добиться дружбы тех, кто мог бы и сам легко стать ее воздыхателем. Но она понимала, что если будет чересчур изумительна в своей артистичности, то скорее ослепит и оттолкнет, нежели вызовет симпатию; если же она не будет на высоте своих совершенств, то, скорее всего, вну-

<sup>2</sup> Жильбер Ивет (1867 — 1944) — французская певица.

<sup>3</sup> Маркиза Мари де Рабутен-Шанталь Севинье (1626 — 1696) — французская писательница.

<sup>4</sup> Законченным суждением (*итал.*).



шит о себе представление как об обычной ярко выраженной истеричке. За многие годы она научилась этой своей лепечущей речи, инстинктивно замечая на лицах собеседников, какие интонации ее голоса, какие движения рук, какие паузы и перед какими прилагательными воздействуют сильнее, а какие менее впечатляюще. Иными словами, побуждаемая любовью, она достигла чрезвычайного мастерства в этом чудеснейшем искусстве — давно забытом всеми искусстве беседы. Словно охваченная паникой подопытная мышь в лабиринте экспериментатора, она уже предвидела следствия своих поступков, руководствуясь элементарным правилом проб и ошибок, которое является единственным настоящим учителем, ведущим нас через многочисленные синяки и шишки неудач к радости конечного успеха. Утонченная и нежная природа ее темперамента была не в состоянии выносить это двойственное напряжение вдохновения и скорби, вот почему в ее очаровании был легкий оттенок безумия. Она с каждым днем становилась все легкомысленней и то и дело впадала в капризы, по-своему нелепые и трогательные. Но ее худшие времена были еще впереди.

Джеймс Блейр со своими дневниками все еще оставался в Риме. Он открыл новые источники для своего исследовательского зуда. По всей видимости, ему не хватит и десяти жизней, чтобы достичь горизонтов своего любопытства. «Ты только вдумайся, — мог он сказать, — понадобилось бы около десяти лет, чтобы выработать критический метод для исследования всех исторических проблем, связанных с жизнью святого Франциска Ассизского! Это потребует почти столько же времени, сколько нужно, чтобы построить все римские дороги!» О Господи! Да все эти проблемы сводились к одной: как Рим стал республикой! Иной раз он мог дремать над восемью или десятью фолиантами на французском или немецком о Кристине Шведской<sup>5</sup> и ее жизни в Риме. Почему бы после этого не выучить шведский, чтобы читать эти дневники и мемуары в подлиннике, а узнать об этой даме больше, чем все остальные, перейти к ее отцу и месяцами торчать в библиотеках, выискивая сведения о полицейских талантах и военном гении Густава Адольфа<sup>6</sup>? Таким образом, вся жизнь оказывается заполненной: тома, тома, каталоги, примечания... Можно изучать святых — и ни во что не верить. Можно знать все о Микеланджело — и не испытывать ни малейшего шевеления чувств при виде его шедевров. Джеймс неделями жил как зачарованный, упиваясь описаниями любовниц Цезаря, и в то же время его чуть ли не волоком тащили на обеды в Палаццо Барберини. Он считал всех своих современников банальными — и сам же зачастую становился жертвой самого банального обмана возвышенным слогом невежд историков, которые не в состоянии сделать живыми (по Блейру — банальными) своих героев. Сущее набрасывает на мир вуаль неизменности: посмотреть в лицо, даже прекрасное, — значит увидеть поры на носу и морщины у глаз. Прекрасны лишь несуществующие лица.

Дело в том, что Джеймс Блейр слишком рано был напуган жизнью (как и княгиня, бросаемый от душевного упадка к воодушевлению, он понял это, воскликнув: «Боже, чего они от меня хотят?») и навсегда посвятил себя книгам. Временами его ученость напоминала панику: если он оставлял свои книги и что-нибудь предпринимал, то при этом боялся, что, оторвав глаза от книжной страницы, он увидит мир, обращенный в руины. Его жизнь состояла из бесконечного поиска фактов, которые вовсе не были нужны ему для публикаций, не приносили ему истинного эстетического удовольствия и не требовали от него чрезвычайных усилий, поскольку диктовались одним лишь стремлением от чего-нибудь уйти. Для одних освобождением служат сны, для других — факты.

Словом, его манеры, стиль жизни и поступки действительно выливались в неземной образ, который вкуче с молодостью, эрудицией и слегка

<sup>5</sup> Кристина Августа (1626 — 1689) — шведская королева. В 1654 году отреклась от престола и переселилась в Рим. Покровительствовала художникам и музыкантам.

<sup>6</sup> Густав Адольф — король Швеции Густав II; правил с 1611 по 1632 год.

рассеянной учтивостью внушал особенную любовь пожилым женщинам. И мисс Грие, и мадам Агоропулос — обе увивались вокруг него чуть ли не с материнской нежностью и злились на упорство, с каким он отказывался ходить к ним в гости. Он напоминал мне льва, что пристально смотрит, не мигая и не видя, на собравшуюся вокруг его клетки толпу, которая гримасничает и машет зонтиками, тогда как зверь считает ниже своего достоинства даже сожрать бисквит, брошенный плебейской рукой.

В то время, когда у него произошел роман с княгиней, он был занят установлением точного местоположения древних итальянских городов. Он читал средневековые описания Кампаньи и прослеживал по названиям местечек, высохшим руслам рек, старым потрескавшимся картинам прежнее расположение забытых дорог и брошенных поселений. Он изучал древнее сельское хозяйство и животноводство и был совершенно счастлив. Время от времени он делал записи обо всем этом, но большей частью предпочитал узнать истину и тут же забыть ее.

Когда в его комнате бывало холодно, он беззастенчиво пользовался моей, загромождал столы фолиантами в кожаных переплетах, расставлял вдоль стен картины и устилал пол географическими картами. Он ошеломил всех библиотекарей в Римском колледже своей эрудицией и добился редкой привилегии брать домой древние рукописи.

Однажды в мое отсутствие меня навестила княгиня д'Эсполи. Оттима впустила ее. Княгиня вошла и едва не наступила на Блейра, который в этот момент ползал на четвереньках по полу, путешествуя от города к городу по какой-то раскрашенной желтыми пятнами карте. Его пиджак валялся в стороне, непричесанные волосы свисали на глаза, руки были перепачканы. Он никогда прежде не встречался с княгиней, и ее наряд ему не понравился. Он молчал, статный и суровый, стоя как истукан, устремив глаза на карту. Он сказал ей, что меня нет дома. «Возможно, его не будет до... Постараюсь не забыть сказать ему, что...»

Аликс не смутилась. Она даже попросила чашку чая. Как раз вошла Оттима и объявила, что обед скоро будет готов. Пока готовился чай, Аликс попросила объяснить ей, что это за карта. В данный момент княгиня была вполне расположена проникнуться интересом к древним городам. Но без докторской степени по археологии с Блейром трудно было говорить на равных. Сухо, с высокомерием и пространными цитатами из Ливия и Вергилия он разглагольствовал перед моей гостьей. Он гонял ее по всем семи холмам, не зная жалости, он таскал ее туда и сюда по всем блуждающим руслам Тибра. Когда же наконец я вернулся домой, то обнаружил ее сидящей с забытой чашкой чая в руке и замороженно взирающей на него с непередаваемым изумлением. Она и не предполагала, что на свете бывают такие люди. Сам же Блейр весьма напоминал семилетнего капризного мальчишку, которому не дали доиграть в индейцев. Трудно сказать, что в нем больше всего очаровало княгиню; вполне вероятно, это был неизгладимый отпечаток крайнего эгоизма. Впрочем, это мог быть и холодный душ его неприветливости. Аликс, которая была само наслаждение для большинства очаровательных людей Европы, которая никогда еще не входила в гостиную не встречаемая радостными приветствиями, которая никогда не приходила слишком рано и не уходила слишком поздно, но всегда была желанна, — Аликс вдруг узнала вкус обиды.

Как только я появился, Блейр совершил быстрое и неуклюжее бегство.

— Нет, он прелестен! Он прелестен! — восклицала княгиня. — Кто он такой?

Я коротко рассказал о его родине, его университетском бытии и его страсти учиться.

— Нет, он чрезвычайно занимателен! Скажите мне, он со всеми такой надутый? Может быть, я чем-то досадила ему? Что я могла такого сказать ему, Сэмуэль?

Я поспешил разуверить ее:

— Он такой со всеми. И многие любят его именно за это. Особенно женщины постарше. Например, мисс Грие и мадам Агоропулос обожают его, хотя он только и делает, что сидит у них в гостиной и придумывает поводы, чтобы не остаться на обед.

— Да, но я-то не стара, а он все-таки нравится мне. Ох, он такой грубиян! Был момент, когда мне захотелось надавать ему по щекам. Он только один раз посмотрел на меня! Передайте ему, Сэмуэль: в его жизни будет не один тягостный день, если он не научится вежливости. Он хоть кого-нибудь любит? Кроме вас, разумеется.

— Да, он как-то сватался к одной девушке, это было в Соединенных Штатах.

— У нее темные волосы или светлые?

— Я не знаю.

— Запомните мои слова: он будет очень несчастен, если не станет приветливее. Подумать только: какой ум, какой взгляд! Как все-таки удивительно, знаете ли, видеть такую искренность, такую простоту. Он живет здесь?

— Нет, он приносит сюда свои книжки, когда у него в комнате слишком холодно.

— Он беден?

— Да.

— О, так, значит, он беден!

— Ну, не совсем беден, конечно. Когда он действительно спустит последний цент, то сразу находит себе заработок. Ему нравится быть бедным.

— И он живет совершенно один?

— Да. Увы, да.

— И он беден! — Она на мгновение задумалась в горестном изумлении, но тут же воскликнула: — Но это же несправедливо! В этом и состоит обязанность общества, чтобы... Общество должно оказывать помощь таким людям и гордиться этим. Тех, у кого большие доходы, надо обязать заботиться о таких людях.

— Но, княгиня, Джеймс Блейр больше всего дорожит своей независимостью. Он не захочет, чтобы о нем заботились.

— О них надо заботиться, не спрашивая их мнения. Послушайте, вы должны приводить его ко мне на чай каждый день. Я уверена, в библиотеке моего мужа найдутся карты Кампаньи и подревнее этой. У нас хранятся донесения байли дома Эсполи чуть ли не с шестнадцатого столетия. Может быть, стоит их принести?

Удивляясь самой себе, княгиня перевела разговор на другую тему, но скоро опять вернулась к одному из достоинств Блейра, которое она называла целеустремленностью. Она, конечно, имела в виду его самодовольство. Некоторое время мы были согласны в своих чувствах к человеку, недостатки которого видны были нам обоим, но о них мы предпочитали не распространяться, и наша идеализированная любовь к нему не была столь уж большим преувеличением его совершенств. Это было всего лишь заботливое «разумное объяснение» его пороков.

Когда я снова встретился с Блейром, ему потребовалось два или три часа, чтобы набраться храбрости и спросить меня, кто была эта дама. Он мрачно слушал, пока я изливал свое воодушевление. Потом он показал мне записку, в которой княгиня просила его приехать к ней в Эсполи, осмотреть поместье и привести в порядок архивы. Он мог бы взять с собой и меня, если я соглашусь. Джеймсу очень хотелось поехать, но он с недоверием вспоминал о княгине. Она ему нравилась, и все же он не доверял ей. Он пытался мне объяснить, что ему нравятся только такие, которые не показывают своих чувств первыми. Он в замешательстве крутил и мял записку, не зная, на что решиться, наконец бросился к столу и написал ответ.

Затем началось то, что обычно называют осадой. Как-то, проезжая по Корсо, Аликс, наверное, сказала себе: «Нет ничего неприличного в том, что я зайду к нему и узнаю, не хочет ли он осмотреть Сады. Я говорила подобное чуть ли не дюжине мужчин, и это было совершенно естественно. Я гораздо старше его, так что мой визит будет всего лишь проявлением... скажем, заботы». Когда же она остановилась перед его дверью (она сочла недостаточным послать к нему шофера), вероятно, ее на мгновение охватила паника, и когда никто не ответил, ей захотелось вернуть свой звонок назад. Она предположила, что он, затаив дыхание, замер с той стороны запертой двери и с яростью или презрением прислушивается к ее громко бьющемуся сердцу.

Потом, наверное, она рассуждала сама с собой всю ночь среди позолоченных кресел в своей маленькой гостиной: вправе ли она послать ему записку. Возможно, она считала дни с того самого момента, когда она заговорила с ним, и оценивала возможные приобретения от новой встречи (внутренние, духовные приобретения, отнюдь не плотские: для каббалистов последние просто не существовали). Порой она случайно встречала его в городе и считала это доказательством того, что ангелы-хранители все-таки существуют. В конце концов эти случайные встречи стали главным смыслом ее жизни: тогда она владела его вниманием на протяжении всей Пьяцца-Венеция и сопровождала его, куда бы он ни направлялся. Не было человека счастливее Аликс в те редкие минуты, когда он сидел рядом с ней в машине. С какой покорностью она выслушивала его нудные лекции; с какой нежностью она украдкой отмечала его галстуки, туфли и носки; с каким чувством она смотрела в любимое лицо, стремясь запечатлеть в своей памяти резкие и правильные его черты, запечатлеть это восхитительное безразличие, которое привязывает к себе прочнее самой пламенной любви.

У них была возможность стать очень близкими друзьями, поскольку он смутно чувствовал, что в ней было нечто от знаменитых женщин времен его юности. Если бы она еще при этом не столь откровенно демонстрировала свою нежность. Мне кажется, первые же знаки его симпатии настолько опьянили бы ее предвкушением сердечности и, может быть, взаимной любви, что она непременно не удержалась бы от какого-нибудь сомнительного замечания с двусмысленной подоплекой; она непременно отпустила бы какую-нибудь скользкую шуточку по поводу его происхождения или пригласила его на ленч. И тут же потеряла бы его.

Как-то он дал ей почитать одну книгу, которую упоминал в разговоре с ней. Он не переставал думать, что в их взаимоотношениях это было первое движение, которое он совершил произвольно. До сего момента каждое предложение, каждое приглашение исходило от нее (от нее, трепещущей каждый раз в предчувствии унизительного отказа, но легко забывающей свой позор), и она ловила каждый его взгляд, каждое слово, стремясь угадать его желания. И когда ей принесли эту несчастную книгу, она вконец потеряла голову. Она решила, что это не что иное, как знак утверждения ее права считать их дружбу более тесной, нежели это было до сих пор, — ее права отныне видеть его каждый день, проводить с ним каждый вечер. Она так и не поняла, что в его глазах она была, во-первых, заклятым врагом его занятий и, во-вторых, тем чужеземным строящим козни чудовищем, которому, несмотря на самую широкую начитанность, чужда всякая человечность: короче, она была *замужней* женщиной. Она стала приходить к нему чаще. Неожиданно он переменился; он стал грубым и резким. И теперь, когда она поднималась к нему по лестнице, он действительно замирал, затаив дыхание, за дверью и слушал, как нетерпеливо и требовательно звонит она в дверной колокольчик, уверенная, что он тут. Она была потрясена. Она вновь испытала тот давний ужас, который прятала в глубине души: она вдруг поняла, что любит человека, который совсем не любит ее. В смятении она бросилась ко мне. Я предусмотр-

рительно посоветовал ей не торопиться с выводами до тех пор, пока я при случае не поговорю с Блейром.

Но Блейр скоро сам пришел ко мне. Озадаченный и взбешенный, он мерил шагами комнату. Его пребывание в Риме становилось невозможным. Он сказал, что долее не отваживается оставаться в своей комнате, и когда он вышел от меня, то пошел не к себе, а отправился вон из дома, бродить по глухим улицам. Что ему оставалось делать? Я порекомендовал ему уехать из города.

Но как ему было уехать? Работа была в самом разгаре: он писал какую-то статью о... что-то о... Да черт с ней, с этой статьей! В общем, он все-таки решился.

Перед отъездом я предложил ему поужинать вместе; я сказал, что придет княгиня. «Нет-нет! Что угодно, но только не это!» Тут я тоже разъярился. Я перечислил ему все глупости, которые он вытворял. Часом позже я сказал: хочет он того или нет, но законы любви накладывают определенные обязательства. Даже более чем простые обязательства. Надо быть в достаточной мере вежливым, быть, черт возьми, любезным! Блейр так ничего и не понял, но согласился присутствовать, хотя и при одном довольно тягостном для меня условии: я не скажу княгине, что он должен уехать в Испанию прямо этой ночью, сразу после нашего ужина.

Конечно же, княгиня приехала пораньше и в таком сногшибательном наряде, что я чуть не потерял дар речи. Она показала билеты в оперу: «Конечно, не у всякого хватит терпения дослушать «Саломею»<sup>7</sup> до конца, но после нее будут танцевать «Петрушку»<sup>8</sup>, в десять тридцать». Поезд Блейра отправлялся в одиннадцать. Пришел Блейр и изобразил всю любезность, на которую только был способен. Мы в самом деле были очень счастливы, когда сидели у открытого окна, курили и рассуждали о непревзойденном великолепии *zabiglione*<sup>9</sup>, кулинарного шедевра нашей Оттимы, и о резком вкусе трастевринского кофе.

Я пребывал в непрерывном изумлении, замечая, что в присутствии Блейра она в самом деле выглядела гордой, независимой аристократкой. Даже ее реплики с едва заметными интонациями нежности были таковы, что трудно было предположить меж этими людьми какие-либо тайные связующие нити. Именно ее утонченная гордыня склоняла ее к преувеличению собственной исключительности. Она дразнила его; она делала вид, что не слышит его слов, когда он обращался к ней; она делала вид, что всерьез увлечена мною. Он уже стал думать, что она никогда не была и не способна быть той, прежней, застенчивой, робкой, даже услужливой. Хотя в те ставшие вдруг далекими времена она тем не менее могла явиться к нему без приглашения. Наконец она встала.

— Пора посмотреть русский балет, — сказала она.

Блейр извинился:

— Мне очень жаль, но мне надо еще поработать.

Она взглянула так, словно ее пронзили мечом.

— Но три четверти часа со Стравинским, наверное, не повредят вашей работе, даже наоборот. Моя машина ждет нас.

Он оставался непоколебим. Билет на ночной поезд уже лежал у него в кармане.

На мгновение она растерялась. Она никогда прежде не сталкивалась с таким упрямством и теперь не знала, что делать. Но через минуту она склонила голову и поставила свою чашку на стол.

— Отлично, — улыбаясь, сказала она. — Если вы не можете, значит, не можете. Мы поедем с Сэмюэлем.

<sup>7</sup> «Саломея» — опера Р. Штрауса, созданная по одноименной пьесе Оскара Уайльда.

<sup>8</sup> «Петрушка» — балет Игоря Стравинского.

<sup>9</sup> *Забильоне (итал.)* — сладкое блюдо из яичных желтков, взбитых с сахаром, с добавлением вина.

Их прощание было безжалостным. Всю дорогу до театра Констанци она хранила молчание, теребя складки своего пальто. Во время спектакля она сидела в глубине ложи и думала, думала, думала; ее глаза сухо поблескивали в темноте. После занавеса толпа знакомых окружила ее в коридоре; она немного повеселела.

— Давай поедем в русский ресторан, — предложила она.

У дверей ресторанички она отпустила шофера и попросила передать горничной, чтобы та ее не ждала. Мы долго танцевали в молчании; подавленность снова охватила ее.

Мы вышли из ресторанички. Холодная луна облила улицу мертвенным светом. Мы нашли извозчика и отправились к ней. Дорогой мы увлеченно вспоминали наш давний разговор и очнулись, лишь когда экипаж остановился у дверей ее дома.

— Послушайте, Сэмюэль, не оставляйте меня сегодня одну. Я сейчас мигом переоденусь, и мы поедем смотреть восход солнца над Кампаньей. Вы не сердитесь на меня?

Я заверил ее, что именно этого я и желал, и она поспешила в дом. Я рассчитался с извозчиком — он был пьян и сварлив, — и когда она вышла, мы зашагали по улицам, разговаривая, разгоняя начавшую подступать сонливость. В рестораничке мы немного перестарались с водкой, и теперь алкоголь туманил нам головы, навевая то же настроение, что и лунный свет, который проливался на казавшиеся ледяными древние стены Пантеона. Мы забрели во внутренний двор Палаццо Канцеллерия, покритиковали арки. По пути мы зашли ко мне за сигаретами и решили немного посидеть у меня.

— Вчера вечером я не была такой бравой, как сегодня, — сказала она, откинувшись на софе. — Я была в отчаянии. Это перед тем, как я получила ваше приглашение. Могла я навестить его или нет? Я не видела его целую неделю! Я спрашивала себя: неужели он будет чувствовать себя... да, оскорбленным, если дама постучит ему в дверь в десять вечера? Было около десяти вечера. В самом деле, ведь нет ничего необычного в том, что дама позволяет себе совершенно безразличный визит в половине десятого вечера, правда? Ведь нет же ничего неприличного, Сэмюэль, например, в том, что я сейчас нахожусь здесь, у вас, не правда ли? Кроме того, для визита у меня была совершенно объективная причина. Он хотел знать, что я думаю о «*La Villeggiatura*»<sup>10</sup>, я как раз ее прочитала. Ну скажите, мой дорогой, буду ли я смешной в глазах американца, если я?..

— Милая Аликс, вы никогда не бываете смешной. Но, может быть, сегодняшняя встреча показала вам столь светлой и счастливой всего лишь потому, что вы с ним долго не виделись?

— Ох, какой же вы умница! — воскликнула она. — Бог послал мне вас в трудную минуту. Сядьте ближе и дайте вашу руку. Вам, наверное, стыдно за меня, когда вы смотрите, как я убиваюсь? Наверное, меня надо стыдиться. Сейчас вы меня видите без всяких титулов. У вас добрые глаза, и мне не стыдно перед вами. Мне кажется, вы меня любите, ведь вы так долго терпите мои глупости. Ох, мой дорогой Сэмюэль, только теперь я поняла, что он презирает меня. Я так ошиблась в нем! Когда со мной начался весь этот кошмар, то он в это время не просто не любил меня — он смеялся надо мной, да! Смеялся надо мной. Мое сердце остановилось, я несколько часов ходила красная от стыда. Меня утешают лишь воспоминания о том, что он говорил мне много добрых слов, что он прислал мне эту книгу, что спрашивал обо мне. Я так молила Господа вложить в него хоть чуточку нежности ко мне! Хоть чуточку уважения к тем моим свойствам... к тем моим свойствам, которые другие люди, мне кажется, во мне очень ценят.

<sup>10</sup> «Курортной жизни» (*итал.*); обобщенное название трех комедий Карло Гольдони, написанных в 1761 году и объединенных одной темой.

Некоторое время мы сидели в молчании, ее горячая ладонь трепетала в моей руке; широко открытые глаза блестели в темноте.

— Он хороший. Он рассудительный, — тихим голосом снова заговорила она. — Когда я раздумываю над его поступками, я очень хорошо понимаю, что недостойна его любви. Мне надо научиться быть проще. Да, проще. Послушайте, вы так много сделали для меня, могу я попросить вас еще об одной услуге? Поиграйте мне, пожалуйста. Мне надо вытеснить из головы эту колдовскую музыку «Петрушки», когда он борется сам с собой. Она меня преследует.

Мне было неловко играть для нее, игравшей намного лучше любого из нас, но я достал ноты и начал глюковскую «Армиду». Я надеялся, что мое неумелое музицирование поможет ей выйти из угнетенного состояния, но скоро я увидел, что она уснула. После долгого блестящего диминуэндо я оставил инструмент в покое, загородил свет, чтобы тень падала на Аликс, и на цыпочках вышел из гостиной. В своей комнате я переоделся и приготовил все, чтобы утром, как мы с ней решили, пойти любоваться восходом солнца. Я весь дрожал в странном счастливом возбуждении, порожденном и моими любовью и жалостью к этой женщине, и ощущением причастности к ее чудесной душе в крайней степени ее страдания. Так я лежал, гордый и счастливый своей ролью психагога, и вдруг мое сердце замерло. Она всхлипнула. Судорожные рыдания прорвались из глубины ее сна; сдавленные вскрики протеста, неясные упорные возражения и стоны следовали друг за другом. Неожиданно все звуки замерли — я понял, что она проснулась. С минуту длилось молчание, потом тихий голос позвал меня:

— Сэмуэль!

Едва я вошел к ней, как она воскликнула:

— Я знаю, он презирает меня! Он сбежал от меня. Он считает меня дрянной женщиной, которая преследует его. Он приказал прислуге сказать мне, что его нет дома, а сам стоял за дверью, прислушивался и ждал, когда я уйду. Что мне делать? Мне лучше не жить! Я больше не могу жить! Так будет лучше, милый Сэмуэль, если я уйду отсюда прямо сейчас, я пойду своей дорогой, я остановлю весь этот обман, этот... эти бессмысленные страдания. Ты же видишь!..

Она поднялась и стала искать рукой в темноте свою шляпу.

— Этой ночью мое мужество вернулось ко мне, — прошептала она. — Он оказался слишком хорош и слишком прост для меня, чтобы так надоедать ему, как надоедала я. Я уйду, уйду совсем...

— Но Аликс! — закричал я, схватив ее за руку. — Мы так любим тебя! Столько людей любят тебя!

— Не говори так, не говори, что все любят меня. Все любят караулить меня у подъезда. Любят слушать мои речи и смеяться моим шуткам. Но никто из них не тосковал обо мне под моими окнами. Никто не интересовался моей будничной жизнью. Никто...

Она упала на софу, слезы потекли у нее по щекам. Тогда заговорил я. Я говорил долго. Я говорил, что ее талант — в общении, что когда вокруг нее люди, то она — неподражаема; ее общество, ее речь доставляет самое изысканное наслаждение из доступных человеку с тех пор, как он начал чувствовать силу слова; что она избавляет других людей от тягостной скуки, от завуалированного омерзения и ненависти, которые они чувствуют к самим себе. Я клялся ей, что она непременно будет счастлива, если займется своим талантом и будет развивать его. Краем глаза я видел по ее склоненному, мокрому от слез лицу, как на нее с каждым моим словом постепенно нисходит умиротворение, а сам твердил и твердил, что она обладает редчайшим даром, о котором ей просто никто никогда не рассказывал. Скоро она успокоилась совсем, и я умолк. Тогда она сама заговорила тихим, почти сонным голосом.

— Я брошу его. Я больше не хочу видеть его, — начала она. — Сэмуэль, когда я была маленькой и мы жили в горах, у меня был ручной козлик по кличке Тертуллиан, которого я очень любила. Однажды он умер. Я

не находила себе места. Я ненавидела всех и донимала капризами своих домашних. Гувернантки, которые водили меня в школу, ничего не могли со мной поделать, и когда наступала моя очередь отвечать урок, я отказывалась говорить. Наконец мать настоятельница, которую я очень уважала, пригласила меня в свой кабинет. Вначале я, конечно же, вела себя очень некрасиво, даже при ней. Но когда она стала мне рассказывать, кого в своей жизни потеряла она, я простерла к ней руки и зарыдала. В качестве наказания она приказала мне останавливаться перед каждым человеком, который попадется мне навстречу, и говорить ему два раза: «Господь милостив! Господь милостив!»

Помолчав, она добавила:

— Я понимаю, что такое чувство больше подходит испытывать к людям, а не к животным, но до сих пор почему-то я тоскую по Тертуллиану. Когда же наконец я тебе надоем, Сэмуэль?

— Никогда, — ответил я.

В окна стали проливаться первые отсветы зари. Неожиданно где-то невдалеке послышался тонкий звон малого колокола, чистейший серебряный звон.

— Тише! — прошептала она. — Это ранняя месса в какой-то церкви.

— Санта Мария ин Трастевере, прямо за углом.

— Быстрее!

Мы вышли на улицу и вдохнули холодный утренний воздух. Густой туман висел над улицами; клубы голубого дыма окутывали перекрестки. Мимо, низко волоча пушистый хвост, просеменила кошка. Дрожащие, но ликующие, мы вошли в церковь и присоединились к рабочему и двум старым женщинам в измятых пальто. Свод неясно вырисовывался в вышине над нами, свечи из бокового придела отбрасывали тусклый свет на мраморные статуи и на золото мозаики в огромном черном куполе. Месса скоро завершилась. Когда мы вышли, молочный свет начинал заполнять площадь. Витрины магазинов были еще закрыты; сонные прохожие пересекали площадь; какая-то женщина понесла на рынок цыплят в корзине.

Мы направились к Авентину и перешли через Тибр, который извивался под нами, словно огромный желтый канат, в прозрачном тумане. Мы задержались у магазинчика, чтобы выпить по стакану кислого иссиня-черного вина и съесть по два пирожка.

Порой мне казалось, что княгиня навсегда отказалась от всякой надежды когда-нибудь снова увидеться с Блейром. Сидя на каменной скамье на унылом Авентине, мы созерцали солнце, которое начинало свое восхождение, купаясь в оранжевых облаках на горизонте. Казалось, она порой впадала в свое прежнее уныние, и тогда я опять и опять убеждал ее, что ее речь — это самый яркий из ее талантов.

Неожиданно она встрепенулась:

— Ладно. Хорошо. Я попробую, только ради тебя. Я должна что-то делать. Куда ты собираешься сегодня?

Я пробормотал, что вроде бы мадам Агоропулос намерена устроить музыкальный прием: она представит гостям одного моего молодого соотечественника, который утверждает, что открыл тайну музыки древних греков.

— Пошлите ей записку. Позвоните ей. Спросите, можно ли мне прийти. Я тоже хочу узнать о музыке древних греков. Я познакомлюсь с каждым, кто там будет. Я каждого спрошу, как у него дела. Послушай, Сэмуэль, как только ты убедил меня в том, что мой талант — общение, мне захотелось познакомиться с каждым, кто бы ни жил в Риме. Я умру на ниве общественного служения: «Здесь лежит прах той, которая никогда не отвергала приглашений!» Я буду знакомиться с тысячей, с двумя тысячами людей каждые десять дней! Я разобьюсь в лепешку, чтобы угодить каждому. Но запомните, Сэмуэль, если это не заполнит мою жизнь, то мы закончим наш эксперимент, так и знайте...

Мадам Агоропулос была потрясена, когда услышала, что неприступная и недосыгаемая княгиня сама собирается посетить ее жилище. Мадам Аго-



ропулос вовсе не считала себя рабом социальных предрассудков, но все же стремилась сблизиться с Каббалой как с некоторой субстанцией, связующей наш мир с потусторонним. Она была убеждена, что среди этих людей царят согласие, любовь и здравый смысл; что среди этих людей нет ни глупцов, ни завистников, ни скандалистов. Однажды она встретила княгиню д'Эсполи и олицетворила в ней идеал женщины, которому с тех пор стремилась следовать сама; она хотела быть лучше, утонченней, больше читать. Но она отчасти осознала, что добиться всего этого для нее будет гораздо труднее, чем для Аликс, и что ее развитию очень помешало ленивое детство — конечно, счастливое детство, но, увы, ленивое.

В пять часов княгиня на своем авто заехала за мной. Я не в состоянии описать ее наряд; достаточно сказать, что я еще не видал ее в таком блеске, в такой гармонии облика и характера. Жизнь в Италии дала ее одаренной натуре гораздо больше, чем самим итальянкам, хотя среди них и могли найтись женщины, превосходящие ее красотой, положением или рассудительностью. Богатые итальянки тратили в Париже на наряды огромные суммы и привозили с собой тюками дорогие вещи, которые потом без разбора напяливали на себя; но сколько ни кичились, ни важничали и ни хвастали, в конце концов сами начинали понимать, что ничего не достигли, и стремились восполнить недостаток вкуса вернисажем драгоценностей.

Мы прошагали по Виа-По с милю или две и наконец остановились у самого безобразного здания на этой улице, являвшего собой образчик современной германской архитектуры, которая так много дала промышленному строительству. Когда мы поднимались по ступеням, она бормотала: «Держи меня! Держи меня!» В холле мы увидели группу опоздавших, зашикавших на нас; из гостиной доносились слова торжественной декламации, сопровождаемой струнным перебором лиры, безутешное *motu regretto*<sup>11</sup> азиатской флейты и ритмические шлепки ладоней. Похоже, мы явились слишком рано; наша идея знакомиться с двумя тысячами душ каждые десять дней провалилась в самом начале. В досаде мы вышли в сад, раскинувшийся позади дома. Сидя на скамье и внимая долетавшим до нас звукам трагической оды, мы отдались лицемерию седовласого джентльмена в инвалидной каталке неподалеку от нас, укутанного множеством ярких шарфов. Это был Жан Перье. Я рассказал княгине о том, как мадам Агропулос подобрала этого стареющего в нищете поэта-француза на грани смерти, закутала в пуховые шали и поместила в дом призрака в Пизе. С какой любовью она заботилась о нем, отпаивала молоком, развлекала, будила его воображение и интерес к жизни и, наконец, вернула ему прежний талант, обеспечила благополучием его последние годы и содействовала его принятию во Французскую Академию. В эту минуту он был занят беседой с компанией благосклонно внимающих ему кошек. Шесть серых ангорских кошек цвета сигаретного дыма время от времени облизывали свой чудесный шелковистый мех и бросали величественные взгляды на своего патрона. Мы уже читали последнюю книгу поэта и знали их имена — имена шести французских королей. Мы совсем уже задремали на своей скамье: теплое солнышко, хоры из «Антигоны» за спиной и речь поэта, обращенная шести «королевам Франции и Персии», могли усыпить даже тех, кто и не проводил ночи в слезах и исповедах.

Когда мы очнулись, слушание закончилось и все гости, производя шума вдвое больше, чем музыка, выражали свое восхищение. Мы вернулись в дом, алчущие знакомств и пирожных. Море шляпок, под которыми десяток-другой настороженных глаз оглядывали все вокруг в беспрестанном поиске новых приветствий, поглотило княгиню, растворило ее в себе. Неожиданно мой взгляд уперся в объемистое брюшко случайно затесавшегося в эту преимущественно женскую компанию сенатора или посла, завернутого в атлас и перевязанного золотой цепью.

— Кто эта дама в черной шляпе? — шепотом спросила Аликс.

<sup>11</sup> Вечное движение (*итал.*).

— Синьора Давени, жена знаменитого инженера.

— Удивительно! Слушай, приведи ее ко мне или меня свози к ней. Нет, лучше я поеду к ней. Устроишь?

Синьора Давени представляла собой державшуюся очень прямо невысокую женщину с гордо поднятой головой и живыми глазами, выдающими мечтательный характер мальчишки-идеалиста. Ее муж был одним из наиболее известных итальянских инженеров; он изобрел великое множество чрезвычайно важных мелочей в авиационной технике и горой стоял за консерваторов, несмотря на растущую волну рабочего движения. Синьора состояла во всех филантропических комитетах самого разного уровня по всей стране и во время войны вела огромную общественную работу. Сознание своих способностей, соединенное с изрядной бесцеремонностью, объясняющей ее происхождением, принесло ей много мелких триумфов в беспрестанной борьбе с правительством и сенатом. Мне рассказывали историю о том, как однажды она строго отчитала нерешительную, хотя и действовавшую из лучших побуждений, некую леди, принадлежавшую савойской королевской династии. Тем не менее эти свойства придавали грубость ее манерам, а ее торопливое благодарное радушие неизменно превосходило меру оказываемого ей внимания. Одевалась она ужасно, двигалась неловко; ее огромные ноги топали впереди нее, словно у какого-нибудь водonoса из горной деревушки. Она неплохо смотрелась бы среди мундиров, но здесь, среди изящных дамских шляпок и кисейных платьев, чувство собственной неуклюжести повергало ее в глубочайшее уныние. Родом из Турина, синьора Давени почти все время жила в Риме среди садов на Виа-Номентана, где она знала каждого. Княгиня с наитием, присущим глубоко талантливым натурам, обратила разговор на использование сфагнума в качестве перевязочного материала при операциях. Разнородные совершенства двух дам сияли, контрастируя друг с другом; княгиня была поражена, открыв такую глубину знаний в женщине, чье имя писалось без «де»; синьора, в свою очередь, не могла не изумиться, открыв это же качество в особе знатного рода.

Я хотел потихоньку уйти, но неожиданно княгиня остановила меня.

— Она очень искренняя, эта дама. Она пригласила меня к обеду в эту пятницу. И тебя тоже. Найди мне еще кого-нибудь. Эта голосистая блондинка, кто она?

— Лучше бы вам ее не знать, княгиня.

— Надо полагать, она из важных особ. Какой голос! Кто она такая?

— В целом свете не найти большей вам противоположности.

— Вот как! Это интересно. Я должна с ней познакомиться. Она пригласит меня на чай? Хорошо бы познакомиться с ее друзьями.

— О да! В этом она не откажет. Но у вас с ней нет ничего общего. О чем вы будете говорить? Она британка, недалекого ума. Ее интересует только протестантская церковь. Она живет в какой-то маленькой английской гостинице...

— Но где она набралась такого апломба? — Тут княгиня состроила весьма похожую гримаску.

— Да, — подтвердил я, — гордыня из нее так и брызжет. Впрочем, как и из всякой англичанки. Она написала один гимн, и за это ее наградили орденом Британской империи.

— Нет, я хочу с ней познакомиться прямо сейчас же!

Тогда я подвел ее к кавалеру ордена Британской империи мисс Эдит Фостер Причард Стюарт, автору «Я бреду вдаль от путей Твоих» — величайшего гимна со времен Ньюмена<sup>12</sup>. Дочь, жена, сестра — кто еще? — духовников, она жила в самом средоточии англиканства. Она говорила о пустоте существования, о многообещающих молодых людях из Шропши-

<sup>12</sup> Ньюмен Джон Генри (1801 — 1890) — английский теолог, педагог, публицист, церковный деятель.

ра<sup>13</sup>, о передовицах в последних номерах «Знамени св. Георгия» и «Клича англиканства». Казалось, она всегда будет окружена толпой вдов и священников, которые, по ее словам, возвышались, приобретали влияние и начинали презирать ячменный хлеб, который ели всю жизнь. Несмотря на то что она была автором величайшего гимна новых времен, присмотревшись к ней внимательнее, нельзя было не удивиться тому, как сильно дурное расположение духа порой овладевало этой громкоголосой тщеславной женщиной — то самое расположение духа, которое подсказало ей знаменитые восемь строф безнадежности и смирения. Такой гимн мог бы написать Купер<sup>14</sup>, в благородной душе которого пламя евангелизма пылало так сильно, что было бы слишком жарким даже для негра. Еще во времена болезненного детства в ее жизни была минута, когда в ней вдруг заговорила вся искренность ее предков-священников, и поздней ночью, в крайней степени безысходности, которую она была не в состоянии объяснить, она доверила своему дневнику это горестное признание. После этого припадок прошел и больше не повторялся никогда. Это был яркий пример, дающий представление о великой тайне религиозного или художественного сознания: случайное откровение ничтожной души. В настоящую минуту дама-кавалер Эдит Стюарт изо всех сил старалась показать, что титулы не трогают ее воображения. С чистосердечием, немало удивившим ее собеседницу, Аликс попросила разрешения сослаться на ее кавалерственное имя, когда будет устраивать в Итонский колледж своего племянника. Сейчас мальчик живет с родителями в Лионе, но, если мадам позволит, княгиня навестит ее как-нибудь вечером и принесет кое-какие письма мальчика, его фотографии и другие материалы, достаточно убедительные, чтобы дать рекомендации будущему студенту. Они договорились встретиться в пятницу вечером, и княгиня вновь обратилась ко мне за новыми знакомствами.

Так продолжалось около часа. Княгиня действовала без метода, и каждая новая встреча приносила новые проблемы. В три минуты представление переходило в знакомство, а знакомство обращалось в дружбу. Мало кто из ее новых знакомых догадывался, как это непривычно для нее. Она спросила меня, чем занимаются мужья этих дам. Ее приводила в восхищение мысль, что их мужья могут чем-нибудь заниматься. Она никогда не подозревала, что можно сразу познакомиться с таким множеством людей. Она растерянно улыбалась, как склонная к романтизму девушка, увидевшая живого поэта. Жена врача — и тут же рядом жена банщика. Фантастика!.. Ближе к вечеру ее энтузиазм иссяк.

— Я немножко устала, — шепнула она. — Я чувствую себя совсем как Эмма Бовари. Подумать только: все это происходит в Риме — и я об этом ничего не знаю! Я пойду попрощаюсь с мадам Агоропулос. Нет, постой! Кто эта чудесная леди? Она американка, да? Быстрее!

В своей жизни я только однажды видел эту прекрасную и столь же несчастную мисс Даррелл, которая зашла попрощаться со своими римскими друзьями. Как только она вошла в гостиную, воцарилось молчание. Что-то античное, что-то платоновское было в действии ее красоты. Конечно, она и сама многое делала для этого впечатления, не без той доли самомнения, какую мы обычно допускаем в великих музыкантах, которые с преувеличенным вниманием прислушиваются к совершенству собственной фразировки, или в актерах, которые, забыв об авторе, своих товарищах по сцене и о самой фабуле, импровизируют как Бог на душу положит последние слова и жесты заключительной трагической сцены. Она одевалась, она смотрела, она двигалась и говорила так, как это могут делать одни лишь только красивые женщины: она умела возрождать утраченное искусство красоты. Чтобы добиться столь изумительной виртуозности в этом искус-

<sup>13</sup> Шропшир — графство в Великобритании.

<sup>14</sup> Купер Уильям (1731 — 1800) — английский поэт-сентименталист, автор духовных стихов.

стве, к данным ей природой хрупкости и изяществу она прибавила качество, изначально ей несвойственное: волшебство навеянной печали. В своем совершенстве она не имела себе равных; ни одна из ее дражайших подруг, ни даже сама миссис Морроу не осмеливались хотя бы поцеловать ее. Она была подобна одинокой статуе. Она заранее страдала, просто болела, переживая свою брэнность, свою неизбежную смерть, — ее душа протестовала. Она ненавидела каждую частицу того мира, где была возможна столь ужасная вещь, как смерть. На следующей неделе она намеревалась уехать на Капри, на свою виллу, захватив с собой коллекцию любимых полотен Мантеньи и Беллини. Она собиралась прожить там с ними четыре месяца и затем умереть. Но сегодня безмятежностью своего эгоизма, который, собственно, и был ее совершенством и ее болезнью, она превосходила всех, кто ни был в гостинной.

— Если бы я выглядела как она, он бы полюбил меня, — вздохнула Аликс.

Мадам Агоропулос с некоторой робостью взяла Хелен Даррелл за кончики пальцев и подвела к самому почетному креслу. Никто не мог вымолвить ни слова. Луиджи и Витторио, сыновья хозяйки дома, приблизились и поцеловали ей руку. Американский консул осмелился сказать ей комплимент.

— Она прекрасна. Она прекрасна, — шептала Аликс. — Весь мир для нее. Она никогда не будет страдать так, как я. Она прекрасна.

Вряд ли я утешил бы княгиню, если бы объяснил ей, что Хелен Даррелл, с раннего детства купающуюся в нескончаемом потоке восхищения и лести, никогда не заставляли воспитывать собственный интеллект, чтобы научиться привязывать к себе своих друзей, и что ее ум, если выразиться повежливее, это ум школьницы.

К счастью, флейтист снова заиграл, зазвучала музыкальная сцена рая из «Орфея»<sup>15</sup>, и взгляды присутствующих оставили, хотя и с трудом, вновь появившееся лицо. Хелен Даррелл сидела совершенно прямо, не позволяя себе в позе ни малейшей вольности, которую могла бы внушить ей музыка, ни чересчур пылкого внимания, ни мечтательной задумчивости. Я знал, с каким упорством она создавала мнение о себе как о несентиментальном человеке. Когда музыка умолкла, Хелен Даррелл сказала, что хочет проститься с Жаном Перье. Из окна я мог видеть их вдвоем, с бесцельно бродящими у их ног «французскими королевами». Вы удивились бы, услышав, о чем они говорили меж собой, когда она стояла на коленях рядом с его каталкой. Он сказал мне позже, что они любили друг друга. Они любили друг друга, потому что оба были больны.

Аликс д'Эсполи не хотела привлекать всеобщего внимания раньше, чем станет известно, что мисс Даррелл уехала совсем. Она попросила чашку чаю, чтобы успокоиться.

— Теперь я понимаю, — прошептала она. — Господь не назначил мне быть счастливой. Другие могут быть счастливы друг с другом. Но мне этого не дано. Теперь я это понимаю. Давай уйдем отсюда.

После этого началось то, что Каббала позже назвала «Аликс в аду». То она завтракала в дешевом пансионате с какими-то старыми девами из Англии, то сидела в низкопробном ателье на Виа-Маргутта, то убивала вечер на приеме в каком-нибудь посольстве, то чуть не до утра танцевала в отеле «Русь» в гостях у жены парфюмерного фабриканта или обедала с королевой-матерью, слушая по радио последний акт, передаваемый из Оперы. Даже после всего этого у нее хватало сил закончить вечер в русском ресторане — наверное, чтобы отчитаться перед собой в совершенном за день. Для Каббалы у нее не оставалось времени, и та с ужасом следила за нею. Они умоляли ее вернуться, но она лишь улыбалась лихорадочно блестящими глазами и бросалась в новый водоворот знакомств. Много позже,

<sup>15</sup> Имеется в виду «Орфей и Эвридика», опера К. В. Глюка.

когда в их разговорах стали мелькать новые имена, они порой могли предположить с легким презрением: «Наверное, Аликс знает эту шантрапу?» На что она с достоинством отвечала: «Разумеется, я их знаю!» — и спокойно выслушивала хохот, поднимавшийся за столом. Знакомства, которых она добивалась для своего развлечения, я давно уже приобрел с познавательными целями или из простой симпатии; но вскоре она опередила меня по меньшей мере на несколько сотен. Сначала я брал ее с собой, когда меня куда-нибудь приглашали. Но потом, когда она уже сама искала себе друзей, мы довольно часто сталкивались в смехотворных ситуациях: нас представляли друг другу. И порой, если где-нибудь нам становилось скучно, мы потихоньку ускользали через заднюю дверь и делились впечатлениями, полученными в последние дни. Собирал ли комендант Бони на Палатине узкий круг знакомых — она была там. Устраивал ли Бенедетто Кроче приватное чтение новой статьи о Жорж Санд — мы, заметив друг друга в числе гостей, с важностью раскланивались, стараясь не нарушить нечаянной шуткой чинную атмосферу литературного действия. Однажды она настолько увлеклась, что потеряла всю свою аристократическую надменность в жарком бою за реализм на бурной премьере «Шесть персонажей в поисках автора» Пиранделло. На приеме у Каселла в честь Менгельберга, который в «Августео»<sup>16</sup> превзошел самого себя, старина Босси<sup>17</sup> наступил на шлейф ее потрясающего платья, и треск раздираемого атласа приковал к себе слух дюжины восхищенных органистов.

Когда буржуа узнали, что она не чинясь принимает приглашения, поднялся шум, словно с высокой горы обрушился водопад. Почти все из ее новых друзей сделали следующий вывод: она пришла к ним только потому, что великосветские двери начали закрываться перед ней, а у них она найдет прием в любом случае. И они принимали ее с удовольствием. Легкий оттенок безумия придавал ее дару еще большее великолепие. Ее новые друзья, которые всю жизнь смеялись избитым шуткам, теперь получили настоящий повод для смеха. Ее часто просили «изобразить» что-нибудь, какую-нибудь сценку, которая особенно им понравилась. «Вы не видели, как Аликс изображает говорящую лошадь?» — «Нет, не видели, зато в прошлую пятницу она показывала нам „Кронпринца во Фраскати“<sup>18</sup>». — «О, вам повезло!»

Первое время она старалась найти кого-нибудь из артистов; среди них она имела полнейший успех. Они лучше, чем промышленные воротилы, понимали ее душевные терзания, которые в эти дни придавали ее остроумию особенную магию. Они никогда не напоминали ей о ее муках и, любя ее, платили искреннейшей благодарностью, порой выражая свои чувства столь необычно, что она не всегда могла сразу их оценить.

Некоторое время я думал, что все это приносит ей удовольствие. Она так непринужденно смеялась, когда вспоминала недоразумения этих дней. Более того, я заметил, что она сумела завязать несколько весьма тесных знакомств, и я надеялся, что дружба с синьорой Давени, с Дуси и с Беснаром пойдет ей на пользу и в конечном счете возродит ее душу. Но однажды вечером я совершенно неожиданно убедился, что ее «хождение в народ» не приносит абсолютно никаких результатов.

После месячного отсутствия Джеймс Блейр написал мне из Испании, что ему надо вернуться в Рим хотя бы на неделю. Он обещал ни с кем не встречаться, ходить только переулками и убраться восвояси при первой же возможности.

Я ответил ему ругательствами и заявил, что это невозможно. «Мотай куда-нибудь в другое местечко. Здесь твой эгоизм никому не нужен».

Он нисколько не обиделся и еще раз написал мне, что он свободный человек и, если захочет, может приехать куда угодно. Так что нравится

<sup>16</sup> «Августео» — театр в Риме.

<sup>17</sup> Босси Марко Энрико (1861 — 1925) — итальянский органист, композитор.

<sup>18</sup> Фраскати — город в Центральной Италии, центр виноделия.

мне или нет, а он приедет в Рим в следующую среду — и ничто ему не мешает. На сей раз он увлекся алхимией. Он хотел знать все, что только можно, о древних тайных обществах; именно ради этого он и стремился в Рим. Поскольку я ничего не мог с ним поделаться, то решил по крайней мере приложить все старания, чтобы никто о нем не узнал. Пожалуй, я был смещен в своих предосторожностях. Я даже решил устроить так, чтобы мадемуазель де Морфонтен увезла Аликс на недельку-другую к себе в Тиволи, где Беснар будет по утрам писать ее портрет. Но существует некий таинственный закон, в силу которого из стечения всех обстоятельств непременно должно случиться самое трагическое. Кто из нас не ощущал на себе его неотвратимого действия? Предосторожности бесполезны.

Колдуна, которого Блейр намеревался посетить во время своего визита, звали Сарептор Басилис. Он занимал трехкомнатную квартиру на верхнем этаже в старом доме на Виа-Фонтанелла-ди-Боргезе. Ходили слухи, что он даже левой рукой может пускать молнии, а о правой и говорить нечего; что, достигая в медитации экстаза, он вдруг оказывается сидящим среди сияющих обломков радуги; что, если вы поднимаетесь к нему по темной лестнице, вам предстоит продрасться сквозь толпу привидений. У него в передней, где он обычно принимает гостей (по средам — постоянных клиентов и по субботам — новичков), посетителя охватывает благоговейный страх при виде круглого отверстия в потолке, которое не закрыто ничем. В полу, прямо под этой дырой, устроено оцинкованное корыто, в которое стекает с крыши дождевая вода, и в этом оцинкованном корыте стоит кресло самого магистра.

Долгие медитации и экстатические трансы облагородили его лицо. Не то голубые, не то зеленые глаза, поражающие внезапной остротой и пронизательностью, рассеянно блуждали под гладким красноватым лбом; у него были кустистые белые брови и борода злого демона. Если не считать долгих прогулок, у него, казалось, не было никакой личной жизни. Он день и ночь сидел под своей дырой, ловил ухом шепот посетителей, что-то записывал левой рукой и порой устремлял горящий взор в небо, видневшееся в дыре над его головой. Толпы людей всякого чина и звания добивались у него аудиенции и взирали на него с глубочайшим почтением. Он не решал насущных проблем бытия. Он пробуждал духовно своих поклонников, которые, уходя после сеанса медитации, оставляли внушительные пакеты на краю оцинкованного корыта. Кое-кто оставлял бутылку вина, булку хлеба или шелковую рубашку. Единственное человеческое действие, которое приковывало его внимание, была музыка, и надо сказать, он целый вечер мог стоять у дверей «Августео» и гипнотизировать прохожих, внушая, чтобы ему купили билет на симфонический концерт. Если же внушению никто не поддавался, нимало не огорчался и не оставлял попыток. Он сам сочинял музыку, гимны для голоса без аккомпанемента, он утверждал, что слышит их во время медитаций. Гимны были написаны способом, весьма напоминавшим обычную нотную запись, но не поддавались аранжировке. Я часами ломал голову над партитурой его «И вот небеса обгаряются светом зари». Этот мотет на десять голосов (хор ангелов в Судный день) начинается весьма незамысловато в скрипичном ключе на пяти станах. Но как прикажете трактовать неожиданное сведение всех горизонтальных линеек к двум для всех партий? Я со всей почтительностью обратился по этому поводу к самому магистру. Он ответил, что музыкальный эффект в этом месте можно выразить только радикальной переменой общепринятой нотации, что сокращение нотных станов обозначает остроту звука; что нота, на которую указывает мой палец, это ми, фиолетовое ми, ми цвета раскаленного аметиста... Музыка не в состоянии выразить... э-э-э... небеса обгаряются светом... В первый раз бессмыслица, в которой он увяз, привела меня в бешенство. Я искал удобный случай, чтобы уличить его в глупости. Я сочинил историю о некоем паломнике, который подошел ко мне в нефе Латерано и сказал, что воля Господа в том, что я вмес-

те с ним должен вернуться в лепрозорий в Австралии. «Дорогой мэтр, — воскликнул я, — как мне узнать, не в этом ли мое настоящее призвание?» Его ответ был неясен. Тогда я сказал, что сама судьба подсказала мне это решение и что мое призвание — следовать случаю, а вовсе не руководствоваться рассудком. Он тут же попросил меня не поступать слишком опрометчиво, а лучше склонить мой слух к лютне вечности и составить план своей жизни в созвучии с обертонами Космоса.

В течение года его успели посетить тысячи женщин самого разного происхождения, с самыми разными проблемами, и каждой из них он назначил индивидуальную успокоительную метафору. Они уходили от него с просветленными лицами. Фразы, которые он им приписывал, были прекрасны и проникновенны. Они записывали их в свои дневники и твердили про себя всякий раз, когда теряли надежду и интерес к жизни.

Басилису прислуживали две невзрачные женщины, сестры Адольфины. Лизи, кажется, было за тридцать, Ванни — двадцать восемь. Они сказали, что Басилис нашел их в Лондоне, в итальянском квартале, где они прислуживали в балетной школе. Нужда и жестокое обращение мало что оставили от их человеческого облика. Каждый вечер в одиннадцать, развязав последнюю пару балетных тапочек вечерней смены, натерев мастикой паркет, вымыв станок и почистив люстры, они шли в ближнее кафе «Рим», чтобы выпить чашечку кофе и съесть бутерброд. Здесь их и встретил Басилис, ассистент фотографа с грандиозными претензиями. Он являлся вице-президентом Общества розенкрейцеров, вернее, его филиала в Сохо. Этот филиал состоял из клерков, официантов и парикмахеров-идеалистов, которые за унижения, претерпеваемые днем, обретали награду в славе, присваиваемой ими себе ночью. Они собирались в темной комнате, клялись, положив руку на том Сведенборга, вычитывали из газет сведения о добыче золота и толковали его метафизическую сущность, а также с великой важностью избирали друг друга на посты главного алхимика и *magister hereticorum*<sup>19</sup>. Они переписывались с аналогичными обществами в Бирмингеме, Париже и Сиднее и посылали кое-какие деньги последнему из магов — Орзинде-Мазде с горы Синай. Свою власть над умами женщин Басилис впервые почувствовал во время частых бесед в кафе с двумя неразговорчивыми сестрами. Широко раскрыв глаза, они слушали его рассказы о том, как рабочие-ремонтники неподалеку от Рима случайно проломил стену усыпальницы, где покоились останки дочери Цицерона, Туллиолы, и обнаружили висящий в воздухе горящий светильник с вечным фитилем; или о том, как Цезариона, сына Клеопатры, забальзамировали в соке, выжатом из золота, и теперь показывают в подземной гробнице в Вене; или о том, что Вергилий вовсе не умер и все еще живет на Патмосе, питаясь листьями деревьев. Чудесные истории, апокалиптические глаза рассказчика, его возбужденная речь, а также рюмка вермута в качестве угощения — все это совершенно очаровало сестер. Они стали его безответными рабынями. На скопленные сестрами деньги Басилис открыл храм, где его талант обеспечил ему необычайный успех. Девушки оставили балетную школу и сделались привратницами в доме своего господина. Масса свободного времени, обилие пищи, привилегии службы у Басилиса, его доверие и его любовь слились для них в напев всего мыслимого счастья. Счастье человека пропорционально его смирению. Смирение же сестер Адольфины было столь глубоко, что не оставляло места для выражения благодарности или удивления. Похоже, что как хорошая пища не могла сделать пышными их тела, так и хорошее обращение не могло сделать мягче их нрав. Вскоре, после какого-то конфликта с лондонской полицией, Басилис и его служанки уехали на родину, в Рим. Без сомнения, наш магистр тоже никогда не признавался в своей благодарности к этим девушкам за их молчание и добросовестное служение. Даже в своей любви

<sup>19</sup> Магистра священнодействия (*лат.*).

к ним он был бесстрастен: ведь они просто удовлетворяли капризы его пресыщенной чувственности, которые, собственно, составляли необходимый элемент его философских медитаций.

Итак, в десять тридцать Блейр и я торчали в квартире Басилиса, ожидая начала публичного сеанса. Мы пришли рано. Прислонясь к стене, мы наблюдали за немногочисленными посетителями, которые один за другим подходили к маленькой исповедальне, чтобы доверить магистру свои тайны. Клерк с водянистыми глазами и дрожащими руками; тучная дама из среднего сословия, прижимающая к себе большую хозяйственную сумку, торопливо рассказывающая о своем *perote*<sup>20</sup>; опрятная маленькая женщина, вероятно, служанка тучной дамы, прикрывающая рот крошечным носовым платочком, словно в рыданиях. Глаза Басилиса изредка устремлялись на лица посетителей; и пока он отмерял положенную им дозу сентенций, его взгляд не выражал ничего, кроме безмятежной рассеянности. В этот момент молодая женщина с густой вуалью на лице быстро пересекла комнату и села на стул рядом с ним. Очевидно, сегодня она уже приходила, потому что не стала тратить время на приветствия. Она обратилась к нему с непередаваемым волнением. Немного смущенный ее горячностью, он несколько раз останавливал ее словами: «*Mia figlia!*»<sup>21</sup> Но упреки лишь усиливали ее возбуждение. Забывшись, она откинула вуаль, нечаянно показав лицо, и оказалась княгиней Аликс д'Эсполи. Ужас охватил меня. Я схватил руку Блейра и дал ему понять, что мы должны немедленно уйти. Но в этот момент княгиня с гневным жестом, как будто она пришла вовсе не просить помощи у всемогущего мага, а объявить ему приговор, встала и стремительно направилась к двери. Невзначай ее глаза встретились с моими, и мятежный огонь, только что бушевавший в них, угас и сменился страхом. Какое-то мгновение мы все трое были связаны одним чувством ужаса. Затем Аликс собрала все самообладание и судорогу отчаяния, стянувшую ей губы, скрасила улыбкой; она неторопливо кивнула каждому из нас и величественно вышла из комнаты.

Я сразу же отправился домой. Придя, я написал ей длинное письмо и рассказал всю правду, подобно хирургу, который в крайней ситуации решительно прибегает к ланцету. Ответа я не получил, и наша дружба на этом кончилась. Я, разумеется, часто встречал ее, и между нами даже случались милые беседы, но мы никогда больше не упоминали о любви, а в ее глазах постоянно светилось абсолютное бесстрашие.

С того вечера, когда Аликс увидела меня вместе с Блейром у Басилиса, она прекратила свои социальные исследования так же внезапно, как и начала. К розенкрейцерам она тоже больше не ходила. Я слышал, что она предприняла еще несколько попыток найти последнее утешение, в частности, в изящных искусствах. Она карабкалась по лестницам, которые специально для нее ставили в Сикстинской капелле, и рассматривала фрески через лупу. Она возобновила работу над своим голосом и даже немного пела перед публикой. Она отправилась в путешествие по Греции, но через неделю, ничего не объясняя, вернулась обратно. Был у нее также и медицинский период: она работала в госпитале, коротко остриженная, и ходила на цыпочках по палатам.

Последний взмах крыльев, птица уже не мечется в клетке, успокаивается, затихает... Для Аликс наступила вторая стадия выздоровления: душевная боль, которая была столь сильна, что не могла не перейти в физическую, и выражала себя в ее лихорадочных движениях, теперь утихла, и к Аликс вернулась способность думать. Вся ее бодрость пропала, и она теперь уныло сидела среди своих друзей, ничего не говоря, лишь слушая живые звуки чужой речи.

Мало-помалу к ней начала возвращаться ее прежняя грация. Первые неуклюжие сарказмы, тихо скользнувшие с ее уст... Несколько унылых

<sup>20</sup> Племяннике (*итал.*).

<sup>21</sup> Дочь моя! (*итал.*)



рассказов, и в них — она сама в скудном свете пробуждающейся самоиронии... Постепенно, понемногу в ней просыпались остроумие, экспрессия, и, наконец, к ней возвратился блеск самого настоящего смеха.

Вся Каббала прямо-таки трепетала от радости, но вслух никто ничего не говорил. Только однажды вечером, когда в первый раз за столом она вернулась к своей восхитительной привычке дразнить Кардинала, пародируя его китайские манеры, — только однажды, вставая из-за стола, Кардинал взял ее пальцы и с многозначительной улыбкой пристально посмотрел ей в глаза, словно упрекая за долгое отсутствие и приглашая обратно. Она слегка покраснела и поцеловала сапфир в перстне на его руке.

Я ничего не знал о том, что на самом деле творилось у нее в душе. Я сделал вывод, что «большая любовь» благополучно скончалась, и лишь боялся теперь, что скоро вновь увижу ее интересующейся каким-нибудь очередным «сыном Севера». Но один небольшой инцидент доказал мне, как глубока бывает душевная рана.

Однажды вечером на вилле в Тиволи мы с Аликс стояли на балконе, оглядывая с высоты живописные окрестности. Теперь, когда она оставалась наедине со мной, ее оживление угасало; казалось, она опасается, что я могу заговорить о том, что было между нами; уголки ее губ твердели, она избегала моего взгляда и напряженно молчала. К нам подошел знаменитый археолог из Дании и начал свой экскурс в природу водопадов и их классификацию. Вдруг он остановился и воскликнул, обернувшись ко мне:

— О, у меня для вас есть новость. Как я мог забыть! Я встретил в Париже вашего друга. Молодой рослый американец по имени Блейр. Кажется, Блейр, верно?

— Да, доктор, именно так.

— Что за человек! Много ли в Америке подобных ему? Я уверен, вы еще не встречали подобных людей, княгиня.

— Почему же, — ответила Аликс. — Я хорошо его знаю.

— О! Какой ум! Он прирожденный исследователь; он самый ученый человек из всех, кого я встречал. И, поверьте мне, он поистине великий ученый, потому что ни одного своего открытия он не предал бумаге. Он не гонится за публикациями. Такая скромность, княгиня! Скромность великого исследователя, который знает, что все сведения, накопленные в одной человеческой голове, — это всего лишь капля в океане знания. Я целых две ночи просидел над его записными книжками и чистосердечно признаюсь: я чувствовал, что предо мною — сам Леонардо. Да, истинный Леонардо!..

Мы стояли замороженные, восхищенные, гордые за нашего друга и слушали, как вздымаются в речах собеседника волны хвалы и славы. И тут неожиданно Аликс ослабела и, в обмороке, со смутной улыбкой счастья на губах, осела на пол.

## Глава 4

### АСТРЕ-ЛЮС И КАРДИНАЛ

Среди членов Каббалы ходили слухи, что я занят сочинением пьесы о св. Августине. Никто из моих друзей прежде не видел рукописи. Даже я сам немало удивился, когда нашел ее, забытую, на дне своего чемодана. Но встретили ее с огромным почтением. Мадемуазель де Морфонтен особенно расспрашивала о ней, ходила вокруг на цыпочках и заглядывала сбоку. Дошло даже до того, что она намекнула в своей записке, которую я получил вскоре после бегства Блейра: «Приезжайте к нам на виллу на несколько недель. До пяти вечера здесь совершенно тихо. Здесь вы сможете поработать над вашей поэмой».

Мне в самом деле нужно было хоть немного отдохнуть. Еще совсем недавно я перенес безумие Маркантонио и Аликс. Я долго сидел с запис-

кой в руках, мои нервы требовали отдыха, душа нуждалась в уверенности, что больше ничья истерика не ляжет на меня тяжким бременем. И вот мне предлагали место, где каждый день до пяти вечера было совершенно тихо. Правда, мне хотелось, чтобы так продолжалось до пяти утра. «Вы сможете поработать над своей поэмой». Единственная неприятность, которую могла доставить эта чудесная леди, состояла в том, что она каждое утро будет интересоваться, как идут дела с «третьим актом». Хотя, конечно, очень приятно видеть, что пьеса интересна другим людям, и каждый день выслушивать похвалу своему творению. И потом, какие изумительные вина хранятся в ее погребах! Без сомнения, эта леди сумасшедшая. Это очевидно. Но ее сумасшествие имеет очень симпатичный и весьма величественный вид. Этакое славное, милое, чрезвычайно гостеприимное сумасшествие. Я написал ей, что я приеду.

Первые дни на вилле были совершенно безмятежны. Утренние зори, полные солнечного света, когда пыльца опадает на листья олив, когда террасы на склонах холмов исчезают в дымке; когда ни звука вокруг, лишь возглас извозчика на дороге, воркование голубей, расхаживающих по крыше садовой беседки, да шум водопада с его таинственным бронзовым звоном. Утром я завтракал один в беседке, увитой зеленью. Остаток дня проводил, странствуя по холмам или в роскошной библиотеке Астре-Люс, среди высоких кресел и изысканных книг.

Ближе к вечеру подавали обед. Чувствовалось, как постепенно напрягаются церемониальные струны — до того момента, когда, подобно взрыву какой-нибудь ослепительной пиротехнической игрушки, не разразится само застолье. Суэта начиналась еще задолго; все приходило в движение, и крыло дома, в котором располагалась кухня, гудело словно улей; слуги, осветители, цветочники, куаферы носились по коридорам. Скрежет гравия под окном оповещал, что прибыли первые гости. Мажордом пристегивал свою золотую цепь и занимал главное место в шеренге лакеев у дверей. И тогда сама мадемуазель де Морфонтен нисходила из своих покоев, лягая каблукom волочащийся следом непослушный шлейф своего платья. Струнный квартет, располагавшийся на антресолях, приглушенно, будто на тайной репетиции, заводил вальс Глазунова. Вечер приобретал оттенок пышности, словно срежиссированный Рейнхардтом<sup>22</sup>. Теперь можно было войти в столовую. Во главе стола, за горками фруктов и букетами цветов, украшенных папоротником, за рядами хрустальных бокалов, вся в желтом атласе, сидела хозяйка дома. Ее длинное безобразное лицо сияло полусумасшедшим воодушевлением. Она постоянно носила прическу, напоминающую распушенный птичий хвост, и выглядела словно птица с отрогов Анд, нахолохлившаяся под холодным океанским бризом.

Я уже описывал, как принимала гостей мисс Грие и как она ловила каждое слово, прозвучавшее, пускай даже шепотом, за ее столом. Астре-Люс в этом отношении придерживалась диаметрально противоположных правил и слышала за столом так мало, что зачастую даже самые почетные гости бывали вынуждены оставить всякую надежду привлечь ее внимание. Она, казалось, впадала в транс; ее глаза недвижно смотрели в одну точку, хотя она могла уловить, как где-то далеко, в глубине дома, хлопнули дверью. Обычно кое-кто из каббалистов располагался в противоположном конце стола. Как правило, это бывала мадам Бернстайн, в своей накинутой на плечи меховой пелерине, похожая на захворавшего шимпанзе; она вертелась из стороны в сторону с подстрекающей миной на благожелательной физиономии. Иногда это бывала герцогиня д'Аквианера, словно сошедшая с портрета Морони, — в платье с какими-то грязными пятнами, с испачканным лицом, но неким таинственным образом удерживающая в памяти имена всех баронов, опозоривших благородное родовое имя Колонна. Или Аликс д'Эсполи с ее изысканными жестами и способностью преобразить любого из гостей в остроумного и привлекательного человека.

<sup>22</sup> Рейнхардт Макс (1873 — 1943) — немецкий актер и режиссер.

Почти каждый вечер, когда последние гости уезжали с виллы или отправлялись спать и последний слуга заканчивал свое последнее поручение, мы с Астре-Люс уединялись в библиотеке и подолгу там беседовали за рюмкой коньяку. Со временем я научился понимать эту женщину и уже видел, в чем ошибался, когда судил о ней прежде. Она вовсе не была сумасшедшей старой девой с огромным состоянием, страдающей бредом ролялизма или сентиментальным филантропическим слабоумием. Просто она была христианкой второго века. Это была застенчивая религиозная девушка, мало соприкасавшаяся с окружающим ее миром; она могла однажды проснуться и обнаружить, что забыла свое имя и адрес.

На примере личности Астре-Люс я хорошо видел бесполезность добродетели, не охраняемой разумом. Она жила в тумане благочестия; ее мысль никогда не уходила далеко от раздумий о Создателе. Каждый ее порыв сам по себе был добродетелен — и все-таки у нее не было рассудка. Ее безмерное милосердие тем не менее было непоследовательным; она жертвовала каждому, кто напишет ей хоть одно мало-мальски религиозное письмо. К счастью, ее жертвы оказывались невелики, потому что ей не хватало ума, чтобы быть чрезмерно жадной или чересчур щедрой. Я полагаю, она и сама понимала свое ампула и находила в нем своеобразную прелесть. И если ее положение становилось унизительно и двусмысленно, это глубоко задевало ее. Святость невозможна без лишений, а их она никогда не знала. Она не раз слышала о грехе гордости, сомнения и гнева, но прошла все ранние, заполненные мелочной суетой, этапы своего духовного развития, так и не почувствовав ни малейшего раскаяния. Праздность? Каждое утро, перед тем как войдет служанка, она по часу выстаивала на коленях. Так трудно, ох, так трудно делать себя хорошей! Гордость? В конце концов, после самодопроса с пристрастием она пришла к выводу, что победила в себе малейшие признаки этого порока. Она с яростью нападала на себя. Она заставляла себя публично делать ужасные вещи, чтобы с корнем выкорчевать это чувство. Гордость, питаемая родословной или богатством? Она преднамеренно пачкала себе платье и мучилась, видя ужас непонимания на лицах своих друзей.

Она воспринимала библейские притчи настолько буквально, что я даже однажды видел, как она дарила кому-то свою одежду. Я видел ее на прогулке, с кем-нибудь из друзей, разумеется, — она шла пешком мило за милей, до полного изнеможения. Я наконец понял: пароксизмы ее рассеянности являлись не чем иным, как уходом в себя для молитвы и поклонения Богу и зачастую приводили к ситуациям почти смехотворным. Я больше не удивлялся тому, что всякое упоминание о рыбе и обо всем другом, что имеет отношение к рыбе, повергало ее в задумчивость. Я догадался, что по-гречески слово «рыба» составляет монограмму самого Господа Бога и действует на нее так же, как вопль муэдзина действует на мусульманина. Кто-нибудь из гостей невзначай упоминал пеликана — и тут же мадемуазель де Морфонтен бросалась к своему мысленному алтарю и умоляла Всевышнего не горевать из-за непочтительного отношения к одному из Его наиболее емких символов. Самую необычную иллюстрацию ко всему сказанному я увидел немного позднее. Однажды она случайно заметила на моем рабочем столе запечатанное письмо, которое я адресовал мисс Ирене Х. Спенсер, преподавателю латыни в Высшей школе в Гранд-Рапидс, которая победила в конкурсе на право участия в Конференции<sup>23</sup>. Астре-Люс немедленно потребовала познакомиться их. Впоследствии я никогда не объяснял мисс Спенсер, почему ее пригласили позавтракать в столь роскошной обстановке, почему хозяйка виллы внимала затаив дыхание ее, в общем-то, банальным путевым рассказам и почему на следующий день в качестве подарка ей вручили золотое кольцо, украшенное сапфирами. В са-

<sup>23</sup> Конференция — высший орган методистской церкви; собирается ежегодно.

мом деле, мисс Спенсер, которая являлась весьма ревностной прихожанкой методистской церкви, была бы шокирована тем фактом, что ее инициалы И. Х. С. могут означать нечто иное, в частности — каноническое «Иисус Христос, Спаситель».

Несмотря на всю свою странность и необычность, мадемуазель де Морфонтен не выглядела смешной. Такое решительное самоуничужение, выходящее за рамки здравого смысла, заменяло ей рассудок. Без сомнения, она была способна на необыкновенно пронизательные суждения — суждения, которые исходили из интуиции, минуя запутанные ходы обычной логики. И хотя в одних ситуациях она бывала несносной, зато в других могла проявлять почти сверхъестественное понимание чужой души. Ее любили разные люди, даже такие непохожие друг на друга, как я и донна Леда, относясь к ней то снисходительно, как к неразумному ребенку, то с благоговением и страхом перед ее чудовищной пронизательностью. Знали бы мы, кого и к чему неумышленно предуготовляли!

Итак, вот кого я ходил изучать во время поздних бесед в библиотеке за рюмкой коньяку. В этот раз беседа была, как обычно, неторопливой, с перерывами и без определенной цели. Но мой искушенный инстинкт не мог избавиться от подозрения, что во всех этих непринужденных репликах присутствовала некая очень важная подоплека, которую хотела мне внушить моя собеседница. Вскоре я догадался, что на эту виллу меня пригласили отнюдь не отдохнуть. Мой испуг перед этим открытием к тому же был усугублен очевидным затруднением, с которым Астре-Люс подвела меня к сути дела. В конце концов, вместо того чтобы избежать неприятной дискуссии, я попытался сам спровоцировать ее; я подумал, что смогу тем или иным образом способствовать началу разговора, который бы разрешил ее проблему. Увы. Счастливым момент был упущен.

Однажды вечером она внезапно спросила меня, не слишком ли она помешает моей работе, если свозит меня на несколько дней в Анцио. Я ответил, что ничего другого не мог бы и желать. Я знал об Анцио лишь то, что это морской курорт, расположенный в нескольких часах езды от Рима, неподалеку от Неттуно; близ Анцио находилась одна из вилл Цицерона. Она добавила с беспокойством, что в Анцио придется остановиться в очень скромном отеле, но, поскольку сейчас не сезон, нам достанутся самые лучшие места, а она изыщет возможности кое-чем скрасить недостаток сервиса. Ее предусмотрительность предохранит меня от излишних неудобств.

Итак, два или три дня спустя ранним утром мы уселись в большое не слишком изящное авто, которое она держала специально для подобных путешествий, и отправились на запад. Заднее сиденье было у нас вместо багажного отделения. Там находились: лакей, *ргіе-Dieu*<sup>24</sup>, кошка, фрагмент панно с настоящим Фра Анджелико, ящик с бутылками вина, с полсотни всяких книг и несколько оконных занавесок. Позднее я обнаружил, что еще мы везем с собой икру разных сортов, паштеты, трюфели, а также ингредиенты для редкостных соусов, посредством которых она, с обескураживающей неспособностью понять мои привычки, собиралась восполнить нищие ресурсы туристского отеля. Она сама вела машину, и это, как я убедился, лучше всего доказывало исключительное расположение к ней Всевышнего. Первую остановку мы сделали в Остии, так что я имел возможность собственными глазами увидеть местность, где происходила последняя сцена моей несчастной пьесы. Мы прочли вслух страницу из Августина, и я дал себе клятву, что ни в коем случае не позволю себе перевернуть хоть одно его слово.

В первый наш вечер в Анцио с моря дул холодный ветер. Виноградные заросли и кусты возле домов бились под ветром; фонари у кафе на той стороне площади безрадостно мотались над мокрыми столами, и некуда

<sup>24</sup> Скамеечка для молитвы (*франц.*).

было деться от безысходного стога волн за стеной волнолома. Но мы оба находили своеобразное очарование в такой погоде. Мы договорились в шесть часов прогуляться до Неттуно и вернуться к ужину в половине девятого. Мы завернулись в прорезиненные плащи и отправились в путь, отворачиваясь от ветра и брызг и ощущая необычайное возбуждение. Некоторое время мы шли в молчании, но, выйдя на последний участок дороги, лежавшей между высокими стенами заборов, окружающих виллы, Астре-Люс заговорила:

— Я должна сказать вам заранее, Сэмюэль (вся Каббала вслед за княгиней стала называть меня Сэмюэль), что все надежды моей жизни сводятся к тому, чтобы увидеть Францию королевской. Каким абсурдом это выглядит в наши времена, скажете вы. Да, это так, и никто не знает этого лучше меня. Но все, что бы я ни любила, кажется невероятным. В действительности же эта мечта выглядит настолько несвоевременной, что еще больше поможет нам, когда мы приступим к формулированию Божественного Права королей как догмата Церкви. Какой гнев обрушится тогда на нас, какое глумление поднимет пресса! Все главные деятели Церкви съедутся в Рим и станут умолять нас не вредить католицизму. Начнутся дискуссии. Все газеты и журналы будут кричать, охать и смеяться; все демократическое крыло правительства, это воплощение республиканской глупости, встрепетается и станет протестовать. Европа хоть на минуту сбросит свое ядовитое чванство. Мы не должны бояться дебатов. Люди обратятся к Богу и будут сами просить на царство избранные Им династии. Но, Сэмюэль, я не стремлюсь убедить вас в этом именно сейчас; я только констатирую то, что должно вести нас вперед. Вы — протестант. Это, может быть, обязывает вас быть нетерпимым к чужим воззрениям? Я вас не утомила?

— Нет-нет, что вы! Мне очень интересно, — ответил я.

В этот момент дорога вывела нас прямо к берегу. Мы постояли у парапета, любуясь разбушевавшимся морем, которое монотонно бросалось на мокрые камни набережной. Начался дождь. Астре-Люс ухватилась за железный поручень, уходящий в воду; лицо ее было искажено в безмолвном плаче.

— Может быть, — продолжала она, когда мы возобновили нашу прогулку, — вы в состоянии представить себе хотя бы десятую долю того, что я чувствую, когда вижу, как стареет наш Кардинал, как старею я сама, а народы все глубже погружаются в пороке — и так мало сделано! Наша надежда — Кардинал. Он может помочь нам. Он создан для того, чтобы помочь нам. Я никогда не забываю о том, что он совершил в Китае. Это настоящий героизм. Но в Европе его ожидает более славный подвиг. Проходит год за годом, а он все сидит у себя на Джаниколо, все читает да прогуливается в саду. Европа гибнет, а он и пальцем не шевельнет!

Эти слова меня глубоко заделали. Дождь и ее слезы, грязь и противное хлюпанье волн начинали на меня действовать. Все вокруг кричало и выло на разные голоса: «Европа гибнет! Европа гибнет!» Я уже было хотел остановиться и заорать что-нибудь столь же идиотское в ответ, как вдруг услышал рядом ее голос:

— Я не могу понять, почему он не пишет. Вероятно, мне не дано этого понять. Я только знаю: он верит, что универсальность Церкви неизбежна. Он верит, что лишь католическая корона должна править миром. Но он и пошевелиться не хочет, чтобы помочь нам. Все, что мы у него просим, это одна лишь книга о Церкви и Государстве. Мы очень благодарны его знаниям, его логике, его стилю — но, Сэмюэль, вы слышали хоть одну его проповедь? Эта его полемическая ирония, эти его изумительные резюме! Что по сравнению с ним Бозанкет<sup>25</sup>? Конституции всех республик во

<sup>25</sup> Бозанкет Бернард (1848 — 1923) — английский философ, неогегельянец.

всем мире надо просто-напросто выбросить, — остановите меня, если я заговорю непочтительно о вашей великой стране, — да, надо выбросить, как выделенное яйцо. Его книга не должна быть обыкновенным печатным изданием. Она должна стать силой природы, одновременным вдуновением нашей идеи в тысячи голов. Она сразу должна стать каноню наравне с Библией. А он все тратит и тратит дни среди своих розочек и кроликов и почитывает всякие истории о разной ерунде. Я хочу, чтобы это произошло еще при моей жизни; я хочу подвинуть этого великого человека на дело, достойное его величия. И вы должны мне помочь.

Меня охватило волнение. Казалось, сам воздух вокруг меня был пропитан божественным абсурдом. Дышать этим воздухом мог только тот, кто не боялся гипербол. Для этого надо быть сумасшедшим в полном смысле этого слова. Будет очень трудно вернуться к обычной жизни после столь мощной интоксикации сознания, направленной против президентов всего мира и переплетчиков Британского библейского общества. Я попытался понять хоть что-нибудь из сказанного. Я что-то промямлил насчет моей готовности.

Она не замечала моего смущения.

— Мне кажется, — продолжала она, — что я наконец открыла одну из причин его нежелания пойти нам навстречу. Но сначала скажите мне, как его воспринимают люди, с которыми вы встречались в последнее время? Что о нем говорят в народе, особенно те, кто его не знает лично?

Тут я испугался. Неужели она что-то пронюхала? Как могли дойти до нее эти странные слухи? От меня она не могла ничего узнать, это исключено. Я постыдно отошел от добрых правил и беззастенчиво наврал ей какую-то благожелательную чепуху, собранную из всего, что я слышал о Кардинале. Простых людей пленяла мысль, что среди других тяжелых обязательств он также взял на себя обязанность жить на шестьдесят пять лир в неделю; что он говорит на двенадцати языках; что он любит поленту; что в кое-какие римские дома (в дом Астре-Люс де Морфонтен, в частности) он входит без церемоний; что он перевел Символ веры и «Подражания»<sup>26</sup> на этот головоломный китайский язык. Я знал римлян, которым даже сама мысль о Кардинале нравилась настолько, что они приходили с детьми на Джаниколо только для того, чтобы посмотреть на его дом и сад сквозь решетку ворот и, если посчастливится, увидеть самого Кардинала и послать детей, чтобы они поцеловали перстень на его руке.

Астре-Люс слушала в молчании. Наконец она произнесла с упреком:

— Вы стараетесь меня пощадить, Сэмуэль. Но я и сама знаю. Есть и другие слухи о Кардинале. Его недоброжелатели делают все, чтобы подорвать его престиж. Нам известно, что нет в Риме человека ласковее, скромнее, одухотвореннее, чем Кардинал; но дело в том, что среди большинства римлян он имеет репутацию какого-то чудовища. Некоторые горожане распространяют о нем всякую чушь. И Кардинал знает об этом: из перешептывания прислуги, из криков на улице, из анонимных писем — словом, из разных источников. Он болезненно воспринимает эти слухи. Он чувствует себя во враждебном мире. Это чувство делает трагичной его старость. Именно поэтому он ничего не пишет. И мы никак не можем оградить его от вражды. Но постойте! Тут где-то есть один магазинчик. Давайте зайдем туда, купим сигарет и посидим где-нибудь в тепле. Мне так приятно беседовать с вами.

Запасшись сигаретами, мы пошли искать какой-нибудь ресторанчик. И тут же как по волшебству за следующим поворотом возник широкий, словно в пещеру, вход в задымленный и не очень приветливый кабачок, но мы нашли себе там укромный уголок, уютно устроились с бутылкой кислого вина, смахивающего на чернила, и стали обсуждать наш заговор.

<sup>26</sup> Имеется в виду христианская книга «Подражания Христу»; написана не позже 1427 года; предполагаемый автор — Фома Кемпийский.

Астре-Люс сознавала, что если злые языки набросятся на доброе имя Кардинала, используя какие-нибудь действительные его неудачи и промахи, то опровергнуть их будет невозможно. Истина в такой зыбкой области, как народная молва, не должна допускать сомнений. Но Астре-Люс знала также и то, что клевета в подобных случаях является, как правило, плодом планомерно организованной кампании, и чувствовала уверенность, что в этом случае наша контркампания сможет уберечь его репутацию. Первым делом наши противники постараются сыграть на предубеждении итальянцев к Востоку. Итальянцы чувствуют своего рода душевное содрогание при взгляде на китайца, как американские мальчишки перед подвесным мостом через реку. Кардинал вернулся с Востока весь желтый, кожа да кости. Нельзя без жалости смотреть на его дряхлую фигуру. И вот на всем этом очень легко построить общественное мнение, пуская сплетни по Трастеверскому предместью, что у него хранятся странные изображения, что животные (его сад полон кроликов, уток и цесарок) кричат по ночам и беспокоят соседей, что его верного слугу-китайца видели в самых ужасающих позах. Далее, его скромная жизнь подогреет их воображение. Каждый знает, что Кардинал баснословно богат. Рубины размером с кулак, сапфиры величиной с дверную ручку — где все это? Вы хоть раз бывали за воротами виллы Вэй Хо? Давайте поедem туда вместе в следующее воскресенье. Там, на вилле, если вы хорошенько принюхаетесь, вы почувствуете странный запах, из-за которого вас будет несколько дней преследовать сонливость.

Мы должны все это изменить. Мы изберем Комитет по реабилитации Кардинала. Мы будем писать статьи в журналах, заметки в газетах. Приближается его восьмидесятилетний юбилей. Надо устроить прием. Она передаст в дар его церкви часть алтаря с росписью Рафаэля. Но прежде всего мы должны разослать своих агентов в разные районы города, чтобы они рассказывали людям о благочестии Кардинала, о его простоте, о его жертвованиях на общественные больницы — и даже о его симпатиях идеям социализма, если это поможет делу. Он должен стать народным Кардиналом. Мы пустим в ход анекдоты о том, как он высмеивает заносчивых и высокомерных членов Коллегии, как он однажды защитил какого-то бродягу, укравшего потир из его церкви. Его китайские манеры должны стать привлекательными для обитателей Трастевере. И так далее в том же духе. Мы должны поддержать Кардинала, чтобы Кардинал поддержал Европу.

Когда, уже поздним вечером, мы вернулись в отель, Астре-Люс, казалось, помолодела лет на десять. По-видимому, я оказался первым человеком, которому она открыла свою душу. Ей так не терпелось поскорее взяться за работу, что она неожиданно попросила меня, если я не возражаю, немедленно упаковать наши вещи и тут же отправиться назад в Тиволи. Конечно, лучше было бы взяться за работу с утра. Увы. Чего ей действительно хотелось, так это всего лишь опьянения и усталости от езды на авто (ох уж это ее авто!), перед тем как она отойдет ко сну. Словом, мы вновь загрузили в машину лакея, Фра Анджелико, ингредиенты для соусов и кошку и вернулись на виллу Горация приблизительно в два часа ночи.

Кардинал ни сном ни духом не ведал, что мы возводим леза для реставрации его доброго имени и подновления красок его образа; но нам надо было убедить его не делать некоторых вещей, чтобы не злить общественное мнение. Прямо на следующее же утро Астре-Люс боязливо попросила меня пойти и встретиться с Кардиналом. У нее появилась идея, что поскольку я уже посвящен в ее надежды, то теперь моим глазам должны открыться очень важные подробности.

Как и в каждое воскресенье который уж год, Кардинал сидел в саду с книгой на коленях и с лупой в руке. Возле его ног бельгийский заяц с воровскими ухватками обглаживал кочан капусты. Рядом на столике стопой лежали книги: «Явление и действительность», Шпенглер, «Золотая ветвь», «Улисс», Пруст, Фрейд. Поля книжной страницы уже несли на себе тонкую вязь его комментариев, сделанных зелеными чернилами, и говорили о

пристальнейшем внимании, которое, пожалуй, смутило бы любого из этих великих авторов, если бы они могли это видеть.

Он отложил в сторону увеличительное стекло, лишь только я ступил на садовую дорожку.

— *Eccolo, questo figliolo di Vitman, di Poe, di Vilson, di Guglielmo James — di Emerson, che dico!*<sup>27</sup> Чему обязан?

— Мадемуазель де Морфонтен приглашает вас на обед в пятницу вечером. Нас будет только трое.

— Очень хорошо. Прекрасно. Что еще?

— Святой отец, какой подарок вы хотите получить к своему юбилею? Мадемуазель де Морфонтен попросила меня разузнать об этом потактичнее...

— Ах, потактичнее!.. Сэмуэлино, пойдти в дом и скажи моей сестре, что ты будешь у нас завтракать. Сегодня у нас на столе будут китайские овощи. Ты будешь овощи? А рисовый пудинг? Если тебе мало, можешь сбежать вниз купить себе что-нибудь посущественнее. Как здоровье Астре-Люс?

— Хорошо.

— Жаль. Некоторая болезненность ей бы не помешала. Мне не очень уютно, когда она рядом. У некоторых врачей, Сэмуэль, портится настроение, когда они разговаривают с абсолютно здоровыми людьми. Ведь они так привыкли встречать умоляющие глаза пациентов, в которых светится: «Доктор, я буду жить?» Так и я чувствую себя больным в компании людей, которые никогда не страдали. У Астре-Люс глаза из голубого фарфора. У нее беспристрастная ясная душа. Это приятно — быть рядом с беспристрастной ясной душой, но кто из великих говаривал это?

— Наверное, святой Франциск?

— Да. Но он в молодости был великий распутник. По крайней мере, так говорят. *Senta!*<sup>28</sup> Кто сможет понять религию, ни разу не согрешив? Кто сможет понять литературу, не страдав? Кто сможет понять любовь, сам не любив безответно? *Есс!*<sup>29</sup> Первый признак того, что Астре-Люс попала в беду, появился еще в прошлом месяце. Некто, назовем его Монсеньор, вознамерился заполучить ее миллионы для своих церквей в Баварии. По несколько раз в неделю он поднимался в Тиволи и нашептывал ей в уши: «А богатящихся отпустил ни с чем». Бедное дитя затрепетало, и теперь очень скоро в Баварии будет несколько огромных соборов, столь безобразных, что нет для этого слов. Ох, ты знаешь, для каждого человека найдется в Библии притча, которая потрясет его, точно так же и для каждого строения есть музыкальная нота, которая его разрушит. Я не буду говорить о себе, но не хочешь ли послушать о Леде д'Аквиланера? Она великая ненавистница, и говорят, что, когда читают «Отче наш», она крепко стискивает зубы при: «*Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris*»<sup>30</sup>.

Тут он захохотал. Он смеялся долго, его тело тряслось в судорогах беззвучного смеха.

— Но разве Астре-Люс не любила свою мать? — спросил я.

— Нет, она не страдала, когда ее мать умерла. Это произошло, когда ей было десять лет. Она воспела ее в стихах, только и всего.

— Святой отец, почему же столь горячая вера не привела ее в монастырь?

— Она поклялась своей умирающей матери, что жизни не пожалеет, лишь бы Бурбоны вернули себе французский трон.

<sup>27</sup> Вот он, этот юный сын Уитмена, По, Вильсона, Уильяма Джемса — и даже самого Эмерсона! (*итал.*)

<sup>28</sup> Послушай! (*итал.*)

<sup>29</sup> Вот так! (*итал.*)

<sup>30</sup> Как мы прощаем должникам нашим (*лат.*).



— Как вы можете смеяться, святой отец, над ее клятвой?

— Мы, старики, можем себе позволить смеяться над вещами, над которыми вы, сопливые студенты, не смеете даже улыбнуться. Ох, дом Бурбонов! А ты бы не удивился, если бы я поклялся положить жизнь ради возрождения какой-нибудь архаичнейшей традиции вроде королевского бракосочетания брата и сестры в Древнем Египте? Ладно. Это, собственно, не так важно.

— Святой отец, вы не могли бы написать книгу? Взгляните, подле вас величайшие книги первой четверти нашего столетия...

— И очень глупые книги.

— Напишите книгу такую же великую, отец Ваини. Книгу о самом себе, эссе, как Монтень. О Китае, о ваших кроликах, об Августине...

— Стой! Прекрати сейчас же! Ты пугаешь меня. Разве ты не понимаешь, что первым свидетельством моего старческого слабоумия будет идиотская мысль, что я должен написать книгу? Да, я могу написать книгу получше этих экскрементов, которые преподнес нам твой век!

Тут он сильным ударом смахнул со стола всю книжную башню. Бельгийский заяц пронзительно взвизгнул, с трудом выскочив из-под увесистого «Skizze»<sup>31</sup> Швейцера.

— Но Монтенем, Макиавелли, э-э... Свифтом мне никогда не стать. Какое было бы отвратительное зрелище, если бы ты однажды, придя сюда, увидел меня пишущим книгу! Господь упасет меня от такого безрассудства. Ох, Сэмюэль, Сэмюэлино, как нехорошо с твоей стороны — прийти сюда в это чудесное утро и разбудить во мне, старом крестьянине, это гнусное чувство гордости. Не надо, не поднимай эти книги. Пускай мои животные гадят на них. Что происходит с этим твоим двадцатым столетием?.. Ты хочешь, чтобы я присоединился к вам только потому, что вы расщепили атом и изогнули свет?.. Ладно, ладно, хорошо. Можешь сказать нашим состоятельным друзьям — потактивнее! — что к своему юбилею мне хотелось бы получить в подарок ту маленькую китайскую циновку, которая выставлена в витрине магазина на Корсо. Приличия и моя скромность не позволяют мне назвать точный адрес, поэтому я больше ничего тебе не скажу кроме того, что этот магазин расположен тут же, слева, как только выйдешь на Пьяцца-дель-Пополо. Пол в моей спальне каждое утро кажется мне все холоднее и холоднее. Я давно уже пообещал себе, что, как только мне стукнет восемьдесят, я постелю у кровати циновку.

Что же было не так?

Обед у Астре-Люс начинался чудесно. Кардинал, правда, ел очень мало (мяса вообще не тронул) и с чрезвычайной неторопливостью. За супом он сидел не меньше десяти минут, а над рисом — чуть ли не полчаса. Несомненно, нотки беспокойства проскальзывали у них обоих. Они были настолько разные люди, что, слушая их разговор, трудно было отделаться от ощущения комичности происходящего. Сначала Астре-Люс допустила промах, упомянув Монсенёра из Баварии. Она подозревала, что Кардинал без симпатии относится к ее планам помощи Церкви в лице баварского Монсенёра; она продолжала с ним разговор о проблемах своего состояния и способах его употребления, но он ей ничего так и не посоветовал. Он с неистощимой изобретательностью уклонялся от этой важной для нее темы. Был уже поздний час, Рим понемногу успокаивался и затихал, и это было весьма кстати, потому что Кардиналу хотелось, чтобы стояла тишина и ничто не мешало ему анализировать чужую жизнь. До сих пор он делал вид, что считает ее поступок большой глупостью. Ему было больно видеть, как столь громадные средства пускаются на ветер, на произвол баварской церковной администрации.

<sup>31</sup> «Очерки» (нем.); книга немецко-французского мыслителя, врача, теолога и ученого Альберта Швейцера (1875 — 1965).

Теперь нам следует вспомнить, что события происходили накануне его восьмидесятилетия. Эта дата вызвала в нем прилив горького удовлетворения. Как он сказал позже, ему следовало бы умереть именно тогда, когда он покончил с Китаем. Восемь лет, пролетевшие с тех пор, прошли как в дурном сне. Жизнь — это борьба, и, лишенный необходимости бороться, его ум начал претерпевать изменения, которые пугали его самого. Вера — это тоже борьба, и теперь, поскольку он больше не боролся, он ни во что уже не мог сохранить веру. Его бесконечное чтение было для него лишь заполнением внезапно обрушившейся на него пустоты жизни... Но прежде всего мы должны помнить о его ужасе перед мыслью, что римляне ненавидят его. После своей смерти он оставил бы память о себе, лишенную как показного величия, так и истинного достоинства. Анонимное письмо открыло ему глаза: в Неаполе даже детей пугают тем, что если они будут шалить, то Желтый Кардинал сдерет с них кожу. Будь он молод, он посмеялся бы этой сплетне; но он был стар, и это письмо его огорчило и озадачило. Он оставлял мир, в котором он страдал, ради мира, который не был столь сияющим, как первый, но который тем не менее мог дать ему то утешение, что он больше не увидит людей, исподтишка плюющих на прилагательные в *issimus*<sup>32</sup>, которые могли бы составить его эпитафию.

Пока я это осознал, между ними разгорелся спор о молитве. Астре-Люс всегда страстно любила слушать рассуждения Кардинала об отвлеченных материях. Она пыталась подвести его к дискуссии об обычном причастии и о молитвах к святым. Он украдкой шепнул мне, что она хочет выжать из него материалы для церковного календаря, удобного в обращении, чтобы потом продавать его на площади Св. Сульпиция. Каждое его слово она считала священным. Она без колебаний поставила бы его рядом со св. Павлом. И только спустя некоторое время она начала осознавать, что он говорит довольно странные вещи. Могли бы стать его слова Доктриной? То, что он говорил, становилось трудным для ее понимания, и она изо всех сил старалась постичь смысл его слов. Это были истины, но это были новые истины. Она слушала его сначала с удивлением, потом с нарастающим ужасом.

Тут он высказал парадоксальную мысль, что в молитве нельзя о чем-либо просить. Его диалектический ум совершал невероятную работу. Он, очевидно, решил быть Сократом и ответить на все возражения Астре-Люс. Он разбил ее логику на первых же ортодоксальных тезисах. Кардинал дважды поймал ее на том, что она впадает в ересь. Она бросилась за помощью к св. Павлу, но Послания рассыпались в ее руках. Она в третий раз попыталась взять верх, но была разбита цитатой из Фомы. На прошлой неделе Кардинала вызывали к смертному одру некой донны Матильды делла Вигна, и теперь эту бедную донну Матильду они привлекли в качестве аргумента. О чем конкретно должны молиться оставшиеся жить? Астре-Люс прочно стояла на общепринятых позициях. Она была раздражена.

— Я не понимаю. Не понимаю. Вы шутите, святой отец. Как вам не стыдно говорить такие вещи! Вы сбиваете меня с толку. Вы же знаете, как дорого для меня каждое ваше слово.

— Нет, вы послушайте, — продолжал Кардинал. — Я спрошу об этом Сэмуэля. Поскольку он всего-навсего протестант, то мы без труда запутаем его. Сэмуэль, могу я допустить, что Бог уже давно намеревался исторгнуть душу донны Матильды?

— Да, святой отец, потому что она умерла именно ночью.

— Но мы полагаем, что если будем молиться искренне, то сможем повлиять на его намерение.

— Почему же нет... Ведь у нас существует основание для надежды, так что в конце концов наша молитва может... — Я взглянул на Кардинала с трепетом школьника, страшась не угадать мысль учителя.

<sup>32</sup> В латинском языке — окончание прилагательного в превосходной степени.

— Но она все-таки умерла. Значит, мы были не слишком искренни! Или слишком предусмотрительны! Хорошо! Иногда Он помогает, иногда — нет, но христиане, усердно молясь, рассчитывают на то, что уж в этот-то раз Он прислушается и поможет. Каков вывод! Астре-Люс, взгляните, какова мысль!

— Святой отец, я больше не могу слышать ваши рассуждения на эту тему... — воскликнула Астре-Люс.

— Вот как надо смотреть на эти вещи! Послушайте. Это же невероятно, чтобы Он изменил Свое намерение. Потому что мы — жалкие смертные пред Его судом. Понимаете? Ох! Вы — рабы выгоды. Менялы все еще во храме!

Тут Астре-Люс, с побелевшим лицом, вновь бросилась в бой, вооруженная новым аргументом.

— Но, святой отец, вы же знаете, что Он слышит молитвы истинных католиков! — сказала она дрогнувшим голосом и добавила со слезами на глазах: — Вы же были там, рядом с донной Матильдой, дорогой отец Ваини. Если бы вы очень сильно захотели, то вы могли бы переменить...

Тут Кардинал приподнялся со своего стула и закричал, устремив на нее страшные глаза:

— Безумное дитя! Что ты говоришь! А разве я не хотел? Разве я не молился?

Она бросилась к его ногам, рыдая.

— Вы говорите эти слова, чтобы испытать меня. Где же истина? Я не отступлю от вас, пока вы мне не ответите. Святой отец, вы же сами знаете, что молитва всегда будет услышана. Но эти ваши ужасные вопросы... Они опрокинули все мои прежние... прежнюю... Где же истина?

— Поднимись, сядь на место, дочь моя, и ответь мне сама. Ну, подумай!

Все это продолжалось еще полчаса. Я изумлялся все больше и больше. Проблема самодостаточности христианской молитвы вскоре осталась далеко позади. Теперь уже муссировалась идея благой силы, управляющей миром. Для Кардинала это было упражнением в риторике, украшенным его остроумием и бурным скептицизмом, с одной стороны, а с другой — выражением его скрытого негодования против Астре-Люс. Это была разновидность допроса, который никак не влиял бы на любого верующего, нормального в интеллектуальном отношении. Но для Астре-Люс это оказалось катастрофой, поскольку она была лишена рассудка и только сейчас его обретала. Может быть, ей впоследствии понравились бы глубокие размышления и трудный поиск истины, но тогда она была бы совсем другим человеком.

Ее мучения продолжались. Каждое новое ее возражение он встречал криком: «Торжище! И здесь торжище!» — и вновь доказывал ей, что ее молитвы проистекают из страха или жадности. Астре-Люс была разбита в пух и прах. Я ходил туда-сюда за спиной Астре-Люс и жестами взывал к Кардиналу. То ли он мучил ее из простого каприза? То ли выяснял для себя степень ее умственной ущербности?

Наконец ее лицо просветлело.

— У меня голова идет кругом, — сказала она. — Но я теперь поняла, что вы стараетесь мне объяснить. Нельзя просить Бога о вещах, о людях или о выздоровлении, но можно просить Его о духовных ценностях, например о процветании Церкви?..

— Тщеславие! О, тщеславие! — горестно завопил Кардинал, воздымая руки, счастливый новой возможностью блеснуть своей диалектикой. — Который уж год мы молим Бога об одних и тех же вещах? Какая статистика в состоянии подсчитать наши запросы? Я имею в виду все эти идиотские разговоры о Франции и королях!

С душераздирающим криком гнева и отчаяния Астре-Люс вскочила и выбежала вон из комнаты. Я бросился к Кардиналу, протестуя, умоляя его сжалиться над ней, над ее глубокими убеждениями.

— Она глупа, Сэмуэлино, — отстраняя меня, с презрением произнес Кардинал. — Нельзя считать глубокими убеждения, которые можно опрокинуть соломинкой. Это пойдет ей на пользу, поверь мне. Я слишком долго был исповедником, чтобы заблудиться в трех ее соснах, в трех ее мыслях. Ее душевное развитие не выше уровня школьницы. Ей пора питаться более грубой пищей. Пойми: она никогда не страдала! Конечно, она благочестива. Но, как я тебе уже сказал несколько дней назад, настоящего горя она никогда не знала только по чистой случайности.

— И все-таки, ваше преосвященство, я знаю ее достаточно хорошо. Я уверен: сейчас она припала к алтарю в своей часовне. Она несколько недель будет мучиться.

В эту минуту снова появилась Астре-Люс. Она была взволнована. Она вымученно улыбнулась.

— Извините меня, я пойду спать, — сказала она; теперь она уже не называла Кардинала «святой отец». — Оставайтесь, побеседуйте с Сэмуэлем.

— Нет-нет. Мне надо идти. Но все же я позволю себе сказать вам кое-что. Настоящие истины трудны. На первый взгляд они ужасны. Но они дороже всего остального.

— Я подумаю над тем, что вы мне сказали. Я... я... Простите, могу я вас спросить?

— Конечно, дитя мое! О чем же?

— Скажите честно: вы не шутили?

— Я совершенно не шутил.

— И я в самом деле своими ушами слышала, что молитвы благочестивых людей не доходят до...? Впрочем, все равно. Доброй ночи. Извините, что я оставляю вас одних.

И она оставила нас одних.

Я отправился спать с беспокойной душой. Я переживал за Астре-Люс. Утратила ли она веру? Как поступить в такой ситуации? Утрата веры со стороны всегда выглядит комично, особенно если речь идет о человеке здоровом, богатом и в своем уме. В потере же здоровья, богатства или разума, напротив, есть своеобразное величие. Без сомнения, Астре-Люс лишилась бы и веры, лишившись чего-либо из этого. Это не ценности, если их теряют, а погода при этом все равно кажется прекрасной.

Меня пробудил от тревожного сна отдельный и настойчивый стук в дверь. Это был Альваро, мажордом.

— Мадам послала спросить, не будете ли вы так любезны одеться и прийти в библиотеку.

— Что случилось, Альваро?

— Я не знаю, синьор. Мадам не спала всю ночь. Сейчас она в нашей церкви, распростерлась на полу.

— Хорошо, Альваро, через минуту я приду. Который час?

— Половина четвертого, синьор.

Я быстро оделся и поспешил в библиотеку. Астре-Люс была в том же платье, что и вчера. Ее лицо было белым и вытянутым; ее волосы были растрепаны. Она шагнула мне навстречу, протянув руки.

— Простите меня, что я послала за вами в такую рань. Прошу вас, помогите мне. Скажите мне: вас не огорчили слова Кардинала, которые он произнес вчера за обедом?

— Да, огорчили.

— У вас, как у протестанта, есть принципы относительно этих вопросов?

— Конечно, мадемуазель де Морфонтен.

— Тогда где же его принципы? Неужели теперь так думает всякий?

— Нет, уверяю вас.

— Ох, Сэмуэль, что случилось со мной? Я совершила грех. Я совершила смертный грех — грех сомнения. Снизойдет ли снова мир на мою душу? Примет ли меня Господь обратно после таких мыслей? Конечно, о, конечно же, я верю, что мои молитвы будут услышаны, но я утратила...

утратила... утратила смысл моей веры. Я уверена, ключ здесь. Может быть, это всего лишь только слово. Я вас прошу найти хотя бы один-единственный аргумент, который бы все оправдал. Не странно ли? Я искала ответ.

Она указала рукой на стол, заваленный раскрытыми книгами. Там лежали Библия, Паскаль, «Подражания».

— Я не сумела выбрать нужные слова. Присядьте и скажите, мой друг, какие аргументы нужны для того, чтобы Бог услышал нас и ответил нам.

Я долго беседовал с нею, стремясь утешить ее, но ничего не достиг. Возможно, мне даже не следовало этого делать. Я объяснял ей, что один лишь факт ее мучений по этому поводу свидетельствует о ее неистовом веровании. После часа такой борьбы за нее она, кажется, немного успокоилась. Но тем не менее, накинув меховую накидку, она вернулась в свою холодную часовню и до самого утра усердно молилась там о возвращении ей веры.

Около десяти часов она вышла в сад и предложила мне прочесть письмо, которое она собиралась послать Кардиналу.

«Дорогой Кардинал Ваини! Я всегда буду гордиться тем, что Вы относитесь к числу моих друзей. Я уверена, что Вы любите меня и желаете мне добра. Но за Вашими учеными занятиями и важными делами Вы забыли, что мы, не блещущие ни умом, ни талантом, должны держаться наших усвоенных с детства верований в меру наших способностей. Не скрою, вчерашний вечер привел меня в неопишное волнение. Я хотела бы просить Вас об одолжении: будьте снисходительнее к моим недостаткам и впредь не касайтесь вопросов веры в моем присутствии. Ваши мысли по этому поводу столь мучительны для меня, что я не могу не просить Вас об этом. Я умоляю Вас понять мои чувства вне зависимости от взаимной личной неприязни. Я надеюсь, что со временем смогу подготовиться к тому, чтобы на равных говорить с Вами об этих предметах».

Это было очень плохое письмо. Оно было отвратительно по своему содержанию. Я робко посоветовал убрать последнее предложение. Но она переписала письмо начисто и тут же отправила его со слугой.

Настал последний день моего пребывания на вилле. Она поднялась ко мне в комнату, чтобы поговорить со мной в последний раз.

— Сэмюэль, вы были рядом во время грустнейших дней моей жизни. Не отрицаю, что все ваше внимание в эти дни было приковано не к вашей поэме, а к моей особе. Я еще верую, но уже не так, как прежде. Возможно, я неправильно прожила свою жизнь, но я уже ее прожила. И теперь я понимаю, что просыпалась каждое утро исполненной несказанного счастья. Это чувство редко оставляло меня. Прежде я никогда не думала, что мои убеждения сами по себе были недостаточно основательны. Я впадала в грех гордости и хвасталась своими убеждениями, но я сама не ведала, что творю. Теперь настало время, когда я слышала слова: молитвы нет. И Бога нет. Есть только люди и деревья, и миллионы их умирают каждый миг. Вы еще приедете ко мне, Сэмюэль, не так ли? Вам не очень скучно было у меня в гостях?

Дома меня ждали три письма от Кардинала, в которых он просил известить его сразу же, как только я вернусь в Рим. Лишь только я вошел в ворота его виллы, он тут же с нетерпением поспешил мне навстречу.

— Ну как она? С ней все в порядке?

— Нет, святой отец, она в ужасном состоянии.

— Идем, сын мой. Я должен кое о чем тебе рассказать.

Когда мы вошли в его кабинет, он плотно прикрыл за собой дверь и произнес в большом волнении:

— Я хотел сказать, что я совершил грех. Я совершил великий грех. Я не смогу спать, пока не попытаюсь исправить зло, которое я причинил. Взгляни, взгляни на это письмо, которое она мне написала.

— Я уже видел его.

— Этим письмом она отвергает все объяснения, которые я подразумевал. Нет ли пути вновь убедить ее?

— Теперь остался только один путь. Вам надо вернуть все ее доверие, которое она к вам питала, прежде чем вы вновь заговорите с ней на эту злосчастную тему. Вам надо навестить ее, как будто ничего не произошло...

— Но она теперь ни за что не позовет меня!

— Да нет же! Она хочет вас видеть и ждет к обеду. Всех вас: Аликс, донну Леду, Богара.

— Хвала Господу! Спасибо Тебе, Господи, спасибо Тебе, спасибо...

— Могу я говорить с вами совершенно откровенно, ваше преосвященство?

— Да, конечно! Я бедный старик, вечно все путаю. Скажи мне, что ты хотел?

— Когда вы придете к ней, будьте осторожны, ни малейшего намека на религию. Я умоляю вас, не пытайтесь восстановить свой авторитет сразу, никаких комментариев и замечаний о вере. Ее может задеть любое слово, и она решит, что вы явились, чтобы уничтожить ее веру окончательно. Это очень важно. Простите, но ваши идеи трудно назвать ортодоксальными, святой отец, и если вы выскажете какой-нибудь ортодоксальный тезис, он не будет звучать искренне и все испортит. Но если вы просто придете и ласково заговорите с ней о чем-нибудь постороннем, она сумеет победить свой ужас перед вами.

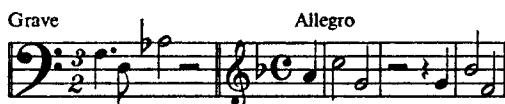
— Ужас передо мной?! — вскричал Кардинал.

— Да, и необычайно великий. Может быть, лишь через год вы сможете...

— Через год? Я не проживу года!

— Es muss sein!<sup>33</sup>

Эти слова поразили его, и он пропел с комизмом и горечью бетховенскую фразу:



— Все дороги жизни ведут к этому: es muss sein. Мне следовало бы остаться в Китае.

Некоторое время он молчал, глубоко вздыхая, разглядывая свои желтые руки.

— Господь захотел лишить меня разума. Я — идиот, спотыкающийся на каждой колдобине. Ох, я прежний давно умер, а я нынешний никак не могу умереть, пока не оправдаюсь. Подай мне вон ту бордовую книгу позади тебя. В ней — две пьесы о стариках, Сэмюэлино, которые становятся мне интереснее с каждым днем. Это — «Король Лир» и...

Открыв «Эдипа в Колоне», он медленно перевел:

О милый сын Эгея! Только боги  
 Ни старости не ведают, ни смерти.  
 Все прочее у времени во власти.  
 Скудеет почва, и слабеет тело,  
 Сменяется доверьем недоверье, —  
 И в чувствах не бывают неизменны  
 Ни к другу друг, ни к граду град...<sup>34</sup>

Он склонил голову, книга выскользнула из рук и упала на пол. Es muss sein.

<sup>33</sup> Так быть должно! (нем.)

<sup>34</sup> Перевод С. Шервинского.

В этот раз я не поехал к мадемуазель де Морфонтен. Мы обедали с мисс Грие одни в городе, но около десяти вечера поехали в Тиволи посидеть с нашей компанией. По дороге я вкратце обрисовал ей отношения, которые в настоящий момент сложились между двумя ее ближайшими друзьями.

— Ох, как это глупо с его стороны! — воскликнула она. — Как жестоко! Как он мог так забытья! Да неужели не понятно, что порядок вещей наталкивает нас не на отвлеченный вопрос о том, будут или не будут услышаны ее молитвы, а на принципиальный вопрос: слышит ли Бог молитвы вообще! Ее молитвы о Франции... Да неужели он не понимает, что есть люди, для которых эта чепуха важнее всего на свете?

— Он считает, что небольшая встряска пойдет ей на пользу. Он сказал, что она никогда не страдала.

— Он старый маразматик! Я так сердита, что даже, кажется, заболела.

В этот момент наш водитель круто забрал в сторону, чтобы не столкнуться со встречной машиной, на полной скорости промчавшейся мимо нас в направлении Рима. Это был тот самый громоздкий безобразный экипаж для путешествий, принадлежавший мадемуазель де Морфонтен. Я заметил в нем Кардинала.

— Это он был в машине! — воскликнула мисс Грие. — Не слишком ли рано он уехал?

— Что-то произошло, — сказал я.

— Да, наверняка что-то случилось, прости нас, Господи! Если бы все было в порядке, за рулем сидела бы Аликс. Наша чудесная компания, кажется, распалась. Аликс нам больше не доверяет. Леда теряет последние остатки своего разума. Астре-Люс поссорилась с Кардиналом. Я тоже, пожалуй, уеду из Рима, вернусь в Гринвич.

Когда мы подъехали к вилле, мы поняли, что в самом деле что-то произошло. Парадные двери были распахнуты настежь. Слуги, перешептываясь, толпились в холле перед запертой дверью в гостиную. Как только мы вошли в холл, дверь отворилась и появились Аликс, донна Леда и мадам Бернштейн, которые вели всхлипывающую Астре-Люс. Они увели ее наверх, в спальню. Мисс Грие вежливо отправила слуг по своим комнатам. Мы вошли в гостиную и заметили М. Богара, который уже выходил через другую дверь. Он был страшно взволнован. В молчании мы присели на диван, полные дурных предчувствий. Одновременно мы уловили тонкий запах пороховой гари; я огляделся вокруг, мой взгляд упал на выщербленное углубление в потолке, прямо под которым на полу валялись куски отвалившейся штукатурки. В этот момент торопливо вошла мадам Бернштейн и, плотно закрыв за собой дверь, направилась к нам.

— Никто не должен узнать. Это надо сохранить в тайне! Как такое могло случиться? После этого может произойти все, что угодно. Какое счастье, что здесь не было слуг, когда...

Мисс Грие спросила ее несколько раз, что произошло.

— Я ничего не знаю! Я не могу поверить своим глазам, — причитала мадам Бернштейн. — Астре-Люс сошла с ума. Элизабет, представьте себе, мы сидели здесь как всегда, пили кофе, совершенно спокойные, как вдруг... Вот! Смотрите! Я не могу видеть эту дыру в потолке! Мне страшно!

— Анна, дорогая! Пожалуйста, объясните же нам, что же, в конце концов, произошло!

— Да-да, сейчас. Мы сидели тут, пили кофе, беседовали о том о сем, как вдруг Астре-Люс подошла к роялю, вытащила из вазона с цветами револьвер и выстрелила в нашего доброго Кардинала.

— Анна! Он ранен?

— Нет. Она не попала в него. Но как такое могло случиться? Что могло заставить ее сделать это? Мы были друзьями, мы были такими хорошими друзьями. Я ничего не понимаю.

— Вспомни, Анна: она что-нибудь сказала, когда выстрелила в него? Или перед этим?

— Все это очень страшно. Вы не поверите. Она крикнула: «Это дьявол! Дьявол пришел к нам. Он вселился в Кардинала!»

— А что сказал Кардинал?

— Ничего. Вполне обыкновенные слова. Он как раз рассказывал нам о крестьянах, с которыми встречался, когда ходил в монастырь святого Панкратия.

В этот момент неожиданно вошла Аликс:

— Элизабет, поднимитесь к ней. Она хочет вас видеть. Она одна.

Мисс Грие поспешно встала. Аликс обернулась ко мне:

— Сэмюэль, вы хорошо знаете мажордома. Вы не могли бы сходить к нему и сказать, что у Астре-Люс нервный припадок? Скажите ему: ей показалось, что она увидела в окне грабителя; она выстрелила в него. Это очень важно для святого отца, чтобы об этом случае не было никаких сплетен.

Я отправился к Альверо. Он, конечно, понимал всю нелепость моих объяснений, но был абсолютно согласен, что этот случай надо представить слугам во вполне правдоподобном виде.

Аликс не понимала, что могло скрываться за этим выстрелом, но она вспомнила весь предшествующий разговор. Кардинал рассказывал следующую незамысловатую историю, случай, произошедший с ним во время загородной прогулки.

Один крестьянин хотел отучить плакать свою шестилетнюю дочь, которая докучала ему частыми слезами. Однажды он взял ее за руку и привел на мусорную свалку, в самую глубь карьера. Он завел ее в яму поглубже и сказал ей: «Ну что, ты и теперь будешь орать?» Перепуганный ребенок тут же громко заплакал. «Хорошо же, — сказал отец. — Оставайся здесь и ори сколько угодно. Нам не нужна такая плакса. Ори, ори, может быть, придет тигр и съест тебя. А я пошел домой». Так он сказал и, бросив ее, отправился в ближний кабачок и целый час просидел там в свое удовольствие, попивая вино и дуясь с мужиками в карты. Ребенок долго бродил среди куч мусора, не переставая плакать. А через час вернулся отец и, приласкав, взял ее за руку и привел домой.

Вот и все.

Но Астре-Люс никогда не учили, как всех остальных людей, сдерживать свое сердце, когда слушаешь какую-нибудь историю о жестокости или несправедливости. Она безоглядно верила словам. Ее интересы не страдали никоим образом, но она тем не менее всегда была готова пустить свое воображение во всю мочь, когда речь заходила о несчастьях других людей. Этот безобидный воспитательный анекдот, рассказанный Кардиналом, у всех других людей мог вызвать лишь вздох сожаления, может быть, легкую складку горечи у губ и улыбку удовлетворения благополучным исходом. Но для Астре-Люс это было живейшим напоминанием, что Бог, чье занятие — помышлять об оскорбленных и униженных всего мира, больше не существовал. Кардинал убил Его. И теперь не осталось никого, даже чтобы утешить забитую до смерти лошадь. Никто теперь не заступится за котенка, которого, словно мяч, швыряют в стену злые дети. И у ее страдающего полуслепшего дога, который лижет ей руку и не сводит затянутых пеленой глаз с ее лица, не будет больше утешителя, кроме нее самой. Кардинал не случайно рассказал эту историю: в этой притче скрывался завуалированный намек на тот самый спор, который произошел меж ними на прошлой неделе. Эта притча была не что иное, как ядовитая насмешка. Это было своего рода проклятие. Взгляни же на мир, в котором нет Бога, говорил он. Войди же туда! И если она утратила Бога — о, как же скоро она заполучила в подарок Сатану! Он торжествовал в этой душераздирающей истории. Астре-Люс обошла рояль, выхватила спрятанный в цветах револьвер и выстрелила в Кардинала, крича: «К нам явился дьявол!»

В тот вечер, мчась в машине обратно в Рим, Кардинал повторил всю дорогу: «Так, значит, это правда!» Выстрел Астре-Люс заставил его понять,



что религия давно уже стала для него изысканной игрой. Можно громоздить силлогизм на силлогизм, но предпосылки все равно оставались видны насквозь. Он силился вспомнить, на что походила его вера, когда она у него была. У него заныло сердце, когда перед его мысленным взором возник юный священник, наставляющий семьи китайских мандаринов. Это был он сам. Ох, если бы еще раз пройти этим путем! Он мог бы вернуться в Китай. Если бы он снова мог видеть эти лица, ясные той ясностью, которую он дал им, тогда, может быть, он смог бы вернуть все назад. Но бок о бок с этой надеждой в нем жила ужасная мысль: нет слов, чтобы выразить осуждение и назвать наказание, достойное его вины, превосходящей в его глазах все мыслимые грехи. Убийство — детская шалость по сравнению с тем, что совершил он.

Этот выстрел значил много и для Астре-Люс. Внезапный ее ужас, что она повредит его репутации, а потом ее страх, что она останется без его благословения, оказался сильнее, чем страдание ее души, лишившейся веры. Мне пришлось носить меж ними первые записки, полные стремления восстановить их прежнюю взаимную привязанность. Когда же Астре-Люс и Кардинал обнаружили, что живут в мире, в котором такие вещи можно прощать, и что порой мы совершаем столь необъяснимые поступки, что только любовь в состоянии принять или отвергнуть, — в тот же день их жизнь словно началась заново. Это их примирение ни сразу, ни потом — никогда не выражалось в словах. Фактически оно так и осталось надеждой. Они страстно желали снова увидеться, но это было невозможно. Оба они мечтали об одной из тех долгих бесед, которой еще не бывало ни у кого на земле и которую мы с такой легкостью представляем в своих мыслях в полночь и в одиночестве. Но ни самые ласковые слова, ни самые нежные поцелуи не способны возродить наши опустошенные души.

Он получил разрешение вернуться в Китай и отплыл туда спустя несколько недель. Через несколько дней после того, как они вышли из Адена, он заболел лихорадкой и понял, что скоро умрет. Он позвал капитана и судового врача и сказал им, что если они погребут его в море, то у них могут быть неприятности с Церковью, но в этом случае они исполняют его заветнейшее желание. Он отдавал себе отчет в степени вины, которую мог принять на себя за такое нарушение христианского закона. Пусть уж лучше его бросят в волны Бенгальского залива и пусть его сожрут акулы, чем лежать грешником из грешников под мраморным памятником с неизбежным «*insignis pietate*»<sup>35</sup> и неотвратимым «*ornatissimus*»<sup>36</sup>.

## Глава 5

### СУМЕРКИ БОГОВ

Когда для меня настало время покинуть Рим, я посвятил несколько дней тому, чтобы отдать последний долг почтительности — почтительности по римскому обычаю. Я послал записку Элизабет Грие, в которой просил согласие на долгую позднюю беседу в канун моего отбытия. «Есть несколько вопросов, на которые невозможно ответить, но которые я хотел бы выяснить», — написал я. Затем я побывал на вилле Вэй Хо и целый час просидел с сестрой Кардинала. Гвинейская утка была уже не так голосиста, как прежде, но кролики все еще шныряли в саду в поисках фиолетовой сутаны. Я отправился в Тиволи и посмотрел через железную решетку ворот на виллу Горация. Она выглядела заброшенной, словно там уже год никто не жил. Мадемуазель де Морфонтен уехала во Францию, где у нее

<sup>35</sup> Замечательный благочестием (лат.).

<sup>36</sup> Почетнейший (лат.).

было несколько поместий, и пребывала там в полном уединении. Поговаривали, что она не читает писем, даже не открывает их, но я все же написал прощальную записку и ей. Более того, я провел весь вечер в душевных комнатах Палаццо Аквиланера, и донна Леда по большому секрету сообщила мне новость о помолвке своей дочери. Очевидно, молодой человек, ее будущий зять, не мог найти себе кузину среди скудеющих королевских родов Европы. Он происходил из типично итальянской семьи и тем не менее владел вполне современным дворцом. Наконец-то в доме д'Аквиланера появится ванная комната! Боже, как меняются времена!

Самым главным моим прощальным долгом было посещение могилы Маркантонио. Я нашел ее на деревенском кладбище недалеко от виллы Колонна-Скьявелли. Освященная земля была недоступна мальчику, но в неразберихе и путанице любящая мать сумела устроить нечто вроде стены из камней и шиповника, которая как бы приобщила и эту безбожную могилу к сонму тех, за чьи души Церковь ручается в Судный день. Я сел на скамью и стал вспоминать Маркантонио. Возможно, никто, кроме меня, так и не понял, что я ему принес. Последний долг дружбы состоял для меня в том, чтобы я помнил его и думал о нем. Но рядом посвистывали птицы; невдалеке крестьянин с женой работали в поле; припекало солнце. Я не мог, как ни старался, удержать мысли на моем друге; было совсем нетрудно вызвать в памяти его черты или думать об их разрушении, но искренняя элегическая созерцательность на меня не снизошла. Прости меня, милый Маркантонио. И я отправился обратно в Рим, стыдя себя за бесчувствие. И все-таки это был восхитительный день — день незабываемого римского лета.

У меня оставалась одна дружба, которую я не мог восстановить: я не мог навестить Аликс. Когда бы я случайно ни встретил ее, стена ее полуопущенных ресниц говорила мне, что у нас с нею больше не будет никогда тех долгих задушевных бесед.

Прощание с квартирой тоже получилось достаточно грустное. Оттима и я несколько часов упаковывали вещи; наши головы, склоненные над ящиками, были полны мыслей о неизбежном расставании. Она должна была вернуться в свою винную лавочку на углу. Еще задолго до того, как я купил билет на пароход, она начала молиться за тех, кто подвергается опасностям морского путешествия, и отмечать особенно ветреные дни. После тяжелой внутренней борьбы я решил-таки оставить ей моего полицейского дога. Собачья душа буквально раздиралась между нами. В Европе или Америке он страдал бы без друзей. Оттима и Курт благополучно будут стареть вместе, наполнив свою жизнь беспредельным взаимным вниманием. Я могу поклесться, что перед моим переездом в отель в самую последнюю ночь Курт понял, что я покидаю его, и на его морде в эту минуту выразилось самое настоящее благородство. Он положил свою лапу мне на колено и взглянул на меня в глубоком смятении. Потом лег на пол, положил голову между лап и дважды гавкнул.

Я застал Элизабет Грие в полночь, сидящей в той самой библиотеке, которую когда-то приводил в порядок Блейр. Ее небольшая изящная голова была устало склонена, и после короткого бессвязного разговора я поднялся, чтобы уйти. Она напомнила мне, что я собирался кое о чем ее спросить.

— Мои вопросы тяжелее задать, чем ответить на них, — сказал я.

— Все-таки попытайтесь.

— Мисс Грие, вы знаете о том, что вас и ваших друзей называют Каббалой?

— Да, разумеется.

— Мне больше никогда не встретить такой компании. И все же, кажется, существует какая-то последняя тайна, имеющая к вам непосредственное отношение, которую я, наверное, никогда не узнаю. Вы можете мне сказать, какова ваша главная цель и как вы нашли друг друга? И что именно делает вас такими непохожими на других, обычных, людей?

Мисс Грие в глубоком раздумье молчала несколько минут. Она сидела со странной полуулыбкой на лице, уперев кончики пальцев в правый висок.

— Да, — наконец ответила она, — но вас, наверное, рассердит то, что я вам расскажу. И потом, это слишком долго.

— Нет, это недолго, мисс Грие. Просто вы хотели бы растянуть ваш рассказ подольше, потому что вы не любите отпускать ваших гостей до утренней зари. Но я буду слушать вас всю ночь, если вы прольете хоть немного света на суть Каббалы и смысл обедов на вилле Горация.

— Хорошо. Слушайте. Но прежде всего вы должны узнать, что с наступлением христианской эры античные боги вовсе не умерли. Чему вы улыбаетесь?

— Вы восхитительны. Вы решились наконец все объяснить. Как-то я спросил о Кардинале, и вы упомянули Юпитера. Ну так что же произошло с античными богами?

— Естественно, когда они стали терять приверженцев, они стали терять также и некоторые атрибуты своей божественности. Они даже открыли, что способны умирать, если захотят. Но когда один из них умирал, то вся его божественность переходила на кого-нибудь другого. Умер Сатурн — и вот некий человек вдруг почувствовал, что в нем пробудилась новая личность. Вы понимаете меня?

— Теперь да, мисс Грие! — сказал я, усмехнувшись.

— Я же говорила, что вам это не понравится.

— И вы утверждаете, что все это правда?

— Я бы не хотела обсуждать эту тему: правда это, аллегория или просто чепуха. И потом, я хочу зачитать вам один странный документ, который попал мне в руки. Его написал некий голландец, который стал богом Меркурием в девятьсот двенадцатом году. Вы готовы слушать?

— Это имеет отношение к Каббале?

— Да. И к вам тоже. И поэтому мне иногда кажется, что именно вы и есть новый Меркурий. Налейте себе еще кларета и внимательно слушайте:

«Я родился в Дании в доме приходского священника в 1885 году. Я был горем для моей семьи и ужасом всей деревни, неисправимым лгуном и вором, в полном расцвете своего здоровья и ума. Моя действительная жизнь началась однажды утром, когда мне исполнилось двадцать семь лет. Я вдруг почувствовал несколько чрезвычайно сильных ударов боли в голове, в самой ее середине. Чья-то жесткая рука очистила чашу моего черепа и, вынув оттуда мои глупые мозги, наполнила ее божественным духом интуиции. Это и было мое обожествление. Я понял, что стал Меркурием и призван в качестве историка богов записать событие, вследствие которого, по причине определенного уродства нового духовного закона, Аполлон семнадцатого столетия не достиг полной меры своей божественности: одна рука осталась поврежденной. Мое тело тоже частично переменилось; переродилась каждая его микроскопическая клеточка. Теперь я не мог ни заболеть, ни постареть, ни умереть, пока сам того не захочу.

После этого получилось так, что я открыл первое великое свойство своей личности, а именно то, что мое желание было для вещей приказом. Конечно же, вещь не падала сама ко мне в руки и не оказывалась передо мной на одеяле, когда я просыпался утром. Но обстоятельства начинали вершить вокруг меня свой таинственный круговорот, и в конце концов желаемый предмет оказывался у меня посредством самой искуснейшей имитации естественных законов и возможностей. Ученые могут сказать вам, что они никогда не сталкивались с тем, чтобы последовательность причин и следствий можно было бы отвратить молитвой или прервать Божественной волей. Неужели они считают, глупцы, что их

способность к наблюдению столь тонка, чтобы постичь Божий промысел? Эти несчастные и якобы очевидные законы причины и следствия так часто оказываются ни при чем, что наверняка можно сказать: они весьма и весьма приблизительны. И дело вовсе не в моей божественности, а в сочетании небесных светил, так что я знаю, о чем говорю. Словом, я тайком вытащил из-под подушки у моей матери все ее сбережения и ушел в Париж.

Но в Риме я должен был в последний раз поклониться Богу под своим собственным именем, и меня влекло туда с непреодолимой силой. Во время путешествия я постепенно открывал другие свойства своего нового бытия. Я просыпался по утрам и обнаруживал, что за ночь в мой мозг была вложена новая часть знания, в частности, такая, например, завидная вещь, как способность грешить без угрызений совести. Я вошел в Порта-дель-Пополо ночью в июле 1912 года. Я прошел всю Корсо, перелез через ограждение, окружающее Форум, и упал на руины моего храма. Всю ночь под восхитительным дождем я с наслаждением и болью раздирал свои одежды, пока на древних улицах не показалась бесконечная и призрачная процессия, поющая мне гимн. Они вознесли меня на башню поклонения. С приходом зари мои поклонники исчезли, и их крылья больше уж не реяли надо мной. Я выбрался из облитых утренним солнцем руин и ушел в туманные улицы поискать, где бы выпить чашку кофе.

Подобный богу, я никогда не рассуждал; все мои поступки происходили сами собой. Если я останавливался, чтобы подумать, я тут же совершал ошибку. В следующем году я выиграл много денег на скачках в Париоли<sup>37</sup>. Я спекулировал кинофильмами и африканской пшеницей. Я занимался журналистикой, и ложь, которую я посеял, на многие десятилетия задержит послевоенное восстановление Европы. Мне нравится, когда боги и люди не ладят между собой. Я счастлив. Я счастливейший из богов.

Я был призван в Рим, чтобы стать вестником богов и их секретарем, но прошло более года, прежде чем я узнал первого из них. Церковь Санта Мария sopra Минерва построена на развалинах древнего храма этой богини. И наступил день, когда я встретил саму богиню. Мне так не терпелось увидеть и других, что я стал охотиться за ними. Я часами торчал на вокзале, дожидаясь прибытия новых богов. Однажды ночью я слонялся по перрону в ожидании парижского экспресса. Я даже дрожал от предчувствий. На мне был шелковый цилиндр и соответствующий костюм, красная камелия в петлице фрака и небольшие светлые усы. Испуская синий дым, издавая чудные крики, поезд подлетел к перрону. Путешественники покидали свои купе и сразу же попадали в толпу *fachini*<sup>38</sup> и родственников. Я поклонился дипломату из Скандинавии и вагнеровской примадонне. Они с нерешительностью ответили на мое приветствие. Посмотрев им в глаза, я понял, что они — блистательны, но не сверхъестественны. Не оказалось нового Бахуса и среди студентов из Оксфорда, приехавших на каникулы; точно так же не нашлось и Весты среди монахинь из Бельгии. Около полудня я изучал лица на перроне, пока все не разошлось и не появилась большая группа пожилых женщин с ведрами. Я остановился у локомотива, чтобы спросить у машиниста, когда придет следующий поезд. И тут я увидел странное лицо, взиравшее на меня из локомотивной будки, — бесформенное, перепачканное угольной пылью, блестящее от пота, но самодовольное и с ухмылкой до ушей. Это был Вулкан».

<sup>37</sup> Париоли — ипподром в Риме.

<sup>38</sup> Носильщиков (*итал.*).

В этом месте мисс Грие подняла на меня глаза.

— Дальше примерно на пятидесяти страницах следует описание его встреч с другими богами. Вы хотите что-то сказать? Вам что-либо знакомо из этого письма?

— Но, мисс Грие, у меня никогда не болела голова! И к тому же я никогда не получаю того, что мне хочется!

— Разве?

— Как прикажете все это понимать? Объясните мне хотя бы два эти несоответствия, если сможете.

— Дальше он говорит, что боги боялись насмешек за то, что они все утратили. Способность летать, например, или становиться невидимыми, способность к всеведению или беззаботность. Люди могли забыть, что у них еще осталось кое-какое могущество: их необычное воодушевление, их способность управлять порядком вещей; их способность, наконец, жить или умереть, когда они захотят, или жить по ту сторону добра и зла. И тому подобное.

— Ну и что же с ним стало?

— В конце концов он решил умереть, как и все они. Все боги и герои по своей сущности являются врагами христианства. Вера убивает желания, убивает жалость. В ее присутствии каждый человек становится неудачником. Только сломленная воля позволяет войти в Царство Небесное. В конце концов, совершенно лишенные людского поклонения, боги сдаются. Они уходят. Они отвергают сами себя.

Меня поразило безысходное отчаяние в ее голосе. И это ее отчаяние удержало меня от поспешных и ненужных предложений применить все то, что она сейчас мне сказала, к ее Каббале. Мы перешли в зал, где музыканты ждали ее распоряжений: они приготовили для нас несколько староанглийских мадригалов. Я слушал эту изысканную музыку, но ассоциации, навеянные рассказом Элизабет Грие, еще жили во мне, питая неотвязную безысходную мысль. Они сдаются. Они уходят.

Ночь, в которую мой пароход выходил из Неаполитанского залива, я пролежал в шезлонге на палубе без сна до самого утра. Почему-то я покидал Европу без особенной грусти. Я лежал в шезлонге, завернувшись в плед, и повторял строфы из «Энеиды», одновременно стремясь душой к берегам Манхэттена. Море, которое мы пересекали, было морем Вергилия; звезды, которыми оно наполнилось, были его звезды: Арктур и дождеподобные Гиады, обе Медведицы и Орион в своих золотых доспехах. Все они проходили предо мною в ночном безоблачном небе и в воде, шелестящей под легким ветром, сверкая лучами, изломанными на волнах.

Меркурий был не только вестником богов; он также был и проводником душ умерших. Если только последняя частичка его могущества пала на меня, я должен был уметь вызывать духов. Возможно, дух Вергилия, подумал я, сможет прочесть мои мысли, и, воздев к небу свои ладони, я произнес (не так громко, чтобы меня слышали в открытом иллюминаторе у меня за спиной):

— Царь поэтов, Вергилий! Один из твоих гостей и последний из варваров призывает тебя!

На мгновение мне показалось, что я вижу мерцание мантии и отражение света звезды на гладкой поверхности листа лавра. Я напряг все свои медиумические способности:

— O anima cortese mantovana<sup>39</sup>, величайший из римлян, в преддверии Ада, которому Флорентинец, возможно по ошибке, вверил тебя, посвяти мне частицу твоей вечности!

Теперь в самом деле тень остановилась в воздухе над поручнями. Мерцали звезды, и волны мерцали их бликами, и великая тень, сотканная из

<sup>39</sup> O mantovana чистая душа (итал.). — Данте, «Божественная комедия», «Ад», II, 58. Перевод М. Лозинского.

искр, фантастически мерцала передо мной. Но мне хотелось, чтобы образ стал четче. Я знал один из его титулов, который мог бы мне помочь лучше, чем его титулы поэта или римлянина.

— О, великая душа древнего мира и пророк нового, своей счастливой догадкой ты предсказал Его приход, и Он призвал в Свои выси тебя, первого Христианина Европы, — ответь мне!

Снисходительный дух в самом деле стал почти полностью виден в мерцанье золотых и серебряных искр. Он отвечал:

— Будь краток, варвар, вызвавший меня. За исключением своих последних слов, ты говорил лишь о моем величье. Я не могу здесь оставаться долго. Задерживай меня, но не для развлечения или игры моим великодушием. Там, в нашем царстве теней, есть более великие умы; Эразм там дискутирует с Платоном, и Августин Блаженный, с блистательных спустившийся высот, сидит меж нас и мудрую ведет беседу, хоть воздух наш уныл, и сер, и тяжок для него. Так будь же краток, варвар, пустяками не утруждай тень своего Латинца.

И тут я осознал, что у меня, собственно, нет никакого определенного вопроса, чтобы задать его своему гостю. Чтобы хоть как-то оправдать мой необдуманый вызов столь великой души и продолжить это необычное интервью, я попытался вовлечь его в разговор:

— Учитель, был ли я прав, утверждая, что Данте не пользовался абсолютным доверием у Всевышнего?

Негодование облило шафрановым оттенком тень великого поэта, сотканную из золотых и серебряных искр.

— Где же он, тот ядовитый дух, который души мертвых осуждает суровее, чем сам Господь? Скажи ему: пускай я и язычник, блаженство тоже мне предрешено. И это ничего, что расплатиться мне первому придется за грехи минувших десяти тысячелетий. Запомни этот миг, в который я совершу грех гнева: где пребывает он, страдающий от гордости греха?

Я был слегка шокирован тем открытием, что ни смерть, ни гений не избавляют нас от соблазна выразиться по красивее.

— Учитель, не встречались ли вам англоязычные поэты среди пришедших в ваш печальный дол? — спросил я.

— Будь краток, я прошу тебя, мой друг. Да, к нам пришел один певец, слепой глазами, духом прозорливый. Он мне воздал великое почтение. А речью благозвучной и свободной ему служила благородная латынь. Собратья по юдоли мне сказали, что слог его есть отражение моего.

— Это верно. Мильтон в самом деле считается вашим духовным сыном...

— Но перед ним пришел другой, чей гений был более велик. Он пьесы для театра создавал. Он горд был, беспокоеен и ходил не замечая никого из нас. Он не приветствовал меня ни разу. Среди нас тщеславных очень мало, но, друг мой, как приятно приветствием с поэтом обменяться.

— Ну, латынь-то он знал, хоть и не очень хорошо, Учитель. Он просто, наверное, не прочел ни одной вашей страницы. И потом, при жизни он никогда не был ни обвинителем, ни адвокатом поэтического изящества. К тому же, перенесясь в ваши веси, скорее всего, он был абсолютно подавлен тем, что должен там обретаться всю вечность. Он все еще среди вас?

— Он избегает всех, закрыв лицо руками, и лишь вздыхает взгляд, когда Казелла<sup>40</sup> нам поет или когда со стороны чистилища доносит ветер хоры Палестрины.

— Учитель, я почти год прожил в этом городе, где ты прожил целую жизнь. Может быть, я делаю ошибку, покидая его?

— Будь краток, я просил тебя, будь краток. Твой мир меня тревожит. И мое сердце начинает биться — о, ужас! Знай, любопытный варвар, я

<sup>40</sup> Казелла Альфредо (1883 — 1947) — итальянский композитор, представитель неоклассицизма.

провел всю жизнь мою в великом заблужденъе, что Рим и Августа венец пребудут вечно. Но вечного нет ничего на свете, одни лишь Небеса. До Рима были римы без числа, и будут римы по его паденью. Ищи другие города, они моложе. Секрет весь в том, чтобы воздвигнуть город, а не остаться в нем. Когда же ты отыщешь город себе по сердцу, лелей мечту, что будет вечен он. О да, конечно, я уже слышал, что ваши города юны, сильны, богаты. Их зароженье сокрушило наши стены, а тени их дворцов накрыли сандалии на ангельских ногах. Но Рим когда-то тоже был великим. О, в гордой силе ваших городов и их мужей, достойных и великих, — не позабудьте мой. Когда же наконец уйдет из сердца любовь к нему? Пока она жива, мне входа нет в Сион. Позволь же мне уйти, мой друг, молю. Воспоминанья потрясли меня...

Тут, очевидно, великий поэт начал узнавать свое родное Средиземноморье.

— О! Как прекрасны эти воды! Смотри! За много лет почти забыл я этот мир чудесный. Смотри, как он прекрасен! Но нет! О, что за ужас, что за боль! Ты жив еще? Ты жив? Как можешь ты терпеть страданья эти? Все мысли ваши зыбки и неточны, и ваше тело сотрясаемо дыханьем, все ваши чувства слабы и неверны, и разум ваш отравлен испареньем то одного желанья, то другого... О, что за жалкий жребий — быть смертным. Жизнь провести в тщете и суете — и кончить смертью!

— Прощай, Вергилий!

Мерцающий призрак поблек и растворился в свете звезд. Машина подо мной, в самом чреве парохода, неумоимо работала и несла нас к новому миру, к новому и величайшему из всех его городов.

Перевел с английского А. Гобузов.

---

Гобузов Александр Павлович (род. в 1949 году) живет в Новосибирске; окончил Литературный институт им. Горького в 1988 году; публиковал рассказы и повести в журнале «Сибирские огни», сборниках Новосибирского книжного издательства «Дебют» и «Опасности свободы воображения», а также переводы англоязычных писателей.



---

---

# ПУБЛИЦИСТИКА

МАРК ФЕЙГИН

\*

## ВТОРАЯ КАВКАЗСКАЯ ВОЙНА

**В**ойна в Чечне, гибель тысяч людей, рост напряженности на Кавказе — новый фактор российской действительности, и фактор долговременный. Как бы ни развивалась военная кампания, сколько бы ни заключалось мирных договоров с вождями чеченских отрядов, как бы нас ни убеждали, что с «бандформированиями» покончено, все это в значительной степени иллюзорно. Выход из чеченского тупика скоро не может быть найден. Здесь потребуются напряженные усилия тысяч людей: политиков, экономистов, этнопсихологов, социологов, журналистов, военных. Эта работа только начинается, и каждый, кто говорит или пишет о Чечне, пока находится под влиянием собственных эмоций, политических симпатий, индивидуального понимания права и государственных интересов, личного отношения к нормам морали и гуманности. За всем этим стоит, как правило, одно — незнание: что такое Чечня? кто такие чеченцы? на что Россия имеет право? и вообще: как с правом наций на самоопределение? И еще множество вопросов... Но каждая — самая путаная — статья, каждый — самый пристрастный — разговор — кирпичики, из которых начинает складываться фундамент решения чеченской проблемы. Настоящие заметки — один из таких кирпичиков.

### Кавказ — убежище народов

На Северном Кавказе живут более сорока народов. Их языки абсолютно различны: чеченцы, ингуши, аварцы, даргинцы, лезгины, лакцы, кабардинцы, черкесы, адыги говорят на языках кавказской языковой семьи; осетины — на языке иранской группы, а кумыки, ногайцы, балкары и карачаевцы — на тюркских языках. Тем не менее всем кавказцам присущи весьма специфические психологические и поведенческие особенности. Поэтому кавказцы за пределами своего региона воспринимаются как нечто единое. Отсюда пресловутая формулировка: «лица кавказской национальности». Разумеется, такой национальности нет, не было и быть не может, но правда то, что всех кавказцев объединяет очень и очень многое.

Кавказ — это горы, где условия жизни всегда тяжелее, чем на равнине. Непогодородные земли, труднопроходимые дороги, холод и снежные заносы зимой, лавины и сели весной и осенью... Что же приводило туда десятки племен, начиная с глубокой древности? Ответ прост: поиски безопасного укрытия от сильных врагов. Кавказ — естественная система крепостей, созданная самой природой. В межгорных долинах можно было веками отстаивать свою независимость. К примеру, предки черкесов три тысячелетия назад занимали степи Юга России. В VIII веке до Р. Х. ираноязычные скифы загнали их в горы. Скифы и родственные им племена сарматов и аланов оказались в III — V веках жертвами нашествий готов, затем — гуннов. Удержалась лишь та часть, которая отошла в глубь Кавказа. Тюркские племена владычествовали в

---

Фейгин Марк Захарович (род. в 1971 году) — самый молодой депутат Государственной Думы. Избран от города Самары. Входит во фракцию «Выбор России». Участник демократического движения с 1989 года. В 1990 — 1992 годах издавал одну из наиболее популярных независимых газет Поволжья «Третья сила». В период боевых действий на Северном Кавказе находился с гуманитарной миссией в Чечне в январе — феврале 1995 года.



степях много веков, но в XVIII веке настал и их черед: ногайцы-степняки, десятки других тюркских родов укрылись в горах, не имея сил противостоять русским и их союзникам — калмыкам.

Поселившись в горах, общины разного происхождения постепенно приобрели определенное сходство между собой. Жизнь горцев во всем мире отличается большой изолированностью родов и общин, вольнолюбием и воинственностью. Рабство и крепостничество не способны привиться в горных общинах, где каждый мужчина — воин. Феодалы могли распространить свою власть лишь в отдельных районах, а удержать ее удавалось только при добровольной поддержке свободного и независимого населения.

Таким образом, невозможно было не только какое-либо государственное слияние Кавказа, но и сколько-нибудь прочное и долговечное объединение хотя бы одного из горных народов. Интересы семьи, рода, общины всегда преобладали над интересами нации, а тем более — всего Кавказа. Междоусобные конфликты, войны и набеги веками являлись нормальным образом жизни, потому что изолированность общин делала чужим даже жителя соседнего села.

При таком образе жизни любые посторонние, будь то культурные, технические или религиозные влияния, с большим трудом приживались в горах Кавказа. Местные языческие культы в регионе оказались несравненно более живучими, чем в равнинных районах. Христианство, появившееся на Кавказе еще в IV веке, так и не стало во всем регионе господствующей религией. Ислам начал свое продвижение в глубь Кавказских гор позже — с VIII — IX веков, но до первой половины XVIII столетия также не был доминирующим. Местные культы, причудливо перемешавшиеся с элементами христианства и ислама в самых разных пропорциях, — вот что преобладало на Кавказе в то время. Осетины больше склонялись к православию, среди черкесских племен в XVII веке мусульман было около половины, примерно такое же соотношение — в среде кабардинцев. В Чечне и Дагестане местные (генотеистические) культы принимали чаще мусульманские, реже — христианские формы.

У народов Кавказа много общего с жителями других горных регионов других стран: Швейцарии, Шотландии, Балкан, Курдистана, Ливана. Изолированные от внешнего мира, внутренне спаянные кланы и роды в этих странах в разные периоды истории вели многочисленные междоусобные войны. В конечном итоге все подобные регионы становились жертвами соседей, опиравшихся на равнинные народы. (Единственное исключение, пожалуй, — Швейцария.) Причины завоеваний горных народов равнинными всегда были одни и те же: горцы перед лицом врага почти никогда не могли объединиться и создать устойчивое государство.

### «Смирись, Кавказ: идет Ермолов!»

Кавказская война, длившаяся с 1817 по 1864 год, имела свою предысторию. Еще в начале XVIII века в этом регионе столкнулись интересы трех могучих держав — России, Турции и Персии (Ирана).

Неуклонное стремление России к продвижению в Закавказье при помощи единоверных грузин, осетин и армян привело к ответным действиям Стамбула и Тегерана: сразу после Персидской экспедиции Петра I персы вторглись в Дагестан и Чечню, а турецкие и крымско-татарские войска — в Западный Кавказ, в Адыгею и Кабарду. Определенное ослабление интереса российских властей к кавказским проблемам позволило турецким и персидским эмиссарам усилить свое влияние путем пропаганды ислама, подкрепленной военным вмешательством и давлением на народы и отдельных феодалов. Сопrotивление горцев не позволило разломить Кавказ между двумя исламскими державами, но роль ислама с этого времени резко возрастает, а роль христианства падает.

После подписания Георгиевского трактата о присоединении Восточной Грузии к России (1783 год) российская политика на Кавказе активизируется. К этому времени русская армия и терское казачество уже усвоили опыт первой войны с горскими партизанами, начиная с 1783 года несколько тысяч чеченцев и представителей дагестанских народов сражались с русскими.

Впервые ислам сделался знаменем тех горцев, которые противились русскому влиянию. Причиной движения стало постепенное занятие предгорий

казаками и армией, что неизбежно приводило к изъятию у горцев земли. Кроме того, привычные для местных жителей набеги стали жестко пресекаться российскими военными отрядами, в чем некоторые из коренных обитателей усмотрели покушение на свой образ жизни. Движение, развернувшееся под руководством чеченца — шейха Мансура, — не стало массовым. Против повстанцев, силы которых были невелики, действовали не только русские регулярные части и казаки, но и так называемое «земское войско» из горцев-добровольцев (осетины, кабардинцы, ингуши), принявших российское подданство, отряды феодалов, опасавшихся усиления влияния шейхов и исламских братств. Восстание шейха Мансура привело к размежеванию вайнахов на чеченцев и ингушей. Те общества, которые выступали за войну с Россией, проводили съезды в селе Чечен-Аул; те, кто занимал нейтральную или союзную России позиции (крупнейшее вайнахское племя галгай), стали называться ингушами. Причем понятие «чеченцы» объединило роды (тейпы) отнюдь не кровнородственные: новое этническое объединение включало кроме вайнахских кумыкские, черкесские, грузинские и даже русские и еврейские роды, испокон веку жившие рядом с вайнахами, породнившиеся с ними и перешедшие на их язык. И сейчас чеченцы не представляют сколько-нибудь определенного этнического типа, который отличал бы их от терских казаков или осетин. Это следует помнить тем, кто любит порассуждать о «врожденном бандитизме» и прочих якобы генетически присущих чеченцам чертах. Чеченский народ столь же гетерогенен, как русские, американцы или французы. Народ этот, как и другие, создан вмещающим его ландшафтом — Кавказом. История и география как раз и породили отличия чеченцев от славян или тюрков, иначе и быть не могло. С 1801 по 1830 год Россия присоединяла одно за другим государства и княжества Закавказья. Горцы Кавказа отделяли собственно Россию от ее закавказских владений.

Большая война за подчинение всего Кавказа стала неизбежной, когда в Петербурге было решено присоединить этот регион. Останавливаться на перипетиях Кавказской войны смысла нет — об этом написано немало. Но, быть может, стоит — в свете последних событий — еще раз взвесить ее итоги.

Кавказская война, при всей ее трагичности, взаимной жестокости, — нормальное проявление политики XIX века, когда создавались империи, шла неудержимая экспансия европейских и ряда азиатских государств. Амбиции русских генералов, произвол чиновников, наполеоновские планы и жестокость Ермолова сделали войну более кровавой, чем она могла быть при более мягком, рациональном подходе. Ведь опыт мягкого присоединения народов и племен у России к XIX веку был накоплен немалый: это Сибирь, народы русского Севера, калмыки, кабардинцы, осетины и другие. Но начиная с Петра I, с момента образования военно-бюрократической империи, прежнее мягкое расширение России сменяется силовым методом. И никто не вправе заставить горцев забыть героизм предков и жестокость вторгшихся российских войск, ужасы выселения сотен тысяч людей в Турцию и т. д. Правда, не следует подходить к политике прошлого века с современными мерками. Вспомним: Франция в Алжире, Индокитае и на Мадагаскаре, Англия в Индии, Судане и Трансваале, США в Мексике действовали столь же жестоко, а порой и еще грубее; Россия вовсе не была исключением.

Стремление горцев отстоять свободу можно и должно уважать, но не будем забывать: они крепко держались за свои обычаи и традиции, которые также вряд ли соответствуют современным нормам морали и права (например, грабеж и набеги).

Шамиль — последний и самый известный глава чеченского и дагестанского сопротивления — потерпел поражение не только потому, что был «исторически обречен». Он даже в большей мере, чем российская власть, навязывал горцам иную шкалу ценностей, ломал традиционный уклад. Его целью являлось крепкое теократическое государство, и он истреблял всех, кто защищал прежние исторические традиции. В результате многие чеченские тейпы не поддержали восстания, некоторые восставали против него, переходили на сторону русских (вспомним «Хаджи-Мурата» Толстого). Российские власти же пошли в дальнейшем по пути значительного смягчения политики в отношении горцев. После покорения Чечни в 1859 году им предоставили широкую внутреннюю автономию. А. Авторханов, сравнивая автономию чеченского на-

рода после Кавказской войны с положением Чечено-Ингушетии в составе СССР, писал: «Если бы сегодняшняя Чечено-Ингушетия имела такую конституцию (речь идет о законах, установленных для Чечни в 1859 году. — М. Ф.), я ее считал бы сверхсчастливой страной».

В Кавказской войне 1816 — 1864 годов было два победителя: Россия, исполнившая свою государственную задачу, и — как ни парадоксально это звучит — горцы, в особенности чеченцы, сохранившие свой уклад и образ жизни. Проиграло движение мюридов, которое сегодня отнесли бы к исламскому фундаментализму.

Приходится признать, что Кавказская война XIX века во многом напоминает операцию против Чечни в 1994 — 1995 годах. Это — недалековидное игнорирование специфических черт, присущих кавказцам, в частности — чеченскому народу. Так, вплоть до назначения главнокомандующим российскими войсками князя Барятинского считалось, что боевой дух горцев можно сломить лишь террором и зверствами. И такая политика продолжалась целых тридцать девять лет! Столько лет понадобилось чиновникам и генералам, чтобы понять: террор лишь сплачивает горцев, раздувает антироссийские настроения.

Еще один важный момент: завоеывая Кавказ, российские власти не пытались общаться с горцами как с российскими подданными. Земля у кавказцев отбиралась, аулы сжигались, население подвергалось бессмысленному истреблению и изгнанию. Доходило до того, что военачальники продавали пленных женщин и детей в рабство ногайцам. Генералы использовали свое служебное положение для наживы и получения более высоких чинов. Поэтому было немало случаев, когда российские войска без серьезной подготовки посылались в самоубийственные атаки: чего стоит одна Даргинская экспедиция, в которой наша армия потеряла убитыми более 3600 человек. Интересны и такие параллели: война началась в условиях полного отсутствия у России горнострелковых войск, и до самого ее конца подобные специальные части так и не были созданы. Воевали больше числом, нежели умением: против 70 — 80 тысяч горцев после 1856 года сосредоточено было более 300 тысяч солдат и казаков. Как это все напоминает современность! Похоже, уроки отечественной истории худо усваиваются российскими политиками и военными...

### В составе империи

После окончания Кавказской войны горские общества вернулись к традиционному жизненному укладу. Попытки непримиримых противников России вновь поднять знамя газавата длились до 1878 года, но не имели успеха как из-за противодействия российской армии и жандармерии, так и из-за нежелания подавляющего большинства горцев участвовать в них.

На этом последнем этапе завоевания Кавказа главной силой вновь выступают исламские общества (тарикаты) Накшбендий и Кадырийя, причем первое — наиболее непримиримое, стоявшее за всеми восстаниями и вспышками, второе же пыталось занять нейтральную позицию по отношению к российской власти. Шейхи, призывавшие к газавату, опирались на турецкое правительство, засылавшее эмиссаров на Кавказ. После 1878 года наступает относительное спокойствие. Лишь абреки — полуразбойники-полупартизаны — не прекращали борьбу теперь почти уже в одиночку. Их действия были направлены не только и не столько против российских властей, сколько против личных врагов в самой горской среде.

Великие реформы 60 — 70-х годов прошлого века, еще более мощные перемены 1905 — 1911 годов, изменившие Россию, на жизни горцев отразились мало. Традиционный уклад, законсервированный по обоюдному желанию российской власти и большинства горцев, практически не изменился. В то время как соседние картвельские племена (карталины, кахетины, пшавы, тушины, хевсуры, мегрелы, гурийцы, имеретинцы), объединенные близкими диалектами и православной верой, консолидировались в грузинскую нацию, а тюркские этносы шиитского исповедания превращались в азербайджанцев, на Северном Кавказе ничего подобного не происходило. Тамошние этносы остались разобщенными как между собой, так и изнутри. Экономическое развитие шло крайне медленно, так как местная буржуазия не сложилась, а предприниматели из других областей страны не спешили вкладывать деньги в отсталый, веч-

но беспокойный регион. Грозненские нефтепромыслы стали крупнейшим, но единственным для той поры современным хозяйственным анклавом на всем Кавказе. Тем не менее антироссийские настроения постепенно гасли. Ни во время революционного кризиса 1905 — 1907 годов, ни в период первой мировой войны серьезных антигосударственных выступлений там не наблюдалось.

Октябрьский переворот и гражданская война вовлекли в начавшуюся бойню и горцев. Часть их выступила на стороне белых, некоторые (ингуши) приняли сторону красных, но исключительно из-за соперничества со своими старинными недругами осетинами, поддерживавшими белых. Большинство же горских племен в русской смуте были индифферентны.

...Вся политика большевиков на Кавказе в течение семидесяти лет — с 1921 по 1991 год — была направлена на интеграцию горцев в «новую историческую общность — советский народ». Но осуществлялась она — как и все, что делала советская власть, — из рук вон плохо и с обратным результатом. Кавказские автономии постоянно меняли границы и статус, разные народы то объединялись, то разделялись. Так возникли объединения разных этносов — Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария. В состав этих автономий, как и в состав Чечено-Ингушетии, вошли казачьи станицы, усилив путаницу и осложнив межнациональные отношения. Конечно, никакого слияния в единый «советский народ» так и не произошло, наоборот, старые конфликты (вроде осетино-ингушского) только обострились, возникли и новые — между кабардинцами и балкарцами, карачаевцами и черкесами. Некоторые народности вообще не получили никакой автономии, как абазинцы, другие были расчленены границами, как ногайцы или черкесы, третьи потеряли часть исконной территории, как ингуши. При этом советская власть не была заинтересована в органичном экономическом развитии края. Вероятно, сыграли роль постоянная нестабильность обстановки в регионе, недоверие власти к горцам. Мощные промышленные комплексы создавались в России, на Украине и в Белоруссии, в то время как на Кавказе существовала лишь анклавная экономика: добыча нефти (Чечено-Ингушетия, Дагестан), вольфрама (Кабардино-Балкария). В таких условиях неизбежно сохранялся традиционный жизненный уклад горцев, который приспособлялся «под себя» советскую политическую фразеологию. Клань и роды, ставшие опорой советской власти, двигали своих людей на партийные и государственные посты. Но правили их представители точно так же, как феодальные властители прошлого, столь ненавистные узденям — самому многочисленному свободному сословию горцев.

Коллективизация и сопровождающий ее террор привели к веренице восстаний горцев.

Наиболее упорный характер эти выступления приняли в Чечне. С 1930 по 1936 год в горной Чечне (Ичкерия) происходили ожесточенные бои партизан с частями НКВД и Красной Армией. Увеличивавшееся число изгоев, людей вне закона, привело к тому, что среди партизан все больше влияния приобретали исламские тарикаты, так как оторвавшиеся от тейпов беглецы теряли связь с родичами. Восстание закончилось не уничтожением бойцов чеченского сопротивления, а компромиссом: повстанцы были амнистированы, что повысило их престиж среди чеченского народа, а авторитет советской власти оказался сильно подорванным. С той поры она только ждала случая уничтожить непокорных и соблюдать соглашение, конечно, не собиравшись. Поэтому боевые операции возобновились уже в 1937 году. И снова действия НКВД оказались неудачными; позже, в 1940 году, на сторону повстанцев перешло значительное количество работников милиции, прокуратуры, ряд партийных и советских чиновников-чеченцев. Это придало движению небывалый со времен Кавказской войны размах и организованность.

Занять Ичкерия и подавить восстание советской власти до подхода немецких войск не удалось. В 1942 году, когда немецкая армия подошла на расстояние 50 — 60 километров к Грозному, бои в Ичкерии приняли особо ожесточенный характер. По данным НКВД, в мае 1942 года против Красной Армии сражалось не менее 18 тысяч чеченских бойцов. Назвать это «предательством», как поступила сталинская клика, совершенно неправильно: восстание не прекращалось уже двенадцать лет и чеченцы просто пытались воспользоваться тяжелым положением своего противника.

Итог известен: в 1944 году чеченцев, ингушей, карачаевцев, балкарцев, калмыков и ногайцев выселили в Казахстан, Киргизию и Сибирь. Это одно из преступлений сталинизма: сначала грубой и жестокой политикой горцев спровоцировали на восстание, а затем их же обвинили в измене и депортировали.

Треть депортированных погибла из-за нечеловеческих условий жизни на «новой родине». Впрочем, выселить удалось не всех: до осени 1947 года в горах Ичкерии чеченские партизаны вели бои с регулярной армией и чекистами. Депортация сплотила выселенные народы, и чеченцев в том числе. Выжить в спецпоселениях можно было, только сплотясь вокруг традиционных лидеров — тейповых старейшин и шейхов. Когда Хрущев «исправил несправедливость» и разрешил репрессированным народам вернуться, традиционные структуры чеченцев полностью восстановились.

Вернувшись в 1957 — 1958 годах, чеченцы стали возрождать свой образ жизни, не останавливаясь перед насилием над теми, кто пытался им помешать. Сотни русских и осетинских переселенцев, милиционеров, журналистов, представителей власти погибли в стычках, от ночных выстрелов в окна.

«Миротворец» Хрущев в ответ произвел минидепортацию: горная Чечня в 1959 году была очищена от чеченцев, которых выселили на равнину. С тех пор русский Грозный стал наполовину чеченским. Впрочем, в 60-е годы чеченцы постепенно возвращались и в Ичкерию.

В 60 — 80-е годы горские народы испытали демографический взрыв. Население росло со скоростью до трех процентов в год, а число рабочих мест практически не увеличивалось. Безработица, тем более страшная, что она не признавалась властями («У нас безработных нет, есть тунеядцы»), стала настоящим бичом Кавказа. В результате — массовое отходничество, торговля и — преступность. Стоит ли удивляться, что среди горцев (в том числе и среди чеченцев) начиная с 70-х годов возросло число правонарушителей? Наивно было бы ждать, что чеченцы тихо смиряются с таким положением, не попытавшись найти возможности выжить. Кавказская торговля по всему бывшему СССР, кавказские этнические мафии — порождение политики советской власти, не оставившей горцам иного выбора.

80-е годы — последнее десятилетие существования СССР — охарактеризовались усилением этнических элит во всех союзных и автономных республиках. Не обошел этот процесс, естественно, и Чечню. Тем более что начиная с 1980 года начали возвращаться домой ветераны афганской войны. Эти парни, умеющие воевать, озлобленные на государство, бросившее их в огонь, вкусившие горечь межнациональных конфликтов в Советской Армии, были готовы к мести за свои страдания и послевоенную неустроенность. Эти эмоции накладывались на смутное, но не исчезнувшее национальное чувство, на память о героических подвигах предков, о депортациях и унижениях.

### Чеченский взрыв

Поднять чеченцев против советской власти было не столь уж трудно. Ослабление СССР, массовые националистические движения по всей стране не могли и в Чечне не вызвать горячего отклика. Национальные организации, возникшие в 1989 — 1991 годах, постепенно приобретали все большую силу.

Генерал авиации Джохар Дудаев появился в Чечне летом 1991 года — без помощи руководства РСФСР, решившего использовать горские движения против союзных властей. Генерал, сильная личность, герой — это был именно тот человек, который мог канализировать недовольство и стремление к свободе среди чеченцев в любое нужное ему русло. Вплоть до ввода российских войск в Чечню многие чеченцы «по секрету» говорили, что Дудаев — ставленник центра, привлеченный исключительно в целях антирекламы чеченской и любой другой независимости. Найден он был «новой» Москвой для организации угодной ей самой власти, но чеченский характер, настроение ряда руководителей тейпов, влияние тарикатов, особенно Накшбендийя, во внимание при этом не принимались. В результате Дудаев решил не следовать путаному и непоследовательному курсу послеавгустовской Москвы, а разыграть свою карту. Рассорившись со своими вчерашними демократическими друзьями, генерал в октябре 1991 года провозгласил Чечню независимым государством.

## «Свободная криминальная зона»

О сущности дудаевского режима написано много. Формулировка бывшего министра по делам национальностей С. Шахрая о «свободной криминальной зоне» представляется вполне удачной. Избрание Дудаева «президентом» и провозглашение независимости Чечни были совершенно антиправовыми действиями; все разговоры о «свободных, демократических выборах» в условиях террора дудаевских боевиков, о «всенародной поддержке» Дудаева чеченским народом — это недобросовестная информация и прямая ложь. Выборы проводились по худшим африканским традициям — вразрез с элементарными нормами демократии, фактически безальтернативно, без международных и российских наблюдателей. Это явилось грубым, силовым навязыванием вооруженным меньшинством своей воли остальным гражданам. Долг и обязанность российского правительства в тот момент состояли в том, чтобы ликвидировать самопровозглашенную власть в Грозном. Это, однако, не было сделано — из-за политического безволия и ложной надежды на то, что все само собой образуется. Руководство страны, занятое «шоковой терапией», не хотело «отвлекаться» на решение сложного чеченского кризиса. Наши газеты неоднократно писали, что дудаевский режим создан и вскормлен московскими чиновниками. И это — вполне рациональное объяснение тому, что творилось в Чечне на протяжении трех лет. Чечня являлась зоной, созданной коррумпированными чиновниками и функционировавшей в их интересах. Нефтяные, газовые, оружейные, финансовые тузы успешно проворачивали там свои темные выгодные дела. От 8 до 13 миллиардов из приблизительно 25 миллиардов долларов, полученных от махинаций в Чечне, легли на личные счета крупнейших российских чиновников. Не только чеченская (ее очень мало), но сибирская, туркменская, астраханская, калмыцкая нефть — через Чечню — подавалась в Новороссийск на экспорт по российским нефтепроводам. «Чеченское» авио — крупнейшая афера, реализованная московскими финансовыми воротилами; чеченцы — лишь исполнители низового уровня.

Что уж говорить об оружейных аферах! Как в Западной группе войск, в Приморье, в Закавказье, точно так же и в Чечне оружие было не передано, а продано, и не столько Дудаеву (у него в 1992 году было еще мало денег), а через Чечню — куда придется: в Армению, Азербайджан, Грузию, Осетию, Абхазию. Очевидно, и в Ирак, и в Иран, воюющим югославским группировкам, курдским партизанам, афганским моджахедам, наркокартелям...

Дудаевский режим можно рассматривать как контрагента некоторых околоправительственных кругов. Разумеется, Дудаев получал свой (и немалый) процент от этих сделок. В какой-то момент он уверовал в свою мощь, в свое превосходство над московскими властями, зависимыми от мафиозных клик. Самоуверенная переоценка собственных сил и погубила «свободную криминальную зону». К сожалению, вместе с тысячами ни в чем не повинных чеченцев и русских.

...Захватив власть, Дудаев оказался в сложном положении. С Москвой он всегда мог договориться; опасность исходила для него от его же соплеменников. Тейповая структура общества препятствовала созданию унитарного военно-полицейского режима, к чему он стремился. Необходимо было либо идти на уступки всем тейпам, что привело бы к рыхлой конфедерации, либо разгромить, разрушить тейпы, атомизировать общество, железной рукой подчинив его своей воле. Дудаев, естественно, избрал второй путь. Парламент и городское собрание Грозного, оплот тейповой «демократии», были разогнаны и расстреляны. Государственной идеологией Дудаев объявил чеченский национализм и исламский интегрзм, духовными отцами этого режима — Шамиля и шейха Мансура. Хотя решимости проливать кровь Дудаеву не занимать, ему не хватило государственного мышления, чтобы успешно нейтрализовать противников, сплотить чеченский народ вокруг себя. Как и в период имамата Шамиля, недовольные тейпы восстали, получив поддержку Москвы, и к лету 1994 года в руках Дудаева остался лишь Грозный и кое-какие села в Ичкерии, где живут люди его тейпа. Нового Шамиля из экс-советского генерала не получилось.

### Упущенные возможности

Разумеется, далеко не весь российский истеблишмент был вовлечен в нечистоплотный «чеченский» бизнес, хотя таких деятелей было немало. Как могли и как должны были повести себя московские власти перед лицом чеченского кризиса?

Во-первых, следовало дать квалифицированную правовую оценку событий. Три года СМИ называли Дудаева «президентом Чечни», признавая де-факто независимость республики, не признанной нигде в мире. А потом вдруг окрестили «бандитом», что также имеет мало общего с действительностью. Действия Дудаева и его сторонников необходимо было квалифицировать как вооруженный мятеж, направленный на насильственное отторжение части российской территории. И сегодня, когда говорят и пишут о «бандформированиях» (другая версия, столь же пропагандная и бессмысленная, — «восставший чеченский народ»), — это малоубедительно для россиян и неверно с точки зрения права.

Во-вторых, нужно было немедленно начать проработку различных вариантов ликвидации дудаевского режима. Власть же была настолько увлечена политическими междоусобицами и набиванием карманов, что этого не сделали.

В-третьих, требовалось выработать трезвую официальную версию происходящего, основывающуюся на правовой оценке и предполагаемых действиях власти. Действия же могли быть самыми разными. Вот несколько вариантов.

Вариант первый. Армия и внутренние войска немедленно вводятся в Чечню. Эта акция, будучи осуществленной по горячим следам событий, вызвала бы меньшее негодование общества и привела бы к гораздо меньшему кровопролитию. Особенно в случае грамотного и добросовестного освещения событий хотя бы официальными СМИ.

Вариант второй. Москва, в принципе, признает право Чечни на независимость. В этом случае, в соответствии с нормами международного права, Чечне предлагается «цивилизованный развод». Это значит: следовало объявить переходный период на несколько лет, провести референдум и выборы при участии международных и российских наблюдателей, дать сформироваться политическим силам. При таком варианте границы Чечни надлежало определять не на основании границ Чечено-Ингушской АССР, а на основе границ между чеченскими землями и Российской империей либо 1774 — 1796, либо 1816 года, то есть официальных границ времен чеченской независимости.

Кроме того, предстояло бы решить вопросы гражданства, принять декларации прав граждан России в Чечне и Чечни — в России, урегулировать вопросы собственности в Чечне и многое другое. Любое нарушение чеченской стороной этих договоренностей или нежелание вести переговоры на подобную тему сделали бы Дудаева преступником в глазах россиян, чеченского народа и мирового сообщества. Последовательное осуществление всех этих требований в конечном итоге неизбежно вновь вернуло бы Чечню в состав России либо превратило бы горную ее часть — Ичкерия — в некое подобие Лесото или Свазиленда.

Вариант третий. Не имея возможности признать режим мятежников и одновременно не желая пролития крови невинных людей, федеральные войска и МВД блокируют территорию Чечни по принципу «всех выпускать, никого не выпускать». При этом перекрываются дороги, перерезаются нефте- и газопроводы, банковские коммуникации. Так как территория Чечни крайне невелика, а граница ее с единственным сопредельным государством — Грузией — практически непроходима в любое время года, подобная блокада не только возможна, но и была бы менее дорогостоящей, чем все лихорадочные действия российских властей вроде финансирования отрядов оппозиции.

Думается, что именно такая политика в отношении Чечни оказалась бы наиболее результативной и гуманной. Москва же выбрала самый бездарный вариант: без всякого соответствующего информационного прикрытия летом 1994 года началась поддержка оппозиционных Дудаеву отрядов. Как и все, что делается малокомпетентными дилетантами, и к тому же наспех, события стали развиваться по незапланированному сценарию.

### Прецеденты

Версальская мирная конференция, завершившая первую мировую войну, официально признала «право наций на самоопределение». Это было сделано исключительно для придания законности намечавшемуся разделу Германии, Австро-Венгрии, России и Турции. При этом, как это ни абсурдно, в полном противоречии с декларируемым правом наций международное право сохранило понятие территориальной целостности государства с правом его вооруженной защиты и нерушимости границ. И как раз всегда во всем мире именно право защиты территориальной целостности было на первом месте, за исключением тех случаев, когда колониальная держава решала бросить ставшую бесполезной колонию как старую ненужную больше вещь.

Колониальные державы отпускали свои владения на свободу только в двух случаях: при гражданских войнах и революциях в метрополиях, что случалось в истории редко (распад Испанской колониальной империи в XIX веке и Португальской в 1974 году), либо (что было гораздо чаще) добровольно отказывались от колоний по причине их экономической нерентабельности. Поэтому Великобритания и Франция избавились от колоний в 50 — 60-е годы, когда сложившееся в Европе общество нуждалось в потребителях, а не в бесплатной рабочей силе и дешевом сырье. Отпустив колонии «на волю», метрополии вынудили их покупать все необходимое по своим ценам, не тратясь на административный аппарат, на всякого рода социальные и образовательные программы для туземцев. Конечно, все это выдавалось за «волю народов» и «восстановление справедливости», обеспечивалось мощной леволиберальной идеологией.

Одновременно «цивилизованный мир» и сейчас беспощаден к сепаратистам. Ольстер, Корсика, Страна Басков, Новая Каледония, Пуэрто-Рико, Квебек, Южный Тироль, Бретань — везде и повсюду попытки насильственного отделения вызывают военной полицией ответ.

Как видим, все эти проблемы имеют мало общего с положением в нынешней Российской Федерации. Кроме того, нельзя забывать самого главного: жители колоний нигде и никогда не были гражданами метрополий, в то время как у всех россиян, невзирая на их национальность, паспорта советских граждан и равные права и обязанности. То есть Чечня не была и не есть колония и никто не планирует сделать ее таковой.

Можно вспомнить, что борьба курдских и тибетских партизан вызвала горячее сочувствие мировой общественности, но ни одно правительство не решилось признать право угнетенных и истребляемых народов на самоопределение. Даже в Иракском Курдистане — при всей ненависти западных демократий к Саддаму Хусейну.

На события в Чечне Запад сначала вовсе не реагировал. Но и сегодня речь идет не о признании какой-либо страной или группой стран независимости Чечни, а только о излишнем кровопролитии, когда страдает ни в чем не повинное мирное население. В этом смысле западные политики ведут себя совершенно в рамках законов и мировой практики, стараясь избежать «двойных стандартов», столь заметных, например, в их политике на Балканах.

### Война: причины и поводы

В конце концов, для Москвы летом — осенью 1994 года не оставалось другого пути, кроме свержения дудаевского режима. При этом разные группировки, оспаривавшие в столице власть и влияние, руководствовались совершенно различными причинами.

Президент и его ближайшее окружение преследовали несколько целей. Во-первых, продемонстрировать твердость в стремлении восстановить власть и порядок на всей территории России. Во-вторых, показать непослушным главам администраций (Татарстан, Башкирия, Приморье, Кубань, Якутия), что шутить с ними Москва не намерена. Из этих двух причин вытекает третья: скоро выборы, авторитет же всех властных структур снизу и до президента включительно катастрофически падает из-за все ухудшающихся социальных условий жизни. «Маленькая победоносная война» — старый, испытанный способ поднять пошатнувшийся престиж власти.



Коррупцированные чиновные группы не оказали активного сопротивления планам высшего руководства страны. Это напрямую связано с тем, что олигархический режим «номенклатурной демократии» и «номенклатурного капитализма» к лету — осени прошлого года вполне укрепился. Приватизация была близка к завершению, а это значит, что собственность в России перестала быть традиционно ничьей и почти вся поделена получиновными-полумафиозными группами. Мощные, сверхбогатые кланы достаточно окрепли, чтобы не нуждаться в особой «криминальной зоне», когда без всякой опасности можно проворачивать самые сомнительные операции совершенно свободно повсюду в России. Наконец, чиновники-собственники перестали бояться демократии в ее нынешнем варианте. Они поняли, что фактически сложившийся в стране режим безопасен и даже выгоден им. Оппозиционность дельцов отечественной экономики, криминальной как минимум на 30 процентов, по отношению к президенту и его политике сильно уменьшилась. Падение существующего в России режима ныне совершенно невыгодно наиболее влиятельным политическим и экономическим структурам. Поэтому решение о военной операции против Дудаева вызвало резкое недовольство общественности и оппозиционных политиков, использующих любой шанс в своих спекулятивно-пропагандистских целях, но отнюдь не «сильных мира сего».

В то же время Дудаев не сумел трезво оценить обстановку, сложившуюся в высших эшелонах власти России. За три года он в конце концов привык к тому, что нужен очень многим влиятельным людям, что в Москве царит такая коррупция, что он всегда сможет нажать на нужный рычаг — и его оставят в покое. Дудаев переоценил степень развала госаппарата и вооруженных сил России.

Он переоценил также собственную популярность среди чеченского народа и кавказцев вообще, исламскую международную солидарность и, наконец, боеспособность созданных им воинских формирований и свой талант полководца. Неверный анализ различных аспектов политики, свойственная диктаторам мания величия, невозможность отказаться от власти (иначе — суд и гибель, а скорее — насильственная смерть без суда) — вот что подвигло Дудаева на изначально безнадежное сопротивление российским войскам.

### Поход в Чечню

Военный аспект чеченской операции — особая тема; сейчас можно сделать лишь наиболее общие выводы.

Первое. Российская армия нуждается в коренном реформировании сверху донизу. При этом оставим рассуждения о «быстром переходе к профессиональной армии» на совести политически безграмотных демагогов. Разумеется, дело не в том, что такая армия слишком дорога. Напротив, она не дороже нынешней, с раздутыми штатами и безудержным воровством. Дело в другом: в современном мире только демократии англосаксонского типа, самые устойчивые и стабильные в политическом смысле, могут позволить себе иметь профессиональную армию, не рискуя пасть жертвой военного переворота. Но ни Франция, ни Германия, ни Скандинавские страны не чувствуют такой политической стабильности, чтобы подвергать ее подобному риску. Что уж говорить об охваченной тотальным кризисом и ослабленной донельзя России! В течение минимум ближайшего полувека профессиональная армия — верный путь превращения России в нечто среднее между Бирмой и Гватемалой. Другое дело, что внутри армии непременно нужно создать высокооплачиваемые профессиональные части, способные быстро реагировать на возникновение кризисных ситуаций вроде чеченской, — это должно напоминать Французский Иностраннный легион (при численности в 8,5 тыс. человек он способен оперативно решать серьезные военные задачи).

Все кризисные ситуации, не только существующие, но и вероятные, должны просчитываться военными и гражданскими специалистами. В случае с Чечней за три года не было сделано ничего, а ведь все понимали: миром это не кончится. Войска Дудаева три года отрабатывали сопротивление российским частям, а наши пассивно ждали неизвестно чего. До начала операции нужно было тщательно подготовить многовариантное действие, построить соответствующие учебные городки, учебные позиции и тренировать там части, наце-

ленные на ликвидацию дудаевского режима. То, что этого не сделали, — просчет не только политиков, но и генералов.

Второе. Многочисленные и грубые нарушения прав человека в ходе операции — непреложный факт, а это в принципе недопустимо в российском демократическом государстве. Несомненно, что преступления, бессудные расстрелы, мародерство, грабежи и насилия — страшная угроза самой российской демократии.

Однако спросим: а разве не угрожал российской демократии и самой государственности нашей мятежный анклав, где за три года погибли тысячи людей, а более 200 тысяч были изгнаны из своих домов? Почему никто из профессионалов — защитников прав человека не возвысил тогда свой голос? А разве мы не знали о нарушениях прав россиян по всей стране? О положении в тюрьмах, часто не лучших, чем при Сталине? О сращивании банд с чиновничьим аппаратом? Знали.

Что же теперь удивляться, что внутренние войска и ОМОН, привыкшие к беззаконию, действуют в Чечне теми же методами? Россия сегодня — внеправовое пространство. Ведя войну, подавляя мятеж, вооруженные силы, особенно части МВД, привычно бесчинствуют. Из этого следует, что насущно необходима правовая реформа.

### Позиции политических сил

К сожалению, политические лидеры России, за малым исключением, не проявили ни гражданской зрелости, ни дальновидности, ни достаточного патриотизма в создавшейся ситуации. Демократы, справедливо критикуя нарушения прав человека в Чечне, нередко исходят из ложных предпосылок. Некоторые лидеры договорились до того, что каждый народ имеет право выйти из состава России. Это — безумие. Как будто выход, например, Татарстана или Якутии будет свободным и органичным выходом татарского или якутского народов! Нет, это будет суверенизация этнической номенклатуры, которая приведет к созданию диктаторских режимов и резкому росту национальных конфликтов. Демократические круги, если они претендуют на политическое значение, обязаны понять: сила и свобода России может опираться только на гражданство, а не на эфемерные «права наций». Люди, попавшиеся на удочку популизма, должны понять, что спасение демократии не в том, чтобы признать Дудаева главой суверенного государства, а в том, чтобы резко усилить коллективные действия в целях установления в России правового строя. Если Россия распадется на псевдонациональные анклавы, мы получим целую плеяду реакционных режимов, причем с претензиями друг к другу, с огромными арсеналами, с ядерными бомбами, стратегической авиацией и ракетами. Это грозит уже не просто распадом России, но всеобщей войной на уничтожение.

Столь же неприемлема позиция так называемых «патриотов». Муссирование мнения о чеченцах как генетических преступниках, призывы к насилию над представителями одного из российских этносов должны решительно пресекаться правоохранительными органами и нейтрализоваться СМИ — тактично и эффективно.

### Гражданский мир или партизанская война?

Многие политики и военные полагают, что война в Чечне продлится еще много лет, приняв форму бесконечных партизанских боев в горах и терактов в городах. Чтобы судить о возможностях чеченских партизан, нужно иметь в виду, что территория горной Чечни (Ичкерия) — всего около 4 тыс. кв. километров, что недостаточно для сосредоточения там сколько-нибудь значительных боеспособных отрядов. Бесплодные горы, мелкие селения, почти непроходимые тропы — все это затруднит действия не федеральных войск, расположенных на равнине, а партизан, отрезанных в горах от всего мира. Позиция Грузии — единственного иностранного государства, граничащего с Чечней, — жестко антидудаевская и промосковская, так что создавать базы за границами России дудаевцы не смогут. Значит, доставать оружие, боеприпасы, продовольствие и медикаменты будет нелегко. В таких условиях через два-три месяца в горах Чечни смогут удержаться лишь мелкие группы, неспособные серьезно

дестабилизировать ситуацию в автономной республике. Вряд ли стоит ожидать массового участия людей в вооруженных акциях, так как из 800 тысяч чеченцев в боях против российских войск принимало участие не более 40 — 45 тысяч, то есть примерно 20 процентов мужчин боеспособного возраста. Постепенное восстановление нормальной жизни в Чечне резко уменьшит число непримиримых врагов России.

Но и то правда, что, если Москва продолжит пестовать своих сомнительных ставленников вроде Лабазанова, конфликт будет только «заморожен» — как в 1930 или 1944 году. В таком случае чеченцы будут поджидать новой дестабилизации России и при удобном случае вновь поднимут восстание...

### В ловушке

Чеченская война преподносит сюрпризы один неожиданнее другого. К началу июня 1995 года федеральные войска, занимая один за другим чеченские поселки, вплотную подошли к горам на крайнем юге республики. Несколько тысяч уцелевших ополченцев оказались загнанными в горы. Начальник штаба дудаевцев генерал А. Масхадов признался позже, что связь между дудаевскими отрядами была нарушена. Иссякали боеприпасы, продовольствие и медикаменты. Многие отряды вышли из-под контроля Дудаева и его штаба. Для федеральных войск это была фактически победа, хотя и пиррова, так как успехи на поле боя не сопровождались сколько-нибудь существенными успехами в прекращении взаимной ненависти, оздоровлении отношений с рядовыми чеченцами, в наведении порядка в армии, в МВД... Союзные России чеченские силы погрязли в раздорах, частично утратили симпатии населения даже в тех местах, где до войны имели крепкие позиции (Наурский, Надтеречный, Урус-Мартановский районы). Создать сколько-нибудь жизнеспособную администрацию, лояльную Москве, так и не удалось.

13 — 17 июня отряд из нескольких десятков человек во главе с известным полевым командиром Ш. Басаевым совершил налет на город Буденновск. Захват заложников, бессмысленные убийства мирных жителей потрясли мир. Как бы много ни было сказано об этой страшной истории, она остается запутанной и загадочной. Одни считают Басаева террористом-уголовником, другие — героем-миротворцем, третьи — эдаким обаятельным Робин Гудом конца XX века. На деле же операция Басаева — типичный военный терроризм, которому, разумеется, нет оправдания.

Басаевский рейд позволил московским лидерам резко усилить свою политическую активность. По инициативе премьер-министра России были начаты переговоры. Каковы же перспективы примирения московских властей с дудаевцами? На наш взгляд, они сомнительны. Промосковские группировки в Чечне не смогут мирно сосуществовать с Дудаевым, и Москва не в состоянии перечеркнуть семимесячную войну в Чечне. Ведь дудаевцы, окрыленные «миротворческим» походом на Буденновск, требуют возврата к положению, существовавшему до начала войны, то есть возвращения к власти. Назначенные на конец года выборы проблематичны: в обстановке продолжающейся параллельно с переговорами войны, политического раскола как чеченского, так и российского общества автомат и танк — вот избирательный бюллетень<sup>1</sup>. Не исключено, что часть московских политиков готова сдать Чечню Дудаеву, и тогда на выборах победит именно он. Но это — тоже не конец войны. Армия раздражена тем, что ее в последний момент лишают победы, нанося ей тем самым моральное и фактическое унижение. Отряды дудаевцев, если им так или иначе удастся восстановить контроль над Чечней, при таком развитии событий устроят кровавую баню «коллаборационистам» и русскому населению. Поэтому как русские, так и немалая часть чеченцев просто не смогут вновь признать власть Дудаева и возьмутся за оружие. Если же на «выборах» победит оппозиция типа Хаджиева — Гантемирова (что, впрочем, маловероятно), дудаевцы так же не смогут признать результатов и возобновят войну. Впрочем,

<sup>1</sup> Эти строки написаны в конце июля; читатель ознакомится с ними через полгода. Так что само время покажет, насколько справедливы эти пессимистические прогнозы. (Примеч. ред.)

возможность включения Хасбулатова в переговорный процесс несколько обнадеживает.

...У нынешней власти нет четкой кавказской политики. Власть представляет собой не единую мобильную систему, подчиненную решению проблем, стоящих перед страной (конечно, не только кавказских), но бесформенный конгломерат ведомств, министерств, силовых структур, отдельных «сильных людей», поедаемых политическим честолюбием, одержимых властными амбициями. Каждое ведомство ведет свою политику. И каждое ведомство мешает другому, запутывая и без того сложную ситуацию в стране. Это касается Чечни, но отнюдь не только ее.

Именно поэтому пробуксовывают реформы в России; а как их провести, если каждый чинуша думает исключительно о своем кармане, каждый политик рвется в президенты, каждый министр ведет свою игру, направленную против реальных и предполагаемых конкурентов? Войны, как известно из истории, имеют не одни только негативные последствия. Чеченская война могла резко двинуть реформы в России вперед — военную, аграрную и другие. Но чеченская война может и поставить точку на российских реформах, на демократии и свободе. Пока же Россия остается подвешенной между войной и миром, между реакцией и реформой, между демократией и угрозой новой диктатуры. Закончить войну и установить справедливый и прочный мир на Кавказе в таких условиях трудно.

### Наши задачи

Кавказская политика России сейчас — неоформленная, неграмотная, а потому и бесперспективная. Ясно, что она нуждается не в коррективах, а в коренной перестройке. Уже видны следующие направления:

в политическом плане следует восстановить равноправие всех народов Кавказа, ликвидировав деление на титульные и нетитульные; восстановить права казачества и ногайцев, до сих пор не имеющих своей территории. Целесообразно именно с Кавказа начать замену советских паспортов на удостоверения личности российских граждан. При этом не может быть и речи о сохранении графы «национальность», даже по желанию;

в административном плане — как советует Солженицын — надо пересмотреть сталинские границы. Искусственные автономии вроде Карачаево-Черкесии или Кабардино-Балкарии все равно нежизнеспособны и опасны как источники неизбежных конфликтов в будущем. Необходимо либо создать Кавказский край в составе всех Северо-Кавказских автономий с внутренним делением на районы (уезды), либо (что менее желательно) объединить автономии с Кубанским и Ставропольским краями. При этом языки и культура всех народов должны охраняться государством и не могут подвергаться никаким преследованиям. Казачество должно, получив земли, стать основой иррегулярных Казачьих войск с включением в их состав горцев-добровольцев. В горских районах стоит также создать на добровольных началах иррегулярные части наподобие «земской рати». И те и другие территориальные воинские формирования должны быть подчинены лично президенту России, и никому больше;

в экономическом плане нужно создать систему льготного налогообложения, привлекая инвестиции в те отрасли хозяйства, которые перспективны именно на Кавказе: гидроэлектроэнергетику на горных реках, энергоемкие и трудоемкие производства, нефтехимию в Чечне и Ингушетии и непременно — массовый туризм. Это ослабит влияние тейпов, кланов и мафиозных структур, заставит работать деньги горцев в продуктивной экономике, сделает регион нераздельным с российской экономикой, решит вековой вопрос — безработицу.

Без экономического возрождения Кавказ всегда будет кровотокающей раной России.

Январь — июль 1995 года.

Самара — Грозный — Москва.

# ВРЕМЕНА И ПРАВЫ

ВЛ. НИКИФОРОВ

\*

## ЗАПИСКИ ИЗ ПОДВАЛА

**П**енсия — это как законная жена: хилая, немощная, что с нее возьмешь. Нужна еще и подруга помоложе — подработка. Иначе — полная капитуляция перед реформаторским нахрапом.

Перечитываю массу объявлений о вакансиях. В голове сумятица. Рядовой человек, замордованный донельзя, клюет на любую, порой нелепую, приманку.

Чуть было не оформился расклейщиком объявлений, но, оказывается, и тут конкурс — нашлись более одаренные. Звоню полдня, время к обеду. Передо мной кусок хлеба, пора бы и пожевать. Но я всматриваюсь в него. Нет, это не просто кусок, это символ. Это зов к новой жизни. Эврика! Позвоню-ка на хлебозавод.

Работа есть! Я мигом туда. Прямо из проходной суровый с виду охранник ведет меня в цех. Вдоль стен — длинные столы, расхлябанные сиденья. Пристраиваюсь у отдельно стоящего стола. За шиворот сыплется снежок. Поднимаю голову — надо мной в высоченном потолке открытый люк. Я в шапке, терпеть можно. Народу много — молодые, старые, многие — инвалиды. Сидят бок о бок. Некоторые в марлевых повязках — берегут легкие от пыли. Делают коробки. В цеху гомон, перебранки, смех, скрежет ржавых ворот, громохание металлических емкостей на колесах. За моим плечом неожиданно возникает тощий высокий парень лет двадцати. Поправил очки и, дружелюбно улыбнувшись, спросил:

— Поработаем?

— Надо бы.

Он бросил передо мной небольшую стопку картонного кроя, лихо загнул края, выдернул один лист и в пять-шесть движений собрал симпатичную коробку.

— Пробуй!

Я начал, тужась и пыхтя, делать то же самое, но у меня получалось уродливое корыто.

— Пойдет! — оценил мой наставник. — Продолжай!

Только на втором десятке стало получаться что-то сносное. Тут ко мне подошел председатель кооператива. Мы с ним подписали договор о сотрудничестве, и я окончательно утвердился в мысли, что работа нашлась. Да какая! Думать о ней не нужно. Работают только руки и задница. Сидишь без отрыва долго, упорно. Не раз отложишь визит в туалет. Случается, словно кинжал в нижнюю часть живота, а ты сидишь. Только перед глазами мелькают кисти рук да отскакивают готовые коробки, чтобы потом выстроиться на столе в метровые столбики — по двадцать пар. Надо торопиться, а то вон приближаются приемщики, берут уже с соседних столов. Среди них и мой очкарик наставник. Прозеваешь приемку — некуда будет ставить свою продукцию. Простоишь — потеряешь в заработке. Ну и от других отстанешь. Хотя диапазон результативности здесь весьма широкий. Вон старательная бабуля своими узловатыми пальцами делает по четыреста — пятьсот коробок в день. А супружеская пара — им лет по тридцать — в иные дни производит до двух тысяч этого добра. Семеныч, мой сосед, трудится по настроению — то триста получится, то шестьсот. Но, конечно, когда в кармане у него нет бутылки. Он плохо видит, ходит с палкой. У него мощный бас. Когда-то был

мастером на обувной фабрике. Давал разгон. Его остерегаются наверху, на нашем четвертом этаже, где делают торты. Там одни женщины. Он туда поднимается почти ежедневно, чтобы взять несколько сладких заготовок величиной со словарь Ожегова. Вообще такое не разрешается. Но с ним не спорят, а то разойдется — не остановишь. Начальству сообщать не рискуют. Тем более что некоторые — сами не без греха. Спустившись к нам и разрезав свою добычу на более мелкие куски, Семеныч начинает оделять ими по вполне продуманному плану: одному за то, что принес ему лишнюю пачку кроя, другому за помощь в завершении дневной нормы. Сам же, отхлебнув из бутылки, закусывает увесистым ломтем сладкого.

— Новенький, торта хочешь?

— Да как сказать...

Он недовольно машет рукой, ему не нравится моя неопределенность. Спустя несколько минут подходит ко мне, кладет целую плаху:

— Ешь!

— Да куда мне столько.

— Откармливайся, вон какой бледный.

К завершению смены его все больше развозит. Выходим вдвоем. Стражи пропускают нас без осмотра. Отойдя от проходной, Семеныч трезвеет, останавливается и из нескольких самодельных карманов внутри плаща начинает вытряхивать сахарный песок, сопровождая свои действия признанием:

— Я тут стараюсь ничего не брать, платят сносно. Ну а попить чайку — так это святое.

Угощать он, кажется, любит и умеет. Живет один, домой не торопится. Взяв в ларьке бутылку водки, устраивается где-нибудь в сквере. И именно к нему почему-то подсаживаются молодые проститутки — одна-две. Мужчина он все еще видный. Выпивают на воздухе и идут к нему. И все довольны.

Ранним утром на завод Семеныч идет чуть сгорбившись. Спозаранку он подавлен, оживет во второй половине дня. Я узнаю его на почтительном расстоянии и прикидываю, какую бы легкую гадость крикнуть ему, чтобы хоть как-то тонизировать его смятенный дух.

— Ну кто так вяло тащится на работу?!

— А что, я нормально...

— Так плетутся на принудиловку... Ты, раскрепощенный человек, должен шагать в маршевом ритме, уверенно, твердо ступая. И обязательно с гордо поднятой головой. Палка? Ну что ж, пусть будет и она. Но только на нее не следует опираться, поигрывай ей, как стеклом.

— Пошел к дьяволу, дай лучше на бутылку, — примирительно просит он, не рассчитывая на положительный ответ.

Крепкий мужик. Пить столько — надо иметь здоровье. Даже от трети его дневной дозы я сразу погибну. А ведь он старше меня. Очень любит Сталина, верит, что генералиссимус вернется. А все эти новации — дикий бред в тяжелом хмельном разгуле. Когда Валек, мой наставник-очкарик, подошел к нам и доверительно негромко сказал: «А на Окружной танки» (это был август 91-го), — Семеныч проявил неподдельный интерес. И последующие передачи летучей московской радиостанции (ребята приносили приемник) о действиях ГКЧП и его оппонентов воспринимались стариком удивительно живо, эмоционально. Социалистические начала при всех весьма существенных оговорках были ему все-таки ближе. Он больше верил в принципы выборного, коллективного руководства. Появление персонифицированного хозяина его пугает. Вдруг это будет хапуга, самодур или деспот. И никакой на него управы.

По душе пришлась Семенычу позиция Алевтины Викторовны, старательной коробочницы. Делясь впечатлениями о телепередаче, посвященной ГКЧП, эта дама со знойной страстью громко признавалась:

— Господи, какие это симпатичные люди, ну те, что в президиуме. Не важно, что у главного дрожали руки. Еще бы! Такой исторический момент. Я сидела у экрана и говорила: «Дорогой, не дрожи. Мы с тобой, мы рядом. Смелее, мы тебя поддержим!»

— Под суд их — и порядок, — громыхнул массивный инвалид детства.

— Сейчас не сразу поймешь, кого под суд, — неопределенно возразил Семеныч.

Руки делают коробки, а голова совершенно свободна для всяких мыслей. С той поры, как меня вытурили на «заслуженный отдых», прошла целая вечность. За это время бывшие сослуживцы — дай Бог им здоровья, — не говоря уже о начальстве, ни разу не проявили ко мне ни малейшего интереса, хотя считался усердным трудягой, человеком вполне своим. Поначалу два-три раза напомнил о себе, позвонил, да все некстати — у них запарка. Подумалось: может, потому и живем как-то вывихнуто, что наше хроническое состояние — запарка. Математики-кибернетики, экономисты-террористы, то и дело мелькающие на экранах телевизоров, бубнящие что-то там о любви к людям, наспех сплели потребительскую корзину и с лучезарным цинизмом учат население, как наполнить ее на вымученный пятак. Попав в нынешнюю полосу жизни, я ведь этот слащавый треп о духовном или душевном богатстве общества воспринимаю с большой долей невеселой иронии. Помер ты, утонул или повесился — никому нет дела, кроме тех, кому непосредственно мешал, да заинтересованных в дележе твоих рубах. Черти, с которыми кипятился в одном котле два десятка лет, могли бы по соображениям гуманности предложить мне какое-нибудь занятие, чтобы добавлять некую толику к собесовской подачке. Но они выше этого. Им некогда. В свое время я тоже суетился, с важным видом что-то отстаивал, волновался, спешил. Какая все это чепуха. Отечество богаче не стало, в нем не заметно впечатляющей победы обнадеживающих начал. Сидишь долгими часами за коробками, и на ум приходит разное. До боли жаль, как сложилась судьба Отечества. Что создавалось веками, ценой крови, и немалой, развалилось от кабинетных решений их превосходительств. Тяжело расставание с Казахстаном, а тем более с Украиной. Для меня, рядового россиянина и такого же украинца, разъединение — это жуткая нелепость. С моей пенсионерской колокольни — и Крым, и флот должны быть совместными, если по-честному, по-справедливому. А так одно уродство. А то, что Астрахань сделали пограничным городом, — это и вовсе кошмарный сон!

Впрочем, все это «большая политика». Для меня мой очкарик самый осязаемый руководитель. Он разоблачит каждого, кто припрятал лишнюю пачку кроя на завтра, кто умыкнул салфетки. Полезет под столы, перевероршит запасы. Фанатично держась за свою должность и постоянно помня о том, что она его кормит, он непоколебимо следует существующим правилам. Если кто-то опоздал хотя бы на пять минут, он ни под каким видом не допустит к полноценной работе. Однажды ему показалось, что я иду за лишней пачкой кроя. Двинул меня в грудь костлявым кулаком. Я с трудом удержался от дальнейшего развития столь острого сюжета. Поздно же он родился! Ему бы участвовать в раскулачивании, в продразверстке. Но он может неожиданно сесть помогать отставшему — работает быстро. Везде успевает.

Директора тут редко увидишь. Однажды в сопровождении профсоюзной дамы торопливо прошел по цехам, поздравил с каким-то праздником. Сравнительно молодой, полнеющий южанин. (Через год погибнет в автокатастрофе.)

— Ну и что? Он же работает, а наши, русские, с утра в бутылку заглядывают, — заметила одна из женщин.

...Однажды я увидел нашего директора у проходной, он стоял возле своей машины, смотрел на отъезжавшие с хлебом грузовики. А мимо, чуть скорбившись, пробегал наш трудовой люд — инженеры, кандидаты наук, прочая публика. И мне подумалось: вот когда-то он, возможно, не прошел по конкурсу в престижный вуз, а эти прошли. И ему ничего другого не оставалось, как рвануть в пищевой, в ту пору совсем не котиравшийся. А теперь он — бог, они же, зябко сутулясь, бегут делать дурацкие коробки. Таковы парадоксы нынешней российской действительности.

А вообще-то мы живем по большей части ладно. Татарин Миша, тоже пенсионер, одалживает мне до полочки. А в это время из приемника слышно, как в его краях шумят неугомонные сепаратисты. Миша в смущении поглядывает на меня: извини, мол, я тут ни при чем. Я знаю. У рядового добропорядочного человека на политиканские дела нет времени. Они ему только мешают, вредят. Вон юная красавица Алсу ударно молотит коробки, и все ее уважают. Никому и в голову не приходит спросить, кто она по национальности. Наша — и все!

Впрочем, виртуозов у нас немало. Лиза, например, вообще недосыгаема. Приходит в пять, в начале шестого (рабочий день иногда тянется бесконечно),

и где-то к девяти утра у нее уже пятьсот или шестьсот коробок. Быстро собирается и бежит на прием — она ревматолог. Наши остряки хохмят:

— Когда выписывает рецепт, наша врачиха, наверно, говорит: это лекарство принимайте по одной коробке, тьфу, по одной таблетке натошак.

К Лизе во время работы часто подходят женщины, рассказывают, где у них колет, стреляет или жмет. Просят совета. Не поднимая взгляда от коробок, она коротко бросает: «Это возрастное» — или: «Влияние погоды, вам нужен покой и воздух, больше гуляйте!»

За учебу сына она платит большие деньги, а мужа нет. Я как-то имел неосторожность попросить у нее крой для донышка — не хватило. Мгновенно отозвалась на просьбу. Не отрываясь от дела, швырнула, как выстрелила, квадрат жесткого картона и острым углом угодила мне прямо в глаз. Было такое ощущение, будто глаз вытекает, его заволокла непроглядная пелена. Я крикнул ей о случившемся. Не поднимая головы ответила: «Пройдет!»

Действительно прошло. После лечения в специальной клинике. Алевтина Викторовна, сидящая поблизости, не дает ей жизни:

— Ну какой ты врач? Тебе выспаться надо.

Я оказался рядом с весьма любопытной парой. Сперва мне подумалось, что это брат и сестра. В лицах что-то общее. Хотя во всем остальном... Он широкоплечий, рослый крепыш. Она — инвалид. На столе у них транзистор. Легкая музыка. Она мечтательно говорит:

— Когда мы первый раз встретились, точно эта передача была.

Стиснув зубы, поиграв желваками, он бурчит в ответ что-то далеко не радужное. Боже мой, до чего же они не пара. Василий тяготится всем этим. Напившись до чертиков, исчезает иногда на довольно продолжительное время. Однажды его обнаружили не то под Мурманском, не то возле Липецка. В его глазах невыразимая тоска и мука, когда он смотрит на здоровых, крепких женщин. Она покупает ему брюки, майки. Он, не смея переступить в себе некий рубеж, успокаивается ненадолго. Но потом опять срыв.

Неужели это и есть тот самый истинно русский человек, с его мучительной судьбой? Когда он вернулся из заключения, она помогла ему, но, кажется, перестаралась. И теперь нет покоя обоим. Частичное умиротворение они находят в труде — сидят долго, делают много, прежде всего, разумеется, он. И, кажется, пока не собираются менять работу, хотя текучесть у нас немалая. Постоянное нервное напряжение у него столь велико, что порой даже пустяковое приятельское подтрунивание выводит мужика из себя. Ну а уж если по своему адресу он услышит от кого-то резкие замечания, то впадает в безудержный гнев.

Было раннее утро. В сумрачном цехе нас пока лишь трое. Из дальнего угла Алевтина Викторовна возьми да и крикни Василию:

— Зачем так много зарабатываешь? Все равно пропьешь!

— А тебе какое дело? Ах ты старая... Чего меня цепляешь? Прошлый раз и опять. Таких надо уничтожать, — шипит он, все больше распаяясь. Резко встает, направляется к пенсионерке, приговаривая: — Удушу, убью!

— Иди, алкаш проклятый! — с отчаянным вызовом крикнула женщина дрогнувшим голосом, но довольно-таки твердо. Перестав собирать коробки, она гордо вскинула седую голову, как бы готовясь к, возможно, последней схватке в своей жизни. Дело принимало далеко не шуточный оборот. К тому же, как нарочно, никто пока больше не появлялся. Когда между ними оставались считанные метры, я крикнул изо всех сил:

— Василий, остановись! У тебя же сын!

Он замер на месте, как конь перед обрывом. Несколько мгновений стоял молча, тяжело дыша. Потом сказал через силу:

— Впрямь мальчонку жалко. Живи. — И вернулся к своему столу.

Не могу умолчать еще об одной колоритной супружеской паре. Он маленького роста, полнеющий. Этакий Тьер, Пипин Короткий. Ему под шестьдесят, ей за пятьдесят. Если он ходит торопливо: надо успеть на другую работу — сторожит автостоянку, хотя инженер, и неплохой, то она передвигается степенно. Сознвая свое превосходство над ним, смотрит надменно, говорит неторопливо, с холодной иронией. Женщины, когда этой пары нет, судачат: одни считают, что они ну никак не пара, другие говорят — раз ладят, пускай



и дальше живут. После нескольких дней отсутствия появилась она. Наиболее наблюдательные заметили, что к концу дня ее стало покачивать; на вопрос, где же благоверный, ответила: «Лежит с инфарктом». Недели через полторы появился и он. Один. Но сел не, как обычно, в другом отсеке, а в нашем. Работал нервно — ронял крой, заваливал свои и чужие стопки коробок. Потом поднял голову, багровый от волнения, обратился ко всем сразу:

— Я ведь не с инфарктом лежал, а у Склифосовского. Она, допившись до чертиков, пырнула меня ножом в грудь. Спасла «скорая». Прежде такой не была. Теперь заявляет, что ненавидит меня. А ей лечиться надо, у нее ноги отекают.

— Послушай, сосед, — крикнул ему один из наших, — что ты мелешь! Какие ноги. Она тебя ножом, а ты про ноги. Собери ее манатки и пинком под зад. И вся терапия.

Вдруг на одутловатом лице «инфарктника» обозначился испуг — у дальней стены он заметил подругу жены.

— Ну, все. Валька ей все расскажет. — С этими словами он устремился к выходу.

— Накипело! — подытожили наши дамы.

Прошло несколько дней, и супруги вновь стали появляться вместе. Но теперь он сидел у нас. Она приносила ему в щербатой эмалированной кружке чай, несла так напряженно, что у меня закрадывалось опасение, не стукнет ли она его сейчас этой посудинкой по лысине. Но нет. Ставила перед ним чай, выкладывала на стол еду. Новички восклицали: «Вот это жена!»

И почему они вместе? Возможно, срабатывает инерция былых отношений. Старейший, одинокий человек, у которого воля на исходе, он никому не нужен. Его заботливость, сердобольность кажутся бессмысленными, нелепыми. Впрочем, как знать...

Многим не под силу долгими часами сидеть сгорбившись на сквознях, да еще в марлевых намордниках — пыль все-таки. Впервые в жизни и я подхватил здесь лютое воспаление легких, с высокой температурой. Месяц приходил в себя. К тому же и руки часто ломит. Не обходится без растяжений. Руки, руки! Поражаешься их неустойчивости. Ну ладно, наши мужские жилистые, в мозолях — я уже успел натереть целых три. Но женские! Порой эти нежные пампушки с тонкими гибкими пальцами намолачивают за день горы картонной чепухи. Иные на ночь парят кисти. Протираются пальцы, если не изолируешь их лентой-липучкой. Случаются болезненные и порой глубокие порезы. Скользнешь по краю жесткого кроя пятерней — и мякоть руки рассечена как бритвой. Все дело в крое — какой пришлют. Питерский обрабатываем охотно и много — эластичный, тщательно пробитый на сгибах. Иные партии молоковского из Подмосковья — врагу не пожелаешь: грубый, жесткий, зачастую небрежно пробитый. С ним намаешься, пока одолеешь намеченный рубеж. Новички, ребята лет по шестнадцать — семнадцать, уже через несколько дней решили на спор собрать по восемьсот коробок. Этого показателя достиг только один. От переутомления его рвало, и он едва не упал в обморок.

Впрочем, эти шестнадцатилетние юнцы не так уж безобидны, публика отчаянная: по ночам промышляют неизвестно какими делами. А утром, собравшись за двумя столами неподалеку от меня, подсчитывают свой улов. Заводила у них Грызлов — небольшого роста, крепенький, с короткой стрижкой, с немигающим взглядом чуть раскосых разбойничьих глаз.

Меня они почему-то сразу зауважали. Грызлов одолжил небольшую сумму до завтра. На работу я не вышел. Но он приехал в назначенное время, привез долг. Законы чести, принятые в их среде, соблюдаются неукоснительно. За свое место я спокоен: его не займут. Когда появляются новички и пытаются протиснуться к моему столу, Грызлов, достав откуда-то из-под мышки приводящий в оторопь кинжал, делает им короткую отмашку и неторопливо произносит:

— Это дяди Володино место, просим пройти дальше.

Они периодически умыкают торты и прячут их за моей спиной. Я не обращаюсь, но улавливаю это затылочным зрением. Вечером, когда стемнеет, все это будет в облюбованном месте переправлено через забор. Алевтина Вик-

торовна, то ли из опасения, то ли намереваясь расположить их к себе, заводит с ними воспитательные беседы:

— Работать надо честно. Откуда у вас такие деньги? Не дай Бог, грабите.

— Никогда! Хотя обидно — одним миллионы, а другим копейки.

— И все равно — честные деньги лучше.

— Лучше, когда деньги. Вот эти, — Грызлов показал на кучку ровненьких купюр, — своим горбом добытые.

— Ой, ребята, загубите вы свою жизнь!

— Да разве это жизнь.

— Ну а цель какая у вас?

— Каждому, — тут собеседник откинулся на спинку шаткого сиденья и мечтательно посмотрел вдаль, — по машине...

Появляются здесь и другие стаи молодняка, по-своему колоритные. То садят одного из своих приятелей в металлический контейнер, как Пугачева в клетку, и с визгом катают по цеху, то притащат коржей или чего повкусней, если время к празднику, и пируют под девизом «Кулич — всему голова», пока кто-нибудь из начальства не шуганет эту компанию.

Спозаранку, когда наша бурная деятельность только начинается и на столах первые стопки коробок, это напоминает обширный читальный зал, где расположились студенты перед увесистыми фолиантами. Но через два-три часа в выросших на столах многочисленных уже метровых стопках с головой тонет каждый из нас, и мы, отгороженные хлипкими стенами произведенной продукции, не видим друг друга. Коробки всюду. Их тысячи. Рыжику, могучему коту, который с утра сидит перед Борисом, теперь негде расположиться. Коробками забиты даже подоконники, скоро некуда будет их ставить. Слышится ропот. Почему не берут? Нет контейнеров! Но вот доносится гроыхание, противный металлический скрежет, повизгивание давно не смазанных колес. Но люди воспринимают это как райскую музыку: началась наконец приемка.

...В минувшей жизни рядовой производственник чувствовал себя уверенней — можно было при случае искать поддержку в профкоме, народном контроле, в парткоме, наконец. И порой это срабатывало. Теперь же он совершенно не защищен перед лицом административной вакханалии. Сопляк мальчишка, принимающий продукцию, в состоянии при случае вить из работника веревки.

Пожилая грузная женщина неистово крестилась, доказывая, что у нее пол-часа назад взяли три стопки коробок. Представитель молодой поросли был немолчим. Другой работнице пришлось сделать лишнюю сотню доньшек. Старуха, обливаясь слезами и глотая таблетки от давления, пыталась убедить юношу со взором горящим, что она выполнила работу час назад. Бесполезно. Зато потом, как немое доказательство ее правоты, с неделю болталась неприкаянная сотня крышек. Еще одной особенно не повезло. Неожиданно отменили трамвай, и она приехала на работу минут на десять позже. Юный начальник, служа высочайшим принципам служебного распорядка, в наказание разрешил ей сделать только сотню коробок, хотя программа в тот день была семьсот штук. Она клялась здоровьем сына, что случилось непредвиденное, умоляла снизить, снять кару. Тот вроде бы проявил понимание. И она собрала все семьсот. Но когда ушла, записал ей только сотню, хотя сгреб все. Стойкий товарищ. «Гвозди бы делать из этих людей, крепче бы не было в мире гвоздей!» — как писал поэт. А ведь людям за их работу следовало бы сказать спасибо. За эти годы мы все произвели столько коробок, что, если приложить одну к другой, получилась бы полоса от Москвы до Мурманска. Лично у меня протянулась бы «линия» аж на сорок километров. Работа неприметная, но помогает жизнеобеспечению огромного города.

Для тех, кто хочет побольше заработать, темп такой, что даже забываешь подкрепиться взятым из дому, нередко так и возвращаешься с харчами. А езжу сюда зачастую и по выходным, рано. Осенью, зимой еще темно, пустынно; на остановке два-три таких же трудоголика поневоле.

Заморить червячка удается, когда мимо меня в сухарку везут на переработку бракованный хлеб. Отламываю кусок, жую с безразличием коровы, не отрываясь от дела. Поблизости вкальвает целое семейство. У них по команде мамыши обязательный обед — достают бутерброды, пьют чай. А я наедаюсь только дома, вечером. Набью живот, как удав, еле преодолевая усталость, и на

боковую. Никогда не думал, что стану таким любителем поспать. Порой даже вижу сон про то, как мне хочется спать.

— Ну что ты жуешь черствый, принесть свежего хлеба?! — кричит мне новый знакомый.

— Да все нормально, — отказываюсь я и смотрю на него не без интереса: как он удержался? Несколько дней назад мы вместе с ним уходили с завода. На проходной моего попутчика остановили:

— Слушай, тебе же надо к хирургу — ты весь в опухолях. Ну-ка давай зайдем на осмотр.

В соседней комнате для основательных проверок из него вытряхнули четыре батона. За такое увольняют сразу. А он продолжает делать коробки, сумел отвертеться. Собственно, заводчане имеют кое-какие льготы. Им, например, бесплатно выдают по два батона. Мы на положении приживалок, хотя именуемся объединением, правда, с ограниченной ответственностью. Вот именно — ограниченной. Во всем одни ограничения. Однажды нас приняли за своих и выделили по три кило меда. Каждому! Но то был одноразовый всплеск внимания. Хотя бы пару батонов в неделю узаконили. Ведь не на кирпичном заводе работаем! В сущности, общий котел. Эту головоломную проблему наше руководство никак не решит. Вот народ и промышляет.

Еще в начале моего пути здесь, когда торт стоил 2 р. 75 коп., мы могли купить их прямо на заводе, хоть целый десяток, что, впрочем, и делалось. Я сам раза два брал штук по восемь. Они, вафельные, хранятся долго. Теперь же, когда цены вконец обнаглели, все это для меня в прошлом.

Одно импонирует: четкость в оплате труда, хотя, надо заметить, зарплата здесь более чем скромная. Сел за рабочий стол, взялся за крой — оплата пошла, счетчик включился. Стоимость одной коробки мне известна, потому доподлинно знаю, сколько сегодня заработал. И ни одного осложнения в этом плане у меня, например, не было. Но главное, о чем не могу умолчать, — это настрой людей, да простят мне этот штамп. Удивительная воля к выживанию. Немало по-своему одаренных натур. Вот, например, Надя — заядлая курильщица, маленькая, ей за пятьдесят, взгляд лукавый. Через год она умрет от рака горла. А пока шпарит наизусть целые поэмы — длинные, остросюжетные, правда, с матерком. Окружающая публика ухохатывается. Когда наступает затишь, ее соседка, у которой парализован сын, начинает петь русские народные. Надина соседка — на двух работах. В метро стоит на контроле, у нас вкалывает. Твердо решила поднять сына, воевавшего в Афганистане за наши «общие» интересы. У парня наметился некоторый прогресс: начал делать, и очень умело, из жестяных банок крошечные креслица-игельницы. А еще недавно даже пальцы его не слушались. Такие креслица величиной чуть больше спичечной коробки принимает для продажи общество инвалидов.

...Временно нас переводят на самый верх, на четвертый этаж, по соседству с залом, где делают торты. А здесь, на нашем месте, поставят немецкое оборудование, будут разнообразить продукцию. Поднимаемся со своими столами в святая святых предприятия. Размещают нас в так называемом шоколадном отделении. Шоколада сейчас нет, поэтому производят самые неприхотливые торты. Оснастка здесь явно не претендует на соперничество с иностранной. Уставшая дивчина, сидя на шатком табурете, поминутно то левой, то правой рукой нажимает на металлический рычаг и с помощью лопасти укладывает готовые мучные коржи в стопку, их тут же забирают, режут по размерам наших коробок, промазывают приторной пастой. Это делается за длинными оцинкованными столами бригадой женщин, которые почему-то работают стоя. Спрашиваю, отчего не попросят хоть какие-нибудь скамейки. Говорят, что так принято. Кем, почему? Сидя трудиться не так изнурительно, насколько я понимаю, тем более все здесь вручную. Косность, сила инерции — поразительные, тут не приживаются никакие нововведения.

Что же касается производства хлеба, то здесь технологии поновее. Опрятные чаны, окрашенные в светлые тона, полуавтоматические печные установки, кажется, никогда не останавливающийся конвейер, который заканчивается вращающимся конусным кругом. На него ежесекундно падает душистый горячий батон. Женщины (почему-то чаще всего пожилые) едва успевают за-

таривать ими высокие многоярусные контейнеры для отправки по магазинам. Качество батонów вполне на уровне, их охотно раскупают. Уже с самого раннего утра у нашей палатки выстраивается очередь за свежим, теплым хлебом. По магазинам же его начинают развозить еще раньше, и там он тоже не залеживается.

Ну а неряшливость — это наше родное. Не будет же директор всех заставлять мыть руки. Опрятность, личная гигиена — дело самовоспитания и совести каждого.

...Апатия в людях становится все заметнее. Сознание, что все это временно, ненадолго, вызывает в ходе работы чувство безразличия. В бадье, в которую сбрасывают обрезки тортов (ее содержимым охотно подкармливаются некоторые из нас), водятся тараканы. Порой они бегают по нашим столам — крупные, откормленные. Остановится перед тобой, нагло уставится, шевеля холеными усами: я здесь хозяин. Шарахнешь по нему коробкой, а на смену — другой, еще более крупной весовой категории. Санитарная служба есть, но, похоже, возможностей у нее не много, только слегка тревожит этих тварей. Вот и коту от них одно беспокойство. Здесь царствует черный огромный котиче. Наевшись, он устраивается где-нибудь повыше — на белой теплой трубе, откуда виден весь цех. Время от времени он поглядывает вниз — как идут дела. Яшку, красивого темно-серого пса, сюда, на четвертый, не пускают. И это его оскорбляет. Порой он горько лает в небо, на проходящих, хотя все его знают и он знает всех.

— Яшка, кончай свою демагогию. Все равно не докажешь, что ты достоин четвертого этажа, — советую ему и даю в утешение припасенную заранее косточку.

...Как переменчива судьба: то вознесет, как говорится, высоко, то в бездну бросит. С четвертого этажа мы переселяемся в бомбоубежище. Располагается оно в дальнем углу заводской территории, у самого забора. Сооружено так давно, что успело покрыться высоким густым кустарником (куда потом, за неимением своего туалета, будут бегать все наши: женщины — в левую часть кустов, мужчины — направо). Заводчане с верхних этажей станут поглядывать на эту картину с долей юмора: вон, гляди, опять орошают собственное пристанище. Затем кусты будут срублены, что только усложнит наше и без того горемычное существование. Я прежде слышал об этом бункере — в нем начинали наши коробочные первооткрыватели. И вот теперь не без интереса направляюсь к нему. Глубина метров пять-шесть. Узкий ступенчатый спуск, поверх ступенек — два рельса-желоба. Внизу могучая металлическая дверь, как на подводной лодке. Благо она постоянно открыта, а то было бы нечем дышать — вентиляция в сомнительном состоянии. В самом низу устойчивый запах цементной сырости, хотя к нашему приходу стены покрыты плитами ДСП. Я сажусь у дальней стены и чувствую, что докатился, — дальше, кажется, опускаться уже некуда. Тут не откроешь форточку, не увидишь неба, солнца — только одинокие тусклые лампочки. Но делать нечего, надо вкалывать. И так на переезд ухлопано полдня. Вон в соседнем отсеке уже зашуршали. К вечеру наполнили первые контейнеры. Грузчики-приемщики подняли их по рельсам — один тащит спереди, другой толкает сзади. Потом в таком же построении путь лежит дальше — через двор, к зданию, где грузовые лифты.

Наша начальница цеха каждое утро в белом халате спускается к нам и, подходя почти к каждому, о чем-то беседует, иногда довольно долго. Это напоминает обход врача. Возле меня она, правда, долго не задерживается. На моей физиономии ухмылка, не располагающая к сердобольной беседе. А в общем, это доброжелательная женщина. Муж ее, бывший заводской военпред, теперь у нас грузчиком. Пьет жестоко. Недавно, перебрав, ночевал в подвале с крысами. От сигареты мог сгореть вместе с коробками, да Бог миловал. Пришлось увольняться. Грузчики долго не задерживаются: наиболее распространенные причины — либо напьются, либо передерутся, а чаще одно следует за другим с неумолимой последовательностью. Уж на что старательный был Саша, и тот подрался до синяков со своим напарником, носившим бритвенное лезвие на шею.

Впрочем, не все такие безалаберные. Один из них. Сеня, — личность довольно примечательная. Набивая коробками контейнеры, он прямо здесь при-

торговывал жевательной резинкой, одеждой и еще чем-то. Позже подкатил к подвалу на своей машине, правда, старенькой. Позднее появилась почти новая. Открыл свою лавочку по продаже запчастей. Купил пистолет. Одной из женщин согласился было дать в долг приличную сумму, но заломил такой процент, что та отказалась. Парень цепкий, напористый, работающий. Легко, раскованно излагает свои мысли. Женитьба? Это когда-нибудь потом, и то если потребуются наследник. А пока женщину при необходимости можно купить на вечер. Уже побывал не то в Анталии, не то на Кипре. Не понравилось: жарко, да и от моря много шуму — мешает думать. Селигер — другое дело, подойдет лето — только туда. На двух-трех машинах, набитых такими же деловиками. И не только загорать, подставив задницу солнцу. Там освоенный рыбачий промысел. Плюс охота. Ориентировочная прибыль уже подсчитана. Сеня — это фигура, новый русский. Не знаешь, радоваться этому или остерегаться. Юный Савва Морозов? Ему — двадцать.

Осень на исходе. Усиливаются дожди. Нас затапливает. В предбаннике под ногами хлюпает вода. А тут еще отключают свет. У кого-то нашелся огарок свечи. Ближним еще что-то можно различить. Ну а я, чтобы не терять время зря, раз уж пришел, начинаю делать коробки на ощупь, вслепую. Пробую закрыть глаза. Оказывается, можно и так зарабатывать. Позже Серега, один из грузчиков, в жестяном ведре разводит костер. Одним нравится: все-таки какой-никакой, но свет, хотя чад и копоть. Другие побаиваются: а вдруг полыхнет пожар — ведь кругом бумага. Сидим в пальто, отопление пока не налажено, да и вспомнят ли о нем? Ведь это не основное здание, не какой-то производственный корпус. Жаловаться некому, да никто и не рискнет. Тебя тут не держат, не хочешь — не приходи. Но ты придешь сам, по собственному желанию, пораньше, опережая других. Потому что в магазинах ныне вон какая грабительская арифметика!

По интеллектуальной насыщенности моя нынешняя деятельность сродни перетягиванию каната. Зато никогда прежде я не слушал столько радиопередач. Даже не предполагал, что наше вещание настолько удручающе скучное. Какой-то парень (между прочим, ведущий) вальжным голосом фамильярно обращается к слушателям: «Ну а теперь, дорогие мои...» Это «дорогие мои» произносится так снисходительно, даже пренебрежительно, будто он обращается к стаду безнадесных недоумков. Под стать ему и сменщица. От таких передач молоко прокисает. Слушаешь — и тоска берет.

Наше радио, наверняка того не желая, внушает устойчивую неприязнь к нынешним мужикам, сытно кормящимся политикой, вся их деятельность кажется корыстной и людям не нужной.

У меня теперь появилась возможность вести обстоятельные разговоры на эти и другие темы: к нам на работу пришли из крупного оборонного предприятия — института и завода — многоопытные инженеры, несколько кандидатов наук. Уровень общения резко поднялся. Народ они эрудированный, компанейский, с ясными, живыми мозгами. Некоторые, работая там, не знали друг друга, познакомились здесь, в подземелье. Все они признают, что у нас надо вкалывать. Там же где-то в одиннадцатом только готовились к первому чаепитию, потом — неспешный обед, отдых. Здесь же, как уже говорилось, спешное перекусывание. Они довольно скоро освоились и стали добиваться внушительной выработки. Никто из них не растерялся, не озлобился, хотя, по их словам, прежнее начальство поступило с ними по-свински: платило значительно меньше, чем у нас. Женщина, кандидат наук, получая в подвале первую зарплату, не сдержала слез — впервые в жизни в ее руках оказалась такая сумма. На предприятии, дышащем теперь на ладан, ей платили сорок или чуть больше. Здесь же она заработала двести пятьдесят тысяч.

Дальнейший рост интеллектуального потенциала нашего бункера — появление в наших рядах заслуженной учительницы РСФСР. Вышла на пенсию. В школу ее больше калачом не заманишь. Зять выучился на маклера или менеджера, дочь, работавшая в какой-то редакции, сидит с детьми (несколько дней приходила с мамой сюда). Муж — доктор наук, специалист в области переливания крови. Он никак не может примириться с тем, что его жена стала работягой. А ей здесь даже нравится. Она демократична в общении, непритворлива и начитанна, за компанию может и рюмаку водки выпить. Она легко нашла

общий язык как с демократическим крылом нашего подземного сообщества, так и с элитарной его частью. Ее зять, получающий не то три, не то пять миллионов, дал ей направо хорошую сумму, которую та положила в банк и теперь каждый месяц располагает процентами, значительно превышающими зарплату. При таком «имидже» и доходах появление ее здесь некоторые расценивают как оскорбление здравому смыслу. Хотя здесь есть и другие, не менее обеспеченные, но не чурающиеся коробочного промысла — все прибавок к домашнему бюджету.

Настоящую душевную боль вызывает у меня наша первая красавица Танечка. Куда там Дине Дурбин! Безукоризненные черты лица: красиво очерченный рот, прямой аккуратный носик, большие, чуть с грустинкой глаза, пышные каштановые волосы, мягкий грудной голос. При всей величавости полное отсутствие гордыни. Два года работаю с ней и не помню случая, чтобы она с кем-нибудь поссорилась. Всегда уступчива, доброжелательна и неизменно прекрасна. Ну что это за жизнь: такая красота — и загнана в дурацкий подвал, в подземелье. Там, наверху, ей не нашлось места! И пьет. Произошел какой-то затаенный внутренний срыв — и покатила. Много курит. Ей за тридцать. Развелась. Меня одаривает обворожительной улыбкой.

— Танечка, где мои сорок с лишним, закурили бы мы с тобой...

— Это точно.

Господи, помоги ей выйти на ровную дорогу.

...Галочка Дашкевич по договоренности с начальством посещает подвал не ежедневно.

— Кончай делать свои бомбы, переходи к нам окончательно, — говорю ей.

— Не делаю я никаких бомб!

— Все равно переходи.

Она тоже с номерного. Отсиживает там часы в пустом просторном кабинете, ее коллеги теперь кто где. Одна, например, кандидат наук, торгует в метро колготками. Другие тоже вынуждены забросить дело, которому отдали десятилетия. Леша, опять-таки кандидат наук, кроме посещения подвала что-то сторожит на железной дороге. Между прочим, за гроши, но, видя, как процветают спекулянты-коммерсанты, перекупщики, комбинаторы, не испытывает к ним ни зависти, ни злобы. *Просто это их время.* Галя три раза пыталась обогатиться, вносила свои кровные в мыльные банки, и каждый раз они скандально лопались, а возглавлявшее их жулье бесследно исчезало. Женщина-трудяга оказалась вконец ограбленной. Теперь Галя полагается только на свое усердие. А оно у нее феноменальное. Недавно ей удалось собрать за день тысячу шестьсот коробок. С ума сойти! Это два здоровенных контейнера. Ладонка у нее маленькая, короткие и с виду слабые пальцы, а поди ж ты! Она хохотунья и главный наш информатор. Галя всегда в курсе, что существенно показывали в последние дни по телевизору, что произошло в театральном мире, какой анекдот теперь самый модный, где продают качественную и недорогую колбасу и так далее.

Я знаю, по каким дням она приходит, и перед тем, как отправляться на работу, тщательнее бреюсь, достаю свитер поновее, а в бункере стараюсь, чтобы она меня заметила сразу, пока я бодр, свеж и общителен.

Прав поэт: любви все возрасты покорны. Мне за шестьдесят, а и я туда же. Раза два провожал Галину до остановки. Поваяло забытой юностью, студенческой порой. Шли, оживленно трепались, дружески спорили, она очень любознательна. Знаю ее всего-то полтора года, а вошла она в мою душу так основательно, будто прожил с нею целую жизнь. Сын ее в армии, надо позаботиться о его дальнейшей судьбе. Дочки замужем в разных концах города. И мы с ней ездим к ним по выходным, набивая сумки вкуснятиной.

Нет, не было у нас с ней ни вздохов на скамейке, ни свиданий при луне, все несколько приземленнее.

Если ее еще нет, я беру крой на двоих, салфетки — тоже, проверяю, записана ли ее и моя работа. Если она спешит и оставляет на столе свою продукцию, я не уйду, пока все это не будет зафиксировано. А ранним утром, когда я уже торчу за своим столом, она, улыбочиво здороваясь направо и налево, прямо с порога направляется ко мне, по-свойски приветствует меня и достает из темно-коричневой сумки ароматный теплый батон:

— Подкрепись.

Я готов расцеловать ее, взять на руки, сказать множество нежных слов, но почему-то не делаю этого. Отвык, разучился. Иногда она, спозаранку заскочив в хлебный цех, уже совсем по-семейному оставляет свою авоську с каким-то кошельком, двумя батонами на моем саквояже — потом съедим. Бог с ними, с этими батонами, я сам бы мог их прихватить. Дело тут совсем в другом, чему нет цены и не будет. Напарники смеются, что в нашем углу зреет «комсомольская свадьба», надо готовиться, она неотвратима, как стихийное бедствие.

Теперь постоянно вспоминаю Галю, тоскую по ней и думаю: почему не решился сделать ей предложение?

...Уже сумерки. Раскачивается от шального ветра тусклый фонарь над пустынным в эту пору двором. Наш очкарик натужно тащит сразу два контейнера. Метет пурга, сквозь залепленные снегом очки он меня почти не видит. Я начинаю помогать: оставив ему один контейнер, толкаю другой.

Кричу:

— Я сделал тыщу!

Свирепый ветер с шумом швыряется увесистыми хлопьями снега, заглушает голос. Ну прямо Чукотка или северная оконечность Таймыра, хотя рядом — Окружная.

При всей занудности его характера парень он работающий, кормит семью, бросил институт и вкалывает. Родители, кандидаты каких-то там наук, получают сегодня по сто тридцать тысяч — и больше ничего. Он — не менее пяти-сот. Так и хочется крикнуть этим умникам: кончайте кандидатствовать, перестаньте ехать на трудяге-сыне, разве не видите, какой он изможденный, найдите себе дополнительную работу.

Последние месяцы наши дела — совсем швах. Если прежде выдавали из подвала, как из шахты, по восемнадцать — двадцать, а то и больше тысяч коробок, то теперь этот показатель упал до восьми — девяти тысяч. Мы затоварены, изделия громоздятся штабелями до самого потолка. Торты не находят должного спроса. Служба сбыта работает вяло. А ведь еще недавно удавалось находить заказчиков даже в других городах, порой довольно отдаленных. Я еще удивлялся тогда: черт знает откуда ехать за таким пустяком, как торт! Ведь они прямо-таки золотыми станут. Вот уж поистине: куда ты несешься, Русь? Остановись, подумай. Дай ответ. Тем более вопросов уйма. Мы отказались от питерского кроя, не говоря уж о молоковском, который оказался дороже немецкого. И вот теперь из Германии к нам приходят огромные грузовики с сотнями тысяч картонных листов. Наш новый непосредственный начальник, бывший рабочий номерного завода, тонкий ценитель крепкого солдатского юмора, не вынимая сигареты изо рта объяснил нам, как обращаться с заграничным картоном. Крой, что и говорить, прекрасный — яркие, сочные краски, аппетитные рисунки. Этот крой эластичный, гибкий, складывается легко и быстро. Вместо салфеток, валявшихся и там и сям, — рифленые пластмассовые вкладыши. Свой груз немцы аккуратно сложили в прочные коробки весом по десять — двенадцать килограммов. Их множество. Одну из первых партий мы с нашим председателем до позднего вечера таскали в ангар. После столь затяжного занятия я не сразу пришел в себя — все-таки возраст сказывается! Да и он, человек немолодой, с язвой желудка, убедился, что для разгрузочных дел надо быть помоложе.

Словом, крой прекрасный, но торты стали еще дороже. Их раскупать не спешат. Питерские рабочие, как я понимаю, останутся без нашего весомого заказа, стало быть, без зарплаты. Зато немцам за яркий картон Россия отвалила валюту.

Так и хочется сказать иным своим землякам: ну что же вы все на Запад ориентируетесь? У самих-то разве руки из задницы растут? Прежде картошку с Кубы возили, теперь из Германии — кондитерские коробки.

Или еще новость. У немцев же и у итальянцев закупили установки для автоматического производства коробок и тортов. Заграничная техника-красавица — цена ее едва ли не миллиард рублей, но часто выходит из строя. И тогда

приглашают немца и итальянца, чтоб приехали и наладили (не бесплатно, конечно же!).

Такие дела.

...Обстановка у нас меняется круто. В недрах заводоуправления идет неустанный поиск новой стратегии — рыночной. Говорят, что скоро будет другой хозяин — вроде бы какой-то парень, скупивший акции (что это такое, никто точно не знает). Прежние охранники уволены, некоторые переведены на погрузку хлеба. Набраны новые — ребята крепкие, «накачанные», как теперь говорят. При них растет шенок, который научится определять несунов с ворованным хлебом. Прежний начальник караульной службы тоже уволен. За месяц до того получил едва ли не смертельный удар по голове. На асфальте возле завода, там, где это произошло, несколько дней оставался кровавый след.

Новые владельцы заявляют о себе все решительнее. В своем подвале мы и теперь чувствуем себя неуютно, а как-то еще станет. Что слаще — хрен или редька? Во всяком случае, получить под зад у меня все больше возможностей.

Те, кто еще недавно больше других суетился по поводу укрепления социализма, при этом, как выясняется, ненавидя его, сварганят и капитализм такой же несъедобный, если не подключить к этому делу всю интеллектуальную мощь нации. Государства нашего ранга живут да радуются. А мы все учимся-маемся. Горько и обидно за свое Отечество...

Гляжу на наш бункер. Чуть возвышается над землей этакий малоприметный продолговатый бугорок с вытяжными трубами. Но сколько прошло через него нашинских людей, собранных здесь по воле случая. Где-то они теперь..





Ю. КАГРАМАНОВ



## ОТЧЕГО ЗАТЯНУЛАСЬ «ГИБЕЛЬ БОГОВ»

*Фашизм как феномен европейской культуры*

И не то беда, что есть еще зверство; беда в том, если зверство вознесено будет как добродетель.

*Ф. М. Достоевский.*

**И**верное, трудно в наши дни найти какое-то другое понятие, которое до такой степени было бы лишено смысла, как «угроза фашизма». Его затрепали еще в советское время, когда считалось само собою разумеющимся, что угроза такого рода может исходить только «оттуда». С тех пор призраки фашизма прочно обжили наш собственный дом, но идентифицировать их далеко не всегда оказывается делом простым, во всяком случае, не каждому доступным. С давних лет великой войны в народе укоренилась мысль (в принципе, бесспорная), что фашизм — это что-то такое, хуже чего не бывает; оттого иные политические деятели лепят своим оппонентам ярлык «фашистов», не слишком утруждая себя объяснениями, что дает основания называть их именно так, а не иначе. Людям же недостаточно искушенным зачастую трудно бывает понять, кто, собственно, есть кто.

Одновременно происходит (отчасти по только что названной причине) явное понижение «барьера неприятия» фашизма. Опять-таки, началось это еще в советское время. «Семнадцать мгновений весны» прозрачно намекнули на близость двух режимов — фашистского и коммунистического, в чем их несомненная заслуга (тут у них, впрочем, был достойный предшественник — «Обыкновенный фашизм» М. Ромма); но, стремясь уйти от старых трафаретов («экзотических злодеев») в изображении фашистской верхушки, авторы сериала перегнули палку в другую сторону: слишком «онормалены» оказались в фильме все эти мюллеры и шелленберги<sup>1</sup>. Вроде бы циничные, вроде бы жестокие, они при всем том выглядят, скажем так, «современными», даже не лишенными некоторого обаяния. С утратой полуверы — или четвертьверы — в коммунистическую «правду» еще больше размываются представления о добре и зле, в результате чего даже откровенный фашизм уже не вызывает прежних эмоций. Одиозная прежде символика перестает резать глаз: парни в майках, украшенных свастикой или портретом «Адика», кажется, уже не рискуют быть избитыми на улице. Становится возможной «респектабельная» апология фашизма: кто-то проповедует «мягкий», даже «интеллигентный» фашизм; кто-то с позиции несокрушимого объективизма утверждает, что фашизм есть просто некая стадия социально-экономического роста, через которую мы неизбежно (!) должны пройти. А модный писатель даже такое место, как лагерь смерти в Дахау, превращает в «театр» собственных эротически-каннибальских фантазий.

---

<sup>1</sup> Проведенные западными психологами сразу после окончания войны обследования примерно пятидесяти генералов СС показали, что подавляющее большинство из них составляли бывшие уголовники и люди, так или иначе ущербные в психическом отношении. То есть хотя и не «экзотические злодеи», но все же с большими или меньшими отклонениями от нормы. И это естественно. Именно таких людей должна была выталкивать наверх сила обстоятельств, которым обязана своим рождением нацистская машина смерти.

Помню, как я открывал для себя, что такое фашизм (говорю об этом потому, что полагаю свои впечатления достаточно типичными). В десятом классе я должен был сделать какой-то доклад о фашизме и, чтобы набраться нужных сведений, отправился в свою любимую Юношескую библиотеку (была раньше такая в здании Исторического музея). Из нескольких взятых мною брошюр я начал с той, где речь шла о гитлеровских лагерях смерти. В 1945-м, когда появились первые известия о них, я был слишком мал. Так что по-настоящему я только теперь узнавал эту невероятную «страну». Но долго выдержат чтение, да еще с разглядыванием фотографий, я не мог: ум решительно отказывался принимать такого рода информацию. Я поспешил захлопнуть брошюру и огляделся. Все оставалось на прежних местах: напротив за столом — две почти тургеневские девушки, в окне — привычное благообразие Арсенальной башни с частью кремлевской стены (за которой Сталин доживал последние месяцы жизни).

Я мог бы тогда подумать о себе словами восемнадцатилетней Мици фон Кессен из романа Ричарда Хьюза «Деревянная пастушка»: «Никто никогда в жизни не говорил мне, что такое зло возможно на свете».

А ведь никак не скажешь, что мое поколение, чье детство пришлось на военные годы, выросло в тепличных условиях. И все же наши души окутывала тогда некая защитная оболочка, психологический «озоновый слой», поддерживавший в нас веру, говоря некрасовскими словами, в «разумное, доброе, вечное». Немалую роль в этом сыграли добрые духи, которых оставил нам в наследство XIX век. Тургеневские мечтатели, толстовские правдолюбцы, ученые-путешественники Жюль Верна, даже мушкетеры Дюма — все они, каждый по-своему, убеждали в том, что Земля наша по праву принадлежит людям честным, «идеалистам», исполненным внутреннего благородства и наделенным большим, отзывчивым сердцем. Почему кремлевский Режиссер снисходительно позволил им, так сказать, резвиться в нашем смахивающем на большую тюрьму отечестве и какое место было им отведено в его постановке — особый вопрос (отчасти я коснусь его ниже). Так или иначе, эти добрые духи споспешествовали тому, что психологически мы жили в мире, зачастую очень далеко от другого мира — не просто грубых, но и чудовищно, фантазмагорично жестоких реальностей. Мира, существовавшего где-то там, в далекой фашистской Германии, и — как узнали мы потом — совсем рядом, под боком.

Прошло несколько лет, и мне попался на глаза многотомный сборник документов «Нюрнбергский процесс» (советская юстиция, твердо стоявшая на почве гуманизма, позаботилась о том, чтобы вся правда об их злодеяниях дошла до нашего читателя). На сей раз, раскрыв наудачу один из томов, я не торопился закрывать его: меня тянуло знать, что это была за «страна». Я вычитывал из разных томов большие куски, не избегаая самых шоковых мест и не отворачиваясь от самых страшных фотографий. Я уже раньше догадывался, что бывает такое знание, за которое чем-то приходится платить, теперь я в этом убедился на себе: в моем мозгу принялись хозяйничать какие-то темные фигуры вроде рабочих сцены из модернистского театра, что-то там безнаказанно ломавшие, что-то выносившие — навсегда.

Никакая другая книга не производила на меня такого впечатления, как эта. Даже «Архипелаг ГУЛАГ». Книга Солженицына потрясала прежде всего тем, что там речь шла о реальностях нашей истории, нас близко касавшихся. Но «фактура» преступлений против человечности была достаточно знакомой: я уже знал, что в современном мире такое возможно. ГУЛАГ даже кое в чем уступал нацистским лагерям смерти (хотя появился раньше и, вероятно, послужил для них образцом): все-таки немцы в части методичности и садизма превзошли всех.

Замечу, что приведенная только что «жалоба» Мици фон Кессен вызвана была известиями о первых бесчинствах нацистов вскоре после того, как они пришли к власти. Бесчинства эти не идут ни в какое сравнение с их же преступлениями военного времени (многие из которых практически сразу становились известны миру). Но и эти последние бледнеют перед ужасами лагерей смерти, открывшимися лишь в самом конце войны<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> Разницу выразительно подчеркнула французская писательница Маргерит Дюрас. Вот ее запись, относящаяся к августу 1944-го: «Мы пока ничего не знаем, что происходило в Германии после 1933 года. Мы еще в начальном периоде истории, человечество останется

Известия о том, что творилось за колючей проволокой Освенцимов и Майданеков, произвели ошеломляющее впечатление на западный мир. Ведь это не где-нибудь, а в самом сердце Европы, в Германии человек пал так низко, что и сравнение со зверем становилось для него чересчур лестным. Вероятно, что-то подобное должен испытывать тот, чьим близким родственником оказался какой-нибудь Чикатило. Знаменитое высказывание Т. Адорно о том, что после Освенцима невозможно заниматься такими вещами, как искусство и литература, которое иногда понимают слишком буквально, наилучшим образом передает шок, испытанный человечеством в момент, когда окончательно рассеялись «ночь и туман» (кодовое обозначение системы концентрационных лагерей, придуманное лично Гитлером, точнее, взятое из обожаемого им «Кольца нибелунгов» Вагнера, где эти слова вложены в уста гнусного карлика-нибелунга Альбериха). Как и восклицание все той же Маргерит Дюрас: «Как можно быть немцем?» (парафраз, только с совершенно иной смысловой нагрузкой, известного пассажа Монтескье: «Как можно быть персом?»).

Теперь попробуем представить, что европейцы (и американцы) в 1945 году могли бы заглянуть на полвека вперед. С сожалением они увидели бы, что чувства ужаса и отвращения, которые вызывало поверженное чудовище (характерную брезгливость мы находим в рассказе Набокова «Образчик разговора, 1945», опубликованном в № 9 «Нового мира» за 1995 год), оставались достаточно стойкими лишь на протяжении примерно четверти века. Затем «что-то случилось». Культурная революция хоть и не перевернула все вверх дном, к чему стремилась, тем не менее внесла (пусть не сразу, пусть с течением времени) существенные коррективы в западную систему ценностей. В результате западное общество как будто несколько расслабилось, взирая на фашистское прошлое уже с изрядной (тоже важно!) временной дистанции. Мало того, обнаружилось, что старые соблазны сохраняют силу: умонастроения фашистского типа вновь прорвались в литературу и искусство. Правда, появилось и стремление к более глубокому пониманию того, что такое фашизм.

Приверженца демократии не может не смущать понижение «барьера неприятия» фашизма на Западе. Нет, конечно, ни в одной западной стране угрозы фашистского переворота в настоящих условиях не существует. Но почему в сфере воображаемого фашизм оказался настолько живуч? А когда мы замечаем, что сфера воображаемого у нас с Западом сейчас практически общая, наше смущение переходит в тревогу: у нас-то угроза фашизма вполне реальна.

На книжных лотках теперь можно найти переводные романы не лучшего сорта, завлекающие читателей свастикой на обложке, или нацистскими орлами, или еще чем-нибудь в подобном роде. Раскрыв парочку таких романов, я нашел в одном из них эсэсовского офицера в амплуа «интересного злодея»; определение «злодей» здесь не столь важно, как эпитет «интересный». В другом замок Вевельсбург (резиденция Гимmlера), столица «черного братства» СС, представлен как современный Камелот (замок легендарного короля Артура); правда, Вевельсбург — «черный Камелот», но, опять-таки, это как раз «интереснее». Еще важнее фильмы. Только в 1994 — 1995 годах у нас были показаны «Штайнер — Железный крест» С. Пекинпа, «Лили Марлен» Р.-В. Фасбиндера, «Гибель богов» и «Людвиг» Л. Висконти, «Кабаре» Б. Фосса, «Ночной портье» Л. Кавани, «Гитлер, фильм из Германии» Г.-Ю. Зиберберга. Все это фильмы 70 — 80-х годов. За исключением последнего, все демонстрировались по телевидению, то есть имели многомиллионную аудиторию. Все открывают фашизм с какой-то новой, непривычной стороны, но, к сожалению, некоторые содержат хотя бы частичное оправдание фашизма.

Еще можно понять такие фильмы, как «Штайнер — Железный крест» и «Лили Марлен». Оба западногерманские (хотя в первом режиссер — американец), оба предназначены, скорее всего, для поколений, переживших войну. «Штайнер — Железный крест» фактически приравнивает, в моральном отно-

шении, немецких солдат, воевавших на восточном фронте (заметим: в период отступления), к любым иным: им, дескать, приказали — они воевали; «как у всех». «Лили Марлен» показывает их с интимно-лирической стороны: как важно было им, обреченным (ибо и здесь они — отступают), в короткие часы отдыха услышать простую песенку про женскую любовь. В обоих фильмах есть некоторая фальшь. Армия всегда «про себя» догадывается, какую войну она ведет. Что бы там ни планировали верховные стратеги в своих кабинетах, де-факто именно германская армия явилась на русскую землю с огнем и мечом — и это бросает тень даже на рядовых ее солдат. И сами солдаты не могли этого не чувствовать. Но, повторяю, оба фильма понять все-таки можно. Люди, прошедшие войну, привязаны, так сказать, к фактам своих биографий: было у них свое, немецкое, фронтовое братство, был свой «Синий платочек» — и никуда им от этого не деться.

Но как понять «Ночного портъе»? Что «настоящая любовь» непременно связана с жестокостью? Выходит, лагерь смерти — идеальное место, где она могла появиться на свет. Сообразно с такой логикой, мир, в котором люди ходят слушать «Волшебную флейту», — деланный; «настоящий» — тот, где открывают экзистенциальные глубины, которые в данном случае отождествляются с низшими подсознательными влечениями, общими у человека с животными. Низшими — даже у животных! Тяжело смотреть даже на собаку, когда она, избитая до полусмерти, лижет только что моливший ее сапог. А когда что-то похожее происходит с человеком, с женщиной?

И уж совсем сбитым с толку и обескураженным мог выйти зритель после просмотра «Гитлера...» Зиберберга в московском Киноцентре летом 1994 года.

#### «Гитлер, ты победил!»

«Санитарный кордон», возведенный после войны вокруг всего, что связано с фашизмом, безусловно, был оправдан с моральной и политической точки зрения, но одновременно он создавал иллюзию, что в истории Европы фашизм представляет собою более или менее изолированное явление, своего рода «несчастный случай». Сегодня приходится признать, что фашизм глубже, чем того хотелось бы, коренится в европейском прошлом; с другой стороны, время показало, что он прорастает в будущее. О том и о другом яснее многих сказал «Гитлер, фильм из Германии» Ганса-Юргена Зиберберга. Кстати говоря, этот кинематографический «мамонт» (продолжительностью семь с половиной часов) прошел у нас почти незамеченным, хотя в год выхода (1978) он вызвал на Западе весьма серьезную дискуссию.

Поскольку видели фильм сравнительно немногие, я должен не то что пересказать его, но дать о нем некоторое представление.

«Гитлер...» начинается так. Звездное небо. На его фоне возникает надпись крупными белыми буквами: «ГРААЛЬ». Потом надпись исчезает, и на том же фоне появляется сама Чаша, похожая на белую каплю. Капля постепенно растет в объеме, и становится видно, что внутри нее что-то такое чернеет. По мере ее приближения к объективу из этой черноты вырисовывается что-то совсем неожиданное — какие-то страшные, гримасничающие рожи. Сначала негромко и как бы издали, а потом все явственнее звучит музыка финала из вагнеровской «Гибели богов». Голос читает строки Гейне:

Когда я думаю о Германии ночью,  
Сон бежит от меня.

В кадре — девочка (девятилетняя дочь режиссера). Она играет с куклами. Среди них — Гитлер, болтающийся на виселице (символическое посмертное воздаяние). Потом она отложит кукол и будет смотреть и слушать. Она будет появляться в кадре в начале и конце каждой из четырех частей. Киноповествование как бы предназначено специально для нее.

Бедная девочка, сколько ей придется увидеть и услышать! Из райских садов короля Людвига (устроенных на крыше его мюнхенского дворца), где на фоне гималайских гор цветут пальмы и лебеди плавают в прозрачных озерах, она перенесется в мюнхенские пивные и в «вольге логово» в Берхтсгадене, в подземелье имперской канцелярии и в какую-то условную, апокалиптическую

го вида, пустыню, усеянную обломками непонятно чего. Ее будут обступать странные образы — от гофмановских чудачков до Калигари и Носферату, героев немецких сюрреалистических фильмов. Она увидит печи Освенцима и Гитлера, встающего из отверстой могилы Вагнера (парафраз известной иллюстрации Доре к Дантовой «Божественной комедии»), вперемежку с образами немецкой мистической живописи — от Дюрера до Бёклина. Она услышит записанные на пленку голоса Геббельса и Гиммлера, Эйнштейна и Камю, Черчилля и Сталина, истошные вопли «Зиг хайль!» и молодецкие песенки вроде «Хорста Весселя», звуки Бетховена, Малера и того же Вагнера, прерываемые разрывами снарядов и авиационных бомб, и еще многое другое.

Трудно сказать, к какому жанру следует отнести фильм Зиберберга. Что-то в нем есть и от документалистики, и от сюрреалистической классики, и от мистерии, и от театра абсурда, и от средневекового Totentanz (Пляски смерти), и даже от театра марионеток (Гитлер и другие нацистские главы иногда появляются на экране в виде марионеток, управляемых открытым для зрителя актером-ведущим). Но всю эту жанровую эклектику пронизывает одна нить — философского диалога, который автор ведет сам с собой.

В фильме два лейтмотива. Первый из них: Гитлер начинается издалека.

Это, собственно, явствует уже из пролога с Граалем. Я не знаю, как Зиберберг сам его объясняет (если где-то объясняет). Тема Грааля (Чаши, в которую Иосиф Аримафейский, по средневековому преданию, собрал кровь из Христовых ран), как известно, не канонизирована церковью. Легенда (или апокриф) о Граале получила распространение главным образом на страницах западноевропейского рыцарского романа. От него она перешла по наследству к романтикам, преимущественно немецким. Похоже, что Зиберберг метит именно в романтизм: Гитлер выступает у него как достаточно естественное, пусть и незаконное, порождение высокой традиции. Бастард в своем роде. Конечный продукт в цепочке опосредований (в которой выделяется король Людвиг). Один из нацистов так отзывается о своем фюрере: «Гитлер — наш немецкий Спаситель, человекобог, арийский Лоэнгрин, Образ света на космических кругах мировидения, ниспосланная нашей планете карма немецкой сущности...»<sup>3</sup> Уже самый язык этого внутренне противоречивого высказывания дает представление о том, в какой, так сказать, системе координат оформился образ фюрера.

Легче всего сказать, что идейные и художественные системы XIX века неповинны в том, что кто-то их потом исказил и опошлил. Зиберберг, во всяком случае, так не считает. Горе-последователи в его фильме отбрасывают какие-то новые блики на хорошо известные, казалось бы, имена и произведения. Связь времен выявляется не только через действие предыдущих на последовавших, но и через обратное воздействие последовавших на предыдущих (доводимое порою до сюрреального: к примеру, король Людвиг цитирует Брехта). Эту сторону фильма правильно уловила Сюзен Зонтаг: «Гитлер осквернил романтизм и Вагнера, ретроактивно он посещает большую часть немецкой культуры XIX века»<sup>4</sup>. В самом деле, по-моему, сейчас трудно читать, допустим, Ницше теми же глазами, какими его читал даже С. Л. Франк в 20-е годы (работая над статьей «Фр. Ницше и этика „любви к дальнему“»).

Второй лейтмотив фильма такой: Гитлер не кончился в апреле — мае 1945-го.

«Аргументы» визуального ряда: отрывки из американского фильма о сурпермене, из другого фильма — о каких-то садистах в военной форме, истязующих непонятно кого, документальные кадры о террористах в ФРГ, о латиноамериканских «эскадронах смерти», об известном лидере одного из арабских государств, позирующем на фоне Гитлера, о молодежных бандах неопределенной национальности, шеголяющих повязками со свастикой, и т. д. и т. п. (глядя на них, думаешь о том, что минувшие полтора десятка лет подбросили бы автору еще немало материала в подобном же роде). Звучит знакомый лающий голос: «Все это происходит без меня! Bravo! Вы ликвидируете сами себя, толь-

<sup>3</sup> Не полагаясь на память, я обратился к сценарию, откуда все цитаты: Syberberg Hans-Jürgen. Hitler, ein Film aus Deutschland. Hamburg. 1978.

<sup>4</sup> Sontag Susan. Syberberg's Hitler. In: A Susan Sontag Reader. New York. 1982, p. 412.

ко не сразу, а постепенно, разве не так?» Зиберберговский Гитлер, маленький, почти смешной манекен с дырочкой в виске (след финального выстрела), бьет в ладоши — он доволен, он считает, что шаг за шагом берет реванш.

В унисон звучат и другие голоса. Геббельс (подлинный текст): «Все каналы, и я тоже. Но, как говорится, делать так делать — нам предстоит стать еще большими каналами». Это может быть прочитано как прямое обращение к будущему, то есть нашему, времени.

Голос Дьявола: «Германия — учитель всему миру». Имеется в виду: что было в Германии при Гитлере, то — или что-то похожее — ожидает и весь остальной мир.

Голос ведущего: «Германия Третьего рейха — только пролог к спектаклю». А спектакль, значит, еще впереди. Мир еще должен усвоить «уроки немецкого».

И еще голос — «из пустоты» (заменитель традиционного «голоса свыше?»): «Допустим, что мы стоим перед Гитлером, как некогда перед Христом, и слышим тот же вопрос: что будет с вами после меня? Ответим: Страшный суд с Дьяволом в роли главного судьи и, в итоге, веселый апокалипсис и чернейшая из всех возможных месс».

После такого дьявольского «концерта», обрушенного на голову зрителя, записи радиоголосов мая 1945-го, возвещающие о победе — ликующие, захлебывающиеся в Нью-Йорке, Лондоне, Париже, металлически-торжественный в Москве, — могут восприниматься, пожалуй, только иронически.

А если у иного зрителя остались кое-какие сомнения насчет того, в чью пользу в конечном счете решила дело история, то их должен развеять все тот же голос «из пустоты». Его последний, не подлежащий пересмотру вердикт: «Гитлер, ты победил!» Это похоже на иронический парафраз знаменитой (будто бы произнесенной перед смертью Юлианом Отступником) фразы: «Ты победил, Галилеянин!»

Фильм оканчивается тем же, чем начинался: Чаша-капля на фоне звездного неба, надпись крупными белыми буквами: «ГРААЛЬ». А перед тем в последний раз на экране появляется девочка. Ее появление предвзвещают тихие, почти райские звуки моцартовской музыки. У девочки закрыты глаза. Все, что она видела и слышала, — как дурной сон. Или же что-то вроде кэрролловского Зазеркалья. Только это очень страшное зазеркалье. И в отличие от Алисы, в конечном счете пробудившейся от своего сна в уютном мире привычных измерений, нашу девочку ничего такого не ждет. Нет ничего по сю сторону зеркала.

«Гитлер, фильм из Германии» встретил в ФРГ по меньшей мере холодный прием, и надо признать, что для этого есть основания. Во-первых, гитлеризм представлен у Зиберберга как чисто немецкое по своему происхождению явление, что несправедливо: на самом деле гитлеризм — лишь наиболее одиозная версия фашизма, которым в определенный исторический момент «заболела» чуть ли не вся Европа. Во-вторых, Зиберберг будто не заметил перемен, которые произошли с Германией после 1945 года, не заметил того, сколь глубокое отвращение вызывает у современных немцев (исключения лишь подтверждают правило) гитлеризм.

Но равным образом можно объяснить холодный прием чьим-то нежеланием поступить собственным душевным комфортом. Потому что если Зиберберг чего-то не заметил или не захотел замечать, то что-то он, напротив, заметил очень хорошо.

Честертон писал, что современность скользка, как угорь, и неуловима, как эльф. Таковую предстает она и в ее отношении к фашизму: его с треском изгоняют в дверь — и в то же время смотрят сквозь пальцы, когда он потихоньку вползает в окно, чтобы притулиться где-нибудь в уголке. Зиберберг отказывается смотреть сквозь пальцы. Зиберберговский Гитлер продолжается в настоящем, и, что самое неприятное, его далеко не всегда можно локализовать; он сидит «внутри нас» и ждет повода, чтобы выскочить и заявить о себе еще громче — быть может, громче, чем до 1945 года. Хайне Арендт принадлежит известное высказывание о «банальности зла» в наше жестокое время. Зиберберг показывает, как банализованное зло способно породить зло в квадрате.

По словам Мишеля Фуко, «фильм Зиберберга очень хорошо показывает маленькую щель, трещину в повседневном, через которую — без особых проблем, без всякого скандала — может ворваться ужасное»<sup>5</sup>.

Зиберберг по-своему логичен, когда из нынешнего положения дел выводит неизбежность появления какого-нибудь нового гитлероида, который устроит человечеству «веселый апокалипсис». Для него, Зиберберга, небо «пусто», а значит, никто и ничто не говорит о том, что человечество вообще зачем-то нужно. Вследствие какого-то изначального дефекта (первородный грех нигде не назван своим именем) оно стремительно движется по наклонной плоскости, и остановить это движение невозможно, так что лучше просто отдать себе отчет в собственной обреченности — в этом состоит «отрицательное откровение» фильма.

«Опасное и ослепляющее зеркало» — написал о «Гитлере...» французский критик Жан-Пьер Фэй<sup>6</sup>. Думаю, что это достаточно точное определение. Да, зеркало — ибо фильм поймал «ночное» выражение лица современного человечества, в первую очередь западной его части, относительно благополучной на первый взгляд. Опасное — потому, что это выражение выдается за последнюю гримасу истории в преддверии ее уже будто бы недалекого конца.

«Гитлер, фильм из Германии» с такой остротой поставил вопрос о фашизме, как никакое другое произведение. И все же Зиберберг — далеко не единственный, кого можно назвать в этом смысле алармистом; есть и другие. Чтобы не утомлять читателя, скажу еще только о повести известного американского критика-эссеиста (пробующего силы также и в жанре художественной прозы) Джорджа Стейнера «Как перевозили А. Г. в Сан-Кристоваль»<sup>7</sup>; в некоторых отношениях она существенно дополняет фильм Зиберберга.

Сюжет повести несложен. Группа израильских разведчиков, ищущая будто бы ускользнувшего в 1945 году из Берлина Гитлера, после долгих поисков находит его в крохотной индейской деревушке, в джунглях бразильской сельвы. Учитывая, что ледащий старикашка (действие происходит на пороге 80-х годов) может не вынести трудности пути, пролегающего через девственные леса и болота, принимается решение судить его прямо в лесу: «залом заседаний» служит небольшая поляна, а над головами судей возвышаются Кордильеры. Впрочем, ни судей, ни обвинителей, ни свидетелей читатель так и не услышит (и то правда, что с обвинением давно все ясно). Говорить будет только один человек — обвиняемый. Очевидно, что повесть и написана-то специально ради пространной речи Гитлера в защиту самого себя.

Основной мотив здесь тот же, что и у Зиберберга: Гитлер начинается издалека; но, в отличие от немецкого режиссера, Стейнер видит в нем продукт европейской и даже мировой, а не только немецкой истории. Первый учитель, которому Гитлер считает себя обязанным, — «Бог Синая», явившийся Моисею, чтобы поведать ему об особом «статусе» еврейского народа: «Моя идея — слепок с Его идеи, моя нетерпимость — отголосок Его нетерпимости». (Лишний раз здесь Гитлер подтверждает, что нет ничего на свете, что нельзя было бы исказить и употребить во зло.) Среди прочих учителей, тех, что значительно ближе и пониже рангом, Гитлер называет Дарвина, Гобино и других — больше иностранцев, чем немцев. Особенно интересными мне представляются указания на связь гитлеризма с церковной историей Европы. Церковь, не как учреждение, но в мистическом смысле этого понятия, есть «душа души мира и души истории» (о. Сергей Булгаков); поэтому ничего нет удивительного в том, что искажения кафоличности (вселенскости, объективности), допущенные христианскими Церквями в тот или иной период времени, резонируют через столетия порою самым неожиданным образом. Это очень большой вопрос, о котором надо говорить отдельно. Здесь я могу затронуть лишь проблему ада, на которую делает упор стейнеровский Гитлер. Мне уже доводилось писать, что нагнетание погустороннего страха западными Церквями на протяжении XIV — XVIII веков имело далеко идущие негативные последствия; и вполне

<sup>5</sup> Foucault Michel. Die vier Reiter der Apokalypse... In: Syberbergs Hitler-Film. Vien. 1981, S. 73.

<sup>6</sup> Faye Jean-Pierre. Faust, Teil III. In: Syberbergs Hitler-Film, S. 34.

<sup>7</sup> Steiner George. The Portage to San Cristobal of A. H. London. 1981.

вероятно, что идея лагерей смерти генетически связана также и с образами ада. Но самым негативным из всех негативных последствий (о чем у Стейнера не сказано ни слова) было наступившее затем «симметричное» иссякание по-стороннего страха, в нашем веке опустившегося значительно ниже уровня, необходимого для поддержания религиозности. А ведь сохранялся бы подобающий страх Божий — не было бы и фашизма!

Как на своих учителей Гитлер указывает и на некоторых, так сказать, практиков массового террора. Например: «Я ли изобрел концентрационные лагеря? Справьтесь об этом у буров». (Бурь, некогда вызывавшие восторг либеральной Европы, могли бы подтвердить, что они были первыми.) «Меня обвиняют в том, что я уничтожил шесть миллионов евреев... Ваши бельгийские друзья перебили или довели до смерти от голода и сифилиса двадцать миллионов конголезцев». (Цифра, насколько я могу судить, очень сильно преувеличена.) «Сталин уничтожил тридцать миллионов... Тем не менее Сталин умер в своей постели, и мир почтительно склонился перед останками тигра». (Как говорил Мефистофель у Гёте, «тут черту больше нечего сказать».)

Но, «воздавая должное» тем, кого он называет своими учителями, признает ли себя Гитлер по крайней мере выдающимся учеником? Нет, он и тут проявляет необычайную «скромность». «Вы, — говорит он, обращаясь к судьям, — пошли по пути грубых, истерических преувеличений, представляя меня безумным дьяволом, каким-то адским отродьем и квинтэссенцией зла. На самом деле я всего лишь человек своего времени. Средний его представитель, если вам угодно». Говоря о «своем времени», Гитлер отнюдь не считает, что оно закончилось в 1945-м; он убежден, что его время продолжается. Разве «Hitler-Welle», волна увлечения Гитлером, прокатившаяся по западным странам в 70-х годах, не подтверждает это? Разве не подтверждают это многочисленные гитлероиды, расплодившиеся в современном мире, не только на Западе? Ведь даже в Африке нашлись чернокожие диктаторы, объявившие себя последователями германского фюрера. «Холокост придал вам смелость быть несправедливыми», — бросает Гитлер как бы между прочим.

Стоп! Тут уже стейнеровский Гитлер противоречит сам себе. До сих пор мы видели, что он пытался как бы стусеваться на общем фоне. Но холокост явил собою принципиально новую инкарнацию зла, новое его качество, такое, о каком никто из названных им «учителей» (за исключением разве что Сталина) не мог бы даже и помыслить. Во-вторых, холокост действительно создал опаснейший прецедент, то есть «случай (цитирую толковый словарь), служащий примером или оправданием для последующих случаев подобного рода». С ослаблением религиозно-нравственных начал в современном мире прецедент стал играть очень большую и все возрастающую роль. Стоит где-то кому-то сделать что-то из ряда вон выходящее, как у него тотчас находятся подражатели. Без того, что сделано Гитлером, трудно представить очень многие военные и политические преступления послевоенных десятилетий. Разного рода диктаторам и путчистам, террористам и карателям, ценящим жизнь человеческую не более чем мыльный пузырь (тысячи, миллионы мыльных пузырей стоят столько же, сколько один-единственный), должна внушать уверенность одна и та же мысль: «Это можно, потому что это уже было». При Гитлере.

Я еще должен сказать, чем заканчивается повесть. Индеец-проводник, не понявший ни слова из сказанного, «выходит вперед и опускается на одно колено перед Гитлером, не обращая на него никакого внимания».

### Опознать фашизм

Очевидно, пришла пора заново определить, что же, собственно, такое фашизм. Ведь, поскольку речь идет о Западе, никаких объективных условий — если привычно считать таковыми условия социально-экономической и политической жизни — для распространения умонастроений фашистского типа вроде бы нет. В самом деле, что общего в этом смысле у нынешнего Запада с веймарской Германией или Италией начала 20-х годов?

Что касается экономических вопросов, то их отодвинула в тень еще теория тоталитаризма, получившая распространение в 50 — 60-х годах (и в значительной мере вобравшая в себя проблематику фашизма). И правильно сделала.



Наперекор марксистским схемам, вопросам организации производства, распределения и т. д. фашисты придавали третьестепенное значение; ни в Италии, ни в Германии их приход к власти не повлек за собою в этом плане никаких «революционных» перемен.

Теория тоталитаризма сыграла большую положительную роль в том отношении, что позволила сблизить два режима, гитлеровский и сталинский, которые многие, и не только коммунисты, считали тогда антиподами. В то же время она переключила все внимание на государственные институты, недооценив вопросы идейного, духовного порядка. Лишь на переходном к тоталитаризму революционном этапе этим вопросам придавалось серьезное значение; с отвержением институтов государства роль идеологии, с точки зрения теоретиков тоталитаризма, становилась чисто функциональной. Ханна Арендт, например, в «Происхождении тоталитаризма» очень интересно проследила, как сгушался фашизм в духовной, идейной атмосфере 20-х годов; но что, по ее мнению, происходило дальше? А дальше тоталитарное государство (как в Германии, так и в России), однажды встав на ноги, превратило идеологию в средство сохранения статус-кво. На смену энтузиастам, одержимым теми или иными идеями, пришли «более нормальные» люди, бюрократы типа Гимmlера или Молотова, «скучные» прагматики, отношение которых к идеологии — преимущественно инструментальное.

Даже в случае советского тоталитарного государства это верно лишь отчасти. А применительно к Германии структурно-функциональная модель подводит еще больше. «Скучный» Гимmlер главной своей задачей полагал «духовное обновление» немецкого общества, залезая при этом в такие мистические дебри, которые даже Гитлера заставляли морщиться; и он не был в этом смысле исключением. Некоторые западные историки вообще отказываются считать нацистскую Германию тоталитарным государством (предполагающим всеислие государственных институтов). Они находят, что Гитлер как раз нарушил традицию германской государственности, заложенную прусскими курфюрстами, освященную Гегелем и достигшую апогея перед первой мировой войной. И в этом есть свой резон. Сила государства — в его остойчивости (думаю, уместно употребить здесь этот морской термин). Но о какой остойчивости может идти речь, если один человек, самый главный, в любой момент может обратиться по радио к народу (который в этом случае выступает как публика, толпа, то есть как дисфункциональная по отношению к государству сила) и убедить его в чем угодно (Геббельс хвастал: если мы позовем их прыгать в пропасть, они будут прыгать).

Итак, сосредоточимся на идеологии? Но и здесь мы сталкиваемся с большими трудностями. Идеология национал-социализма отнюдь не представляла собою законченную систему (и в этом смысле не идет ни в какое сравнение с идеологией советского коммунизма, дотошно разработанной и дающей готовые ответы на все-все вопросы); собранная «на живую нитку», она оставалась достаточно подвижной и нескрываемо противоречивой. Немцы, кстати, довольно редко читали (и еще реже того штудировали) «Майн кампф»; они внимали живому Гитлеру и верили ему, а не тому, что он написал. А если мы обратимся к другим разновидностям фашистской идеологии, то заметим, сколь значительны отличия между ними. Так, расизм и антисемитизм, эти важнейшие составляющие идеологии национал-социализма (третья — крайний национализм), практически отсутствуют в итальянском фашизме. И, наоборот, в случае, когда достаточно выражен расизм, может отсутствовать национализм (французские «новые правые»). Легко было бы привести и целый ряд других доказательств «протеизма» фашистской идеологии.

Чтобы определить фашизм, придется спуститься глубже уровня идеологии. Тезис Вильфредо Парето о том, что всякая идеология есть рационализация каких-то глубинных, аффективных влечений, может быть оспорен в иных случаях, но в данном случае он вполне соответствует реальности. Фашизм рождается в тех слоях сознания (и подсознания), где стихийно совершается религиозный (в широком смысле) выбор и формируются сообразные с ним основные психологические установки. Иначе говоря, фашизм — это прежде всего дух фашизма. С понятием «дух» связано представление о чем-то ускользающем, «не дающемся в руки». Но в данном случае дух обнаруживает большую определенность, чем те идеологические одежды, в которые он, в зависимости от

обстоятельств, облакается<sup>8</sup>. Хотя он и не остается абсолютно тождественным самому себе, тем не менее степень постоянства, сохраняемая им на протяжении многих десятилетий, такова, что позволяет как следует его распознать.

Никоим образом не претендуя на всестороннюю характеристику этого феномена, я хочу назвать лишь некоторые, основные его приметы. Задачу опознания существенно облегчают нам европейские (и американские) писатели и поэты, религиозно (именно так) близкие фашизму и зачастую открыто ему симпатизировавшие (особенно если речь идет о периоде до 1945 года). Эти тайнозрители духа, уловители трудноуловимых шумов и вместе возбудители их больше нам говорят о фашизме, чем присяжные его запевалы.

Думаю, что перечисленных ниже примет будет достаточно, чтобы при случае можно было сказать: «Призрак, я тебя знаю».

Первая примета — неприятие истории. Здесь просматривается некоторая связь умонастроений фашистского типа с консервативной, аристократической традицией критики демократического и капиталистического общества — от де Местра и Карлейля до Леонтьева и Шпенглера. В этой критике было и остается немало такого, от чего нельзя просто отмахнуться. Веку демократии сопутствовали не только приобретения, но и потери. Поэтому нельзя считать аристократическую критику целиком бесплодной; в какой-то своей части она остается продуктивной — ставящей трудные вопросы, на которые рано или поздно должны быть найдены ответы.

Но еще прежде, чем мы замечаем аристократическую родинку фашизма, мы не можем не обратить внимание на его низкий лоб (причастность к нему немногих «высоколобых» не меняет дела: иногда ведь и большие художники работают в жанре примитива). Писатели романтического склада вроде Карлейля мечтали о героях, которые поведут за собой толпу. В XX веке толпа предпочла следовать за «героями», которые над нею не слишком возвышаются. Им, «героям», и следующим за ними толпам не под силу разбираться в «хитростях» и «тонкостях» исторического процесса; в то же время они отказываются в доверии «умникам», в чьи обязанности это как раз и входит. Фашизм ценит лишь «простые», механические решения вопросов исторического бытия. То есть именно те, которые на самом деле ничего решить не могут.

Никуда не уйти от факта, что мир, в котором мы живем, предельно сложен. Увы, это не леонтьевская «цветущая сложность» — это скорее жуткая запутанность, при мысли о которой легко могут опуститься руки. Но такова уж наша, то есть современного человечества, судьба: иметь дело с целым набором гордыевых узлов. Вероятно, есть среди них такие, которые можно и нужно разрубить мечом. Но есть и другие, которые необходимо терпеливо распутывать. Фашизм лелеет иллюзию, что можно создать некий хронотоп, где все будет, как говорится, один к одному и некий «естественный порядок» станет нормой жизни. Для этого надо, как сказал скульптор, «убрать все лишнее» — разделаться с врагами.

Враги или, точнее, враг должен быть точно указан. Почему «любимым врагом» Гитлера были евреи? В значительной мере потому, что это был очень «удобный» враг. Говорить своей аудитории, что национал-социализм противопоставит христианству и, с другой стороны, коммунизму — значило бы заставить их вертеть головой и хотя бы чуть-чуть шевелить мозгами; куда проще было сказать, что враги — евреи, которые придумали-де и христианство, и коммунизм. В принципе, евреев легко заменить кем-то другим — по национальному, религиозному, культурному или какому-то иному признаку. Важно лишь, чтобы враг был конкретно назван и локализован. Быку нельзя показывать две красные тряпки зараз.

При всей его неприязни к интеллигенции остается зависимость фашизма от мира идей и высокой культуры. Подвижная и неустойчивая масса, вытесняющая прежний народ, нуждается в идеях-чувствах — именно идеях-чувствах, а не просто идеях, — которые она принимает из рук близких и понятных ей «вождей». В свою очередь, «вожди» питаются со стола высокой культуры —

<sup>8</sup> Я не хочу этим принизить значение идейно-теоретической подготовки фашизма, без которой явление духа фашизма вряд ли было бы возможным.

как умеют. Ни Гитлер, ни Муссолини не были шибко начитанными людьми. Муссолини ставил себе в заслугу, что не прочел «ни единой строки Бенедетто Кроче»; зато расточал хвалы Д'Аннунцио и Пиранделло. Гитлер даже с Ницше знакомился больше в изложениях, а Шпенглера, говорят, вовсе не читал; скорее он был художественной натурой, как ни трудно это выговорить. В самом деле, человеку, который, впервые попав в двенадцатилетнем возрасте на вагнеровского «Лоэнгрина», прослушал его потом еще одиннадцать (!) раз, который знал наизусть почти всего «Парсифаля» и который даже в тяжелые для него дни второй мировой войны присутствовал на байрёйтских постановках, где, по свидетельству очевидцев, «забывал обо всем на свете», — этому человеку никак нельзя отказать в известной впечатлительности. Но, зная все или почти все о «подзарядке» и столько же о «разрядке», как связать одно с другим? Здесь приходится поставить продолжительное отточие.

Косвенно этот вопрос затронул Висконти в «Людвиге», хотя о национал-социализме и о Гитлере там не говорится ни слова. Баварский король, «заболе» Вагнером, стилизует под него свою частную жизнь, строя фантазийные замки, «отвечающие» духу «Тангейзера» и «Золота Рейна» («любовником лунного света» называет его насмешливая кузина). И вот мы видим, как некоторые идеи-чувства, попадая из горних сфер в плотную бытовую среду (хотя бы и королевского уровня), легко подвергаются порче: замки Людвиг — это «утонченный» китч, а его образ жизни, ограниченный рамками замкнутого мужского братства с гомосексуальными наклонностями, ничего общего не имеет с героикой вагнеровских музыкальных драм. Августейшая паранойя, как ее изображает Висконти, — явное предвосхищение другой, куда более тяжелой и зловещей паранойи. Людвиг, при всех его странностях, не был «вождем», он был «всего лишь» королем, что связывало его множеством условностей; к тому же он был «слишком» хорошо воспитанным и образованным человеком.

Свои претензии к Вагнеру Висконти мог бы адресовать романтизму в целом. Неубуданная мечтательность, которой предались романтики, не могла долго оставаться уделом избранных: рано или поздно в этот хоровод фантомов должна была втянуться толпа. Что такой оборот дела будет иметь последствия, далеко выходящие за рамки художественной сферы, предвидел Генрих фон Клейст:

Теперь способна будет править миром  
Разнузданная страсть любой орды.

*(Перевод А. Карельского)*

Но ведь именно романтики, включая самого фон Клейста, несут изрядную долю ответственности за то, что такое стало возможным. Конечно, здесь менее всего уместны прокурорские нотки. Романтизм (как мироощущение, а не только как направление в литературе и искусстве) возник в сложнейший исторический момент, когда европейское человечество поднялось на качественно новую ступень свободы. Отсюда свойственный ему род опынения, отсюда его метания между противоположными крайностями. Романтики вознесли до небес личность, создав культ гениальности, но они же воспели патриархальную народность, личность поглощающую. В русле романтизма заново была оценена глубина христианства, но в том же русле на место религии был поставлен эстетизм («религия искусства»). Романтиков отличало своего рода «революционное нетерпение», о котором говорит гётевский Эвфорион (в «Фаусте»), несомненная аллегория романтизма:

Хочу подпрыгнуть,  
Чтоб ненароком  
Небес достигнуть  
Одним наскоком!

*(Перевод Б. Пастернака)*

Но, простирая свои неокрепшие крылья «в ширь беспредельную», «новый Икар» падал в туманы оккультизма, восточного мистицизма и собственных безудержных фантазий, в которых, неожиданно для него самого, все чаще возникали мерзкие физиономии каких-то злых духов или по меньшей мере со-

мнительные физиономии сомнительных духов. В этом тумане происходили странные двоения: гениальная личность оборачивалась демоническим «магнетизером» (Э. Т. А. Гофман), патриархальный народ — завистливой и нетерпимой ко всему, что выходит из ряда, массой.

Романтизм заново открыл, что мир полон чудесного. И сам несколько растерялся от этого своего открытия (недаром Гёте изобразил Эвфориона прекрасным юношей, полным избыточных сил, но не ведающим, куда направить свои стопы). В пику веку Просвещения романтизм заново оценил мистериальный и мифический планы истории, но проявил равнодушие (в основном своем течении) к линейному ее ходу; более того, облюбовал именно точки разрыва (прот. Г. Флоровский имел основания сказать, что у романтиков — конкретно речь шла о немецких романтиках — осмыслен только выход из времени, а не само время). Особенно настойчиво проявляется антиисторизм у позднего Вагнера: тетралогия «Кольца...» — это не вздохи по временам давно минувшим, это вызов, брошенный текущей истории: сильные и вместе с тем элементарные, четко очерченные характеры, способные испытывать лишь простые, обещепонятные, «родовые» чувства, созданы в укор и поучение измелъчавшему и погрязшему в материализме «буржуазному» веку, как будто свидетельствующему о том, что история приняла дурной оборот и не худо было бы прервать ее нынешний ход и начать «все сначала».

Устойчивость или, скорее, возобновляемость некоторых черт романтического неприятия истории — преимущественно в «сниженных», вульгаризованных проявлениях — наглядно подтвердилась в последней трети нашего столетия: стихия оккультизма и восточного мистицизма (различных его версий) захлестывает западный мир, утрачивающий веру в Логос исторического процесса. Утилитарная, прикладная рациональность не сдает своих позиций, напротив, даже укрепляет их, а в то же время усиливается ощущение, что земная жизнь «объята снами», уносящими ее куда-то «в неизмеримость темных волн». История все более воспринимается как мистерия, но такая мистерия, которую все гуще окутывает Тьма Кромешная.

С неприятием истории связано отвержение христианства и попытка обновления языческого типа мирочувствия. Об этой примете фашизма как о самой важной писал Юнг в известной статье 1936 года «Вотан». Образ древнегерманского «бога грозы и неистовства» оказался у места как символ национал-социализма — на него навел Вагнер или, точнее, то внимание, какое проявила к Вагнеру новая власть. Полтора тысячелетия назад Вотан был низвергнут со своего пьедестала и «продолжал жить только в угасающих локальных верованиях в качестве призрачного охотника, которого можно увидеть проносящимся, подобно блуждающему огоньку, вместе со свитой сквозь бурную ночь»<sup>9</sup>. Но вот настал его час — Вотан пробудился к новой жизни. Феномен национал-социализма в интерпретации Юнга — месь Вотана, для которого вдруг открылась возможность восстать против Христа.

Все это так, но с одной существенной оговоркой. Нельзя объяснить национал-социализм, оставаясь в рамках психологии и не обращаясь к истории. Отчего вдруг возымел силу древний архетип? Что побудило ворона, охранявшего Вотана, который, как говорят, спал на горе Кифгайзер, возвестить ему о наступлении утренней зари?

Один из возможных ответов мы найдем в романе известного нашему читателю Мишеля Турнье «Лесной царь»<sup>10</sup>. Это повествование о судьбе французского военнопленного, в начале второй мировой войны вывезенного в Германию на трудработы. Странный попался военнопленный: очутившись в стране победителей, он, в отличие от своих товарищей, испытывает лишь «тайную радость». Правда, Абель Тифож (так зовут героя) совсем неплохо устроился в плену: сначала он служит егерем в охотничьем заповеднике в Восточной Пруссии, принадлежащем лично Герингу, а потом младшим воспитателем в военной школе, в той же Восточной Пруссии. Но это уж автор так позаботился о нем: герою надо было создать условия, чтобы в «стране пребывания» он мог

<sup>9</sup> Юнг Карл Густав. О современных мифах. М. 1994, стр. 215.

<sup>10</sup> Tournier Michel. Le Roi des aulnes. Paris. 1970.

уловить самое важное, не отвлекаясь на разные «мелочи жизни». А самое важное состоит в том, что Германия или, точнее, та восточнопрусская глушь, куда попадает герой, есть «страна чистых сущностей». В мире цивилизации, считает Тифож, мы имеем дело с символами, слишком удаленными от сущностей; к тому же их, символов, слишком много и они «наезжают» друг на друга, мешая читать «книгу жизни». Зато здесь, в восточнопрусской глуши, можно нащупать прямые связи между первоэлементами мира, в частности, животной и растительной плотью и тем «лесом символов», в котором извечно плуствует человек. Иногда и нащупывать не нужно, все становится ясно само собой. К примеру, «геральдические» животные в охотничьем заповеднике как бы сами заявляют о тех значениях, какие надлежит им иметь в человеческом восприятии: лев «говорит» прежде всего о силе и храбрости, бык — об упрямстве и силе, и т. д. — все ясно, двух мнений на сей счет быть не может. Поистине обетованный край: символы извлекаются, так сказать, живьем прямо из «крови и почвы».

Сам Абель Тифож превращается в символическую фигуру, когда по своей любимой привычке сажает себе на плечи очередного мальчишка или девочку. Кого эта долговязая персона напоминает? Может быть, святого Христофора, который однажды, водрузив на себя подобным образом Младенца Христа, перенес Его через реку? Автор выдвигает такую идею — и сам же ее оставляет. Нет, «форическое» (несущее) назначение Тифожа иное. Само название романа подсказывает ответ. Скорее это тень гётевского Лесного царя, уносящего приглянувшегося ему ребенка в таинственную чашу<sup>11</sup>.

Новое отношение к миру природы, укрепившееся в европейском человеке, — вот что побудило встрепенуться ворона с горы Кифгайзер. Вопреки тому, что обычно думают, процесс секуляризации совсем не обязательно ведет к исчезновению сакрального из человеческой жизни; напротив, чаще мы наблюдаем, что сакральное, спустившись с небес, стихийно облекает то, что прежде считалось профанным. Если вы исключили из природы Бога, не обязательно видеть в ней мастерскую: вы можете остановиться на идее сакрального космоса, несколько подновив античный ее вариант (впрочем, идея природы как мастерской тоже предполагает сакрализацию некоторых понятий — бесконечного прогресса, всесилия науки и т. д.). В таком случае мир станет для вас царством самозаконных стихий, перед которыми человеку остается лишь трепетно преклониться. Как это делает, например, Т. Глушкова в энергичной статье о Леонтьеве («Наш современник», 1990, № 7): «Ища, вырабатывая свое мнение о Константине Леонтьеве, мы увидим лишь, как, прогибаясь, удаляется горизонт, мы вернемся к той же «необозримо широкой» тургеневской степи, что уходит «в бесконечную даль», мы увидим все то же огромное, «низкое, багровое солнце». А какова истина степи? (Пустыни? Бури? Мальштрема?..) Она, эта степь, сама — истина» (в последнем случае разрядка моя. — Ю. К.). (Между прочим, сам Леонтьев так не думал.)

Сакрализация природы несопоставимо богаче представления о ней как о мастерской. Лес, например, — это ведь не только запас древесины и пространство для охоты на диких зверей; он полон вещей, повитых загадочностью и о чем-то говорящих человеку. Говорящих, но... не договаривающих. Турнье прав: человеку (животному символосозидающему, по известному определению) в лесу «уютнее» в том смысле, что его здесь окружает искони знакомая ему символика. Но ведь символ по самой своей сути есть отсылка к чему-то, частью чего он является. Иначе говоря, лес «шумит» (как и степь нашептывает, и Мальштрем ревет) о чем-то, что бесконечно больше его самого.

Не начинается ли фашизм с того, что природа мыслится тождественной самой себе, а затем человек, как «часть природы», призывается к тому, чтобы ей «соответствовать»? (Другое дело, что подобный образ мыслей совсем не обязательно приводит именно к фашизму.) Конечно, и соответствовать можно

<sup>11</sup> Знаменитое стихотворение Гёте известно русскому читателю в переводе Жуковского, смягчающем образ Лесного царя. Это прекрасно показала Марина Цветаева в небольшом этюде «Два „Лесных царя“». Жуковский, пишет Цветаева, создал нечто поэтически равноценное оригиналу, но — иное; «из глади своих карих, добрых, разумных» глаз он не увидел в Лесном царе гётевского жуткого демона, не передал в своем переводе магической жестокости того потустороннего мира, который представлен в оригинале (Цветаева М. Соч. в 2-х томах, т. 2. М. 1980, стр. 463).

очень по-разному; все зависит от того, какую вам представляется природа. Вы видите в ней красоту, гармонию? Это естественно; особенно в наше время, когда «человеческий фактор» проявил себя как дезорганизующий, энтропийный. Стоит, однако, приглядеться к ней попристальнее, как открывается другая природа — «обернувшаяся адом...» (полагаю слишком известными строки Н. Заболоцкого, чтобы продолжить цитату).

В русле фашизма основная «идея» природы — «борьба за существование» (дарвиновский след; хотя дарвиновскую теорию происхождения видов фашизм не принимал как материалистическую). Эзра Паунд (поплатившийся тринадцатилетним заключением за сотрудничество с Муссолини), расценивавший фашизм (справедливо) как становящуюся религию, а себя самого видевший одним из ее жрецов (быть может, даже верховным жрецом), высказывался еще категоричнее: главное «достоинство» природы — жестокость. Самое меткое олицетворение природы, в глазах Паунда, — холоднокровная Артемида, владычица зверей и одновременно богиня охотников, луком искусно владеющая и «шумом ловить веселящаяся», надзирательница над лесами и вдобавок защитница целомудрия (в «Ипполите» Еврипида она покровительствует презревшему женскую любовь Ипполиту). Но бедная Артемида! Ей шагу не дают ступить, постоянно напоминая о кем-то зачем-то придуманном сострадании. Великую досаду богини выражает ее «плач»:

Увядают леса, и причиною тому сострадание.  
Гибнут нимфы — их убивает сострадание.  
Зато много дурного сохраняется благодаря состраданию.  
Сострадание оскверняет Весну.  
Где прекрасные существа, составлявшие мою свиту?  
Их отняло у меня сострадание,  
Запретившее им убивать<sup>12</sup>.

Заметим, что даже в языческом пантеоне Артемида олицетворяет собою лишь одно из природных начал (другие выражают, например, Гера, Афродита). В христианской традиции жестокость природы объясняется искажением ее изначальной сущности. Земля проклята за человека, но в ней разлито и некое томление — смутное ожидание того, что именуется «пакибытием». «Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих...» (Рим. 8: 19)<sup>13</sup>. И, конечно, в христианстве совершенно иное представление о положении самого человека в природе. Будучи органической частью природного мира — «всеживотным», по выражению о. Сергия Булгакова, человек в то же время не уместяется в его рамках — «выглядывает» из них. Даже у поэта, для которого Бог полускрылся в природе, об этом сказано достаточно ясно:

И отчего же в общем хоре  
Душа не то поет, что море,  
И ропшет мыслящий тростник?

Человеку дано много больше, чем любой иной твари, — но отсюда его «болезнь» за весь тварный мир (а не просто чувство причастности к нему). Пример в этом отношении подают святые, в житийных повествованиях часто изображаемые «со зверями», то есть в попечении о них и «дружеских» отношениях с ними. То же и с растительным миром. В русском фольклоре, например, даже лес, пользующийся меньшим «фавором» в сравнении со степью (ибо в лесу слишком много затаилось нечистой силы), или, точнее, находимые в лесу «честные древа и купины», такие, как ива и береза, рябина и калина, вызывают влюбленно-жалостливое отношение к себе (и называются всегда уменьшительно: ивушка, березонька и т. д.). В русских духовных (народных) стихах можно встретить молитвы и о синем море, подавляющим большинством русских людей никогда в глаза не виданном.

Разумеется, человек вынужден также «есть» природу — с этим ничего не поделаешь. К сожалению, сугубо прозаическая часть его отношений с нею не-

<sup>12</sup> Pound Ezra. Cantos. New York. 1930.

<sup>13</sup> Близкий взгляд находим и у романтиков. Согласно Новалису, природа являет нам искаженную картину прежнего своего существования, но в ней ощущается и стремление к восстановлению изначальной полноты.

померно разрослась за счет других сторон, человек зашел слишком далеко, постоянно распался свои аппетиты и в результате самого же себя поставив перед угрозой гибели<sup>14</sup>. Но сколько бы он ни набедокурил, его нельзя «задвинуть» в природу — у него иной онтологический статус.

В русле фашизма сакрализованный космос привлекает не равновесием своим, а «борьбою за существование». Задача человека состоит в овладении магическими силами посредством техники, рассматриваемой как модификация природных сил. Фактически мы сталкиваемся здесь с той же «волею к власти» над природой, что характерна вообще для современной цивилизации. Культ машины и машинной мощи создавали даже такие «органически» мыслящие поэты, как Э. Паунд и Г. Бенн, не говоря уже о Э. Юнгере и Ф. Маринетти. В природе они ценили не мягкость ее, но твердость — звериное наступающее и поедющее начало. И проецировали такое видение природы на человеческое общество.

Природа выше истории, учил Эзра Паунд. И вся беда современного человечества в том, что оно слишком отдалилось от природы.

Отвращение к современной цивилизации как якобы насквозь прогнившей — общая черта умонастроений фашистского типа, особенно на раннем, революционном этапе фашистских движений. Оно может проявляться самым непосредственным образом: бродяжничеством, уходом «на лоно природы». Даже в суровом краю, откуда осенью улетают перелетные птицы, жить в лесу лучше, чем в «скучных» городах с их «бонбоньерочным» бытом — таково кредо героев Кнута Гамсуна. (Тяготение престарелого Гамсуна к национал-социализму вряд ли было неизбежным, но и совершенно случайным его назвать тоже нельзя.)

Германский фашизм начинался с довольно-таки невинных культурнических движений преимущественно эскапистского характера, таких, как «фёлькише» (от Volk — народ) и «младодвижение». О том, что представляло собой, например, «младодвижение», в романе Турнье рассказывает один из бывших «младодвиженцев», ставший со временем членом НСДАП и эсэсовцем. «Это, — говорит он, — прежде всего был акт, посредством которого молодое поколение отмежевывалось от своих отцов... Мы бросили им в лицо грязное наследство, которое они хотели нам навязать. Мы чохом отвергли их искупительную мораль, их затянутых в корсет жен, их душливые квартиры, набитые драпировками, портьерами и пуфами с кисточками, их дымящие заводы, их деньги. Собираясь маленькими группами, оборванные, в продавленных, но украшенных цветами шляпах, с гитарами и песнями, мы открывали великий и чистый немецкий лес с его родниками и нимфами<sup>15</sup>. Убрать здесь корсеты и пуфы с кисточками, приметы «прекрасной эпохи», — и можно подумать, что речь идет о бунтующей молодежи конца 60 — начала 70-х годов (сближение у Турнье, ставящее целью сделать «младодвиженцев» понятнее и симпатичнее для современного читателя).

Далеко не все, кого увлекали туманные идеалы «младодвижения» или «фёлькише», со временем облачились в коричневые рубашки. Но, с другой стороны, о тех, кто в «великом и чистом немецком лесу» угодил в дьявольские чащобы и болота, никак не скажешь, что они случайно «сбились с пути». Никогда нельзя предугадать, чем может обернуться безоглядное доверие к «родникам и нимфам». Подобным же образом поэтизация природных начал, которую дебютировали «дети цветов» 60 — 70-х годов, вовсе не случайно изошла волнами вульгарного натурализма (стремления стать «ближе к природе» — не только там, где надо, но и там, где совсем не надо этого делать), ныне столь заметно «блещущего» на театре западной культуры.

<sup>14</sup> Учтем и грубое вмешательство количественного фактора: безудержный рост населения ставит вопрос о том, что Земля сможет выдержать лишь определенное количество людей. Перспектива дальнейшего сокращения жизненных благ в расчете на душу населения в обозримом будущем будет лить воду на мельницу фашизма. Рамки настоящей статьи не позволяют задержаться на этом вопросе.

<sup>15</sup> Юнг писал о «младодвиженцах» (присовокупив к ним «странников» иного рода — безработных): «К 1933 году они перестали странствовать; вместо этого сотни тысяч принялись шагать стройными рядами» (Указ. соч., стр. 214). Такова здесь диалектика: душа, поставившая себя на место духа, в конечном счете прилепляется к механической бездушной силе.

Ну а что делать, если потенциального фашизоида не тянет «на лоно природы» — как, например, героя «Путешествия на край ночи» Луи Селина? (Роман, впервые вышедший у нас в 1934 году и давно ставший библиографической редкостью, издан в новом переводе в 1994-м.) Ему приходится дышать всеми миазмами цивилизации, а надо признать, что у Бардаму (так зовут героя) какой-то особенный нюх именно на миазмы. Он, как губка, впитывает все гнилостные испарения, чтобы убедить читателя: то, что называется западной цивилизацией или западной демократией, — сплошная показуха; всё и вся здесь только прикидывается, что имеет смысл, на самом же деле — разлагается сверху донизу. Для ваящей убедительности герой не находит нужным дистанцироваться от окружающих, какими они ему представляются; он — «как все», пожалуй, даже хуже большинства других (разве что в отличие от других он откровеннее наедине с собой). И поклоняется он общему, как он полагает, для всех богу, к которому обращается с характерной «молитвой»: «Бог, что считает минуты и деньги, Бог, отчаявшийся, похотливый и хрюкающий, как боров, что валяется где попало брюхом кверху и всегда готов ластиться, — вот он, наш повелитель. Подем же друг другу в объятия».

Не следует, однако, считать Селина всего лишь певцом распада и абсурда, «наслаждающимся грязью» (как сказал бы Гераклит); в нем угадывается своеобразный моралист (я окончательно убедился в этом, познакомившись с его откровенно профашистскими и антисемитскими памфлетами времен гитлеровской оккупации, отбрасываемыми на «Путешествие...» как бы обратный свет). Когда Бардаму говорит: «Замолкла у нас музыка, под которую плясала жизнь», — он уже косвенно постулирует: нормальным является для общества такое состояние, когда у него есть своя «музыка», которой жизнь подчиняется, под которую «пляшет»; другой вопрос, что это за «музыка». Не случайно Селин отмежевывался от декадентов любого толка. И в пацифисты он был зачислен лишь по недоразумению. Бардаму ведь сам рвется на войну (первую мировую), увлеченный звуками военного марша: «Хочу посмотреть, похоже ли это на правду!» Это оказалось не похоже на правду, но отсюда еще не следует, что в войне правды нет вообще (замечу, что лично Селин, служивший в экзотически-красивых для нашего века кирасирских частях, проявил себя совсем неплохим воякой).

Весьма похожим образом совсем недавно Эдуард Лимонов «обманывал» публику своим «Эдичкой», по-своему отдававшим дань «богу-свинье» (с иной, чем у Селина, мерой таланта и с совершенно иной мерой свинства). Стоило перемениться у нас декорациям, как в нем пробудился суровый «гражданин» (в книге «Убийство часового. (Дневник гражданина)» — М. 1993), чьи идеалы теперь — «римский центурион-красавец», солдат в униформе, с «твердыми принципами и твердой рукой» и с «железом подбитыми сапогами».

Грань между фашизмом и декадансом (в широком смысле атмосферы «конца века») подвижна; при этом очевидна зависимость первого от второго. Можно определить фашизм как попытку преодоления декаданса изнутри самого декаданса. Разве не замечательно, что все сколько-нибудь крупные художники, своими средствами «продвигавшие» фашизм, — декаденты-авангардисты (авангардизм, как известно, может считаться разновидностью декаданса)? Но столь же замечательно, что в некий момент своего роста фашизм отвергает практически все формы декаданса-авангарда.

Фашизм — это регрессивный морализм, что дает ему известное право называть себя «духовной революцией». Да, фашизм — враг материализма, это так же верно, как и то, что дух его — самого невысокого полета. Ему не видно неба, поэтому он ориентируется исключительно на «сторожевые огни» племени, рода или того, что сегодня может их заменить. Он хочет восстановить моральный порядок самого элементарного — родо-племенного, полисного типа, огнем и мечом истребляя все, что ему противоречит<sup>16</sup>.

<sup>16</sup> Христиане тоже подвергают современную цивилизацию моральному суду и в конечном счете тоже не представляют себе, чтобы дело могло обойтись без огня и меча — но только потусторонних. Флоровский: «И вот, такая опустошенная, извращенная, лживая и ложная действительность таинственно приемлется в вечность, хотя и в муках неугасающего огня» (Флоровский Г. В. Тварь и тварность. — «Православная мысль», 1928, № 1, стр. 183). Этика христианства вознеслась высоко над родо-племенной этикой (оставив все,



Вот эта открывающаяся возможность и даже необходимость что-то и кого-то истреблять ведет к тому, что моральное ядро фашизма, уже само по себе изначально ущербное, легко обрастает разного рода нечестью. Вчерашние подонки, облачившись в мундир, автоматически становятся «защитниками морали». Это напоминает простую травестию, какую мы видим в «Кабаре» Фосса: вульгарные шансонетки на сцене кабаре, когда меняется режим, выходят в тирольских костюмчиках и шляпках, а потом в касках и с «ружьями».

По сути, фашизм бросает вызов всей двухтысячелетней истории христианского человечества. И, может быть, даже больше чем двухтысячелетней. В германском фашизме, во всяком случае, ощущается тяга не просто к языческому, но архаическим временам. Идеал, например, Готфрида Бенна (единственного из крупных немецких поэтов, кто приветствовал приход Гитлера к власти) — Итака, какую она изображена в «Одиссее». Прочитую выразительный финал его «программного» рассказа «Итака», написанного еще в канун первой мировой войны: «Мы устремляемся на (мифологический. — Ю. К.) Север, оглядываясь на высокие холмы Юга. Душа, душа, шире расправь саженные крылья! Больше грез! Больше хмеля! Наш клич — Итака и Дионис!»<sup>17</sup>

Архаика часто вызывает у современного человека умиление — как вызывает умиление младенец, что бы он ни делал, какие бы гримаски ни строил. Но если не допускать скидок на возраст, придется признать, что архаические общества чертовски жестоки, причем не только по отношению к врагам, но и по отношению к своим собственным членам: достаточно вспомнить о человеческих жертвах, приносимых богам, об уничтожении «неудавшихся» детей и «не-нужных» стариков<sup>18</sup>. Эзра Паунд (по своему умонастроению более близкий, пожалуй, национал-социализму, чем итальянскому фашизму) отдавал себе в этом отчет, призывая вернуться не к сребролуким и лилейнораменным олимпийцам (ныне воспринимаемым скорее сквозь призму классической эпохи, чем сквозь призму Гомера), но к «рогатым богам» германских лесов.

Архаические общества, согласно Паунду, представляют собою естественное «продолжение» природы, но в них сильнее выражено мужское начало, которому в природе противоречит женское, будто бы более подверженное воздействию разного рода болезнетворных микробов. Тема утрированной мужественности постоянно возникает в культуре фашизма: достаточно обратить внимание на безвкусные мужские торсы, ставшие привычным атрибутом нацистских выставок, плакатов и т. п. Это мужественность самостоящая, отрезанная от женственности (поскольку такое вообще возможно), формация времен Арминия или Чингисхана, заговорившая под слоем тысячелетней культуры. (Что ей развязало язык? Ответы, опять-таки, надо искать в истории, в частности, в протестантском отказе от культа Богоматери, своею небесною женственностью смягчавшей грубую земную жизнь.) Жестокость и агрессивность — ее обязательные атрибуты.

Эхо — сегодняшний Лимонов: есть «идеальный тип поведения самца человека», существующий издревле, лучше других его описал, согласно одной из легенд, Чингисхан: задача мужчины — и одновременно высшее его наслаждение — состоит в том, чтобы (пересказывает слова завоевателя Лимонов) «победить своих врагов, гнать их перед собой, вырвать у них все, чем они владеют, увидеть купающимися в слезах лица дорогих им близких людей, оседлать их лошадей, сжимать в объятиях их дочерей и их супруг». Думаю, что даже Чингисхан был все-таки несколько разностороннее.

Лимонов косит в сторону желтолицей Азии, что естественно для наших неоевразийцев. Но примерно в ту же сторону косят и европейские предтечи фашизма, в борьбе с трансцендентным Богом ищущие поддержки на Дальнем Востоке.

---

что было в ней ценного), но (или, точнее, именно поэтому) она не может быть навязана силой. История — процесс заведомо «рискованный», предполагающий постоянную борьбу божественного начала с демоническим; его можно попытаться направить, но его нельзя запрудить.

<sup>17</sup> Benn Gottfried. *Gesammelte Werke*. Bd. 2. Wiesbaden. 1960.

<sup>18</sup> О шокирующей современной человека (или, точнее, человека XIX века) жестокости архаических обществ (в Греции и не только там) см. обстоятельное исследование Л. Воеводского «Каннибализм в греческих мифах» (СПб. 1874).

Эзра Паунд четко определяет самые несимпатичные для него географические зоны — это Палестина и Индия, где Бог некогда был решительно отделен от мира природы. (Впрочем, с буддизмом фашизоидная мысль имеет нечто общее: веру в множественность миров и в кругооборот времен.) Напротив, самая симпатичная страна — конфуцианский Китай, привлекающий своей «заземленностью». Здесь с Паундом совпадает Готфрид Бенн: Китай для него — место, где «жизнь не предана духом». Это надо понимать так, что в конфуцианском обществе дух не «мешал» жизни течь в ее «собственном» (имманентном, природном) русле.

Замок Вевельбург (напомню, что это была столица «черного братства» СС, его «духовный центр»), в свою очередь, тяготел к ламаистскому Тибету. Такой выбор можно объяснить и тем, что Тибет был «открыт» на Западе относительно поздно. «Страна вечных снегов» приглянулась наследникам Арминия Германца уже тем, что оставалась (в то время) практически не затронутой цивилизацией. В рамках ламаизма сохранялись и сейчас еще сохраняются сильные пережитки шаманства. Эсэсовцев, как говорят, привлекала бестрепетность, с которой ламы вызывают страховидных демонов, отличающихся редкой жестокостью и чрезвычайно многочисленных в ламаистском пантеоне. В этом отношении замок Вевельбург предвосхитил нынешние массовые увлечения: хорошо известно, какое место в современном масскульте занимает Тибет с его старыми шаманскими «штучками» (вроде танцующих трупов) и новыми оккультными практиками, насколько я могу судить, никак не связанными с буддизмом.

Сколь ни жестоки архаические общества, современные их имитаторы обязаны быть вдвое, вчетверо жесточе: ведь, с точки зрения фашиста, современный мир слишком «запущен», его надо «очистить» и «очистить», чтобы привести в соответствующий вид. Слишком много на свете людей, которым жить вообще не стоит (это опять Эзра Паунд); поэтому жалость, милосердие в человечестве еще менее уместны, чем в природе. Селин: «Жалость, мы гнали ее, вытравляли из тела. Загнали ее к самому выходу из кишечника вместе с испражнениями». Когда речь идет о восстановлении таких вещей, как «порядок» и «красота», неэстетичностью кишечных аналогий можно и пренебречь. Нашел же один из «ученых» референтов Гимmlера следующее определение для лагерей смерти: *anus mundi* (заднепроходное отверстие мира).

За те двенадцать лет, что Гитлер находился у власти, в Германии только еще начинала складываться какая-то новая вера. Сразу покончить с христианством было очень трудно, едва ли вообще возможно. Формулируя свои взгляды, и Гитлер и Муссолини заявляли о себе как о решительных противниках христианства, но, взобравшись на самый верх, они вынуждены были идти на компромиссы: слишком глубокие корни пустило христианство в обеих странах за полторы тысячи лет. С другой стороны, значительная часть христиан, католиков и особенно протестантов, захваченная веяниями времени или введенная в заблуждение своеобразным морализмом коричнево- и чернорубашечников, сама подыгрывала им. Дело доходило до того, что в нацистской Германии Христа представляли «голубоглазым арийским героем», вооруженным огромным мечом, отчего его легко было спутать, скажем, с Зигфридом.

Гитлер считал, что нужно время для того, чтобы создать «нового человека», который будет, по его словам, «наводить ужас» (из выступления 1934 года). «Черное братство» СС должно было в этом отношении служить не только школой, но и питомником в прямо биологическом смысле слова. Я имею в виду известный институт *Lebensborn* — выращивания «породистых людей» по евгеническим рецептам (то есть путем временного спаривания наиболее обещающих особей). Стоит заметить, что даже у Гитлера и Гимmlера евгенический подход вызывал некоторые сомнения: во-первых, слишком явно здесь выпирал, наперекор спонтанной природе, волюнтаризм и сциентизм; во-вторых, слишком грубо попиралась половая мораль, которая даже в архаических обществах обычно жестко связывалась с институтом брака.

Фактически немцы жили все эти годы в атмосфере двоеверия. Они смотрели в рот своему фюреру (гофмановскому «магнетизеру» с замашками тибетского шамана), принимали за чистую монету любые «последние известия» на радио, предваряемые музыкальной фразой из «Полета валькирий», верили, что

шеястые Зигфриды и щекастые Брунгильды, изображенные на плакатах, — это они сами в их «истинно немецкой сущности», и в то же самое время продолжали дышать воздухом иной — «старой», настоящей на христианстве — культуры: они слушали песни Шуберта, ходили в кино на сентиментальные фильмы «про любовь», умилялись ангелоподобным детишкам, смотревшим на них с полотен времен «бидермайера», хранили в медальонах локоны любимых... Они верили, что только в книгах могут существовать злодеи, которые (подобно гофмановскому же персонажу) крадут детские глаза на прокорм своему отродью. Это от них — не менее, чем от всего остального мира, — были спрячтаны в «ночь и туман» лагеря смерти. А когда «ночь и туман» рассеялись, подавляющее большинство немцев почти так же ахнуло, как и все те, с кем они воевали.

В «Лесном царе» Турнье его герой воспринимает лагерь смерти как результат какого-то злого колдовства или оборотничества: с изумлением открывает он «некий inferнальный Город, как две капли воды похожий на тот форический Город, о котором он мечтал...». Такая концовка романа (и всего-то несколько строчек о самом главном!) оставляет впечатление двусмысленности. Не было ли оборотничество досадным недоразумением на правильном пути? Следует ли бояться Лесного царя «в короне и с хвостом» (так у Гёте)? Или зов: «В тот лес! Домой!» (воспользуясь словами Цветаевой) пересиливает осторожность, шепетильность и что-то еще? Автор бросает читателя в этом интересном месте, не удастая его ответом. Захлопываешь книгу с ощущением, что Лесной царь по-прежнему тебе «кивает из темных ветвей».

А ведь Гитлер и в самом деле был в некотором роде мессией: он наглядно показал всему человечеству, какими ледяными могут сделаться объятия природы, лишенной трансцендентного Бога.

**Религиозная переориентация — причина и одновременно следствие нового отношения к смерти.**

Секулярное Просвещение попыталось было исключить мысль о посмертном существовании, но даже в образованной среде преуспело в этом не до конца. Наверное, даже у самых отъявленных материалистов где-то в сокровенных областях души остается некоторое беспокойство (пусть и не вполне осознаваемое) по поводу того, «что будет дальше». Так или иначе, на пороге XX века кажущееся торжество материализма вызвало в литературе и искусстве декаданса своеобразную реакцию: она выразилась в новом чувстве смерти.

Согнанная, так сказать, с привычного и достойного ее места и выставленная через переднюю дверь, смерть возвращалась через черный ход. Она обволакивала собою все живое, проникала внутрь самых сочных плодов «мира сего», как червяк, от которого никто и ничто не может оборониться. В рассказе Габриэле Д'Аннунцио с характерным названием «Tempus destruendi» («Время разрушать»; опубликован у нас — вероятно, впервые после 1917 года — в двухтомнике Д'Аннунцио, вышедшем в 1994 году) смертью не только дышит море, на берегу которого разыгрывается действие, — ею дышит голубое итальянское небо в самые сияющие дни жаркого лета. Смерть таится на дне любви; даже аромат кожи возлюбленной почему-то ассоциируется с воображаемым ароматом смерти.

В лоне христианства мертвое «пахнет» живым. В литературе и искусстве декаданса, напротив, живое «пахнет» мертвым.

Очень характерны в этом отношении многие полотна Арнольда Бёклина, любимого художника Гитлера. Основной их мотив — хрупкость цивилизации, обреченность всего человеческого, в особенности же нежного (например, обнаженного женского тела), изящного, возделанного. Бёклин умел передать какое-то предсмертное оцепенение. Мы видим его и в «Венере», на которой зибберберговский «Гитлер...» фиксирует внимание зрителя. Венера как Венера, и младенцы с цветочками над нею парят в воздухе, как полагается. Но стоит она на голове какого-то морского чудовища — видны только его глаза, выступающие над поверхностью воды, выпученные, злые. Одно легкое ныряющее движение этой страшной башки — и не будет ни Венеры, ни младенцев. А море... Море у Бёклина всегда очень выразительное: могила, способная поглотить всё и вся.

Но предсмертное оцепенение в любой момент может взорваться непредсказуемым актом отчаяния. В «Tempus destruendi» герой не в состоя-

нии отделаться от навязчивой мысли: то ли убить себя, то ли ее (в том и другом случае убийство пришлось бы назвать безмотивным). И очень кстати работающие неподалеку крестьяне напоминают о себе своими песнями, в которых герою слышится «вакхическая мощь». Отголоски «пира Диониса». Да, конечно, здесь не обошлось без базельского филолога. Ницше первым воззвал к Дионису как единственному из греческих богов, кто мог бы служить «помощником в смерти». Все остальные олимпийцы пустыми глазами провожали умирающего в царство теней, не будучи в силах чем-то облегчить для него этот переход.

Заметим, что не случайно Дионис не был отнесен к числу главных олимпийских божеств. Греки жили родовой жизнью, а это значит, что они близко ощущали свою причастность к природному круговороту рождений и смертей; поэтому и умирание у них не лишено было некоторого эпического спокойствия (тем более что печальный Аид все-таки не тождествен «чистому» небытию; кое-кому туда даже удавалось достучаться). Лишь с разложением родового строя и родовых представлений у греков пробуждалась беспокойная мысль о том, что же на самом деле ожидает человека «за дверью гроба». Но тогда у них возникли элевсинские и орфические таинства, в которых было уже предчувствие христианства.

Современное европейское человечество, в той мере, в какой для него затуманилась грандиозная перспектива Страшного Суда, оказалось в тупике. Пути назад, в греческую эпиду, для него не существует уже потому, что оно для этого слишком атомизировано (крестьянский хор, к которому прислушивался герой Д'Аннунцио, даже в начале столетия замирал, а к концу его умолк навсегда). Впереди — пустота. Смерть с «легкой» руки Фрейда олицетворяет крылатый Танатос «с бронзовым сердцем» (так у греков), сын Ночи. Вглядываясь в черноту ночи («своей собственной ночи», говорит у Селина Бардамо), можно при сильном желании углядеть в ней череду кармических превращений или что-нибудь в этом роде, но за ними опять же — пустота.

Фашизм стремится наперекор всему найти какой-то субститут родовой сплотки, но тень вечной ночи ложится на нее, придавая ей сумрачный вид (отчего, например, фашисты всех национальностей так любят ночные факельные шествия?). В этом смысле фашизм не может уйти от декаданса, как бы ему этого ни хотелось: он ценит песни, воспевающие здоровье и силу, но к ним упрямо примешивается нота саморазрушения и гибели. Более того, на самом стрессе фашизма бурлит не слишком скрываема жажда собственной гибели. Вот тут-то и возникает призрак Диониса. «Я люблю того, кто не умеет жить иначе, кроме как во имя собственной гибели...» Ницше, которому принадлежат эти слова<sup>19</sup>, видел в Дионисе бога экстазов, позволяющих острее ощутить все напряжение жизни, которая, по Ницше, сама «хочет» смерти.

Свою ноту в это ощущение жизни-смерти внес Эзра Паунд:

Мотылька зовут горы,  
А бык, дитя творящей природы,  
Слепо кидается на меч.

Пусть мотылька тянет в горы — у него и жизнь мотыльковая, «несерьезная». А вот бык, «налитой жизнью» самец, ищет смерти именно по причине избытка жизненности.

Это, повторяю, новое отношение к смерти. Греки знали, что состояние экстаза (в частности и в первую очередь экстаза боя) облегчает переход в мир иной. Но экстатическая смерть оставалась для них явлением «периферийным», более или менее случайным. И кстати, в культе Диониса они находили (как и египтяне в культе Осириса) предчувствие не только смерти, но и «нового рождения». Другое дело новоевропейский человек, упустивший «журавля», который уже был в его руках, — христианское обетование вечности. В своем глубинном отчаянии он видит наилучший выход для себя или, точнее, «из себя» в экстазе — бесцельном растворении в стихиях мира. А если он и всю европейскую цивилизацию считает неудавшейся, он и ее «приговаривает» к скорому и тоже, может быть, экстатическому концу: так совершается переход от ис-

<sup>19</sup> Ницше Фридрих. Так говорил Заратустра. М. 1990, стр. 12.

ступленного самоожжения у фон Клейста (предварившего его реальное самоубийство) к «Гибели богов» Вагнера, финал которой представляет собою картину космического всесоожжения, не оставляющего на сцене даже богов.

Такое отношение к смерти ярко проявилось у Гитлера, как бы сфокусировавшего в себе весь национал-социализм (вероятно, правы те исследователи, которые утверждают, что без Гитлера национал-социализм остался бы малозаметным движением, так же как и итальянский фашизм без Муссолини). Известно, в какое возбуждение приходил фюрер, когда ему доводилось видеть на киноэкране эффектные картины разрушения, будь то кадры из военной хроники или из художественных фильмов (вроде, например, нацистского фильма «Мечь Вотана», где под ударами германской авиации гибнет Нью-Йорк). А когда военные действия перекинулись на территорию Германии, экстаз разрушения плавно перешел у него в экстаз саморазрушения: перед ним витали картины «Гибели богов», служившие ему готовым «образом конца».

Примечательно, что и задолго до войны, когда ему еще все удавалось, картины разрушения больше привлекали Гитлера, чем картины созидания. Будучи, к примеру, любителем архитектуры, он принимал участие в планировании «городов будущего» (готовился ведь «тысячелетний рейх» как-никак), но что его при этом больше всего интересовало? Оказывается — как они будут выглядеть... в руинах. Под стать Гитлеру были и те, кто за ним шел. Не кто иной, как Эрнст Юнгер, признал, хотя и с большим запозданием: «Все это иступленное ликование, каким сопровождался его (Гитлера. — Ю. К.) приход к власти, на самом деле было вызвано перспективой небытия, которую каждый приветствовал во имя свое праздником чистого нигилизма. Ужасно, что музыка крысолова — безумный голос на гулком фоне — мне самому поначалу показалась гармоничной» (запись в дневнике, сделанная в октябре 1944 года)<sup>20</sup>. Вероятно, в фашизме есть подспудное чувство невыполнимости в конечном счете тех задач, которые он перед собою ставит, что еще усугубляет его мрачный настрой, а с другой стороны, усиливает жесточенность (обязательная примета всех фашистских движений).

Увы, «гибель богов» — тех, которым поклонялись фашисты, — не состоялась в 1945-м вопреки ожиданиям победителей. И то чувство смерти, которое мы находим в фашизме, нигде не исчезло, скорее оно даже усилилось. Равно как и апокалиптические настроения, заглушенные было после 1945 года, но вновь обострившиеся примерно с конца 60-х годов (рассуждая о том, сколь отлична нынешняя Европа от Европы 20 — 30-х годов, не забудем, что в этом отношении картина складывается едва ли не более мрачная, чем тогда).

Откроем роман «Белый шум» заметного американского прозаика Дона Де Лилло, принадлежащего к поколению «детей цветов»<sup>21</sup>. Профессор истории по имени Джек Глэдни изучает «проблему Гитлера». О его работах читателю несколько раз сообщают как о «новаторских» и «продвинутых»; хотя в каком направлении они продвинуты и благодаря чему могут считаться новаторскими, остается совершенно не ясным. Вот, к примеру, как сам профессор рассказывает о своем выступлении на конференции «по Гитлеру»: «Я говорил главным образом о матери Гитлера, о его брате и его собаке. Собаку звали Вольф. Я сообщил немало сведений о Вольфе, еще больше о матери и брате, кое-что об обуви и носках, которые носил Гитлер, о его отношении к джазу, пиву и бейсболу. Конечно, я не забыл о самом Гитлере». Это чисто маскультовский подход к фигуре Гитлера, над которым автор откровенно подсмеивается, хотя как будто ничего против него не имеет. Маскультовский Гитлер чаще всего — «человек из толпы», ничем особенно не отличающийся от других. Магия образа в том, что за этим ординарным, «домашним» обликом встает необыкновенный злодей, «чудовище», «людоедский бог».

Дома разговор с женой: «Они проиграли войну, — сказала она, — как же можно считать их великими?»... Простодушное дитя своей нации считает великими тех, кто выигрывает! Но продолжу цитату. «Величие тут ни при чем» (отвечает Джек Глэдни). «Так же, как и добро и зло. Можно взглянуть на это так. Некоторые люди надевают мундир, отчего чувствуют себя больше, силь-

<sup>20</sup> Jünger Ernst. Second journal parisien. 1939 — 1945. Paris. 1980, p. 333.

<sup>21</sup> Don De Lillo. White Noise. New York. 1987.

нее, увереннее. Я постоянно об этом думаю». Далее выясняется, что интерес профессора к Гитлеру — отнюдь не только академический. Дело в том, что его постоянно преследует страх собственной смерти и ему кажется, что Гитлер умел каким-то образом освобождать от этого страха. Как именно — уточняет его коллега, у которого, оказывается, тоже маячит перед глазами собственный гроб. Всего-то навсего надо убивать других людей, видеть, как они «корчатся в пыли, истекая кровью». Экстаз пролития крови изгоняет мысль о собственной смерти.

Де Лилло намеренно ироничен (это подчеркивается тем, что дикие речи вкладываются в уста двух университетских профессоров) и провокативен. Однако эта провокация — не от избытка художественного воображения и вообще не от хорошей жизни.

Но оставим университетских профессоров, у которых все сводится к разговорам. Обратимся к массовой культуре. Экстатическое переживание жизни, по достижении некоторого градуса сминающее рубеж между нею и смертью, прочно вошло, скажем, в мир эстрадной музыки; особенно характерно оно для рок-концертов, нередко оканчивающихся форменной истерикой. Здесь, правда, есть одно (по крайней мере) существенное отличие от истерики фашистского типа: эротизм. Помнится, идеологи «нового стиля чувствований» конца 60-х годов даже специально противопоставляли экстазы эротические («любовь») экстазам агрессивным («фашизм»). А в «Ночном портье» Кавани «плохие» фашисты, мечтающие вернуть прошлое, демонстративно противопоставлены «хорошему» фашисту, занимающемуся «любовью», хотя бы и садистской. Эротизм призван вытеснить агрессивность по свойству сообщающихся сосудов. Но это уже, так сказать, плохая физика. Эротизм и агрессивность не столько мешают, сколько помогают друг другу; противостоит же им возгонка (сублимация), облагораживающая природный «материал», из хаоса инстинктивных влечений рождающая — космос. Без такой возгонки можно сколько угодно упираться на эротизм — все равно на дне его будет пульсировать страсть к разрушению, а в конечном счете и к саморазрушению.

При всем том культура Запада свято блюдет принцип «всему свое место». На киноэкране, скажем, истерика никого не удивит, она вполне допустима на рок-концерте, где-нибудь еще, но совершенно недопустима в других местах. Кажется, Запад достиг подлинной виртуозности в деле укрощения различных зверей или, на худой конец, ограждения их определенными вольерами. Но что будет дальше? Достаточно ли прочны вольеры?

Сорок с лишком лет назад выдающийся немецкий философ Романо Гвардини, анализируя трагический опыт фашизма, писал о «нечестности нового времени», которое постоянно ведет двойную игру: с одной стороны, отвергает христианство, а с другой — стремится присвоить все, что оно дало человеку и культуре. Тем, кто считает себя свободным от Откровения, продолжал Гвардини, «придется честно вести жизнь без Христа и без открывшегося в Нем Бога и на своем опыте узнать, что это такое. Еще Ницше предупреждал, что не-христианин нового времени еще не имеет понятия, что значит на самом деле быть не-христианином. Истекшие десятилетия уже позволяют составить об этом некоторое понятие, но они — только начало. И дальше: «Там, где грядущее обратится против христианства, оно сделает это всерьез. Секуляризованные заимствования из христианства оно объявит пустыми сантиментами, и воздух наконец станет прозрачен. Насыщен враждебностью и угрозой, но зато чист и ясен»<sup>22</sup>.

Время показало, насколько пророческими были эти слова: воздух действительно становится все более «прозрачным», насыщенным враждебностью и угрозой. Приходится констатировать, что на уровне душевных состояний, и особенно подсознательных влечений, фашизм скорее укрепляет свои позиции, чем теряет их. Другое дело, что на уровень «кристаллизаций» он пока еще не пробивается: кроме воспоминаний о том ужасном, что связано с фашизмом, мешают еще и крепость существующих институтов, и давние либераль-

<sup>22</sup> Гвардини Р. Конец нового времени. — «Вопросы философии», 1990, № 4, стр. 160, 162.

ные традиции, и сохраняющееся, хотя бы в силу инерции, влияние христианства, и боязнь перемен при нынешней сытой жизни.

Очевидно, что нынешняя Россия в этом отношении гораздо более уязвима.

### Опять «слабое звено»?

Разбираясь с советским наследством, трудно не учуять в нем сильный фашистский дух, хотя и в составе довольно сложного «букета». Не будем, однако, слишком торопиться с выводами. Предоставим историкам следующие столетия: их ожидает кропотливая работа по «различению духов». Пока же мы можем позволить себе лишь некоторые довольно приблизительные умозаключения.

Копившая силу на протяжении 20-х годов и победившая в 30-х «консервативная революция» — феномен, безусловно, родственный фашизму и в то же время имеющий очень существенные отличия. Прежде всего наша «консервативная революция» вышла из недр другой революции — той, что называла себя мировой и пролетарской, — и сохранила многие ее отметины. Оборотень удержал те черты первоначального облика, отсутствие которых сделало бы оборотничество слишком очевидным. Далее, фашистское движение — это движение городских масс, а в нашей стране авансцену истории заняли преимущественно выходцы из крестьян, что и предопределило многие особенности «русского пути».

Противостояние варварство — цивилизация имело у нас несколько иной вид, чем на Западе. В России не было необходимости специально расталкивать, будить древние архетипы; эту работу выполнила революция, имевшая следствием страшное опрощение и огрубение жизни: с проявлениями варварства, хуже того, дикости можно было встретиться на каждом шагу. Зато российский крестьянин, и прежде не избалованный цивилизацией, в общем и целом ничего против нее не имел, напротив, зачастую с детской доверчивостью тянулся к ней; особенно когда она подтверждала свое могущество разного рода научно-техническими «чудесами». В конце концов, и социализм со всеми его «программами», «тезисами» и «тенденциями» воспринимался как высшее достижение цивилизации, как явление «нового света», ради которого стоит поломать язык (герои А. Платонова, например, так и делают: они будто заново учатся говорить). Поэтому и все позитивистское (в широком смысле слова) и прогрессистское наследие XIX века встретило у нас благожелательный прием, и добрым духам гуманизма — малопонятным, но как будто безвредным — нашлось соответствующее место.

В то же время декаданс или то, что за него принималось, вызывал у нас столь же решительное неприятие, как и у фашистов; с той разницей, что российский крестьянин, даже освоившись в городе, с декадансом был знаком издалека и понаслышке. И морализм, возобладавший у нас в 30-е годы, — это тот же узкий, с изуверской изнанкой морализм, что так характерен для фашизма. Энергетический центр советского мифа — эдакий затаившийся в лесной чаще нераскаившийся Кудеяр («Русский лес» Л. Леонова; можно, разумеется, подставить на место этого образа какой-нибудь другой), олицетворение некоего цельного, непотревоженного духа, источающего силу, неразрывную с жесткостью: новый моральный порядок требует в первую очередь безжалостного уничтожения «гадов», всей «подлой нечисти», мешающей «строительству социализма».

Демонстративное преклонение перед сеятелями «разумного, доброго, вечного» не было у нас деланным, но не было и сколько-нибудь глубоким. И разве не скрывалось за внешним почитанием книжности презрения (совсем как у фашистов) к людям книжной культуры? Наука, например, нужна была, как разрыв-трава, открывающая подземные клады, а самих ученых не грех было содержать и в «шарашках».

Российского строителя «нового мира», а лучше сказать — «нового царства», отличала, пожалуй, большая психологическая крепость, устойчивость. Психологический тип фашиста — более «нервный». И понятие «вождизм», предполагающее наличие переменчивой или по крайней мере нуждающейся в «поддержании духа» толпы, характерно именно для фашизма, а не для советского режима, что-то сохранившего от эпической неторопливости. У нас был

не вождь, у нас был — лжецарь. Фашизм не смог вполне освободиться от не-симпатичного ему декаданса; это сказалось прежде всего в его чувстве смерти. У нас страх смерти, который, в принципе, не мог не обостриться по мере того, как народ отпадал от Христа, до поры до времени смягчался сильными пережитками родового чувства преемственности и, с другой стороны, неведомым фашизму историческим оптимизмом — силою «ветра всеобщей стремящейся жизни», как сказано у Платонова.

Какова у нас вероятность фашизма в будущем?

Все зависит от того, насколько удалось «выкопать глаза твои кроткие», Русская земля (Ремизов).

Ход истории за минувшие восемьдесят лет создал накопления и отложения жестокости, покамест все еще продолжающие расти. В революционные и первые пореволюционные годы особи в кожанках и с маузерами, от которых в любой момент можно было ждать чего угодно, еще выглядели исклечениями на общем фоне. В 30 — 40-е «герои» со стиснутыми зубами и играющими желваками становятся уже привычными фигурами советской мифологии, показывающими пример молодежи, — это пограничники, чекисты, партийные функционеры и даже «организаторы производства». Их нынешние наследники, «крутые» всех мастей, больше заняты своими делами, но попутно вносят вклад в «общее дело» продолжающейся трансформации русского национального типа, когда-то отличавшегося (при всей его сложности и противоречивости) мягкостью и отзывчивостью.

Что дальше? Кто придет следующим? Может быть, лимоновские «псы войны» с их гиперболической мужественностью и костяной твердостью, перед которыми стушуются степняки Чингисхана?

А ведь и в старой России вроде бы не было недостатка в мужественных людях. Разве можно отказать в мужественности, скажем, пушкинскому капитану Миронову или толстовскому Тушину? Умели воевать на равных с кем угодно на свете.

Нельзя не заметить, что в некоторых отношениях Россия только теперь «дозревает» для фашизма. Сейчас у нас все решают городские массы, состоящие из атомизированных (и потому уже не могущих чем-либо «смикшировать» перспективу собственной смерти) индивидов, значительная часть которых в любой момент готова качнуться в ту или иную сторону. К нам пришло, наконец, глубокое разочарование в прогрессе (копившееся с некоторых пор, но до последних лет чаще всего остававшееся безотчетным), со всеми вытекающими отсюда последствиями. Наступает время самых диких суеверий и необузданных фантазий, стихийного богоискательства и богостроительства, зачастую сопряженного с полнейшей невежественностью в религиозных вопросах. Это тот «бульон», в котором, между прочим, поспевают и фашизм. Мы, таким образом, успешно «догоняем» западные страны в части уязвимости перед лицом (мордой) фашистской угрозы, не располагая при этом или недостаточно располагая теми противоядиями, которые выработаны у них.

Опять «слабое звено»?

Говорят, правда, что величайшая в истории война (хотя величие ее — скорее мрачное), которую наша страна вела против блока фашистских государств, оставила в генетической памяти народа глубокое отвращение к фашизму. Хорошо было бы, если бы так. Но что-то не похоже, чтобы нарождающиеся поколения близко к сердцу принимали события, для них почти столь же отдаленные, как и война с Наполеоном.

Судя по всему, у нас сейчас происходят перемещения пластов исторического сознания, схожие с теми, что наблюдал Юнг в Германии 20 — 30-х годов. Времена минувшие напоминают о себе, не считаясь более с соображениями субординации. Так, заговорили давным-давно, казалось бы, присмирившие духи язычества. Вероятно, многие из тех, кто поэтизирует сейчас восточнославянское язычество, плохо представляют себе звериный лик древнего Хмеля-Ярилы. Возможно, они не знают, что «русальские» пляски в Купальскую ночь (исступленностью своей схожие с некоторыми нынешними плясками африканского происхождения) заканчивались ритуальными утоплениями девушек. Что языческие «болваны» периодически требовали человеческих жертв и даже



«добрая» Макошь, «мать — сыра земля», еще не согретая христианством, не обходилась без зарезанных ей в угоду детишек.

И «весна священная» русского декаданса, оставаясь явлением сугубо элитарным, «башенным», вольно или невольно воспроизводила языческий холод, в котором иногда вызревали весьма ядовитые плоды. Чего стоит в этом смысле один только Роман Унгерн, остзейский барон и казачий офицер, ученик одновременно Ницше и тибетских лам, быть может, первый законченный психологический тип фашиста на русской почве! Волею небес ему суждено было стать «диктатором Монголии», и то лишь на короткое время, а мог бы сделаться — в иных исторических обстоятельствах — властелином всея Евразии, да таким, что заставил бы поблкнуть самого Гитлера.

Не забудем, что даже крещеная Русь сохраняла в душе темный уголок, где постоянно «хаос шевелился». В роковые моменты исторических разломов отсюда вырывалась на волю стихия разинщины и пугачевщины. Эту стихию сознательно вызывали проповедники «мирового пожара» пролетарской революции. И, наверное, ее можно вызвать еще раз и канализовать в ином направлении.

Между прочим, финальная сцена всесожжения в «Гибели богов», по некоторым сведениям, была подсказана Вагнеру очень русским человеком Бакуниным (по другим сведениям — навеяна чтением Шопенгауэра).

Говоря об угрозе фашизма в нашей стране, я отнюдь не имею в виду ближайшие выборы или следующие или период между ними. В принципе, возникновение какого-то фашизоидного режима нельзя, наверное, исключать в любой момент, но такой режим будет слишком непрочным. Население «от потрясенного Кремля до стен недвижимого Китая» пребывает в состоянии глубокой растерянности и не готово сплотиться под чьим бы то ни было знаменем. Реальная угроза маячит в туманной перспективе — там, где закончится нынешняя прагматическая интермедия.

«La Russie se recueille». Это известное выражение А. М. Горчакова, обычно переводимое как «Россия сосредоточивается», допускает иной перевод, не вызывающий военной-полевых ассоциаций: «Россия собирается с мыслями». В масштабе целой страны данный процесс не может быть скорым: он обязательно растянется на многие годы.

Пока что русский фашизм делает свои первые шаги, осваивая соответствующий идейно-теоретический и практический опыт Запада. Особенно старается журнал «Элементы», главное внимание уделяющий публикации текстов европейских мыслителей фашизоидного типа, старых и новых. Среди них К. Шмитт и А. Мюллер ван ден Брук, Дж. Эвола и Ф. Маринетти, А. Мёлер и А. де Бенуа. И даже О. Вейнингер, ценимый за «радикальную мизогинию». И мэтры оккультизма вроде К. Хаусхофера. Не забыты и шанхайские подражатели Гитлера и Муссолини. Крайние выводы сделаны из трудов старых евразийцев: будущее принадлежит «людям длинной воли» типа Чингисхана. Пока что все это объедки и опивки с чужих пиров; но дальше, глядишь, подадут и какое-нибудь свое оригинальное варево (например, попытаются «привнудить» к фашизму православие). Надо отдать должное редактору журнала А. Дугину: он «зрит в корень», понимая, что главная его задача — постепенное завоевание умов, а не поощрение каких-то скоропалительных авантюр.

В «Балладе о Даурском бароне» Арсения Несмелова барон (Унгерн) уверенно сидит в седле, покуда каркает ворон на черной сосне. Умолкнет ворон — не станет и барона. Эту метафору сегодня можно понять так: заставит ученый «ворон» прислушаться к своему карканью — тогда и очередной «помаанник собственной силы» сможет рассчитывать на успех.

В чем можно не сомневаться, так это в том, что соблазны фашизоидного образа мыслей в обозримом будущем окажутся достаточно сильными. Даже в случае успеха экономических реформ, значительного повышения уровня жизни и т. д. Будет этому способствовать атмосфера стихийного натурализма, обманчивая «трезвость» физиократического взгляда на вещи (в наше время «открытая» в сторону сакрализации космоса и разного рода оккультных идей). Конечно, многих оттолкнут связываемые с фашизмом «эксцессы». Но пугливым всегда можно сказать, что «эксцессы», дескать, совсем не обязательны,

что из того, что некая наседка снесла однажды тухлое яйцо, еще не следует, что все остальные яйца будут тухлыми, или что-то другое в этом духе (впрочем, Дугин, тот честно признается, что «эксцессы» неизбежны).

И чем громче, чем настойчивее будет карканье, тем меньше будет слышно голубиное воркование гуманизма в регистре такого уже далекого от нас XIX века.

Хорхе Луис Борхес, в котором периодически пробуждался христианин, в рассказе «Рагнарёк» («Гибель богов» по-древнескандинавски) описал следующий сон — картину возвращения языческих богов:

«Столетия дикой и кочевой жизни истребили в них все человеческое; исламский полумесяц и римский крест не знали снисхождения к гонимым. Скошенные лбы, желтизна зубов, жидкие усы мулатов или китайцев и вывороченные губы животных говорили об оскудении олимпийской породы. Их одежда не вязалась со скромной и честной бедностью и наводила на мысль о мрачном шике игорных домов и борделей... И тут мы поняли, что идет их последняя карта, что они хитры, слепы и жестоки, как матерые звери в облаве, и — дай мы волю страху или состраданию — они нас уничтожат.

И тогда мы выхватили по увесистому револьверу (откуда-то во сне взялись револьверы) и с наслаждением пристрелили Богов».

Придет ли настоящий день, когда этот сон станет явью?



---

---

# В МИРЕ ИСКУССТВА

АЛЕНА ЗЛОБИНА

\*

## ДРАМА ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА

Пролог

**С**уществует множество разных странностей, к которым мы привыкли и потому не замечаем; среди таковых — специфика театральной хронологии и вообще понятие театрального сезона. В отличие от нормального жизненного процесса, идущего без остановок, жизнь театра продолжается от осени до весны, после чего наступает пауза. Перерыв. Антракт. Почему, вопроса не возникает: это вроде как природа, существующая по календарю. То есть специалист, конечно, может объяснить, да и неспециалист способен догадаться: поскольку раньше театр имел в виду преимущественно избранную публику, а она проводила летние месяцы в поместьях либо «на водах», театральный сезон открывался и закрывался одновременно с сезоном светским, частью коего и состоял.. Но теперь-то все уж давно не так; теперешнему зрителю положен один свободный месяц в году, и города в период отпусков не пустеют. А театр, вместо того чтоб работать, как все, по скользящему отпускному графику — благо и разросшиеся труппы позволяют, — сохраняет прежний режим, отстраняясь от общего потока и тем провоцируя на регулярное подведение итогов. Которые, собственно, вовсе не обязаны быть. Но это провокационное требование финального жеста напрямую связано с самой сущностью театра.

Конец, естественно, присутствует у всего, что развивается во времени — включая произведение искусства. Но финальная точка в тексте или выплывающие на экран слова «Конец фильма» — совсем не то, что финал театрального действия, который не состоится, если зритель не отметит его рукоплесканиями. Даже когда рукоплескать решительно нечему, публику настойчиво побуждают к аплодисментам, включая в представление срететированные финальные выходы, продуманно выстраивая эффекты прощальных мизансцен... Аплодируют, положим, и в концерте, но это другая песня: там исполнитель, выходя на поклон, не выходит из образа, не вскакивает под покровом искусственной тьмы с подмостков, где лежал убитый, — чтоб лететь, улыбаясь, к рампе.

Межсезонный перерыв — тот же театральный эффект: сезон закрывается как занавес, требуя зрительской эмоции в ответ. Правда, в отличие от публики, цивилизованно позабывшей про такие милые формы отклика, как свист (не говоря уж о гнилых помидорах), критики вполне способны выразить свое неудовольствие. Но для тех, чья жизнь — сцена, любое проявление интереса лучше, чем равнодушные...

Эти общие слова сегодня приобретают добавочную актуальность. Театр, в течение нескольких лет изнывавший от невнимания, нынче снова оказался на перекрестье пристальных взглядов. Конечно, не так, как оно было до свободы, когда мы именно за глотком свободы и рвались куда-нибудь на Таганку или даже на «Заседание парткома». И не так, как в пору расцвета гласности, когда все сцены захлестывал, с одной стороны, громокопящий вал политики, а с другой — шквал эксперимента. Сегодня в моду вошла прагматическая философия успеха — при том, что реальных успехов (если иметь в виду состояние общества) не наблюдается, а есть только «люди успеха» плюс социально одобренное стремление. Театр же таковым стремлением жил всегда — будучи искусством публичным и эфемерным. Это поэт или художник может, в расчете на вечность, гордо сказать сам себе: «Ты царь: живи один», актерам же с режиссерами и не снилось предложить зрителям: «Подите прочь!» А потому естественно, что именно театр оказался «назначен» на новую роль: являть общественному сознанию образ, а вернее, вывеску успеха.

Как из рога изобилия, на него посыпались призы и награды: «Хрустальная Турандот», «Золотая маска», «Золотой Софит», премия им. Яблочкиной («Актер года»), премия (или две? — запутаешься в них!) им. Станиславского, премия Фестиваля Смоктуновского и просто премия им. Смоктуновского... Нет, я вовсе не против увенчания заслуг. И не хочу сказать, что награждают недостойных — иные и очень даже достойны. Но. Лавровый лист, как известно, хорош в качестве приправы — готовить блюда исключительно из лавра покамест никому в голову не входило. А три десятка артистов-лауреатов, полдюжины «лучших» спектаклей и «лучших» режиссеров, не считая художников, педагогов, критиков, драматургов, а также тех, кто удостоился наград «по совокупности»: за «многолетнее служение», за «выдающийся вклад», за «честь и достоинство профессии» — и все за один только год... ей-право, это уже лавровая каша. Похоже, скоро не останется сколько-нибудь заметного театрального деятеля или явления, не получившего свой приз. В силу чего происходит стремительная девальвация премий как таковых и сообщение об очередной раздаче воспринимается уже чисто юмористически. Но раздатчиков сие не смущает — тут идет своя игра: игра в успех, своеобразная форма лицедейства, призванная утвердить новую концепцию жизни.

Не случайно и то, что театр охотней всего спонсируют. Тихие музеи и библиотеки бедствуют без денежной помощи. На издание нормальной литературы тоже не жаждут раскошелиться. Закрываются галереи. Перестают выходить солидные журналы — в том числе, кстати, и театральные: серьезный, «ведческий» разговор про искусство напрочь лишен демонстративной театральности и потому имеет мало шансов быть оплаченным.

Иное дело спектакль: он почти столь же презентативен, как популярная светски-ритуальная игра под названием «презентация», нужная, в сущности, лишь для публичной демонстрации успехов, или как издаваемые с похожей целью гляцевые яркокрасочные «Домовые», «Империялы», «Салоны», «Новые джентльмены» и прочие обильно расплодившиеся журналы для, про и на деньги new Russians.

Премьер появляется много: только крупные репертуарные театры выпустили за минувший сезон порядка девяноста. Неудивительно: все чаще и чаще на программах можно увидеть заветные слова: «Спонсор спектакля...» Спасибо, конечно, новым богатым за поддержку искусства — но, повторяю, поддерживают они тем самым и себя: свой образ успеха, выставленный на свет рампы, под обязательные аплодисменты.

Аплодисменты, однако, тоже бывают разные. Так, с недавних пор рукоплескания широкой публики почти неизбежно совпадают с пренебрежительным молчанием или шиканьем критики. И наоборот: критические восторги достаются спектаклям, которые оную публику погружают в гнев или в сон, — а впрочем, она там редко случается. В связи с чем любопытно взглянуть на итоги экстравагантного опроса, проведенного газетой «Дом актера»: профессиональным «ведам» было предложено выстроить московских режиссеров по... воинским рангам — от рядового до маршала. Так вот, «высших чинов» удостоились: Петр Фоменко («генерал-лейтенант»), который в последние годы откровенно предпочитает малые сцены — и «Без вины виноватые», и «Великолепный рогоносец» идут перед несколькими десятками зрителей; Анаголий Васильев («генерал-майор»), который вообще почти переселился за границу и лишь изредка привозит свои спектакли, чтобы показать избранному кругу поклонников; Кама Гинкас («полковник»), только в этом сезоне из-за границы вернувшийся и поставивший «К. И. из „Преступления“» в «Белой комнате» ТЮЗа, вмещающей человек сорок. А Галина Волчек, чей «Пигмалион» шел с неизменными аншлагами, получила всего лишь «младшего лейтенанта»; а Александр Горбань, чьими стараниями заполняется обширный зал «Сатирикона», вообще остался без офицерского звания.

Такое резкое расхождение во вкусах молодые критики воспринимают почти как норму. Старшие — нет: они ведь с молоком матери впитали убеждение, что искусство принадлежит народу, да притом еще помнят времена, когда театральные профессионалы и любители были вполне солидарны, и пока первые пели хвалу Эфросу, Любимову или тому же «Современнику», вторые терпеливо стояли в очередях или толпились у входа в надежде на лишний билетик. Объясняется это минувшее единодушие просто: компенсаторной ролью искусства, подменявшего собой общественную жизнь, плюс естественной тягой к гонимому, с неудовольствием дозволенному — к рбкой фронде, короче. Когда же запреты рухнули, выяснилось, что собственно искусство интересно немногим. Недаром и художественная

жизнь сосредоточилась внутри себя: в многочисленных галереях нынче не встретишь никого, кроме самих художников, искусствоведов да десятка примкнувших банкиров, — а какие толпы собирали первые выставки авангарда! Недаром изменился и круг чтения в «самой читающей» — о чем свидетельствуют многомиллионные тиражи детективов и дамских романов, для критики как бы не существующих. И в этом смысле мы, пожалуй, догнали Запад, где культура и масскультура равно существуют по отдельности.

### Действие первое. Театр на рынке

*Картина первая. Успех.* Признанное как факт разделение не мешает существовать пламенной мечте о соединении рыночной и художественной ценности. Театру в этом плане повезло больше, чем той же литературе. Ни один из наших писателей не сумел еще и капитал приобрести, и невинность соблюсти — а вот паратройка спектаклей, на ура принятых критикой и публикой, все же наличествует. Прежде всего это «Чайка» Марка Захарова, вообще неплохо освоившего сложную науку сидения на двух стульях: имеющего то есть и коммерческий, и профессиональный успех. От критиков ленкомовский руководитель получил звание «подполковника», занявши место непосредственно за тройкой элитарных новаторов. В то же время его театр — единственный в Москве, из кассы которого билеты улетают в первый же день продажи... Следующим номером можно поставить «Жертву века» — под таким названием выпустил «Последнюю жертву» (майор) Андрей Гончаров. При всей несхожести двух режиссеров в их спектаклях явно присутствует нечто общее. И там и тут собран «звездный» состав: Чурикова, Янковский, Броневой и Симонова, Гундарева, Джигарханян (кстати, в Ленкоме и в Маяковке вообще самые «звездные» труппы). И там и тут классические пьесы, по традиции игравшиеся в драматическом ключе, поданы броско, зрелищно, с отчетливо и расчетливо усиленной комедийностью, с привнесением острых, резких, подчас шокирующих эффектов, с добавлением эротики — вплоть до весьма откровенных сексуальных сцен. А это все — стандартные слагаемые успеха, неоднократно проверенные на публике.

Происходящее на сцене Ленкома порой напоминает балаган. Актеры почти фиглярствуют, почти издеваются над своими персонажами, демонстрируя их жадный эгоизм, вульгарность, пошлость или глупость. Нина — провинциальная дурочка, клиническая не понимающая, что попала не на Парнас, а в бардак или в бедлам, где все кричат, нелепо жестикулируют и хватают друг друга за разные места. Полина Андреевна лапает Дорна, Медведенко — Машу. Тригорин — потрепанный донжуан, который во вставном бессловесном дивертисменте носится, подпрыгивая, от дамы к даме. Аркадина — малопрстойная особа, способная практически изнасиловать пресытившегося ею любовника... Смысл этой сцены — и вообще один из смыслов спектакля — решительное «опускание» всего того, что доньше принято было вспоминать с сентиментальным вздохом: «чеховской интеллигенции» и ее мифологизированной культуры.

Но вспомним: сам Чехов назвал «Чайку» комедией, и Марк Захаров, при всех его экстравагантностях, следует авторскому определению жанра. А Художественный, пьесу когда-то прославивший, этим как раз пренебрегал — и создал традицию лирико-драматического прочтения, коим автор отнюдь не был доволен. «Почему на афишах и в газетных объявлениях моя пьеса так упорно называется драмой? — возмущался он по поводу постановки «Вишневого сада». — Немирович и Алексеев в моей пьесе видят положительно не то, что я написал, и я готов дать какое угодно слово, что оба они ни разу не прочли внимательно моей пьесы». Что бы он сказал о ленкомовском спектакле — вопрос. Но нашему времени эта «Чайка» пришла в пору: Захаров, как всегда, чуток к новым веяньям. Ибо ностальгия по вырубленным садам и вообще по России, «которую мы потеряли», явно выходит из моды. Об этом говорит многое: и падение на театре интереса к «монархической» тематике, и неожиданное возвращение Горького, совсем было изгнанного со сцены, чтоб явиться в минувшем сезоне на четырех площадках сразу, — а ведь для драматургии «буревестника» характерно прежде всего острокритичное отношение к «последним», «дачникам», «варварам» и прочему населению «потерянной России». О том же свидетельствует и смена взгляда на «чеховскую интеллигенцию», представленная не только в Ленкоме, но и во мхатовском спектакле «Любовь в Крыму», полном иронических отсылок к Чехову. Среди прочего мель-

кают там и сестры Прозоровы, опять не уехавшие в Москву: лирически всхлипывающая беспомощность вызывает уже не сочувствие, а смех. Потому что если хочешь в Москву, так купи билет и отправляйся, а нет — умолкни. «Дело надо делать, господа!» — жестко заявляет новая эпоха. Вот Захаров и делает дело: ставит просчитанно коммерческий спектакль, главной ценностью которого, по мысли А. Соколянского, является профессионализм. Профессионализм главных героев — преуспевающих актрисы и писателя; профессионализм исполнителей; профессионализм самого режиссера, «умельца и скептика». Но профессионализм — это ведь и достойная рыночная ценность...

На умелой игре с рыночными ценностями построен и спектакль Андрея Гончарова. Причем если у Захарова «балаганные» элементы присутствуют, так сказать, метафорически, то здесь балаган явлен в натуре. Точнее, кафешантан с призывно изгибающимися девочками в мини и ражами официантами в красных рубашках, которые размашисто выплясывают помесь русского с канканом и залихватски припевают: «Всюду деньги, деньги, деньги, всюду деньги, господа»... «Последняя жертва» вписана в это шумное, вызывающее, нагло веселящееся шоу, выдержанное в узнаваемой стилистике валютного кабака. Им открывается спектакль; оно, подобно острой начинке, прослаивает эпизоды пьесы. Тема всевластия и гибельной силы денег — одна из главных в драматургии Островского, — как бы подхваченная, по-своему откомментированная шансонетками и половыми, бойко суетящимися вокруг клиентов, вступает в явственную переключку с драматургией нашей жизни... Впрочем, спектакль не только целенаправленно демонстрирует безнравственность и разрушительность принципа «все на продажу», но и сам ему отчасти следует — будучи успешно рассчитан на успех. Профессионально, опять же: жестко и точно.

Точность расчета была подтверждена точным попаданием по всем направлениям сразу. И критики, и зрители, и раздатчики наград (составляющие некую отдельно-смежную группу ценителей-оценщиков) оказались довольны — хотя по разным причинам. Первым важны: выверенное мастерство режиссеров, художников, артистов, непривычность прочтения известной пьесы, неоднозначность трактовки (особенно в Ленком), включенность в круг тем и идей, взятых временем на прицел. Умение сделать коммерческий спектакль, оставаясь притом «на уровне», импонирует тоже. Призодателей, естественно, привлекает успех — и призопад не мог обойти спектакли стороной. Награды получили: «Жертва века» в целом, Марк Захаров, Инна Чурикова, Евгения Симонова и Игорь Охлупин по отдельности... Ну а что нравится публике — уже говорилось: «звездный» блеск, эффектная зрелищность, комедийность (предпочтительно балаганного толка), некоторое количество эротики. Не помешают и элементы мелодраматизма; очень желательны вокально-танцевально-музыкальные добавления.

Разумеется, не на всяком представлении вам подадут коктейль из полного набора ингредиентов. Яркая декоративность обязательна, остальное — по вкусу и по возможностям. Так, «Сатирикон», имеющий лишь одну звезду — своего руководителя К. Райкина, занятого меньше чем в половине репертуара, — обходится сочетанием музыки с танцами, грубого фарса и легкой эротики. Театры побогаче украшают сцену известными лицами. А иногда и основная ставка делается на актерскую популярность.

*Картина вторая. Звезды.* Бенефисных спектаклей становится в последнее время все больше — дело, бесспорно, идет о тенденции. Что интересно, в равной мере касающейся и китча, и «большого искусства», почти переселившегося на малые сцены. Все чаще и чаще актер выходит на площадку как хозяин, а не как марионетка, послушная суровому кукловоду. А постановщик все чаще выпускает бразды правления из ослабевших рук. Как бы забыв про «концептуальность» и про наработанные за годы всевластия приемы, он или становится просто «разводящим», или ограничивает сферу своей деятельности монтажными стыками и интермедиями, или осуществляет свои идеи в сотворчестве с исполнителем. Первое особенно характерно для больших коммерческих хитов, где главной приманкой выступает superstar.

Западная терминология тут уместна, поскольку и сама затея пришла с Запада. Правда, таких спектаклей у нас пока немного — думается, прежде всего потому, что немного найдется и настоящих звезд, способных единолично привлечь публику. В драматическом театре их, строго говоря, нету вовсе — популярность создает-

ся в кино, а наше кино, как известно, в последние годы никому славы не прибавило, старые же ленты годятся лишь на то, чтоб актера не забыли. Поэтому естественно, что главные роли в «звездных» проектах исполняли культовые персонажи из, так сказать, смежных областей; помимо прочего, зрителя заманивали своего рода новинкой — новым амплуа знаменитости.

Первой — еще в сезоне 1993/94 — вышла на московскую сцену Галина Вишневская. Конечно, искусство ее массовой популярностью отнюдь не пользуется: опера — элитарный жанр. Зато имеется интерес к ее личности, вызванный политическими сюжетами, семейным союзом с Ростроповичем и, наконец, живой, «читабельной» книгой мемуаров. Роль Екатерины Великой — стареющей императрицы, способной не только управлять державой, но и вызвать любовь молодого красавца, — пришлось диве так впору, словно специально для нее была написана. Миф встретился с мифом, обеспечив мхатовской постановке «За зеркалом» постоянные аншлаги. Вдохновленные успехом, режиссеры бросились наперебой ставить пьесу Е. Греминой, в которой фривольность игривого сюжета (офицер назначен нести при «матушке» любовную службу и помещен в роскошную спальню за зеркалом, где обязан пребывать безвыходно) уравнивается изяществом исполнения. Но успех не повторился: за отсутствием второй Вишневской. И не важно, что царственная примадонна играет в лучшем случае неровно, а в худшем — срывается на такое «раздираение страстей в ключья», какого, кажется, и в заштатной провинции не увидишь. Публика, пришедшая посмотреть на «живую легенду», остается довольна.

Следующей бенефицианткой стала Людмила Гурченко, чью слегка пошатнувшуюся кинопопулярность укрепляют, опять же, музыкальные таланты вкупе с автобиографической книжкой, увлекательной и зазывной. В противоположность вышеописанному мхатовскому представлению, единственным достоинством поставленного в Театре сатиры спектакля «Поле битвы после победы принадлежит мародерам» является как раз виртуозная игра звезды. Все остальное выглядит удручающе. Александр Ширвиндт, эксплуатируя свой эстрадный имидж, отчаянно хлопчет лицом; оформление, в котором участвуют джип и дирижабль, демонстрирует нуворишский моветон. Хуже всего пьеса — постаревшие «Спортивные сцены 1981 года», к которым вдавшийся в публицистику и эсхатологические прогнозы Э. Радзинский приписал газетно-бульварное продолжение. Шутки заимствованы из анекдотов, пафос вызывает неловкость; самый мощный эффект — реплика под занавес: «Мудаки мы все!» Один французский мыслитель заметил, что даже интеллектуальнейшая аудитория отзовется смехом на слово «зад» — матерное слово действует еще безотказнее. Публика довольна.

Третьим номером — в спектакле «Понедельник после чуда» театра «Игроки» — выступила Кристина Орбакайте. Сцена подтвердила то, что уже показывало кино: ее отличные актерские возможности. Зрителя, однако, больше привлекало другое: популярность певицы, мощно подкрепляемая материнской славой и всей шумной суетой вокруг эстрадного семейства, — типичные, то есть новорусские, прелести, столь любимые новорусской прессой. Светский эффект события был несомненным. Хронисты писали, что на премьере публика следила не столько за представлением, сколько за сидящей в зале Пугачевой и ее супругом, соблаговолившим прибыть к середине действия; что мама осталась довольна; что остаток вечера и ночь молодая звезда провела с друзьями в артистическом кафе. Это, впрочем, все премьерная ажитация. Как пойдет дальше — посмотрим...

А в завершение сего сюжета надо сказать, что, помимо собственно ставки на звезду, три хита имеют и другие черты сходства. К главной героине пристегиваются другие, не обладающие столь громкой славой, но тоже популярные и/или хорошие актеры. В расчете на кассу выбирается жанр: «За зеркалом» — альковная драма с большой любовью; «Поле битвы...» — грубая комедия; «Понедельник...» — продолжение некогда популярной пьесы «Сотворившая чудо»: трогательной истории про слепоглохонему девочку, которую самоотверженная учительница научила говорить, правда, оно не столь сентиментально, как ожидалось, но тоже позволяет пустить слезу. И наконец, режиссеры. Они тихо и скромно отступают на задний план, стремясь главным образом к выигрышной подаче актеров или предоставляя тем играть самостоятельно, — и их имена напрочь заглушает гром оваций, адресованных прима. Впрочем, заглушать особенно и нечего. Условно «молодые» В. Долгачев (МХАТ) и А. Житинкин («Сатира») известны лишь усерднейшим театралам. Л. Герчиков — личность вовсе незаметная. «Кто таков, откуда взялся — ни-

кому неведомо», — удивлялась газета «Сегодня». Теперь о нем говорят: а, тот, который поставил спектакль с Орбакайте... И хотя работу постановщиков можно оценить по-разному: Долгачев проявил вкус, Герчиков сработал невнятно, а Житинкин так вовсе провально, — общий вывод однозначен: в отличие от Бродвея, у нас коммерческие «звездные» проекты солидных профессионалов пока не привлекают. Как бы то ни было — началось. И пусть первые ласточки тепла не делают, сам факт, что они прилетели, показателен: думается, в ближайшее время надо ожидать стаи. И остается лишь надеяться, что...

*Картина третья. Сделайте нам смешно.* И остается лишь надеяться, что стая эта будет все же не столь многочисленна, как угнездившиеся под каждой театральной крышей комедии. Нет, я против них ни в коей мере не возражаю — меня смущает перебор. Три десятка (то есть больше трети) премьер в сезоне — при любом раскладе многовато. Хотя и очень понятно: театр идет навстречу зрителю, который идет в театр, чтобы развлечься и отвлечься от окружающей жизни, где веселья дефицит; да и режиссеры с актерами тоже ведь живут не на Марсе. Так что Бог с ним, с количеством, — если иметь еще в виду, что сцена восполняет пустоты отечественного киноэкрана, а репертуар комедийный разнообразен и обширен, общий итог получится, может, и не чрезмерным. Беда, однако, в том, что высоты жанра трудны и мало кому доступны — зато оглуплению и огрублению он поддается легче легкого. Именно этот путь нередко выбирают постановщики.

Самым успешным с таковой точки зрения является «Сатирикон», где фарсы с танцами составляют основу репертуара. В последние два года на большой сцене только они и ставились: неотличимые друг от друга «Мнимый больной», «Хозяйка гостиницы», «Сатирикон-шоу» — все творения «сержанта» А. Горбаня, который очень любит одеть артистов в блескучие дурацкие костюмы и пустить валять дурака. Конечно, шутовской наряд, клоунские гримасы, одноплановая гротескная манера игры — почти непременные составляющие фарса. Но ведь и фарсу требуется выдумка. А когда шутки все на уровне задницы; когда публике предлагают веселиться, глядя, как артист роняет штаны и демонстрирует туго набитые плавки... Публика таки веселится: «сержантский» юмор доходчив и безотказен.

Потому и распространяется, захлестывая одну площадку за другой и влияя даже на режиссеров «чином» повыше. Вот уже и Вахтанговский приглашает Горбаня ставить «Проделки Скапена». Вот уже и Маяковка — театр, интеллигентный — аж из Питера выписывает режиссера для «Госпожи министерши», перемежающей убогие танцы с плоской эксцентрикой. Вот и Таганка, прежде не допускавшая пошлости на своей сцене, выдает такую отчаянно вульгарную, такую уныло-шутовскую «Школу жен», что хоть плюнуть да бежать... Вот и «Современник» выпускает две безнадежных комедийных премьеры кряду. В «Виндзорских насмешницах» упор делается на эротику: миссис Форд, оказывается, очень даже не прочь, потому что сэр Фальстаф ого-го!.. В «Пигмалионе» остроумнейший текст утратил всю свою соль, на первый план вышли ужимки, аристократы (за исключением Л. Толмачевой) и простолюдины выглядят одинаково ненатурально-театрально-пародийно, а безграмотная речь звучит не как нормальная безграмотная речь, но как нелепые завывания с хрюканьем и харканьем пополам... И ведь Галина Волчек и Сергей Яшин — опытные профессионалы по меньшей мере. И ведь артисты играют далеко не бездарные. И ведь что интересно: на том же «Пигмалионе» всплески благородных аплодисментов озвучивают все действие. Когда же появляется по-настоящему смешная, радостная, блестящая, воистину упоительная комедия — зал оказывается не то полуполон, не то полупуст (второе вернее).

Собственно, спектакль, соответствующий этим определениям, как мне представляется, за последнее время вышел ровно один — «Мое загляденье» в Театре на Малой Бронной. Были и другие заметные постановки — но они явно недоотягивают. «Кин IV» в Маяковке (режиссер Т. Ахрамова) забавен и красив, но от пьесы веет вторичностью — Григорий Горин перепевает собственные темы и мотивы; да и надрывный мелодраматизм второго акта не идет на пользу делу. Музыкальному представлению «Жак Оффенбах, любовь и тру-ля-ля» (ТЮЗ, режиссер Г. Яновская) отчетливо не хватает вокального и танцевального профессионализма — что существенно, коль ставится оперетта с канканом; спектаклю Р. Виктюка «Я тебя больше не знаю, милый» (Театр им. Вахтангова) отчетливо не хватает вкуса. А «Мое загляденье» — загляденье и есть.



Эту пьесу Алексей Арбузов считал лучшей своей вещью — и был, возможно, прав: остроумная и слегка безумная, она буквально искрится шампанским весельем, добротой и изобретательностью. Играть «следует очень воодушевленно», — предуведомляет автор. Что ж, режиссер Артем Хряков и все артисты одушевились вполне. И создали уморительнейший спектакль про людей, каких никогда не бывало в жизни, но в избытке хватало в среднестатистической советской драматургии. Главный герой, «замечательный молодой человек» Вася Листиков, правлен до абсурда и в полной мере соответствует идеальному образу «строителя коммунизма». Но удивительное дело: хотя персонаж насквозь пародием, в исполнении В. Яворского он выглядит настолько искренним и обаятельным, что даже как бы становится настоящим «положительным героем». И на этой утонченной грани — между одушевленной искренностью и откровенной пародийностью — балансирует спектакль. Все непрощаемо серьезно, все упоенно страдают от любви, житейских бурь и незадавшихся дел; все — даже показательный негодяй-карьерист — исполнены совершенной наивности и решительно не замечают своей радостной театральности, для вящего утверждения которой костюмы присыпаны золотой пудрой, и венки очаровательной лифтерши тети Саши вместе с пылью взметает радужные блески... Игра оказывается столь увлекательной, что ее не прекращают даже в антракте: артист К. Кравинский — по роли «известный всей стране» теледиктор и несчастный отец несчастной дочери, лишь на экране чувствующий себя комфортно и потому с большим неудовольствием покидающий свой ящик, — дождавшись, пока остальные уйдут со сцены, влезает в телевизор и говорит блаженно: «А теперь послушайте передачу о поэзии». И вдохновенно несет штампованную околесицу, не обращая внимания на то, что в зале осталось три человека...

Главный (с точки зрения кассовости) недостаток этого уморительного спектакля — его сугубая интеллигентность в сочетании с полным отсутствием каких бы то ни было претензий. Первое отталкивает любителей «Сатирикона»; второе несколько настораживает культурную аудиторию, привыкшую смеяться «со смыслом». Российская культурная традиция вообще с подозрением относится к чистой комедийности и развлекательности. Наши комедии — всегда с тенденцией, наши режиссеры даже смешнейшую «Женитьбу» ставят концептуально-драматично. Соответственно и запрос интеллигентного зрителя — пища уму. И пойдет он скорее на спектакль, претендующий быть «серьезным» произведением искусства...

### Действие второе. Искусство театра

*Картина первая. Красота спасет мир.* Пойдет-то пойдет; но мест в театре больше, чем интеллигентных зрителей. Постоянные аншлаги имеют только малые залы, вмещающие до двухсот человек. Большие заполняются на четырех-пяти премьерных представлениях, когда чуть не половину составляет театральный и около-театральный люд: коллеги, пресса, друзья. Затем публика редее. Правда, совсем она не рассасывается, и вообще по сравнению с недавними годами, когда пустые ряды выглядели подчас удручающе, ее стало-таки больше. То есть пока производная (воспользуемся термином математики) положительная. Но, боюсь, полный зал «большие» спектакли соберут не скоро. Особенно если они лишены такой приманки, как известные исполнители. Традиционно популярный Сергей Юрский — Фома Опискин еще может привлечь народ. А вот «Пир победителей», «Любовь в Крыму» и тем более трехчастный «Идиот»...

Эти спектакли имеет смысл выстроить в некий ряд, хотя общего между ними вроде и немного. Все три были замечены; мрожековская постановка Р. Козака — в меньшей мере, зато работы Б. Морозова и С. Женовача многие критики, подводя итоги сезона, называли в числе самых достойных. И второе: они в высшей степени красивы. Настолько, что порой захватывает дух.

«Пир победителей» в Малом оформлял Иосиф Сумбаташвили, ставший полноправным соавтором спектакля. Режиссура Бориса Морозова часто направлена главным образом на то, чтобы как можно лучше и полнее отыграть декорацию. Высокий зал готического замка со стрельчатыми арками окон и дверей, с резными балконами, балюстрадами, гобеленами, торжественными скульптурами и потоками света, льющимися наперекрест, — красота сценографии словно задает тон и стиль вписанному в нее действию. И здесь надо отметить, что пьеса Солженицына — все же не шедевр. Созданная под явным влиянием высокой комедии, она декларативна, простодушна, чиста — и с пафосом воспекает офицерское мужество, достоин-

ство, честь. Режиссер с артистами пафоса остерегаются, и правильно делают: несовершенные стихи, будучи патетически интонированы, производили бы смешное впечатление. Актеры произносят их тактично, почти не подчеркивая ритма, лишь изредка и слегка приподнимаясь над простой разговорной прозой. А поэзия как бы переносится в сценическое пространство, становясь не звучащей, а зримой. Стройность мизансцен и строгость военной выправки, выдержанная чистота колористики и душевная чистота, благородное великолепие замкового зала и офицерское благородство — все рифмуется попарно и наперекрест. И именно красота, захватывающая душу, рождает эмоциональное сопереживание.

Красота — совсем другая, но не менее властная — царит в спектакле Романа Козака, оформленном Валерием Левенталем. Три действия — три образа мира. Первый — чеховский, воспринятый поляком Славомиром Мрожеком через призму насмешливой постмодернистской современности. Собственно, насмешка относится не к самому Чехову, а к тому интеллигентскому ничегонеделанию-чаепитию-словоговорению, что с подачи Художественного связалось с именем Чехова, а потому особенно уместна на мхатовской сцене. Крики чаек, шум моря, светлая гостиная, пастельные оттенки туалетов в стиле модерн, «много разговоров... мало действия, пять пудов любви». Персонажи все знакомые: писатель, актриса, офицер, учительница... Процветающий литератор Иван Захедринский, блестяще сыгранный Александром Феклистовым, — скорее Тригорин, чем Треплев, но проэт... Юмористическое отношение к «чеховской интеллигенции», как уже говорилось, сближает «Любовь в Крыму» с захаровской «Чайкой», только здесь ирония мягче, добрее. Во втором действии, являющем советские 20-е, она звучит много жестче: персонажи те же, но они преобразились в «интеллигенцию» советскую — с точки зрения Мрожека более достойной осмеяния. (Впрочем, середина спектакля уныло затягивается.) Третье действие — наши дни: Захедринский, вышедший из какой-то тюрьмы, по пути утративший фамилию и превратившийся в дядю Ваню; просторная даль, туманная дымка, курортные густозеленые кипарисы, нью рашенз, крепкорожие громилы, выращенные в одной колбе; и «все расхищено, предано, продано», и полупрозрачные вуали, опускаясь одна за другой, окутывают в голубом тумане иставивающую Россию, и сквозь кольчуханье завес смутно видится тень давно ушедшей, бесплодной, но бесконечной любви, и становится до слез почти больно от этой пронзительной прощальной, уплывающей красоты. Эмоциональное включение в действие опять порождено ею.

То же — как ни странно — происходит и в спектакле Сергея Женовача. Правда, рассмотреть целое в рамках сезона мы не сможем: минувшей весной театр не успел показать обращенного в трилогию «Идиота» полностью — были выпущены «Бесстыжая» и «Рыцарь бедный», а последняя часть перенесена на осень. Но не важно. Женовач вообще тяготеет к масштабности — он уже ставил спектакль по Фолкнеру, длившийся пять часов. Однако спектакль на три вечера — случай в московской театральной практике, кажется, еще небывалый. Впрочем, режиссер настаивает, что их можно смотреть поврозь. И действительно, перед нами вполне законченные, самостоятельные вещи — должны сложиться тем не менее в одну. Ее исключительная протяженность сама в себе заключает задачу, которую можно угадать, ничего более о постановке не зная: полнообъемное, внимательное и вдумчивое прочтение романа, перенесенного на сцену с минимумом купюр. Уважение к первоисточнику, слову — в этом смысле Женовач не одинок. Классику теперь все чаще предпочитают ставить «по тексту». Пьесу не перекраивают и не выворачивают наизнанку в угоду режиссерской концепции, но, в общем, стараются понять, «что хотел сказать автор». Это можно, хотя с оговорками, отнести и к захаровскому спектаклю, тем более — к мхатовскому «Борису Годунову» и к горьковским премьерам. Это заметно и при постановке прозы. А безусловным лидером среди постановок был в минувшем сезоне как раз Достоевский, представленный тремя постановками (это если считать «Идиота» за одну и прибавить «К. И. из „Преступления”» и «Фому Опискина» в Моссовете). А Женовач, в свой черед, оказывается лидером наметившегося течения. Такого подробного и точного воплощения большого романа наша сцена еще не знала. Сохранены практически все персонажи, все линии, вся последовательность эпизодов — вся огромная и сложная конструкция перенесена на подмостки целиком. Одно это уже способно вызвать уважение. Но что касается результата... Многие критики поспешили объявить спектакль почти событием; многие высоко оценили работу артистов: Сергея Тара-

маева — тонкого, чуткого, очень органичного Мышкина; Надежды Маркиной — властной и добросердечной генеральши; Сергея Перелыгина — самолюбивого и неприкаянного Гани... Однако прервем перечень, чтобы высказать свои претензии — в первую очередь к режиссеру: дело в том, что буквальное прочтение романа странным образом не учитывает его дух.

Мир Достоевского расположен за гранью нормальной жизни, там властвует болезненный выверт, надлом, надрыв. Все почти персонажи существуют на повышенном градусе — градусе лихорадки, горячки страстей и умоиступлений. Мышкин — блаженный. Рогожин помешан на Настасье Филипповне. Настасья Филипповна истерически порывиста, полна безудержного отчаяния, тоже почти помешана. Это все вещи давно известные, а повторены лишь затем, чтоб сказать: ничего подобного в спектакле нет. Он поставлен и сыгран добротню, традиционно и даже старомодно, строго реалистически: отчетливо, ясно, психологически достоверно. Но ведь сам Достоевский отклонял титул «психолога»! Реализм же и психологичность дают в итоге нормальный мир и нормальных людей, достаточно спокойных, владеющих собой, не срывающихся в истерику, как в бездну. Только Ипполиту оставлена привычная «достоевщина», и потому его исповедь, тоже разыгранная, так сказать, театрализованная, звучит странным диссонансом всему действию, производя впечатление неловкости, нарушения приличий, чуть ли не скандала в благородном семействе... И наконец (вернемся к тому, с чего начали): спектакль слишком — для Достоевского — красив. Декорация Юрия Гальперина являет нам стройный, полуклассический-плубарочный Петербург открытых дальних перспектив и прямых линий. Никакой томительной призрачности, изломов и темных углов в нем не обнаружить. Однако именно красота сценографии — с ее старомодными тяжелыми драпировками, колоннами, вспыхивающими на высоте окнами, взвешенным сочетанием цветов и фактур, точным очерком то ограниченного, то распахивающегося наискось пространства, — именно красота опять определяет эмоциональное воздействие.

Можно, конечно, счесть это концепцией — тем более что «красота спасет мир». Можно сказать, что режиссерское прочтение освобождает роман от стойких штампов и налипших ассоциаций — так говорили. А по мне, Женовачу просто не хватило страсти. И вообще ее в театре сегодня не хватает. Что симптоматично, поскольку соответствует времени. Безудерж роковых безумств отдан на откуп мелодраме — жанру, по определению, массовому, тогда как серьезное искусство, включая и литературу, и искусство, боится страстных излиятий, как бы опошленных мелодраматическим разгулом. И нередко оказывается сковано «скорбным бесчувствием». Открытый пафос, высокие слова, напряженность драматического переживания мы, случается, трактуем как сентиментальность или истеричность (да и не зря трактуем — этого добра хватает). Но компенсировать отсутствие чистой эмоциональности чем-то же необходимо. И литература эстетизирует свой материал, погружается в языковые изыски, рисует и живописует чарующие узоры из слов. А театр эстетизирует собственное пространство, создает упоительные зрелища, живые картины, говорящие своим языком — и переводящие эстетическое переживание в эмоциональное. Даже трагедии случается прибегать к той же бесстрастной эстетизированной манере. Предыдущая постановка Женовача, «Король Лир», осуществленная в тесном пространстве «сцены на сцене», выстраивала персонажей в строго просчитанные графически изящные мизансцены, заставляла двигаться по клеточкам, лишая притом и свободы в проявлении чувства. Выверенный, как весы, эстетизм отличает и «Беренику», поставленную РАМТом в сезоне 1993/94 (и тоже явленную не большому залу, а пяти десяткам зрителей). Правда, Алексею Бородину, вместе с блистательно сыгравшими Е. Дворжецким и Н. Дворжецкой, как раз удалось подняться до подлинно трагедийных высот: изумительное зрелище, вписанное в ложноклассический интерьер театра, в широкоформатные лестницы, межпилястров и колонн, по мере приближения к развязке все больше и больше наполнялось пафосом страсти, прорастающей сквозь холодно стилизованную классицистичность. Но «Береника» потому, может, и получилась, что строгая безупречность манеры соответствует поэтике риторической трагедии, которая требует, чтоб «расплавленный страданьем голос» не срывался, а креп. И потому же — осталась единственной в своем роде: слишком далеко от нашей жизни размеренное искусство французского классицизма с его загнанными в твердую форму страданиями и неприменным конфликтом долга и чувства. Воистину — что нам такая Гекуба?

*Картина вторая. Приближение трагедии.* Но чу! — грядет. Время истинно драматического и трагического театра, кажется, на подходе. Предвестия его видны равно и в достижениях, и в провалах. Первые демонстрируют нам малые сцены, вырабатывающие новую манеру игры и новое отношение к драматизму. Второе касается подавляющего большинства трагедийных премьер — которые, однако, растут в числе. В минувшем сезоне их вышло шесть: «Борис Годунов» во МХАТе, «Смерть Иоанна Грозного» в Малом, «Ричард II» в театре «Русский глобус», «Макбет» в Театре на Юго-Западе и два «Гамлета» — в Театре Армии и на Таганке (впрочем, можно добавить сюда и третьего — в Театре Антона Чехова, выпущенного под занавес сезона 1993/94). Определенную тенденцию или хотя бы тематическую близость демонстрирует сам перечень: первые четыре пьесы анализируют главным образом природу власти, последняя включает этот мотив в число прочих. Совпадение, конечно, непреднамеренное — тем очевидней общая задача: понять через классику нечто важное в современности. Другое дело — результат.

Удач, пусть не безусловных, было две: это «Ричард II» у Яцко и «Макбет» у Беляковича. Шотландская трагедия сегодня звучит особенно актуально: те, кого считали героями, на глазах обращаются в тиранов, и, хочет того режиссер или нет, мы поневоле сопоставляем происходящее на подмостках с происшедшим в жизни. Белякович и хочет и дает это понять. Длинные развевающиеся одеяния танов окрашены в однообразный хаки — цвет войн XX века как бы бросает отсвет в прошлое. Второе связующее звено — ведьмы, жуткий триединый персонаж, который словно ведет действие, почти постоянно присутствуя на сцене (что текстом не предусматривается). Ведьмы — находка Беляковича. Молодые актеры-мужчины, их исполняющие, повернуты к публике спиной; к их затылкам прикреплены маски, неподвижность которых вступает в острый контраст с подвижной гибкостью торсов и рук, и весь пластический рисунок создает нужное режиссеру ощущение пугающей двойственности. Вывернутостью своих жестов и поз адская троица будто комментирует собственный тезис: «Зло есть добро, добро есть зло»... Еще один мостик — финал. Макбет побежден. В зале зажигается свет, исполнители выходят как на поклон, выстраиваются в эффектную мизансцену и ждут аплодисментов. Но чуть только они разгораятся, как победитель взмахом руки устанавливает тишину — и далее следует текст финала: раздача чинов и земель, приглашение на коронацию. Победа светлых сил оборачивается театральным эффектом. И ведьмы, уютно пристроившиеся под боком героя, хотя молчат, но всем видом утверждают: «власть — от дьявола».

(Еще более актуализирует «Макбета» Темур Чхеидзе, спектакль которого хоть в скобках, но должен быть упомянут — невзирая на то, что речь в нашем обзоре идет о Москве только. Явившись главным событием последнего петербургского сезона, постановка БДТ подтвердила, что в северной столице на часах то же время — и что у театра возникла потребность его осмысления через трагедию. Интересно, что в двух точках питерский «Макбет» пересекается с московским. Современные — еще решительней — костюмы: средневековые воины одеты в шинели, галифе, натянутые на лоб «десантные» береты. И финал отчетливо ставит под сомнение победу светлых сил: XX век хорошо знает, что на смену тирану приходит не герой, но другой тиран.)

Говорить о провалах МХАТа и Малого я не стану: направление намечилось, ну а художественное достижение авось в следующем сезоне появится — может, у Любимова? А вот посвятить несколько слов «Гамлетам» все же стоит — хоть они, с точки зрения театра, и не существуют вовсе. Стоит тем более, что кроме означенных спектаклей сезон предложил еще две постмодернистских игры вокруг Шекспировой трагедии: «Комедию о Принце Датском» и «Дисморфоманию». Такой внезапный, после семилетнего перерыва, обвал «Гамлетов» на московские сцены о чем-то же должен свидетельствовать. И думается, как раз о том, что самому времени вновь потребовалось это зеркало, «в которое смотрится каждая эпоха» — правда, покамест не в полный рост.

«Гамлеты», показанные нашими театрами, все, как один, сокращены (на Таганке и в Театре Антона Чехова — наполовину); во всех не хватает персонажей (в Театре Армии это и вовсе моноспектакль); во всех не хватает мысли. Многого, в общем, нет — но отражение времени имеется. Правда, возникло оно помимо режиссерской воли, в силу загадочной природы самой пьесы.

Трушкин (Театр Антона Чехова) показывает убойно простой комиксовый стиль и воинственного, но бестолкового героя, который лихо крушит тех, кого, мо-

жет, и не надо, а того единственного, которого и впрямь надо, не может достать даже в финале (Клавдий в спектакле закаляется сам). Моисеев (Театр на Таганке) демонстрирует мнимую глубину и обнаруживает случайность в распределении ролей, странным путем переходящих от исполнителя к исполнителю. Наконец, Офенгейм в Театре Армии являет полную невнятицу, неосмысленность действия плюс безудержность претензий, категорически не совпадающих с возможностями: прежде чем одному братья играть за всех, надо подумать о результате. Словом, картинка, возникающие в «зеркале», настолько знакомы из повседневности, что даже забавно; это касательно времени. Что до театра, то магическое стекло четко показало: он живет «в ожидании Гамлета». Так называется таганский спектакль — и название артикулирует мысль, значимую не только для данной постановки. Гамлета еще нет, но его ждут — и настойчиво призывают явиться. Театральное действие словно бы превращается в магическое — из которого в свое время и вышло: так, представив, в лицах разыграв желаемую победу над врагом, ждали победы реальной. Правда, когда за дело берутся неопытные чародеи, магия может обернуться против них. Что ж, будем ждать опытных: не за горами — Някрошюс с Меньшиковым готовятся к «Гамлету», Виктук с ваханговцами собираются, Арцибашев в Театре на Покровке репетирует. Быть или не быть трагедии, увидим. А пока обратимся к драме.

*Картина третья. Камерные страсти.* Поисками нового драматизма занимается с некоторых пор малая сцена. Но прежде чем их описывать, надо ограничить пространство собственных штудий, вывести за их рамки то, что в идею камерности не укладывается. Если малый зал отличается от большого лишь количеством мест и размерами площадки — значит, речь идет не о художественном принципе, но попросту о бедности, мешающей тому или другому коллективу (как правило, бывшей студии) обзавестись нормальным помещением. И такое случается сплошь и рядом. Тот же «Макбет» у Беляковича — типичный «большой» спектакль, при восприятии которого малый зал создает определенные неудобства: крохотное расстояние между зрительскими местами и местом действия мешает взгляду «взять» мизансцену целиком. А представление, построенное по принципу камерности, размещает исполнителей и декорацию так, чтобы они легко вписывались в ближний круг зрения. При этом площадка для игры может располагаться между рядами, может быть окружена публикой, может даже обрести подвижность или потребовать движения зрителей. Но суть не в том. Формальные эксперименты с пространством вполне способны замкнуться сами на себе и оставить при себе лабораторную холодность. Главное отличие — в манере игры.

Подобно крупному плану в кинематографе, малая сцена приближает актера к зрителю, так что становятся видны мельчайшие мелочи: чуть приподнятый угол губ, прищур глаз, вздрагивающий мускул, до боли сжатые зубы... Подобие, конечно, не полное, и отнюдь не потому, что кино имеет право на дубль. У него вообще много ухищрений в запасе: можно остановить камеру, чтоб подгримировать якобы распухшие от плача веки, можно напустить туману на уже готовый кадр или ножницы употребить; наконец, само приближение, им предлагаемое, иллюзорно — в действительности артист далеко и давно другим занят. А живая непосредственная близость — это живая непосредственная близость. Она безжалостно обнажает любую фальшь, любую игру «с холодным носом», она не допускает имитации, но требует настоящих чувств, настоящих слез, настоящей страсти. В пространстве малого зала эмоциональный заряд бьет в упор — и потому обязан быть.

Естественно, что далеко не каждый актер способен к такому напряженному существованию на сцене; и естественно, что тот, кто способен, становится безусловным корифеем разыгрываемой драмы. А режиссер... Он может быть вовсе исключен из спектакля — это случается редко, но знаменательно, что случается: как в «Башмачкине» (за которого А. Феклистов, обойдясь без режиссера, получил две премии разом). Он может скромно и целенаправленно работать на актера — как И. Рейхельгауз работал на О. Яковлеву («Без зеркал»). Его права и обязанности может присвоить и сам протагонист — как это сделал С. Юрский, поставив спектакль на себя и Н. Тенякову («Стулья»). Но и в тех случаях, когда режиссура сохраняет свое влияние (как в «Превращении», или в «К. И. ...», или в «Семье Иванова» — очень сильно спектакле Ю. Еремина по платоновскому «Возвращению»), все, даже самые острые и яркие, режиссерские ходы, приемы, изобретения оказываются, в сущности, просто поручнями, за которые держится герой. Потому

что сыграть за него постановщик ведь не может. Расчистить путь, создать удобную систему поддержек, приготовить места для отдыха — это да. Но опасностям головокружительной игры подвергается все равно артист — и он же выступает виновником торжества или поражения.

Эта ситуация парадоксальным образом напоминает уже описанную — со «звездными» хитами. Сходство, однако, мнимое. «Звездный» спектакль рассчитан на коммерческий успех — «актерский» его принципиально игнорирует. Выбор текста здесь обусловлен только художественными достоинствами и художественной задачей. Правда, между Достоевским, Гоголем, Платоновым, Кафкой затесалась довольно хилая и вполне мелодраматичная пьеса Климонтовича — но очень уж подходила для возвращения Ольги Яковлевой эта роль: женщины, спустя годы возвращающейся в свое драматическое прошлое. Иные критики, впрочем, говорили о работе на публику; на наш взгляд, они не правы, ибо для широкой публики Яковлева — не звезда. Любимая актриса Анатолия Эфроса, она была любима и поклонниками режиссера, но массовой популярности у нее отродясь не бывало. И это тоже характерно для «актерского» спектакля: здесь важны профессионализм и талант, а слава значения не имеет (хотя, разумеется, актер вправе быть и популярным — как тот же Юрский или Райкин). Известность Феклистова и сейчас не выходит за рамки узкого круга; Оксану Мысину до «К. И. ...» даже и в этом кругу не все знали.

Замечу кстати, что пример — или даже феномен — Константина Райкина на редкость интересен. Художественный руководитель «Сатирикона» провел такую жесткую границу между большим и малым залом своего театра, что впору сравнить с железным занавесом. Большая сцена отдана им на откуп рынку: там идут забойные фарсы Горбаня, очищенный от смысла «Сирано де Бержерак» и всякие «экстраваганца-шоу». Сам Райкин там появляется, конечно: будучи единственной сатириконовской звездой, должен же и он работать на кассу. Но потребности быть «обхлопанным с ног до головы» у него нет: «Я уже взрослый». И вся «взрослая» работа перенесена им на пятак малого зала — собственно, и не зала вовсе, а так, выгородки, сделанной в закулисной части театра; там, однако, помещается искусство. «Великолепный рогоносец» с Фоменко — одно из самых ярких событий сезона 1993/94 (не обойденное и призами). «Превращение» с Фокиным — работа столь же заметная, тоже «призовая» — и тоже обращенная к ценителю. «Наш спектакль процитируем интервью «Общей газете». — А. З.) смотрят 60 человек, но они смотрят всерьез... и в театре именно это важно».

«Превращение» сделано с учетом актерской индивидуальности Райкина и в расчете на нее. Исключительная (танцевальная, или цирковая, или звериная) пластичность гибкого тела, подвижность тонких выразительных пальцев, не знающая ограничений мимика — это все необходимо, чтоб сначала сыграть превращение человека в насекомое, а «превратившись», распластанно ползать по стенам, паучьей лапкой цепляться за карниз, сообщать лицу странное, нечеловеческое выражение... Но суть не в этом. Виртуозная «насекомая» пластика составляет только внешний рисунок роли, внешнюю сторону образа. Образа человека, который утратил человеческий образ и сохранил страдающую человеческую душу. Одна из самых сильных сцен спектакля — когда мать решается взглянуть на то, что было ее сыном. И он робко выползает из угла, и страх, боль, любовь проступают сквозь искажившиеся черты, и округлившись, ставшие огромными глаза наполняются надеждой... Безнадежно. Грегор Замза умирает не от слепого удара, пробившего хрупкую спинку, — он умирает от нечеловеческого (превысившего человеческую меру) страдания.

«Превращение», по сути, близко к моноспектаклю. Хотя другие персонажи достаточно активно участвуют в действии, их роли намечены лишь пунктиром — а большего и не надо. Потому что чувства их однозначны и сами они примитивны, будто насекомые. Режиссер, жестко организующий их сценическое существование, относится к ним не как к действующим лицам, но скорее как к сюжетным функциям. А силовое поле, заряженное драматизмом, создает один актер, играющий без слов, но предельно отчетливо и наполненно. Эмоциональность спектакля лишена надрывов и слез, вообще как бы приглушена — и все же пронзительна: немой крик. Потому и шестьдесят человек, что на большее количество могло бы попросту не хватить такого накала; потому и с трех сторон поставленные ряды вплотную притерты к крохотной площадке — так, чтоб каждый взмах ресниц не пропал даром.

Так же вплотную к зрителю, но совсем иначе — «на разрыв аорты», отчаянно, страстно, безудержно — играет Оксана Мысина. В отличие от Женовача, Кама Гинкас сохраняет весь подобающий Достоевскому жар; в отличие от «Идиота», «Преступление и наказание» инсценировано не последовательно по тексту, а, так сказать, партиями, вычлененными из полифонии романа. В предыдущей постановке, «Играем „Преступление“», режиссер взял линию Раскольников — Порфирий. Героиня новой — Катерина Ивановна, несчастная вдова несчастного Мармеладова.

Весь спектакль — ее непрерывный сбивчивый монолог, длящийся от поминок и до последнего безнадежного выхода на улицу, где она с детьми просит милостыню. Дети присутствуют тоже, но почти бессловесно: пара реплик да выдвленная из горла песенка — вот и весь их текст. Роль «деточек», как и требуется у Достоевского, по преимуществу страдательная. Ободранные, какие-то обглоданные, они выглядят истинными нищими, и худенькие бледные тельца, которые К. И. безжалостно дергает, тормозит, трясет, вызывают уже почти не театральное сострадание. Вообще то чувство болезненной жалости и неловкости, что — в соответствии, опять же, с Достоевским — рождает спектакль, создается при помощи средств отчасти внеэстетических. Стремясь к абсолютной подлинности переживания и восприятия, режиссер разрушает границы меж залом и сценой: в качестве гостей на поминках или случайных прохожих, к которым обращает свои речи К. И., выступает публика. Любой из присутствующих может неожиданно для себя оказаться «назначенным на роль» Раскольникова, Амалии Ивановны или других-прочих. Его за руку вытянут на площадку, от него будут настойчиво и агрессивно добиваться ответа. И тягостная неловкость, какую ощущаешь рядом с обнаженным и яростно обнажающим себя страданием, оказывается частично спровоцирована неловким положением зрителя, которому навязывается участие в действии. Попав под прицел всех взглядов, выбранная для «взаимодействия» жертва ежится и жметса. А поскольку в такой роли может оказаться каждый... Впрочем, случайной публики на спектакле нет: пятьдесят человек, собравшихся в белой комнате, конечно, знают, на что идут.

И все же, на мой взгляд, дело ведется не совсем честно. Потому что реального взаимодействия от нас не ожидают: монолог лишь замаскирован под диалог, и если б кто-то действительно решился вступить в якобы предлагаемую игру, то нарушил бы ее правила, по которым объект авангардной провокации должен оставаться пассивным. Мне это, например, не нравится; мне это кажется, помимо прочего, отработанным приемом — ностальгическим воспоминанием, отголоском тех остропровокационных экспериментов, которые буйствовали на сцене в период расцвета гласности, когда слова «свобода» и «авангард» звучали почти синонимами. Кама Гинкас был тогда в числе ярких новаторов. Но сегодня... Впрочем, и сегодня многие сочли его работу новаторской. Но существенней то, что режиссер как бы подстраховал актрису: подключил другой источник тока, воздействовал на нервы, а не на чувства зрителя. А Оксана Мысина в подобной страховке не нуждается — она могла бы добиться накала без помощи таких технических, в сущности, средств. Другие режиссеры, даже из числа экспериментаторов — тот же Фокин или Фоменко, — доверяют актеру больше. Но движение идет все-таки в одном направлении, и Кама Гинкас в нем участвует.

Итак, пространство эмоционального театра оказывается как бы ограничено «энергетическим полем» актера — это пространство малого зала, которое он способен захватить целиком. Чувство может быть скромным, как бы ненавязчивым, а может срываться в истерику, захлебываться криком. Но оно должно быть подлинным. И не важно, реалистическое произведение перед нами, абсурдистское или философско-фантастическое. Каким бы ни был художественный язык, речь все равно идет о страдающем человеке. Причем беда его, даже будучи заведомо невероятной (как превращение Грегора Замзы), все равно остается простой, доступной каждому и понятной. И взывает к сочувствию. И требует сострадания. Сострадания к маленькому человеку, к простому человеку, к просто человеку. К умирающим старикам. К капитану Иванову, вернувшемуся с войны и узнавшему, что жена ему изменяла. И к его жене тоже, измаявшейся от бедности и безнадежности. К хрестоматийному Акакию Акакиевичу и столь же хрестоматийной Катерине Ивановне — вечным униженным и оскорбленным. К бледным детям с худыми цыплячьими шейками, которые (как в «К. И. ...» и в «Семье Иванова») своей не-

поддельной детскостью должны как бы подтвердить подлинность происходящего... В общем, никуда нам не деться от русской классической традиции, тоже ведь тяготеющей к эмоциональности, бьющей в упор.

### Эпилог

Широко известная формула «весь мир — театр» привычно связывается с Шекспиром, хотя на самом деле восходит к античности, впервые заявившей, что «*mundus universus exercet histrioniam*» («весь мир играет комедию»). Видимо, на протяжении многих веков сия истина остается истинной. А вот сказать «весь мир — поэзия» или «весь мир — живопись» не получается. То есть театр, являясь родом (видом) искусства, одновременно является чем-то большим, нежели искусство: образом и символом человеческой жизни. Но чтобы означенная формула столь долго сохраняла свою правильность, она должна быть верной и в обратном прочтении: «театр — весь мир». То есть искусству театра надлежит вмещать в себя оный «мир» или по меньшей мере являть «каждому времени его подобие и отпечаток».

В нашем случае подтвердить это можно простым перечнем значимых фактов, событий, соответствий.

*Primo.* В 1995 году весь мир отмечал 50-летие Победы. Театр его отметил тоже. И отметил более достойно, нежели власти, — без парадных фанфар и монументальной пошлости, но спектаклями горькими и грустными. Тем же «Пиром победителей», в подтексте которого заложено беспощадное знание: победитель не получает ничего, кроме лагерного срока; той же «Семьей Иванова», где победа оставлена за сценой, а победителю достаются руины...

*Secundo.* Опасная небрежность, какую в последние годы наше общество выказывает по отношению ко всему, что связано с новым поколением и его воспитанием, распространилась и на театр, как бы позабывший, что зрителя надо приручать с детства. Новых детских постановок в последнем сезоне практически не было — и даже Центральный детский театр, переименовавшись в Молодежный, стал обращаться, пожалуй что, больше ко взрослым.

*Tertio.* Презрение к бедности, ироническая ухмылка в адрес энтузиазма, готового работать бесплатно, из любви к искусству, отразились и на отношении к студиям. Если раньше это слово звучало гордо, означая молодость, смелость, неформальность и творческий поиск, то сегодня престиж студийности безнадежно упал, а сами бывшие студии резко расслоились. Одни (немногие) завоевали себе полноправное положение в театральном пространстве. Какая-то часть вовсе прекратила свое существование. Большинство же продолжает существовать, не существуя, — то есть не играя никакой роли в театральной жизни.

*Quarto.* Исчезла политизированность, столь характерная для социума недавней поры. Народ сегодня почти не ходит на митинги — а театр не стремится превратить сцену в трибуну. Интерес к «чернухе», разоблачениям и открытиям повыветрился тоже — как, собственно, и ко всему прежде запретному: к острому авангарду, к крутой эротике. Сегодня в общественном сознании наметилась тяга к умеренности, реалистичности, спокойному консерватизму — и театр у нас на глазах поворачивается к традиции, к классике, к реализму. Что интересно: сопротивляющийся этому повороту род искусства, который за неимением другой терминологии по-прежнему относят к искусству изобразительному, приобретает чем дальше, тем более маргинальный характер. Что интересно вдвойне: такие опыты становятся все более театральными — или театрализованными.

Радикальные жесты, акции и инсталляции — будь то демонстрация собственных гениталий, показ видеозаписи, запечатлевшей выбривание лобка, «аукцион партий» в художественной галерее, скотоложеские упражнения, проходящие под лозунгом «партии животных», и прочие игриша — все они суть представления. Спектакли. Театр, разумеется, ни в коей мере не имеет в виду признать их своей частью, равно как и они себя с театром не объединяют. Но если мы хотим, чтоб исходная формула действительно охватывала «весь мир», то придется поместить сии эротически-политические провокации на обочину театрального движения. Потому что иначе окажется, что зеркало, которое театр держит, как положено, перед природой, не отражает свойственных нашему времени радикальных безобразий — а должно. Дополнительный аргумент в пользу такого включения — еще недавно наличествовавшая связь между театральным и художественным поиском. Знамени-



тая «Школа драматического искусства», возглавляемая Анатолием Васильевым, предоставляла свою площадку для различных акций «на стыке искусств»; да и вообще стремление к единству демонстрировали многие. Оно и немудрено — весь авангард тогда имел ярко выраженные общие черты: тягу к новым формам в сочетании с негативистским запалом и резкой агрессией (в том числе и эротического плана). Потом дорожки разошлись, связи оборвались, и те, очень немногие, режиссеры, что сохранили свою близость с авангардной художественной средой, из жизни театра оказались исключены — а ведь когда-то числились яркими новаторами, чуть не лидерами нового поколения...

И это обнадеживает. Не то именно, что какой-нибудь Х. У. стал для театрального мира лицом несуществующим. И даже не то, что вызывающая эстетика провокативного авангарда сдала свои позиции — хоть я его и не люблю, признаться. Обнадеживает тот факт, что всякие шумные экстремистские действия в зеркале собственно театра не уместились — а значит, и на театре нашей жизни занимают обочинное положение. Радует — как ни странно — и отсутствие в сегодняшнем театральном движении явного лидера, радует и то, что режиссерам вообще пришлось отступить на второй план. Понимая, что подобное сравнение может показаться натянутым и что вообще все мои социальные параллели дадут повод поморщиться строгим профессионалам, предпочитающим рассматривать искусство как искусство, рискну тем не менее сказать: авторитарность режиссерской власти словно бы соответствовала системе авторитарного руководства как таковой. А нынче единовластный лидер отсутствует и диктат не проходит; нынче лица управляющие все чаще оттесняются действующими лицами. Говорят, правда, что «засилье режиссуры» привело к «деградации актерской профессии» — тоже в рифму жизни звучит — и что «в результате, когда приходит пора что-то делать, актер оказывается иждивенцем». По моему разумению, замечательный артист Сергей Юрский (чьи слова цитируются) все же не прав — о чем свидетельствуют и его собственные работы, и работы его коллег. И это радует тоже. А что перечислить такие работы можно по пальцам...

Ну что же: сезон как сезон. Крупных, значительных событий не наблюдалось. Было несколько хороших — может быть, даже очень хороших — спектаклей. Было довольно много плохих, какое-то количество провальных, а больше всего — средних.

Жизнь продолжается.

Август 1995 года.



---

---

# ПО ХОДУ ДЕЛА

АЛЛА МАРЧЕНКО



## РАССКАЗ В ОТСУТСТВИЕ РОМАНА

**Т**о, чего десятилетиями не могли добиться ни литературная критика — в пору, когда она еще имела какое-то влияние на организацию литературного дела, — ни толстожурнальный редакторат, произошло само собой, путем естественного отбора: все, кто может не писать, писать перестали.

В результате, и опять же естественным ходом вещей, решительно переменялся, и, на мой взгляд, к лучшему, качественный состав литнобранцев. И не только о писательской одаренности речь, но и об одаренности душевной, нравственной. Несмотря на крайнюю молодость, они не делают разницы между своим, специфически молодежным, миром и миром отцов, они эту разницу как бы и во внимание не принимают<sup>1</sup>. Во всяком случае, осваивая, художнически, пространство российской действительности, юная наша проза не делит его на возрастные — духонепроницаемые — отсеки. Ей словно бы и тесно, и бедно, и узко и жмет в среде сверстников, и потому — важнее расширяться, захватив как можно больше тяжелого вещества жизни, чем самовыразиться.

Возьмите хотя бы Олега Павлова, «Казенную» его «сказку». Ему бы про свой миллион терзаний, про тяготы своей караульной службы (на задворках империи зла) поведать. А он, видите ли, за пожилого капитана Хабарова мучится. Его унижением — унижен, его оскорблением — оскорблен. За него, безъязыкого, ворочает «смысловые тяжести». Ради него, державника, державой в глухой степи брошенного, организует «литературный прорыв».

И все это при том, что и пресса, и статистика, и личный житейский опыт любого из ныне живущих удостоверяет неопровержимо: недуг бесчувствия, и отнюдь не скорбного, катастрофически прогрессирует — во всех возрастных слоях общества, но особенно тяжело поражена молодая, растущая часть социального организма. МВД уже запросило помощи для борьбы с подростковой преступностью. По данным же МВД в одной России на нынешний день шестьдесят тысяч беспризорников — целая армия потенциальных разбойников, насильников и убийц!<sup>2</sup> Это уже не карманники и папиросники 20-х и не мелкохулиганствующая безотцовщина-поножовщина первых послевоенных годов. Уже не «хвост» большой народной беды, а куда более зловеющий знак. Знак чего-то такого, чему еще нету — пока — имени. И вот под тем же Знаком, на том же «мрачном пустыре, изгаженном и разграбленном» (это я уже Павла Басинского — «Новый мир», 1995, № 7 — цитирую), самозарождается, сама себя делает — литература (я имею в виду, конечно же, лишь творчество двадцатилетних), свидетельствующая не о недостатке способности к сочувствию и сопереживанию, а даже как бы об излишке его и избытке. И похоже, что это тоже знак, но уже не зловещий, а вещий и, может быть, благо-вещий. О чем эта Весть, не знаю, но чувствую, что неспроста и недаром. Крайне показательна, и именно в этом плане, «Погода в ноябре» Алексея Иванова (в этом же номере).

Юный герой этого рассказа прямо-таки изнемогает под бременем непосильного сопереживания — тяжел камень, к земле тянет, — а сбросить не может, с ужа-

---

<sup>1</sup> Средний возраст нынешнего дебютанта — от двадцати четырех до двадцати семи лет, но начинают и ранее; Надежде Горловой, к примеру (рассказ «Поездка в Липецк», публикуемый в этой журнальной книжке), — неполных двадцать.

<sup>2</sup> Данные приведены в газете «Сегодня» (1995, 23 августа), в материале Артема Ветрова «МВД просит помощи в борьбе с подростковой преступностью».

сом понимая: стоит сплеховать, зазеваться — и мимоидущее горе оккупирует, присвоит его, и он, вовсе того не желая, завопит, скорчится, завоет от вселившегося в его тело и душу злосчастья — от чужого одиночества, чужой бесхозной старости, чужого несостоявшегося материнства!.. Пообещав (неохотно) матери угодившего в «дурдом» приятеля проведать ее сына Сашку, бедный наш сострадатель, не по своей воле со-чувствующий, трижды, и сам того не заметив, оказывается не в своей, а в Сашкиной «шкуре», и когда наконец-то находит искомую психолечебницу, выясняется: «рехнувшийся» приятель куда здоровее его, вроде бы в здравом уме пребывающего и ничем, кроме вульгарного насморка, как бы и не страдающего!

И Иванов не исключение; просто то, что в творчестве его со-путников наличествует как устремление духа и художественное усилие, в данном конкретном рассказе одето в плоть сюжета и образа. Радуюсь и удивляюсь: да откуда же их столько — «добрых, благородных, сильных любящей душой» — «посреди тупых, холодных и напыщенных собой!». Удивляюсь и сравниваю невольно: с какой стати и отчего новая эта — хорошая — юность так непохожа на литературную юность шестидесятников, брезгливо и навсегда оскорбленную неблагоприятием отцов? А какой разительный контраст с ленивым эгоцентризмом молодых семидесятников, и авторов, и автобиографических героев, с их самолюбивой и мелочной заикленностью на узко своем! Про ледяной цинизм выкормышей и бастардов застоя я уж и не говорю; с их замороженными королями без королевства пусть уж Павел Басинский разбирается, это его делианка. Мне же куда интереснее подлетины перестройки. Порой они кажутся мне повстанцами-добровольцами, и даже какой-то тайной, нигде не зарегистрированной то ли «сектой», то ли «армией» спасения, вроде как сестрами и братьями милосердия, давшими обет: *за всех расплатиться, за всех расплакаться.*

Всезнающих наших «профи», делателей презрительной критики сверхчувствительности новейшей российской прозы, само собой, раздражает; им, разумеется, предпочтительней катакомбы «безлюбого одиночества». И это, в общем-то, и понятно, и объяснимо: литовар подобного сорта и самому покладистому и всеядному покупателю без них — толкачей и толкователей — не всучишь. (Игорь Шайтанов как-то, если не ошибаюсь, в «Знамени», едко заметил: писать о постмодернистской прозе — любопытно, а вот читать ее невыносимо скучно.) Что до сострадательной прозы, то она и без грамотно организованной поддержки до своего читателя дотопает, без провожатых к читательскому сердцу, а через сердце и к уму стежку-дорожку проложит.

Надеюсь и думаю, что это не пустая надежда — юная проза заинтересует и разборчивого новомировского читателя, если, конечно, его, читателя, не насторожит ее, прозы, непривычно разболтанная и слишком уж свободная (свободная и от синтаксических, и от стилистических стеснений) словесная «походка». Ведь это мы, прежние, ходили строем, а при необходимости и в ногу, а эти, нынешние, от строевой-роевой службы новым порядком жизни избавлены; каждый — сам по себе, вроде бы даже сам за себя, и сад свой возделывает, поворотясь к соседу хорошо закамуфлированной спиной. Диву даюсь: и как это они, при такой-то охраняемости и четкости межличностных границ, находят друг друга? И почему не опаздывают на братско-сестринские переключки? А ведь можно и перевернуть вопрос: каким образом, при такой-то общности и даже вроде бы согласованности устремлений, сохраняют и охраняют свою суверенность, дистанцируясь и от брата — слева, и от сестрицы — справа?! И даже от выбранного в Учителя и Наставника путеводительного Мастера? Умудряются — однако. И внимательный наш читатель, судя по некоторым откликам, это и понял, и оценил. Вот что написал нам в редакцию Василий Николаевич Хабин, доцент кафедры русской литературы XX века филологического факультета МГУ, по прочтении шестого, за текущий год, номера журнала:

«„Гвоздевым“ в прозе 6-го номера, мне кажется, является рассказ А. Верникова „Вверху и на местах“. Случай, которому пока нет объяснения: идти в русле самобытнейшего Платонова, не имитируя его, но свободно изъясняясь его интонацией, его синтаксисом. Когда Рихтер играет Рахманинова или Скрябина, как бы будучи их соавтором, — развивая будто бы с ними рождаемые как бы сейчас, сей миг, образы, — это воспринимается как чудо. И все же он творит по готовым нотам... В рассказе „Вверху и на местах“ — собственные „ноты“, свой Платонов, без подсказки».

Мне могут возразить: что́ взять с доцентов МГУ? У них, мол, известной — велосипедной — конструкции очки. Отвечаю: не менее тонкие и заинтересованные письма приходят в редакцию и не от столичных доцентов, и ежели что и отличает В. Н. Хабина от авторов типичных писем, так это жанр отмеченного им произведения. Как правило, на рассказы наши читатели не откликаются. Общим списком — плюсовым или минусовым — это уж как повезет, это уж с какой ноги господин рецензент встать изволит, — прогоняет рассказ в обзорных рядах и критика быстрого реагирования. Исключения редки и только подтверждают правило, ибо исключения делаются для малоформатных сочинений лишь известных всем и влиятельных лиц. А чтобы никому не известный автор небольшого рассказа — да будь этот текст хоть чеховских кондиций — удостоился высокого внимания профессиональных оценщиков? Такого после вошедшего в Историю переполоха, вызванного публикацией казаковского нечаянного шедевра «Арктур — гончий пес», я что-то и не припомню. И вряд ли сие всего лишь недоразумение. У российского околотературья, да и у собственно литературья тож, наследственная, не нынешним веком нажитая слабость к колоссальному. С грехом пополам мы еще можем согласиться, что добрый рассказ предпочтительнее худого романа, но во всех иных случаях наверняка выберем РОМАН. И потому что большой, толстый, широкоформатный русский роман — наше все, и потому что он один может заменить все (в том самом классическом смысле: «Ей рано нравились романы, они ей заменяли все»). Но на роман нынче отчаянный неурожай. Перелистайте мысленно Букер-списки последних двух лет — чего там только нет! И путевые очерки, и автобиографические записки, и случаи из жизни, и повести-повести-повести — от летучих и кратких до длинных-предлинных, длинней любого романа вроде володинского из, кажется, позапрошлогодней «Волги», сочинения: «Паша Залепухин — друг ангелов»... Истинных же романов — раз-два и обчелся. Да и те исторические (В. Астафьев, «Прокляты и убиты», Георгий Владимов, «Генерал и его армия»).

Зато рассказ, и особенно самый молодой рассказ, расцветает, радуя и многообразием форм (рассказ-роман, рассказ-повесть, рассказ-фрагмент, рассказ-анекдот и т. д.), а главное, высоким коэффициентом жанрового поиска и стилистического напряжения. (См. колонку Олега Павлова «Старый новый рассказ» в «Литературной газете» (1995, 1 февраля), а также его послесловие к рубрике «Опыт современного рассказа» в «Литературной учебе» (1995, № 1). И спроса-то на него читательского, а следовательно, и издательского фактически нет, и в журналах-то он по традиции на побегушках, и критика через него по инерции перешагивает. А он меж тем не тушуетя, экспансивничает — словом, держится так уверенно и смотрится так витально, словно это именно ему роман, на период своего отсутствия, повелел быть жанром номер один, «для самосохранения русской литературы» мобилизованным и призванным.

И с этим отступлением романа — из-под юпитеров в тень — и читателям романов, и издателям, и критикам придется, видимо, примириться.

Внешне похожая литературная картина наблюдалась, кстати, в конце 70-х: при отсутствии прямого — современного, на современном материале написанного полнообъемного романа, в ситуации острой и литературной, и читательской необходимости в нем — жанровый бум и обильное набухание плодоносных «романных почек» (выражение Е. Сидорова) в околороманной малой прозе. Однако это лишь внешнее сходство. Ибо роман в ту пору, как выяснилось, тайно присутствовал в ал. Ведь именно тогда писались и закладывались на хранение — в стол — все те БОЛЬШИЕ и в прямом и в переносном смысле РОМАНЫ, от «Белых одежд» до «Красного Колеса», что сразу и вдруг заполнили бездонные журнальные объемы в первые годы горбачевской Воли. А ныне он и впрямь отсутствует, и не по лениности или экономической озабоченности романистов.

Время-то на дворе — чрезвычайное, а в чрезвычайные времена литература развивается не вглубь, а вширь, потому-то и множит, и множит малые формы прозы, непрехотливые и мобильные, способные к бегу и гону за буйным и хаотичным формотворчеством жизни.



# ЖИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

## ХИМИЧЕСКАЯ СВАДЬБА МАЯТНИКА И РОЗЫ

Умберто Эко. Маятник Фуко. Роман. Перевод с итальянского. Киев. «Фита». 1995. 752 стр.

**Н**еобходимая оговорка. Пишущий эти строки не мнит себя ни специалистом по современной западной литературе, ни литературоведом вообще. Нижеследующие страницы представляют собой всего лишь размышления заинтересованного русскоязычного читателя, вынужденного стопроцентно доверяться переводчику, над книгой, которую он давно и с нетерпением ждал.

Итак, я читал «Маятник Фуко» и имел по ходу дела некоторые соображения. Однако смысл заносить их на бумагу увидел не раньше, чем обнаружил, что большая их часть имеет отношение не только к той книге, которую держу в руках, но так или иначе возвращает к «Имени розы» — первому роману Эко, некогда меня буквально приворожившему.

*Ситуация (как я ее понимаю).* Во второй половине 70-х европейский высоколобый роман так радикально порвал с повествовательной традицией и так далеко утópал по альтернативному пути, что, во-первых, сделался уже и самим создателям скучноват (принимать же в расчет читателя — моветон откровенный), а во-вторых, вплотную приблизился к немоте — положение, к которому с неизбежностью приходил модерн во всех видах искусства. Требовалось что-нибудь предпринять, причем всем сразу, поскольку модернистское сознание моментально забывает гвозди в гроб каждого, не успевшего на очередной поворот. Немецкий неоэкзистенциализм, изрядно напивавший кинематограф (например, экранизации, сделанные Вендерсом в начале 70-х годов), яркого собственно литературного материала не дал, да и был к тому же ренегатством, возвращением к снятому языку. Работать в ключе покоряющих мир латиноамериканцев было бы заведомым эпигонством — слишком специфичный материал. Американцы, как им и положено, искали выхода в снисходительном обращении к масскультуре. Умберто Эко, сумевший первым выбрать на новые, ранее невиданные просторы, принадлежал к цивилизации несравнимо более древней и, хотя не остался совершенно чужд заокеанским веяниям (выбор детективного сюжета), нашел иной — и блистательный — метод.

*Номинации.* В результате появившийся в 1980 году роман «Имя розы» приходит первым сразу по множеству дорожек. Просто как книга, имевшая феноменальный успех у самых разных категорий читателей. Как редкий вообще и первый за много лет случай, когда теоретик литературы (изначальный, а не проросший сквозь уже функционирующего поэта или прозаика) сумел создать произведение, сразу вошедшее в очень небогатый реестр «всемирных» книг, посягающее на одну полку с «Улиссом» и «Моби Диком». Как первая и до сих пор, похоже, единственная интересная в художественном, а не теоретическом отношении вещь, вынесенная на поверхность модным семиотически-структуралистским течением. Наконец, что тесно связано с предыдущим, — как первый и тоже, по-моему, единственный заметный постмодернистский роман (если не принимать пока что во внимание мысль самого Эко, что у каждой эпохи есть свой собственный постмодернизм)<sup>1</sup>.

Ого! — сказал я себе, перевернув последнюю страницу «Имени...». Значит, постмодернизм — вот он какой! Мы почувствовали разницу. Мы голосуем за него. Обеими руками. (А потом выяснилось, что, пока я радовался, успели поменять правила игры, и теперь я называю не теми именами не те вещи.)

*Менталитет.* Я думаю, что в России «Имя розы» имело читателя даже более благодарного, чем на Западе. Может быть, потому, что от нас, в силу некоторых особенностей культурной ситуации, ускользали детали тех интеллектуальных игр,

<sup>1</sup> Повторяю, что не тшусь строить теорию, а всего лишь делаю некоторые выводы, основания для которых находил по большей части у самого Эко: и собственно в «Имени розы», и в его «Заметках на полях...», опубликованных в лучшем русском издании романа («Книжная палата». 1989).

которыми Эко развлекал себя и «идеального» читателя, однако была воспринята общая игровая атмосфера — то есть читатель был удачно заинтригован, однако изобавлен от необходимости размышлять о том, например, что во всяком детективе «основной вопрос (кто убийца?) раздроблен на множество других вопросов, каждый со своей догадкой — и все они в сущности являются вопросами о структуре догадки как таковой» («Заметки на полях...»).

Рискну предположить, что и главный игровой ход, сделанный Эко, на нашего читателя особенного впечатления не произвел. Мы как-то крепко привыкли, что детектив — это либо про Шерлока Холмса, либо про инспектора Гурова. В средневековом замке, среди умных — и не очень — монахов, спорящих о том, следует ли считать собственностью Христа бывший на нем хитон, может разворачиваться что угодно — только не детектив, сколько бы трупов ни подложил нам автор; так что с детективной точки зрения книга — как это ни парадоксально — прочитывается в самую последнюю очередь. И перенос — которым Эко явно гордится — «низового» жанра в чуждый его специфике материал, и особенный интеллектуальный эффект, высеченный из соприкосновения несовместимостей, нами отмечаются как-то слабо. Мы читаем роман сразу так, как полагалось бы читать его по второму или третьему разу. И слава Богу! Оттого яснее его достоинство, явственней погружение в бурлящую, избыточную и непредсказуемую игровую стихию, что, быть может, и является изначальной, архетипической сутью искусства; заметнее, как энергично, плотно взбивается рукой мастера сама эпоха, в которой он берется разворачивать сюжет. Как именно эпоха становится главным героем книги, а ее аватары, — и Адсон из Мелька, и Вильгельм Баскервильский, и слепой Хорхе — всякое возникающее в романе лицо, — начинают говорить ее слова, иногда прямыми цитациями из средневековых трактатов, даже в диалогах.

*Сходства и различия.* «Маятник Фуко» увидел свет в 1988 году. Вероятно, вдумчивый критик сумеет проследить связь между изменениями, происшедшими за восемь лет в окружающем мире, и наиболее существенными различиями двух текстов (почему, например, на сей раз автор не остался в средневековье, а повествует «из современности»). Есть версия (подсказана мне Вадимом Перельмутером), что на выбор темы романа повлияла шумевшая история с масонской ложей «П2».

У «Имени розы» была характерная особенность — эта книга не походила ни на какую другую (я старательно пытался подбирать аналогии). «Маятник...» будто нарочно восполняет пробел и заставляет вспомнить сразу много чего. Тут в первом ряду будут, конечно, Борхес и Майринк. И само «Имя...» — однако почти всегда в зеркальном отражении. Далее — Эдгар По, например, и какие-нибудь послевоенные итальянские реалистические романы. Еще далее... но это опять-таки для вдумчивого критика. Нам уже давно внушили тезис, что всякая книга описывает только и исключительно какие-то другие книги. Кроме того, Эко, несомненно, сам прекрасно видит все возникающие параллели и мог бы написать (а может, и написал) «Заметки на полях „Маятника Фуко“», в которых все эти аллюзии им же самим будут учтены, объяснены и обоснованы, а тем самым опять-таки приобретут статус игрового хода (впрочем, это зачастую и в самом тексте проделывается — возникает, скажем, на мгновение майринковский Атанасиус Пернат). А все-таки задумываешься почему-то не об изяществе и сложности авторской игры, а о том, что определенные темы, несмотря на внешнюю массивность и привлекательность, литературно вычерпываются до дна в одно-единственное прикосновение — и потом уже не оставляют иных, неопробованных входов в себя; что теперь уже, кто бы ни взялся писать о каббале, текст неминуемо замкнет, с одной стороны, на «Голема», с другой — на «Смерть и буссоль»; примешься за алхимию — выплывет «Ангел Западного окна», и т. д. и т. п. Впрочем, Эко, пожалуй, даже рад такому положению вещей — может быть, потому, что оно оправдывает его «замыкания» на самого себя, на свой же первый роман. Правда (вот оно, отражение в зеркале; здесь — изысканно искривленном), теперь расследуемое преступление порождено самим расследованием, в результате которого преступник не найден, но создан. Напрямую переносится из «Имени...» и кладется в основание фабулы одна из сюжетных «закорючек»: «Я сочинил ошибочную версию преступления, — говорит Вильгельм, — а преступник подладил под мою версию». Здравствуй, слепой Хорхе из бесконечной аргентинской библиотеки-лабиринта, так любивший, чтобы жизнь следовала литературе!

Я все ждал — но не дождался — какого-нибудь головокружительного, «надсюжетного» кульбита, который бы весь этот слой литературных отсылок завязал в ту-

гой узел, свел воедино с сюжетом и потом как-нибудь парадоксально, неожиданно разрубил. Мне-то казалось, что иначе как бы и смысла не было копыя ломать.

*Горизонты.* Роман с самого начала читается (чувствуется, что так и предполагалось) как бы тремя разными развивающимися параллельно пластинами. Во-первых, многоплановый сюжет. Во-вторых (чего, конечно, от Эко и следовало ожидать), в той или иной степени литературно обработанный исторический материал. Наконец, горизонт ассоциативный и коннотативный, с неизбежным выходом на современность, — в нем и предполагаются самые тонкие игровые, символические, иронические моменты. В начале романа все три пласта довольно демонстративно разведены. На протяжении семисот страниц они будут сдвигаться теснее, начнут взаимодействовать, взаимодополнять и обосновывать друг друга. Не все и не всегда вразумительно — но подозреваешь, что сам недопонял. Мастер ведь плохого не напишет. А вот ловишь себя на том, что отмечаешь одну за другой очередные «скрепы». Может, наоборот, это достоинство, когда вся механика на виду? Как в модных часах?

*Сюжет.* Вернее, их три.

Линия 1 — главная. Трое итальянцев: молодой медиевист, адепт каббалы и сотрудник элитарного издательства. В начале 70-х им в руки попадает зашифрованный документ, якобы написанный средневековыми тамплиерами, перешедшими на тайное положение после разгрома Ордена в XIV веке. Предлагается вариант расшифровки. Появление документа сопровождается таинственным убийством (правда, в конце романа, страниц эдак через пятьсот, убитый непонятным образом оказывается жив и здоров). Их дальнейшая жизнь, как бы направленная этим заглавным событием, так или иначе подбрасывает постоянно поводы поразмышлять на тему о всяческих тайных обществах, различных мистических обрядах и связях всего этого между собой. В конце концов в порядке игры они принимаются комбинировать исторические факты таким образом, чтобы те, соединившись с придуманной ими версией тайного плана тамплиеров, составили цельную и непротиворечивую картину. Получается. Более того: очерчиваются контуры большого Плана — всемирного заговора, нити которого тянутся сквозь века. Игра затягивается и затягивает — или это сами играющие немножко сходят с ума и теряют ориентацию? Ближе к концу возникает и другая, совершенно банальная расшифровка той бумажки, с которой все началось, и это должно бы их отрезвить — но уже поздно. Все трое работают в издательстве, которое выпускает за счет авторов литературу, у нас бы называвшуюся «эзотерической», и имеют контакты с людьми, практикующими оккультизм (впрочем, сам Эко — или его герой — с подкупающей прямоотой называет его сатанизмом). Сатанисты узнают о придуманном героями Плана, и, как можно понять, этот План как раз и вдыхает в них, до тех пор только вяло прозябавших, сходящихся на описанные весьма иронично черные мессы и закалывавших жертвенных свиней, подлинную жизнь, дарит им цель. В результате один из героев погибает, будучи, в сущности, принесен в жертву великой Тайне, а протагонист ожидает неминуемой смерти. Их третий товарищ еще раньше умирает от рака, и это, видно, тоже связано с их странной игрой — но не совсем понятно, как.

Естественно, изложенное здесь — только общая канва, в романе оборачивающаяся сложной структурой с сотней ходов и десятками действующих лиц, каждое из которых так или иначе работает на сюжет, хотя делает это зачастую неуклюже, словно командированный за пивом Голем. И вполне можно было бы самозабвенно погрузиться в это очередное (какое по счету?) воплощение мифа о людях, переставших вещи в ином, нежели им предопределено, порядке и в результате разбуdivших грозную и неуправляемую силу, их же и пожравшую. Но беда: Эко опять то ли не может, то ли не хочет убрать с глаз долой те рычаги и зубчатые колеса, которыми вся эта махина движется вперед. И еще — спрятать некоторую недостаточность обоснований. Фактически каждый шаг в этой истории требует от автора своего «рояля в кустах».

Показательна, как образец мотивировок в романе, смерть адепта каббалы — того самого, умершего от рака. В мутном каббалистическом разговоре умирающий пытается объяснить свою смерть как следствие того, что игра, которой они развлекали себя, противоречила закону мироздания, подлинной Торе. Это выглядит чрезвычайно глубокомысленно, на самом же деле автор надеется таким образом читателя обмануть — поскольку правильный закон, подлинная Тора неизвестны, стало быть, и не ясно, в чем это противоречие состоит. Тут только руками развести: кто же его все-таки уморил?..

Линия 2. Быть может, наименее захватывающая, однако, на мой взгляд, наиболее цельная в романе. История человека, считавшего необходимым самоактуализации ради хотя бы однажды вздыбить жизнь до высшей густоты и напряжения. В рефлексии на данную тему и в попытках осуществления (в творчестве, в любви, в соперничестве) — всегда неудачных — герой проводит годы. В конце концов, когда уже более-менее ясно, что автор приговорил его к смерти, выясняется, что подобное мгновение (его описание замечательно) уже было у него, в подростковом еще возрасте, однако ему не приходило мысли соотнести тот давний эпизод с тем, чего он ищет. Обо всем этом протагонист читает в компьютерных файлах, куда неудачник заносил свои размышления, выдумки и исповеди. Добротная новелла в романе. Реализм с элементами модернизации; тени экзистенциальных «события» и «поступка». Подобные вещи у нас любили переводить в брежневские и постбрежневские времена. Может быть, только эта линия и есть в романе единственная безусловная реальность. Да еще несколько слов, которые в одной из последних глав говорит протагонисту мать его ребенка.

Линия 3. Не то что не проявлена, но даже намечена — хаотично. Представляет собой по большей части описание отношения протагониста к современным ему политическим событиям и мнениям — в Европе в шестьдесят восьмом, потом в Бразилии, потом опять в Европе. Всегда — в роли натушно рефлексирующего наблюдателя. По-видимому, это должно было составлять определенную контртему к главной, «окультистской». Не составляет.

*История.* Как и в «Имени розы», исторические страницы «Маятника...» — это сердце романа. Но если в «Имени...», как мне кажется, история сама выговаривает себя теми или иными устами, здесь, напротив, пересказом заняты персонажи — причем фактически все, за редкими исключениями. Напоминает чтение в лицах. Кроме того, если прежде Эко ограничивался четкими — и достаточно узкими — временными рамками, то в «Маяльнике...» он претендует весьма специфичную область бытия охватить аж со времени крестовых походов до наших дней. Тут вспоминаешь старую истину, что только любовь дает дар речи поэту. Любит Эко единственно средневековье. Все остальное — знает, лучше или хуже. Поэтому от страниц, посвященных ранней истории храмовников, крестовым походам, латинским королевствам и средневековой Европе, бывает невозможно оторваться (тут у автора действительно дар: ибо некоторые вещи ему достаточно даже не рассказывать, но просто назвать — а читатель уже подкуплен). Но чем дальше в нашу сторону по векам — тем изложение делается бледнее и бледнее. К восемнадцатому веку рассказывание окончательно вырождается в перечень фактов, почти хронологию.

И совсем уж фантастические вещи случаются, когда дело доходит до века двадцатого. Учитывая всю условность ситуации (в конечном счете ведь герои Эко всего лишь развлекаются, а значит, имеют полное право относиться к фактам тенденциозно и интерпретировать их в рамках теоретически возможного, на пользу своему Плану), утверждение, что германские ракеты «Фау» так и не сумели толком никуда полететь потому, что их траектории рассчитаны были не для выпуклой, а для вогнутой Земли (по ходу сюжета всплывает окультистское учение, согласно которому мы находимся не снаружи, а внутри земной оболочки), литературно еще вполне приемлемо. Но вот главки о России оставляют впечатление попросту неприятное, нечистое даже. И не только потому, что описание ужасов, якобы творимых якобы всесильной царской охранкой, якобы подробности жизни одиозного Нилуса и тому подобное к действительно положению дел имеют отношения не больше, чем книжки «про таинственное» с лотка в переходе. Но и потому, что они создают контекст, в котором, например, уничтожение царской семьи запросто преподносится как своего рода санитарный рейд, операции по истреблению крыс. В чьи уста ни отсылал бы автор подобную мудрость, она все равно заставляет вспомнить не очень уместное в общем тоне книги слово (постмодернисты могут зарядить прашу) «нравственность». Ну и без-нравственность соответственно.

Эти нелепицы волей-неволей ставят под сомнение и все остальные исторические реалии в романе. И оттого сразу же снижается интерес к авторской игре: наблюдать за раскладом, при заведомо крапленой колоде, может быть интересно исключительно шулеру.

*Коннотации и ассоциации.* Ну, не могу поверить, что их действительно нет никаких — тем более что люди, читающие Эко в оригинале, утверждают, будто у него всегда очень значительный слой смыслов принадлежит именно этой области: через намеки, иронию, языковую игру. Но, держась точки зрения читающего ис-



ключительно «російською мовою» (см. выходные данные киевского издания), вынужден констатировать: всякий раз, когда кончаются тамплиеры и начинаются, например, беседы протагониста с его бразильской пассией — почему-то они говорят почти исключительно на политические темы, — тип речи немедленно воскрешает в памяти лекцию о международном положении в сельском клубе. Еще хуже — если персонажам вдруг приходит на ум поострить; мне давно уже не приходилось читать ничего более кондового, чем обмен «ироничными» репликами между героями «Маятника...».

Парадоксально и показательно, что в «Имени розы» практически каждый критик, да и читатель, наверно, находил вразумительные и явные выходы на проблематику современного мира и современного человека. Голубая мечта структурализма и деконструкции — чтобы текст самостоятельно конструировал свои смыслы. Но это ведь надо еще создать такой текст...

*Триллер.* И еще странно — что Эко, с его чувствительностью ко всякого рода структурам, совершенно упускает из вида то, что, собственно, и придает вкус любому сочинению «с тайной», будь это триллер, книга о вампирах или детектив. Ритм неодновременной подачи информации читателю и героям — то есть когда сначала читатель знает то, чего не знают сыщик и убийца, потом читатель и убийца то, чего не знает сыщик, потом сыщик что-то, чего не знает убийца и читатель, — и так далее, в любых комбинациях. Здесь же половина загадок открывается через две страницы после возникновения, другая половина — может, по забывчивости? — так и остается нераскрытой...

*Опять менталитет.* Думаю, в России главный изыск романа будет и на сей раз всего лишь выстрелом из гаубицы по воробьям. Эко, похоже, рассчитывал погрузить читателя в мир неизвестных, таинственных и страшноватых культов, в среду новых загадочных и емких символов, в особую, тайную жизнь каких-то особых (что не мешает им быть придурковатыми) людей, книги которых и для которых, как следует из текста, в Италии издаются только немногими специфическими издательствами за авторский счет. Дудки, господин итальянец! В стране проигравшего социализма томы про невидимых властителей из Агартхи, арканы таро и магию друидов продаются в универмагах вместе с носками и зубной пастой и прилежно изучаются кухарками, отчаявшимися приступить к управлению государством; а всемирные заговоры во всех подробностях разоблачаются в листках, исходящих из живого кольца вокруг Оптиной пустыни. Проехали! Крути про любовь!

Впрочем, семь лет назад, быть может, все это и нам было бы в новинку?

*Маятник.* В романе, несмотря ни на что, много ярких находок. В развитии сюжета есть ходы очень изобретательные — например, обоснование неудачи запланированной за сто лет до того встречи тамплиеров разными сроками перемены юлианского календаря на григорианский в разных странах. Эрудиция Эко все-таки поражает: ведь энциклопедия и библиотека способны помочь лишь в уточнении деталей, выдумываешь же только исходя из того, что может быть востребовано из собственной памяти. И с главной мыслью романа, ради которой он, видно, и писался, трудно не согласиться. Это книга об искаженном сознании, о роде безумия (именно так, пусть даже корни его действительно тянутся куда-нибудь к прачеловечеству), возможно, тайно живущего в каждом из нас и способного периодически обуть как подобщества, так и целые общества; о неумении мыслить иначе как бесконечной, в никуда уходящей цепью значений — когда уже ни одна вещь не воспринимается равной себе, но во всем ищется указатель на иное, а в этом ином — на иное в квадрате. В сущности, романтическая инфантильность, которую человечество не способно изжить и которая из века в век питает собой «Великую Традицию», отгородившуюся привлекательным «посвящением», чтобы труднее было углядеть в ней дырку от бублика. А пустота — самая агрессивная штука на свете; написав и об этом, Эко придал своей книге даже некоторый антифашистский (в смысле более широком, чем просто политический) пафос, в современном мире не лишний. Но дело, видимо, в том, что автор одной из самых нашумевших книг второй половины века, принимаясь за новую работу, знал заранее, что пишет — бестселлер. И потому значительно больше усилий затратил, оправдывая заявку, обеспечивая читателя в широком ассортименте исторической экзотикой, завлекательной темой, нестандартной фабулой и касательством до некоторых модных вопросов (даже «ненастоящий» Шекспир мелькает на периферии), чем на то, что сделало «Имя розы» не просто хорошо читаемой книгой, но литературным событием: на угадывание, нащупывание, прочувствование годного только и исключительно

но для данной книги способа обращения с материалом и письма. Открытый в «Имени розы», казавшийся плодотворным метод всего за один шаг выродился в оригинальный (пока!), но уже, в сущности, вполне механический прием, тут же и подчинивший себе своего создателя. И оттого не хочется благосклонно прощать автору даже мелких и частных ошибок. А тем более таких, которые связаны с основным символом романа, вынесенным даже в заглавие, с необходимой для сюжета константой — свойстве маятника сохранять неизменной плоскость своих колебаний. Эко прямо в роман вставляет фрагмент своей переписки с профессором-физиком, где тот объясняет ему в общих чертах законы движения маятника. Наверное, тот же профессор подсчитывал и количество часов, за которое маятник Фуко совершает полный оборот на разных широтах. Но, похоже, забыл при том уточнить, что сохраняет-то маятник плоскость колебаний не с какой-то универсальной характеристикой, а всего лишь ту, в какой его в данном случае раскачали. Так что выглядит важно — а читать забавно.

Михаил БУТОВ.

### ПОСТСКРИПТУМ, НАПИСАННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛОМ-ДИЛЕТАНТОМ

Спешу пояснить: автор настоящих строк — профессиональный историк и абсолютный дилетант в области постмодернистской литературы. Потому прошу читателя рассматривать мои рассуждения по поводу текста рецензируемой книги как научно обоснованные в части тех или иных исторических персонажей или реалий и совершенно произвольные в сфере проблем публикации постмодернистских романов. Оговорюсь, что под текстом я понимаю не итальянский первоисточник, но именно этот, вышедший в Киеве в издательстве «Фита» «переклад з італійської (російською мовою)».

Перевод этот анонимен<sup>2</sup> — имя автора нигде не значится. Возникает три гипотезы: типографская ошибка, пиратское издание либо — здоровое чувство стыда профессионального переводчика, не желающего ставить свою фамилию под некачественным переводом. Принимаю — чисто интуитивно — третью гипотезу.

В чем я вижу некачественность перевода? В целом перед нами вполне добротный русский текст. Выражения типа: «Мы, наверное, большие на голову» (стр. 233) — весьма редки. Другие — уже не литературного свойства — орехи можно объяснить типографскими ошибками и невнимательностью редактора и корректора (кстати, их имена также нигде в книге не значатся — что, им тоже стало стыдно?). Так, на Борнео живут малайцы, можно сказать — малайзийцы, но не малоазийцы (стр. 84) — те находятся на другом конце континента, на полуострове Малая Азия, где расположена Турция. Не было такого государства — «Итальянская социалистическая республика» (стр. 379), была — Итальянская социальная республика во главе с Муссолини, марионеточное государство, созданное немцами в 1943 году, после того как король отстранил дуче от власти и Италия вышла из войны.

Но есть и явные ошибки переводчика. Невесть откуда появляется некий «придворный избранник» (стр. 228). Из текста ясно (но ясно лишь специалисту), что имеется в виду тот, кого на латинский лад именовали палатинский (или палатинатский) электор (но электор — все же избиратель, а не избранник), на немецкий же — курфюрст Пфальцский. Курфюрсты — высшие князья средневековой Священной Римской империи германской нации — обладали исключительным правом избрания императора (трон империи на всем протяжении ее существования замещался, хотя бы в теории, по выбору, а не по наследству). Пфальц — княжество в Германии (ныне — земля Рейнланд-Пфальц в ФРГ) — производит свое название

<sup>2</sup> Параллельно с киевским изданием роман «Маятник Фуко» публикуется в журнале «Иностранная литература» (1995, № 7 — 9) в переводе Елены Костюкович. В августовском номере журнала напечатано письмо главного редактора издательства «Бомпиани», которое является держателем прав на публикацию произведений Умберто Эко. Из письма можно узнать, что единственным перевод «Маятника Фуко», санкционированный автором и издательством, — это перевод Елены Костюкович, а единственный орган, приобретший права на публикацию этого романа, — «Иностранная литература». (Примеч. ред.)

от онемеченного латинского слова «Palatium» (первоначально — холм в Риме, затем — императорский дворец, так как он находился на этом холме, потом — императорский двор, а также дворец вообще; отсюда ит. palazzo, фр. palais, англ. palace), ибо Пфальц, до того как стать самостоятельным княжеством, был территорией, принадлежавшей лично императору, дворцовым имуществом. Хватает и иных ошибок. Например, кто такой Филипп Равноправный (стр. 491)? Существовал Филипп Эгалите, герцог Орлеанский (до кончины своего отца — герцог Шартрский), принц крови, во время Французской революции ставший ярым якобинцем, отказавшийся от титула и принявший фамилию Эгалите (фр. Равенство), голосовавший за смерть своего родича-короля и все же попавший на гильотину. Принято в отечественной литературе говорить не ландграф де Хессе, а — Гессенский (стр. 211 и др.). В ряде случаев переводчик не знает персонажа, о котором идет речь, и потому именует его как придется, исходя из огласовки имени на английский или французский лад. Имя византийского еретика IX века — в латинской транскрипции греческого алфавита Chrysocheir — звучит как Хрисохир, а не Хризошейр (стр. 451). Фамилия знаменитого голландского физика, создателя теории маятника — Huygens, в России традиционно передается как Гюйгенс, можно правильнее, с точки зрения норм нидерландского произношения, — Хёйгенс, но никак не Хьюгенс (стр. 534).

Впрочем, диапазон книги Эко простирается, как сказано в аннотации, «від Моцарта та Ейнштейна до Наполеона, російської царської охорони, Сталіна та Гітлера, від знарядь тортур (укр. орудий пыток) до Ейфелевої вежі та компютерів IBM». Потому переводчику позволительно кое-чего и не знать, например, того, что Вселенский Собор католической Церкви происходил в 1311 — 1312 годах не в Вене в Австрии, а во Вьенне в Южной Франции (стр. 122), тем более что названия этих двух городов в итальянском (и ряде других европейских языков) совпадают, и ту же ошибку совершила блистательный переводчик «Имени розы» Е. Костюкович. Другое дело, что переводчику должны были указать на ошибку редактор либо научный консультант.

А вот иные ошибки можно объяснить только, мягко говоря, торопливостью переводчика, которому некогда было осмыслить переведенное, ибо, конечно же, реалии ему хорошо известны. Разумеется, он знает, что апостол Павел обращал два свои послания к фессалоникийцам, а не фессалонянам (стр. 96); что, в соответствии с отечественной традицией, следует говорить «князь мира сего», а не «принц этого мира» (стр. 217), «Вавилонская блудница», а не «Проститутка Вавилона» (стр. 165); что вряд ли тамплиерам вменялось «раскаяние по пятницам» (стр. 99), так как итальянское слово «penitenza» здесь безусловно означает акт церковного покаяния, и т. д. и т. п. Даже если отвлечься от религиозной лексики, председателя Мао не стоит называть президентом (стр. 148), хотя бы по-итальянски обе должности и назывались одинаково — presidente; знаменитое, не забытое, увы, доныне произведение, опубликованное С. А. Нилусом, называется все-таки «Протоколы Сионских мудрецов», а не «Протоколы Мудрецов Сиона» (стр. 555).

Но все эти, говоря на современном сленге, «проколы» заметны лишь при пристальном чтении (впрочем, как еще читать Эко?). В глаза бросается иное: перевод «голый». Поясню, что я имею в виду. Во-первых, переведено только и исключительно то, что написано по-итальянски. А ведь роман Эко просто переполнен отдельными словами, названиями разнообразных книг и трактатов, обширными цитатами, высказываниями персонажей на английском (в том числе староанглийском), французском (в том числе старофранцузском), испанском языках, на латыни и даже на иврите. При этом отрывок из писаний известного каббалиста Исаака Лурия не только приводится по-древнееврейски, но и воспроизведен еврейским алфавитом, неизвестным подавляющему большинству населения России, даже и обладателям пресловутого «пятого пункта». Так что читателю придется либо обложиться словарями, либо махнуть рукой и читать только по-русски, испытывая беспокойное чувство того, что он пропустил нечто важное. Указанная «нагота» местами даже излишняя. В русский язык давно вошло из компьютерного лексикона слово «файл», так что нет ни малейшей необходимости на протяжении всей книги транслитерировать его на латинице — file. Не нужно название знаменитого рыцарского романа немца Вольфрама фон Эшенбаха писать по-немецки — «Parzival» (стр. 167), пусть по-итальянски имя Парцифаль и звучит иначе (при этом название знаменитой марки виски приведено по-русски, но почему-то «Баллантин», а не «Баллантайн» — стр. 63 и др.).

Во-вторых, «обнаженность» перевода проявляется еще в одном — он начисто лишен каких-либо комментариев. Предположим, читатель правильно переведет с французского «pieds noirs» (стр. 116) как «черноногие». Но знает ли он, что так назывались французы — уроженцы колоний, на которых жители метрополии и чиновники колониальной администрации смотрели как на не совсем полноценных французов и которые в большинстве своем, мучаясь от социальной ущемленности, стремились любым путем утвердить свое превосходство над «грязными туземцами»? (Дорогой читатель! Тебе это ничего не напоминает?) Читатель выяснит, что название неоднократно упоминаемого алхимического сочинения Михаэля Майера «Atalanta Fugiens» (стр. 36 и мн. др.) переводится с латыни как «убегающая Аталанта». Ну и что? Кто такая Аталанта? Почему она убегает? Что за личность Михаэль Майер? О чем эта книга вообще? И т. д. и т. п. Боюсь, что читателю самому, без помощи комментатора, не разобраться в алхимии, каббалистике, языческих культах бразильских негров и многом, многом другом. Интеллигентный читатель сразу уловит в словах: «Ты хотела бы, чтобы Лютер поместил в свой герб пылающую жирафу или расплавленные часы?» (стр. 224) — намек на Дали. Но круг чтения этого интеллигента, скорее всего, таков, что, разбираясь в творчестве Дали, он зато понятия не имеет, что Сэм Спейд (упомянутый на стр. 38 и мн. др.) — это частный сыщик, персонаж «крутых» детективов Д. Хэммета. И никто, за исключением историков-античников, не знает, кто такой Аггал I и зачем он вступил в антимакедонский союз (стр. 333). А ведь намеки, аллюзии, имена, даты, факты рассыпаны по всей книге Эко, встречаются на каждой странице, образуют художественную ткань «Маятника Фуко».

Так что детище издательства «Фита» требуется хорошо отредактировать, доперевести, тщательно прокомментировать — словом, «одеть», чтобы любой, взявший в руки «Маятник Фуко», смог полностью погрузиться в мир этого спорного, может быть, и не лучшего (для Эко), но все же замечательного постмодернистского романа.

Р. Р. S. (то есть постскрипту к постскрипту). Я поставил точку, перечитал написанное — и вдруг... Я, дилетант, задал вопрос себе, профессионалу: а требуется ли? Нет, конечно, проверка имен, терминов — необходима. Но перевод италийских текстов, но комментарии? В конце концов, переводчик-аноним вполне точно передал текст: где там по-итальянски, тут по-русски, а где на латыни — извините. Эко не переводил, и мы не будем. И поясняющих примечаний никаких. Как автор задумал, так и сделано. Можно, разумеется, счесть, что италийский читатель «Маятника Фуко» более образован, нежели русский. Да, он, конечно, не спутает «социальную республику» с социалистической — это его история, но ведь о Нилусе мы знаем поболее его. Да, он — предположим — лучше нас владеет английским или французским, но ведь не древнееврейским же? Да, он — благодаря близости языков — без перевода поймет, что значит «Atalanta Fugiens», но чтобы он читал эту книгу или хотя бы слышал о ней — не поверю. Как не поверю и тому, что средний интеллигент-итальянец хоть что-либо знает об Аггал I или бразильской умбанде. Значит, автор и не собирался ничего объяснять. Для него, наверное, важнее любой конкретики было, чтобы у читателя возникло ощущение некоего знания, огромного, всеобъемлющего, неохватного и вместе с тем явно подлинного — ведь что-то этот читатель слышал и знает. И перебивка языков отсюда же — что-то понял точно, что-то приблизительно, о чем-то догадался, что-то осталось абсолютно непонятным. Каждый читающий что-то узнает, что-то нет — все знает только автор. И он — как и полагается подлинному постмодернисту — является богом-демиургом космоса-романа. Форма подачи им текста абсолютно — на то он и бог — адекватна содержанию: книга повествует об эзотерическом знании, открытом только посвященным, более того, до конца неизвестном и им, о тайне, великой тайне, существующей и несуществующей одновременно. Значит, не нужны ни переводы с италийского, ни примечания.

Р. Р. S. (то есть постскрипту к постскрипту). И опять я поставил точку, и опять перечитал, и опять задал вопрос, но уже я-профессионал мне-дилетанту: «А ты сам? Ведь призвал на помощь всю эрудицию специалиста, рылся в книгах, энциклопедиях, словарях, в том числе иностранно-русских. Значит, стремился понять все, каждый факт, каждый намек?» Да, каюсь, так оно и было. А почему читатель должен желать иного? Может, он тоже хочет все знать? Раздираемый противоречивыми чувствами, я заколебался и наконец решил: первую часть своего сочинения (собственно постскрипту) объявляю тезисом, вторую (постпостскрипту) — антитезисом, третью (постпостпостскрипту) — синтезом.

И заявляю: «Дорогой читатель! Если ты истинный постмодернист, если атмосфера романа, атмосфера игры, но игры серьезной, вдумчивой, тебе дороже приземленной фактографии, которая может лишь разрушить arcana sacra (оставляю без перевода), то читай, пусть и сожалея по поводу «ляпов» законспирированных переводчика и редактора, киевское издание «Маятника Фуко». Если же ты, подобно автору этих строк, жалкий позитивист и ценишь точное знание более, нежели щекочущее ощущение чего-то сокрытого, то подожди другого издания, исправленного и откомментированного».

Дмитрий ХАРИТОНОВИЧ.

\*

## НАЧАЛО РЕЧИ

Михаил Безродный. Конец Цитаты. — «Новое литературное обозрение», 1995, № 12.

**Н**ачнем тем не менее именно с цитат. Из Даля: «Речь, что-либо выраженное словами, устно или на письме; предложение, связанные слова, в коих есть известный смысл». Из Безродного: «Вот так и накликают себе бессонницу». Между первой и второй цитатами есть известная связь: сидя в каком-то заграничном захолустье (по российским меркам), страдая от отсутствия поблизости Публичной библиотеки на Садовой, петербургский филолог Михаил Безродный пишет «связные слова», то есть некоторым образом прозу. Сей ли процесс бессонницу провоцирует, или ровно наоборот, — не суть важно. Может быть, никакой бессонницы и вовсе не было. Была граница, филологически-преподавательские штудии — «страх немоты или косноязычия?»: «То, что было за гранью, заворачивало, притягивало и пугало. Пастернак искренне пытался преодолеть свою «невнятность», Мандельштам преследовал страх немоты. Пользоваться словом как единственным значения и звучания они были вынуждены, поскольку при всем желании первый не мог обернуться соловьем, грозой и ручьем, а второй — стать готическим собором». Об этом — в конце «Конца Цитаты». Так ведь и чистый филолог, который слишком хорошо «знает», как следует писать «художественный текст», почти никогда не может (и/или не хочет) стать чистым прозаиком.

В начале же «Конца», сетуя на «непроходимость» германских дворов, прикидывающихся ленинградскими (то есть проходными), автор объясняет, почему же ему вдруг так понравился Марбург: «проницаемый и по горизонтали, и по вертикали: заходишь, к примеру, в книжную лавку, а там лифт, на котором можно подняться или спуститься на другой уровень города». И даже — при некотором усилении памяти и воображения — оказаться в том самом далеком Петербурге, или в общежитии Тартуского университета 70-х годов, или в привычном «книжном» пространстве, точнее — на девственно чистых книжных полях, словно бы специально предназначенных для размышлений и заметок, для прямой речи, обращенной к себе. Потом иногда (редко) случается так, что слова «для себя» начинают обретать некую удивительную самодостаточность и, собранные вместе, становятся книгой. Образу «проницаемого», многоуровневого Марбурга, на наш взгляд, можно наиболее точно уподобить «Конец Цитаты».

Жанр коротких заметок «по случаю и поводу» (или даже почти без оных — так, нечто в голову пришло) в русской изящной словесности далеко не нов. Однако удачи в нем — с той или иной степенью допущения — можно действительно перечислить по пальцам одной руки: В. В. Розанов, Л. Я. Гинзбург, из новейших — Д. Е. Галковский. Может быть, еще несколько не столь часто повторяемых имен. Причем легко выводится одна закономерность: удача в этом жанре порой сопутствует философам-филологам и практически никогда — поэтам-прозаикам. Показательным примером последнего рода могут послужить вполне провальные «Мгновения» Юрия Бондарева и почти провальные «Камешки на ладони» Владимира Солоухина. Ну да не о них речь.

Наш автор, в конце своего труда поставив дату («июль — август 1993 года»), менее всего этим хотел ввести читателя в заблуждение и выдать свой текст за плод двухмесячного труда — такие книги не пишутся в одночасье, а по крупницам собираются из разрозненных клочков (или, ежели автор аккуратист и в лучшем смысле

слова педант, из библиографических карточек, бумажных или компьютерных). Хотя, конечно же, сам процесс раскладывания пасьянса из собственных мыслей и слов требует не только известного вкуса и чувства меры. Он требует особого дара, не исследовательски-филологического, а именно прозаического, даже, если хотите, беллетристического, пусть и особого рода.

Начинается все с гастролей парижского авангардного театрала в Бохуме, актеры которого играют не на сцене, а внутри куба с прорезями в боковых гранях, а заканчивается объявлением «конца прекрасной цитаты», нарочито рифмующимся с «концом прекрасной (великой) эпохи», — этой теме, собственно, посвящено послесловие Андрея Зорина «Осторожно, кавычки закрываются», сопровождающее публикацию. Посему мы можем отослать заинтересованного читателя ко вполне концептуальному послесловию, а сами — вернуться к началу.

Жанр журнальной рецензии предполагает как минимум усилие ее автора сделать для читателя понятной (пусть и в самых общих чертах) суть рецензируемого текста. В ситуации — а перед нами именно тот случай, — когда внешний сюжет отсутствует или четко не артикулирован, можно попытаться хотя бы дать представление о форме и содержании. О форме сказано выше. Перейдем к содержанию.

«В 1811 году правителем канцелярии Баркляя был сенатор Безродный. Ермолов, ездивший зачем-то к главнокомандующему, по возвращении сказал: „Плохо, одни немцы. Я нашел там одного русского, да и тот Безродный“». Сию сентенцию можно было бы воспринять исключительно в порядке самоиронии, исторического казуса, связанного со «значимой» фамилией автора, если бы она не следовала сразу после упоминания о выдаче беженского «паспорта для путешествий», в котором «ни для отчества, ни для отчества граф не предусмотрено». И так — почти в каждый раз: казалось бы, разрозненные мысли, заметки, исторические и филологические экскурсы, ан нет, не совсем, — внутренний сюжет (понятный только здесь и теперь — при чтении) объединяет столь разнородные элементы повествования. «Конец Цитаты» — это как бы философическая канва романа ли, повести. Пробелы, обозначаемые звездочками, при желании вполне могут быть заполнены событиями из жизни автора. Но это вроде и ни к чему. Гораздо приятнее заполнить их собственными (читательскими) мыслями, благо и место как бы специально для карандашных заметок оставлено. Были бы мысли. Поводов для них, во всяком случае, предостаточно. «Конец Цитаты» — открытая книга, которую каждый желающий может дополнить. Для себя. Пространство ее, как уже говорилось, пронизаемо — и по вертикали, и по горизонтали.

От Безродного (сенатора), беженского паспорта и Публичной библиотеки Безродный (автор) переходит к теме «о влиянии звукового комплекса ПЕТЕРБУРГ на текст о городе Петербурге». Далее тема сия разрастается в «петербургском» контексте, пока не завершается (неожиданно ли?) «плачем»: «О Публичная библиотека, уже за шеломянем еси...» Откуда ни возьмись является взору автора уездный город Серпухов двадцатилетней давности, где даже власти мало изменились с XIV века (а ведь и правда, наверное): «дикарем» путешествовавшие «скоморохи» ночевали волею российских обстоятельств в отделении милиции, где «долго потешались, изучая портретную галерею всесоюзных «Wanted» на одной стене и местных отличников МВД — на другой». Чуть позже возникнет учебная комната студентов-филологов Тартуского университета, где рядом висели три портрета классиков марксизма-ленинизма, из которых двое — Энгельсы. Что за чудо эта российская жизнь (хотя Тарту теперь уж совсем за граница). Зато там учился Д. Ульянов, родственник известно кого. Защищались в местном университете (да и в иных местах) и диссертации с названиями, которые прямо-таки просятся в «копилку филолога» — наряду с названиями книг из коллекции библиографа Публичной библиотеки А. Румянцева, городскими вывесками и опечатками, выловленными «в пору работы корректором и редактором» в издательском отделе все той же библиотеки.

Размышления и воспоминания перемежаются поэтическими опытами автора, по большей части иронико-филологическими, вполне изящными. Игра словами (нарочитая или случайная) доставляет ему особенное удовольствие: «Старшая дочь эмигрантка в ответ на упреки: „Почему это я не чувствую русского языка? Я русского языка очень даже чувствую!“», «Разгробки и разграбки Трои», «Словосмесительная связь», «Оговорка берлинской знакомой: „И тут у меня лопнула чаша терпения...“» Чуть ниже приводятся источники знаменитых цитат, мало кому известные: «Из любви к искусству» (Ленский), «Мы пахали» (И. Дмитриев), «На язык родных осин» (Тургенев), «С милым рай и в шалаше» (Н. Ибрагимов). Много и

«чистой» филологии — серьезной и забавной, — от сравнительного анализа стихотворений Блока и С. Гандлевского до фонетических особенностей поэтики Пастернака и Мандельштама: «Одну из продуктивнейших для пастернаковской речи консонантную модель словообразования можно представить как трехзвенную: заднеязычный (Г, К, Х) + ненозальный сонсорный (Р, Л/Л') + переднеязычный эксплозив (Т, П, Б)». В последнем случае филолог прозаика прямо-таки душит гольми и беспрекословными руками. К вящей радости читателя, уже успевшего привыкнуть к определенной «легкости» авторского языка (даже при говорении о вещах достаточно сложных), такие пассажи немногочисленны и бережущи для последних главок.

В конце концов оказывается, что написать что-либо внятное о «Конце Цитаты» можно, лишь прибегая к бесконечному цитированию, — пересказать содержание нельзя, слишком уж его (содержания) много. «Конец Цитаты» в некотором смысле — сплошная цитата (Безродного — из Безродного). И сразу тянет на банальность — что вся наша жизнь... Тут пора остановиться, лишь приведем последнюю цитату: «Но если рвущаяся на волю стихия, энергия, сила — не что иное, как речь, то какая же это речь и о чем она?» О жизни, судьбе, литературе? И об этом тоже. Речь, обращенная к самому лучшему читателю — самому себе. Этим — но лишь отчасти — и интересна. Важнее другое: мерцание тайны между строк, несказанное, недоговоренное. Белые бумажные поля чисты. Карандаш просится в руку. Что из этого выйдет? Посмотрим. Инда еще побредем.

И. К.



## РОЖДЕННЫЙ ПОСЛЕ

Алексей Пурин. «Евразия» и другие стихотворения. СПб. «Пушкинский фонд». 1995. 87 стр.

Алексей Пурин. Пейзаж за стеклом. Стихи. — «Звезда», 1995, № 6.

**В** недавнее время оно — нынче и вспоминать потешно! — литературная критика гневалась и ругалась словами «книжность», «литературщина», «окультуренность», «вторичность». Этот бредовый жупел из арсенала соцреализма заморочил голову целым поколениям — и растворился в новом тумане.

Теперь излишне доказывать, что вышеприведенные категории — не художественный изъян (как, впрочем, и не знак высшего качества), а просто-напросто определенное свойство поэтического дара. Творческое сознание, в сущности, всегда вторично: по отношению ли к внешнему ли миру, к авторской ли психике, к библейскому ли пантеону, к истории ли, к фольклору — у кого что доминирует. Интересно, что та самая критика никогда не применяла ярлык «вторичность» к поэта́м народного толка — а уж куда быть «вторичнее» Кольцова (по отношению к песне) или Прокофьева (по отношению к частушке)!

В общем, с этим вопросом мы как бы разобрались сразу: вторичность (и даже эпигонство, если оно — трамплин) — это не хорошо и не плохо, это имеющая право на существование органика. Да?

Алексей Пурин — поэт откровенно и талантливо вторичный. Он — новатор-эпигон. Чужая поэзия — и, шире, культура — естественная для него среда обитания, как улица, роща, казарма, аллея, вагон.

Поэтому, описывая живую реальность, он — для краткости, как это принято в болтовне интеллектуалов, — постоянно кликает чужие книги, полотна, киноленты. «И поселковый клуб — глупый, словно Лажечникова силичишь прочитать», или «в закрытых глазах (из раннего Протазанова?) мельтешить начинает», или «как в Государственном репинском тесном совете». В этих стремительных отсылках — и прелесть цитатной игры, лстящая читателю-ровне, но и некоторая (по самому строгому счету) леность автора: сноп возможных читательских ассоциаций и рефлексов в этих случаях как бы берется напрокат. Врубились в розетку Протазанова (или Матисса, или Томаса Манна) — и посторонняя энергия прихлынула задарма. Есть и такая сторона проблемы, не так ли? И ее не обойти, говоря как о Пурине, так и вообще о моей любимой «ленинградской школе».

Ладно, не обошли. И пошли дальше.

Пленительно-вольный филологизм сказывается у А. Пурина в обилии поданных запросто, как дождь или снег, и инкрустированных в стиховую ткань литературных терминов: «инверсионная одышка», «прозаизмы начеку», «мемуарная ботва», «жмурки смысла» и так далее. Склонность стихо-творца временами перевоплощаться внутри поэтической строки в стихо-веда и обратно имеет в нашей поэзии свою традицию, особенно ярко представленную в «Евгении Онегине», а из нынешних авторов весьма любезную Кушнеру. Алексей Пурин разрабатывает эту линию с прилежным и форсированным вкусом.

Корневая литературность пуринского дара позволяет ему то и дело впадать в сознательное (а в неосознанное — не верю, ибо знание и чувство поэтических стилей у этого автора слишком серьезное) и, подчеркиваю, талантливое эпигонство (кстати, эпигон — по-гречески всего-навсего: рожденный после).

Пурин не чинясь примеряет на себя то городской говор Кушнера:

Давай печаль развеем — в сад  
войдем, где те в земле лежат,  
чьи книги мы забыли, —

то длинную, с резким переносом строку Бродского:

Прозрачный вечер рождает ощущение потери веса  
вещами и телом в плаще...

А то вдруг звучит откровенная стилизация под Мандельштама:

Где Саратов-амбар, самобранка-Торжок?  
Только вьюги военной рожок.  
Только сталинский сокол в тупых сапогах —  
полированный цоколь, ледовый госстрах.

А то идет почти калька с раннего Пастернака:

Смесь ангела и демона —  
курчавой тьмы и льна...  
Здесь снежная Дездемона  
арапу отдана!

Все эти перевоплощения осуществляются настолько похоже и артистично, что не шокируют ничуть. В подоплке такая беззаветная любовь к русской поэзии, что — если перефразировать крылатые строки того же Пастернака — победа Алексея Пурина в том, что он «ими всеми побежден».

Замечу лишь одно явное поражение А. Пурина в этой сфере: плохо, когда он метит перевоплотиться в Хлебникова, а влетает, увы, в Кирсанова:

Расколот осколоб диабазы,  
озг оглоб,  
злбно я — булдыга или ваза,  
звягнудая об.

Недолет!

Думается, что органическая тяга к стилизациям связана у Пурина с пониженной субъективностью его лирики. Она живописна и зарисовочна, в ней много пейзажей, портретов, жанровых сцен, натюрмортов, но практически нет автопортретов и исповедального психоанализа. Не случайно поэт так пристально любит «мертвые» объекты: кладбища, музеи, антиквариат. Даже дышащую природу и явь он окультуривает и омертвляет: «иняя барочная камея» или «ларчик гауптвахты». Даже нынешнюю государственность он воспринимает в остранный-архаическом масштабе. Таковы стихотворения «Метро» и «В дни съезда», где Киров съезжает «к пращурам на ассирийский пир», подземельный коммунист путем фантазийного сдвига помещен в громовое Урарту и —

Вставший Лазарь шуруется от света —  
на марксобородые старания  
и политбюрошное либретто.



В этой драматической игре масштабами таится глубокое неприятие современной тоталитарной власти и презрение к ее лжезначительности. В этом смысле пуриновское стихотворение о Винкельмане — оно и о себе тоже:

Не Элладу ли он ищет сиротливо?  
О, какая всюду грязь и нищета.

Пурин — мастер остранения: привычное, будничное, сегодняшнее он видит и заставляет нас видеть заново, то сталкивая лбами жаргон и архаику, то создавая обэриутского кроя метафоры: «в стеклянной трубочке свинцовый Цельсий спятил» или «Обводный спит канал куском хозяйственного мыла».

На этом эффекте построен весь цикл об армии «Евразия», составляющий добрую половину книги. «Евразия» зиждется на стилистическом (высокое и низкое), этнографическом (Север, Карелия — место службы и солдаты-среднеазиаты), энергетическом (внешний порядок, якобы дисциплина — и внутренний хаос, раззор, разврат) столкновении. Так об армии в русской поэзии XX века никто не писал (в прозе было — от Куприна до Каледина). Этот цикл являет нам не только достижения, но и перспективы пуриновского таланта: ему по плечу поэмы, повести, романы. «Евразия» полна прямой сатирической эротики, остроумия, наблюдательности, точна, натуральна.

Парадокс пуриновской поэтики: при всей зацикленности на уже существующих текстах и иных явлениях культуры она оригинальна. Перед нами — новый и странный, обращающий зависимость в свободу поэт.

Уверена, что впереди у Алексея Пурина — неожиданный путь.

Татьяна БЕК.



---

---

## РУССКАЯ КНИГА ЗА РУБЕЖОМ



**ЯН САТУНОВСКИЙ.** Рубленая проза. Собрание стихотворений. Составление, подготовка текста и предисловие Вольфганга Казака. Послесловие Геннадия Айги. München. Verlag Otto Sagner in Kommission (совместно с издательствами «Время и Место», Москва; «Старый Свет — Принт», Минск). 1994. 328 стр.

Книга вышла под грифом серии «Труды и тексты по славистике» («Arbeiten und Texte zur Slavistik»), издающейся с 1973 года в Германии<sup>1</sup>. Состав этой серии показывает, что славистика для ее авторов есть русистика, наука о русской литературе. За двадцать с лишком лет (книга Сатуновского счетом пятьдесят восьмая) здесь выпущены не только исследования о многих писателях: от А. К. Толстого (Ф. Гёблер) и Л. Н. Андреева (А. Мартини) до Петра Вершигоры (Х. Й. Дрейер) и Тимура Пулатова (Б. Фукс). Постоянно издаются и представительные сборники художественных произведений. Именно здесь еще в 70-е годы появилось объемное избранное Геннадия Айги «Стихи 1954 — 1971» — под редакцией и со вступительной статьей В. Казака, ранняя проза М. Булгакова (составление Ф. Левина), роман, драмы, лирика и поэмы Владимира Казакова (1938 — 1988), писателя и сегодня у нас почти неизвестного, стихотворения Георгия Оболдуева (1896 — 1954).

Напомним, что эту серию выпускает Вольфганг Казак, профессор Кёльнского университета, многие годы бывший директором тамошнего Института славистики, создатель до сих пор единственного в своем роде «Лексикона русской литературы с 1917 года» (ныне в России его готовится выпустить издательство «Культура»).

В основе сборника Яна Сатуновского лежит составленное самим автором в 1974 году «Избранное в трех томах», которое он выпустил самиздатом в семи экземплярах. Кроме того, В. Казак включил сюда добавочный авторский томик со стихотворениями конца 70-х — начала 80-х годов, рукописную поэтическую тетрадь Сатуновского с автобиографией и другие стихотворения поэта, собранные после его смерти братом Петром. Таким образом, перед нами по возможности полное на сегодняшний день собрание стихотворений этого поэта<sup>2</sup>.

«Рубленая проза» естественным образом развивает то, что в упомянутой книге С. М. Сухопарова о Крученых представлено началом новой поэтической традиции. Ведь и Крученых мог сказать словами Сатуновского:

Поэзия — это то, что я себе позволяю.  
Что я позволяю себе,  
и чего  
не доз-во-ляю.

Тем самым Сатуновский отошел от классических определений поэзии, все же позволив своей поэзии остаться поэзией, то есть «переживанием вдохновенного».

Очевидна также переключка с Крученых Яна Сатуновского из 1966 года:

«Увоили бо бигули карчунá,  
и кам чур мазурли,  
и кам чур  
музбóрли...»

---

<sup>1</sup> «Новый мир» (1994, № 3) уже публиковал отклик на книгу из той же серии: Сухопаров С. М. Алексей Кручёных. Судьба будетлянина. Редакция и предисловие Вольфганга Казака. 1992.

<sup>2</sup> Недавно в журнале «Знамя» (1995, № 5) в публикации Ивана Ахметьева появились еще шесть стихотворений Сатуновского, не включенных в «Рубленую прозу».

Наконец, многозначительный перезвук возникает при чтении миниатюры Сатуновского «Посещение А. Е. Кручёных» (декабрь 1967), написанной 1 сентября 1968 года, то есть вскоре после кончины Алексея Елисеевича:

Беленький, серенький Дырбулшил:  
— К Троцкому я не ходил,  
к Сталину не ходил,  
другие кадили...

Конечно, нет нужды связывать Крученых и Сатуновского с каким-то сознательным манифестом — тогда сюда же Велимира Хлебникова, Тихона Чурилина, уже названного Владимира Казакова, Генриха Сапгира, Игоря Холина... И вообще: в мире, увиденном этой поэзией, фамилия не так уж важна. Опять процитирую Сатуновского:

А я помню  
этого Холина  
еще не Сергеевичем,  
а Вячеславовичем,  
и не Игорем,  
а Петром.  
Его фамилия была Чуриканов.

В рецензии на поэмы Холина Сатуновский заметил:

«Поэту среднему достаточно, чтобы читатель узнавал: это Холин.

Большому поэту надо, чтобы читатель узнал: Холин — это я.

Тогда стихи перестают быть предметом эстетической оценки... а становятся религией последних дней человечества».

Между прочим, за этими словами не только наши новейшие раздумья над тем, «в чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность», но и, скорее всего, объяснение причин, по которым в другой стране уже много лет профессор Казак издает книги русских поэтов, неизвестных в России (ну пусть: неиздаваемых в России). Может быть, ему, немцу, сыну писателя-антифашиста, начавшему учить русский язык в русском плену, слышнее то в нашей родной речи, что мы не расслышали до сих пор?!

Геннадий Айги назвал поэзию Яна Сатуновского «своего рода летописью всей нашей жизни». А Сатуновский адресовал ему строки:

Постигнув  
логику абсурда,  
ты любишь рассуждать  
премудро.

Оба правы. «Холин — это я», — говорит профессор Казак. Не многие читатели этих книг в России чувствуют то же.

Сергей ДМИТРЕНКО.



---

---

## КНИЖНАЯ ПОЛКА



**Александр Володин.** Монологи. СПб. Библиотека альманаха «Петрополь». «Библиополис». 1995. 96 стр. 3000 экз.

**Николай Гумилев.** Озеро Чад. Стихотворения, статьи о поэтике. Редактор-составитель И. А. Курамжина. М. «Центр-100». 1995. 222 стр. 55 000 экз.

**Евгений Евтушенко.** Строфы века. Антология русской поэзии. Научный редактор Е. Витковский. Минск — Москва. «Полиграф». 1995. 1054 стр. 12 000 экз.

Наиболее полная — представлены 875 поэтов — антология русской поэзии XX века в новом для отечественного читателя жанре: «авторской», то есть не претендующей на «объективность». Этим изданием издательство «Полиграф» намерено начать выпуск серии книг «Итоги века. Взгляд из России». Главный редактор серии — Анатолий Стреляный, руководитель программы — Борис Пастернак.

**Борис Екимов.** Высшая мера. Повести, рассказы. Волгоград. Комитет по печати. 1995. 416 стр. 1000 экз.

**Николай Заболоцкий.** «Огонь мерцающий в сосуде...». Стихотворения и поэмы. Переводы. Письма и статьи. Жизнеописание. Воспоминания современников. Анализ творчества. Составление, жизнеописание, примечания Никиты Заболоцкого. М. «Педагогика-Пресс». 1995. 944 стр. 10 000 экз.

**Владимир Климов.** Сдвиг по фразе. Стихи. М. Издательство Е. Пахомовой. 1994. 39 стр. 500 экз.

**Семен Липкин.** Перед заходом солнца. Стихи. Париж — Москва — Нью-Йорк. «Третья волна». 1995. 128 стр. 5000 экз.

**Инна Лиснянская.** Одинокый дар. Стихи. Париж — Москва — Нью-Йорк. «Третья волна». 1995. 158 стр. 5000 экз.

**М. М. Пришвин.** Дневники. Книга 3. 1920 — 1922. М. «Московский рабочий». 334 стр. 11 000 экз.

**А. П. Чехов.** Степь. (История одной поездки). Издание подготовил М. П. Громов. (В серии «Литературные памятники»). М. «Наука». 1995. 288 стр. 2350 экз.

**Ж. М. де Эредиа.** Сонеты в переводах русских поэтов. Составление, подготовка текста, послесловие, примечания Б. Романова. М. Фирма «Олеся». 1994. 320 стр. 30 000 экз.



**Зорий Балаян.** Между адом и раем. Карабахские этюды. М. «Academia». 1995. 414 стр. 10 050 экз.

В основе книги — дневниковые записи журналиста и литератора, составившие хронику шести лет войны в Карабахе. Рисунки автора.

**Записки Михаила Васильевича Сабашникова.** Под общей редакцией А. Л. Паниной. М. Издательство имени Сабашниковых. 1995. 590 стр. 15 000 экз.

**Д. К. Зеленин.** Избранные труды. Очерки русской мифологии. Умершие неестественной смертью и русалки. Вступительная статья Н. И. Толстого. Подготовка текста, комментарии, составление указателя Е. Е. Левкиевой. М. «Индрик». 1995. 430 стр.

**Лицо и маска Михаила Зощенко.** М. «Олимп» — ППП. 1994. 368 стр. 3000 экз.

Вышедший к столетию писателя сборник включил в себя малоизвестные и неизвестные тексты Зощенко: письма, раннюю прозу, литературную критику и дневниковые записи. А также обширную подборку прижизненной и современной литературной критики и «Хронологическую канву жизни и творчества М. М. Зощенко».

**Ч. Ломброзо.** Гениальность и помешательство. Общая редакция, предисловие Л. П. Гримака. М. «Республика». 1995. 398 стр. 15 000 экз.

**Осип Манделъштам и его время.** Составители, авторы комментариев Е. Нечепорук, В. Крейд. М. «L'Age d'Homme — Наш дом». 1995. 478 стр. 5000 экз.  
Воспоминания современников о Манделъштаме.

**Дмитрий Менделеев.** Заветные мысли. М. «Мысль». 1995. 413 стр. 10 000 экз.  
Издание представляет малоизвестную сторону научной деятельности великого химика — его занятия социологией и футурологией.

**Константин Паустовский о художниках.** Редактор-составитель М. П. Абсалямова. М. «Изобразительное искусство». 1995. 112 стр. 10 000 экз.

Составитель С. Костырко.

### Об издательстве «Глаголь»

За три года своей деятельности петербургское издательство «Глаголь» дало жизнь примерно трем десяткам книг. Серию «Древнерусские сказания о достойных людях, местах и событиях», выходящую под редакцией доктора филологических наук Г. М. Прохорова, открывает книга «Преподобные Кирилл, Ферапонт и Мартиниан Белозерские» (320 стр.). В ней собраны произведения средневековой агиографии, ставшие своеобразным памятником северному монашеству XIV — XV веков, а также дошедшие до нас произведения самого Кирилла Белозерского — три его послания к князьям и Духовная грамота. Тексты, подготовленные по подлинным древним рукописям, напечатаны стилизованным под кириллицу шрифтом, с параллельным переводом на современный русский язык и снабжены необходимым научным аппаратом. Редактор и составитель — Г. М. Прохоров. Впервые появившись в 1993 году, эта книга менее чем через год вышла вторым, исправленным и дополненным, изданием.

В той же серии издано подготовленное Н. В. Понырко собрание житий протопопа Аввакума, инока Епифания и боярыни Морозовой (219 стр.). Произведение ярчайшей личности русского Раскола соседствует под одной обложкой с двумя замечательными, но малоизвестными памятниками той эпохи: один из них посвящен духовному отцу Аввакума Епифанию, а другой — его духовной дочери Феодосии Морозовой.

Полученный в работе над «Древнерусскими сказаниями...» опыт помог осуществить «Глаголу» уникальное издание «Радзивилловской летописи». Это древнейшая из иллюстрированных русских летописей. Датируется концом XV века, а иконография ее 618 миниатюр восходит к еще более древним, несохранившимся оригиналам. Издание представляет собой помещенный в футляр двухтомник крупного формата. Первый том (518 стр.) содержит цветное факсимильное воспроизведение самой летописи. Второй (416 стр.) — транслитерацию ее текста, а также историю и научное описание всего кодекса.

Дионисий Ареопagit, «О божественных именах. О мистическом богословии» (371 стр.) — книга представляет собой подготовленную Г. М. Прохоровым научную публикацию литературного памятника, авторство которого связывают с упоминаемым в Деяниях апостолов членом ареопагита Дионисием, ставшим впоследствии епископом Афин. Изложенное учение о богопознании, об иерархии, об ангелах, о природе зла, о символическом мистическом толковании образов лежит в основе и восточного и западного богословия. Влияние идей Дионисия сказалось в явлениях философской, литературной, художественной культуры Средневековья и Возрождения. В эти эпохи получил распространение корпус Дионисия, сопровождаемый комментариями двух христианских писателей — епископа Иоанна Скифопольского (VI век) и преподобного Максима Исповедника (VII век). И именно в таком виде, причем впервые в России, осуществлено это издание. С древнегреческим текстом здесь билингвой помещен новый его русский перевод.

Издание иного типа представляет собой альбом-справочник «Храмы Санкт-Петербурга. История и современность» (1994, 320 стр.). Его автор, С. С. Шульц, —

известный ученый-геолог и поэт круга И. Бродского, Е. Рейна, Д. Бобышева. Научный редактор — Н. В. Шкаровский.

Книга эта соединяет научную точность с выразительностью литературного языка, а широту охваченного материала — с богатыми и со вкусом подобранными иллюстрациями. В лаконичной форме здесь изложена история каждого из относящихся к 12 конфессиям 846 петербургских храмов, как сохранившихся, так и утраченных. Отведено место и связанным с ними замечательным историческим персоналиям. Справочный аппарат включает алфавитный и топографический указатели храмов и карту города.

Среди исторических изданий следует выделить три научных сборника работ, подготовленных сотрудниками Санкт-Петербургского филиала Института российской истории РАН. Один из них — вышедшие в 1994 году «Этюды по античной истории и культуре Северного Причерноморья» (272 стр.). «Анатомия революции» — так называется другой, представляющий собой обширное (444 стр.) собрание материалов международного коллоквиума «1917 г. в России: массы, партия, власть» (1994).

Объединивший видных ученых России, США, Великобритании, Франции, Италии и Финляндии, этот коллоквиум показал неожиданно высокий научный уровень исследований наших историков, занимающихся временем, долгие десятилетия недоступным для беспристрастного научного анализа. Своего рода продолжением этой темы стал вышедший в 1994 году сборник «Рабочие и российское общество. Вторая половина XIX — начало XX века» (276 стр.), где значительное место занимают исследования событий революционной поры и становление советской государственности.

Известная, выдержавшая многие издания, книга А. И. Солженицына «Раковый корпус» (416 стр.) в 1995 году вышла в «Глаголе» в заново проверенном и исправленном автором издании. В нем впервые в нашей стране восстановлен подлинный доцензурный текст повести. Тираж издания — всего 500 экземпляров, ибо выпущено оно к 75-летию писателя, в раритетном варианте. Кстати, оформленные книг в кожаных переплетах ручной работы — это уже прочная традиция издательства. 50 — 100 экземпляров из большинства выпускаемых в нем наименований книг проходят через руки победителя Всероссийского конкурса переплетного мастерства Л. Л. Колпахчиева.

Одна из последних работ издательства — «Сочинения в 3-х томах» В. И. Чернышева (т. 1 — 311 стр., т. 2 — 271 стр., т. 3 — 280 стр.). Если забыть о канонах, многое, что составляет этот трехтомник — повести, рассказы, стихи, публицистику, — можно назвать философией. Только не традиционно-рационалистической, а по-русски метафорической, интуитивной философией.

Третий год выпускается «Глаголомъ» литературный, историко-художественный, религиозно-философский журнал «Мѣсяцъ». Вышло 8 его номеров. Издающийся ежеквартально, тиражом 1000 экземпляров, журнал, по словам его создателей, стремится объединить представителей духовного ядра русской интеллигенции и Церкви. Под его обложкой вышли редкие или вовсе не издававшиеся произведения Иванова-Разумника, Л. П. Карсавина, Г. В. Флоровского, письма Л. Н. Гумилева, а также научные работы В. В. Бычкова, Мануйлова, А. М. Михайлова, Г. П. Прохорова. Здесь впервые увидели свет произведения его главного редактора В. И. Чернышева и перевод романа Кнута Гамсуна «На заросших тропинках», стихи современных авторов.

Дмитрий Бадалян.



---

---

## ПЕРИОДИКА



*«Волга», «Вопросы литературы», «Звезда», «Знамя», «Иностранная литература», «Куранты», «Москва», «Наш современник», «Нева», «Новая Юность», «Ной», «Общая газета», «Рубеж», «Русская мысль», «Урал»*

**Чабуа Амирэджиби. Гбра Мборгали.** Роман. Перевел с грузинского автор. — «Знамя», 1995, № 7, 8.

История удачного побега из заполярного лагеря. Автобиографическая подоснова. Журнальный вариант. «Новый мир» предполагает отрецензировать эту новую книгу известного прозаика.

**Роман Арбитман.** Долгое прощание с сержантом милиции. Современный российский детектив: издатель против читателя. — «Знамя», 1995, № 7.

По мнению саратовского критика, настоящий российский детектив за последние годы так и не появился: «Как только читатель распробует то, что он накопил в рыночной горячке, — так жанр умрет, не возникнув». Будущее есть, возможно, у политического триллера (например, романы Льва Гурского). Ср. со статьей Д. Стахова о русском бестселлере («Новый мир», 1995, № 7).

**В. К. Арсеньев.** Последний дневник. — «Рубеж». Тихоокеанский альманах. Владивосток. № 2 (1995).

Фрагменты последнего дневника последней экспедиции 1927 года знаменитого путешественника В. К. Арсеньева по Уссурийскому краю. Из Приморского краеведческого музея им. В. К. Арсеньева.

**Иван Багряный.** Тигроловы. Роман. Перевод с украинского А. Горошко. — «Рубеж». Тихоокеанский альманах. Владивосток. № 2 (1995).

Иван Багряный — псевдоним писателя Ивана Лозовьяги (1906 — 1963). Начал печататься в 20-е годы на Украине. С 1932 по 1940 год — в тюрьмах и лагерях. «Тигроловы» — роман о Маньчжурии, написанный в 1943 году в Германии.

**Петр Балакшин.** Крутится, вертится... Новеллы. — «Рубеж». Тихоокеанский альманах. Владивосток, № 2 (1995).

«Чума», «Рождество в Сеуле» и другие рассказы эмигрантского писателя Петра Балакшина (1898 — 1990), автора известного двухтомного исторического исследования «Финал в Китае» (1958 — 1959).

**А. Баркова.** Через «печи» и богадельни. Подготовка текста к публикации и комментарии О. Переверзева. — «Волга», 1995, № 5-6.

«Новый мир» уже дважды (1994, № 8 и 1995, № 3) откликнулся на поэзию Анны Барковой (1901 — 1976). Предлагаемая «Волгой» публикация из эпистолярного наследия А. Барковой, К. Федина и других лиц раскрывает малоосвещенные прежде страницы жизни поэтессы в 60-е годы.

**Андрей Битов.** Без языка. Тексты, присланные из Германии. — «Звезда», 1995, № 6.

«Неистовый Роландо, или Как правильно смотреть телевизор», «Внук 29-го апреля» и другие эссе.

**Иосиф Бродский.** Памяти Марка Аврелия. Авторизованный перевод с английского Е. Касаткиной. — «Иностранная литература», 1995, № 7.

Эссе 1994 года. «Наиболее определенная черта античности — наше в ней отсутствие».

**Владимир Высоцкий.** О жертвах вообще и об одной в частности. Вступительная заметка, публикация и подготовка текста Андрея Крылова. — «Общая газета», 1995, № 29, 20 — 26 июля.

Непубликованный рассказ В. Высоцкого — ранний опыт в прозе. По предположению публикатора — еще до профессиональной работы в театре и до написания получивших известность первых песен.

**Евгений Герасимов.** Про себя. Автобиографическая проза. Вступление Валентина Лукьянина. — «Урал», 1995, № 2, 3, 4, 5.

Писатель Е. Н. Герасимов (1903 — 1986) десять лет вел прозу «Нового мира». Автобиографическую рукопись подготовила к печати вдова писателя Юлия Капусто. Книга охватывает события начиная с года «великого перелома».

**Сергей Голицын.** Записки беспогонника. — «Наш современник», 1995, № 7, 8.

С. М. Голицын (1909 — 1989) — из старинного аристократического рода, в 1941 — 1946 годах был военным строителем. Об этом периоде его жизни рассказывает публикуемая книга.

**Михаил Демиденко.** Записки чжунгохуаиста. — «Нева», 1995, № 7.

Воспоминания переводчика с китайского М. И. Демиденко (р. 1929). Послевоенные годы. Советские люди в Китае. Местами очень смешно.

**Е. Евнина.** Из книги воспоминаний. Во времена послевоенной идеологической бойни. — «Вопросы литературы», 1995, выпуск IV.

ИМЛИ в 40-е годы. А. Старцев, Р. Щербина, Р. Самарин, А. Белецкий, Ю. Данилин и другие персонажи.

**Олег Ермаков.** Последний рассказ о войне. — «Знамя», 1995, № 8.

Афганистан. И после него.

**Венедикт Ерофеев.** Из записных книжек. — «Знамя», 1995, № 8.

Фрагменты записных книжек писателя 1972 — 1973 годов — из готовящегося в московском издательстве «Х. Г. С.» полного издания произведений В. Ерофеева. «У меня в душе, как на острове Свободы: не бывает праздничных дней».

**Нелли Закс.** Речь при вручении Нобелевской премии в Стокгольме. Перевод В. Микушевича. — «Ной». Армяно-еврейский вестник. Москва. № 12 (1995).

Этот номер вестника в значительной степени посвящен поэтессе Нелли Закс (1891 — 1970). Первое русское издание ее стихотворений недавно рецензировалось в «Новом мире» (1994, № 9). В «Ное» печатаются ее стихи в переводах В. Микушевича и Г. Ратгауза, фрагменты ее переписки с Паулем Целаном (перевод с немецкого и комментарии Бориса Шапиро), а также несколько статей о ее жизни и творчестве.

**Владимир Казаков.** Прогулка. Импровизация. Публикация Т. П. Авальян. — «Волга», 1995, № 4.

Владимир Казаков (1938 — 1988) — русский писатель, не эмигрант, активно печатавшийся в 70 — 80-е годы в Германии, но почти неизвестный на родине. В 1993 году московское издательство «Гилея» выпустило его пьесу «Дон Жуан» тиражом 150 (сто пятьдесят) экземпляров. В настоящую подборку входят поэма «Прогулка» (1975), прозаический текст «Импровизация» (1972) и две небольшие статьи о писателе — Алексея Голицына (Саратов) и Сергея Бирюкова (Тамбов).

**Сергей Кузнецов.** Обретение стиля: доэмигрантская проза Василия Аксенова. — «Знамя», 1995, № 8.

Аксенов как «хороший культовый писатель». Аксенов и «мифология шестидесятых». Аксенов — «уникальный автор, наделенный талантом тонкой стилистической работы на уровне мифа».

**Иммануил Левин.** Генерал Власов по ту и эту сторону линии фронта (воспоминания, встречи, документы). Подготовка текста и публикация М. А. Гольдиновой-Левинной. — «Звезда», 1995, № 6.

И. И. Левин (1915 — 1994) в годы войны был офицером разведки 2-й Ударной армии. Генерал Власов описан критически.

**Владимир Микушевич.** Избранное. — «Новая Юность», 1995, № 1-2.

В. Б. Микушевич, как известно, поэт, переводчик, эссеист, философ. Книга в журнале «Пазори» — афоризмы из одноименной книги. «Око Денницы» — новелла о Чаше Грааля, будто бы хранящейся в Москве (ее искали чекисты, к ней рвался Гитлер и т. д.). «Власть тотема» — фрагмент большого эссе «Вера в духовной жизни человека». Стихотворные переводы из Микеланджело. Маленькая поэма «Монах свободы» на немецком языке. Фрайбургский цикл стихотворений, посвященный трем женщинам.

**Е. А. Мравинский.** Стихотворения. — «Нева», 1995, № 7.

Семь неизвестных ранее стихотворений Е. А. Мравинского 1924 — 1926 годов, обнаруженных В. Целобановой в одной частной коллекции (автографы предоставлены для печати М. Н. Раппапорт).

**Александр Нежный.** Плач по Вениамину. — «Русская мысль», Париж. Специальное приложение к № 4086 от 13 — 19 июля и к № 4087 от 20 — 26 июля 1995 года.

Документальная повесть о митрополите Вениамине основана на неизвестных ранее материалах из архива КГБ и Центрального партийного архива. Она является как бы приложением к роману о трагедии Церкви, над которым сейчас работает А. Нежный.



**Неизвестный Несмелов.** Воспоминания. Письма. Стихи. Комментарии. — «Рубеж». Тихоокеанский альманах. Владивосток. № 2 (1995).

Воспоминания известного эмигрантского поэта Арсения Несмелова «О себе и о Владивостоке» (1931, Харбин), его переписка с И. А. Якушевым 1929 — 1932 годов, стихи разных лет и другие материалы.

**Виктор Некрасов.** Из неопубликованного. Предисловие Григория Бакланова. Публикация и послесловие Григория Анисимова. — «Дружба народов», 1995, № 3.

Ранее не публиковавшиеся эссе, очерки, выступления по радио, заметки 80-х годов. Из собрания Виктора Кондырева (Париж), хранителя творческого наследия писателя.

**Борис Парамонов.** Голая королева. Русский нигилизм как культурный проект. — «Звезда», 1995, № 6.

Парамонов о Писареве.

**Валентин Распутин.** В ту же землю... Рассказ. — «Наш современник», 1995, № 8.

**Валентин Распутин.** Рассказы. — «Москва», 1995, № 7.

«Женский разговор», «По-соседски» — сцены современной русской жизни.

**Ст. Рассадин.** Старший учитель. — «Дружба народов», 1995, № 7.

Государыня Екатерина II как литератор.

**Андрей Сергеев.** Альбом для марок. Коллекция людей, слов и отношений (1936 по 1956). — «Дружба народов», 1995, № 7, 8.

Переводчик и поэт А. Сергеев (р. 1933) работал над книгой воспоминаний более двадцати лет. Часть текста ранее печаталась в рижском журнале «Родник».

**М. Смирнов.** Набоков в Уэлсли. — «Вопросы литературы», 1995, выпуск IV.

О том, как Набоков в 40-е годы преподавал русский язык и литературу в Уэлслиском колледже (США).

**Том Стоппард.** Гамлет на четверть часа. Предисловие и перевод с английского Глеба Шульпякова. — «Новая Юность», 1995, № 1-2.

Английский драматург Т. Стоппард, автор известной пьесы «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», создал пародийный дайджест «Гамлета». Все реплики персонажей взяты из Шекспира. Стоппарду принадлежат ремарки и композиция. «Гамлет» уместился на двенадцати журнальных страницах. Действие развивается более чем стремительно.

**Гилберт Кийт Честертон.** О настоящих поэтах и прозаиках. Перевод с английского Н. Трауберг. Предисловие О. Неве. — «Дружба народов», 1995, № 7, 8.

«Литературные знаменитости», «Сон в летнюю ночь» и другие эссе о Шекспире, Золя, Гюго, Диккенсе и других.

**Игорь Шафаревич.** Была ли «перестройка» акцией ЦРУ? — «Наш современник», 1995, № 7.

На поставленный вопрос автор отвечает отрицательно. Ибо «воздействие Советского Союза на западный мир было несравненно сильнее, чем обратное влияние», так что если бы все решалось «агентами влияния» и техникой психологической войны, то в развалинах сейчас лежал бы именно капиталистический мир. Занимательные факты о советской агентуре, «левых» и «новых левых» на Западе.

**Гейман Шпиро.** Фауст с Маргаритой из Вешенской, или Новая версия авторства «Тихого Дона». — Газета «Куранты», 1995, № 111, 4 августа.

По профессии строитель, математик, доктор наук, Г. Шпиро выдвигает предположение, что автором «Тихого Дона», да и ранних «Донских рассказов» был писатель А. Серафимович. Аргументы если не убедительны, то остроумны.

**Аркадий Штейнберг.** С египетскими змеями в руках. Поэмы. Предисловие В. Перельмутера. — «Рубеж». Тихоокеанский альманах. Владивосток. № 2 (1995).

«Искатели кладов» (1934) и «Пожарище» (1932) — маленькие поэмы из архива покойного поэта. При содействии многих его учеников готовится к выходу в свет его поэтический сборник «Вторая дорога».

**Ефим Эткинд.** Иванов и Ротшильд. — «Вопросы литературы», 1995, выпуск IV.

Известный литературовед, живущий в Париже, — о рассказе Чехова «Скрипка Ротшильда».

**«Я не был легкомысленной жар-птицей, а наоборот, строгим моралистом...».** Публикация и перевод с английского Д. Бабица. — «Вопросы литературы», 1995, выпуск IV.

Из писем В. Набокова 40 — 60-х годов к разным лицам. Набоков о Ленине: «Эта напускная доброта, это закатывание глаз «с прищуринкой», этот мальчишеский смех и т. д. представляют собой что-то особенно отвратительное для меня. Именно эту атмосферу «веселости», этот кувшин молока человеческой доброты с дохой крысой на дне я использовал в своем «Приглашении на казнь...» (из письма Э. Уилсону от 15 декабря 1940 года).

Составитель Андрей Василевский.

## СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» ЗА 1995 ГОД



«Новому миру» — 70 лет. I — 3.

### РОМАНЫ. ПОВЕСТИ. РАССКАЗЫ

**Владимир Березин.** Кормление старого кота. Рассказы. VII — 56.

**Рамиль Бесермен.** Шахматы. Рассказ. XII — 37.

**Зоя Богуславская.** Окнами на юг. Эскиз к портрету «новых русских». VIII — 3.

**Иосиф Бродский.** Полторы комнаты. Автобиографическая проза. Перевел с английского Дмитрий Чекалов. II — 61.

**Марианна Бувайло.** Календарь. Рассказ. XII — 47.

**Михаил Бутов.** Астрономия насекомых. Рассказ. IV — 60.

**Валерий Былинский.** Риф. Рассказ. IX — 48.

**Алексей Варламов.** Рождение. Повесть. VII — 3.

**А. Верников.** Вверху и на местах. Рассказ. VI — 76.

**Татьяна Вольтская.** На развалинах нашего Рима. XII — 57.

**Александр Ганкин.** Август. Рассказ. XII — 89.

**Ян Гольцман.** Чудится, светит, мерцает... Этюды. XII — 71.

**Нина Горланова, Вячеслав Букур.** Роман воспитания. VIII — 49; IX — 62.

**Надежда Горлова.** Поездка в Липецк. Рассказ. XII — 19.

**Борис Екимов.** Рассказы. XII — 3.

**Валерий Залотуха.** Великий поход за освобождение Индии. Революционная хроника. I — 10.

**Сергей Залыгин.** Однофамильцы. Повесть. VI — 3.

**Алексей Иванов.** Погода в ноябре. Рассказ. XII — 92.

**Анатолий Ким.** Онлирия. Роман. II — 9; III — 59.

**Марк Костров.** Дульные тормоза. Рассказы об НСА — Независимой северной армии. I — 101.

**Яан Кросс.** Аллилуйя. Рассказ. Перевела с эстонского В. Рубер. XI — 73.

**Юрий Кувалдин.** Ворона. Повесть. VI — 93.

**Игорь Кузнецов.** Сад грез. Рассказ. XII — 41.

**Михаил Кураев.** «Встречайте Ленина!». Из записок Неопехедера С. И. IX — 5.

**Владимир Маканин.** Кавказский пленный. Рассказ. IV — 3.

**Олег Павлов.** Митина каша. Рассказ. X — 94.

**Пестрые истории:** **Игорь Мартынов.** 199... Хроника; **Василий Киляков.** «Будте любезны!»; **Александр Ганкин.** Бин хаер; **Марина Филатова.** Мама; **Игорь Кузнецов.** Птицы ночи. VIII — 98.

**Григорий Петров.** У нас в богдельне. Маленькая повесть. IV — 30.

**Л. Петрушевская.** Мост Ватерлоо. Рассказы. III — 7.

**Константин Плешаков.** Старосветские изменщики. Рассказ. XII — 105.

**Ирина Полянская.** Тихая комната. Рассказ. III — 45.

**А. Солженицын.** Два рассказа. V — 12. — Двучастные рассказы. X — 3.

**Роман Солнцев.** Вторые люди. Рассказ. XI — 46.

**Виктория Токарева.** Лавина. Повесть. X — 41.

**Зуфар Фаткудинов.** Афоризмы. XII — 114.

**Виктория Фролова.** Кто стучится мне в ладонь. Повесть. VI — 45.

**Вера Чайковская.** Новое под солнцем. Повесть. VII — 104.

**Галина Шербакова.** Радости жизни. Рассказ. III — 27. — Косточка авокадо. Рассказ. IX — 28. — Love-стория. Повесть. XI — 3.

**Сергей Яковлев.** Письмо из Солигалича в Оксфорд. Роман. V — 55.

### СТИХИ И ПОЭМЫ

**Людмила Абаева.** Ниоткуда в никуда. XI — 41.

**Андрей Алексеев.** Время текущего года. VI — 74.

**Алексей Алехин.** В форме яблока. I — 98.

**Бегущая тень:** **Владимир Коробов;** **Александр Ткаченко;** **Сергей Надеев.** XII — 52.

**Татьяна Бек.** Как мох могучий на руинах. X — 38.

**Иван Буркин.** И в две и в четыре стопы. II — 86.

**Владимир Голованов.** Летучая мышь и другие. VIII — 96.

**Ольга Гречко.** Белая пристань. XI — 43.

**Илья Дадашидзе.** И шелестят нестройные оливы. VIII — 47.

**Натан Злотников.** Сжигая бензин дорогой. VI — 91.

**Инна Кабыш.** Детские игры. IX — 100.

**Как детское летнее платье:** **Ольга Кучкина;** **Лариса Миллер;** **Нана Эристави.** XII — 86.

**Николай Кононов.** Розовый рожок. II — 59. — Через алые Альпы. XI — 38.

**Эльмира Котляр.** Простые песни. I — 137.

**Михаил Крепс.** Чаши маленьким богам. III — 55.

**Юрий Кублановский.** За поруганной поймой Мологи. III — 3.

**Анатолий Кудрявицкий.** Потоп. IX — 3.

**Ольга Кузнецова.** Без иллюзий и слез. VII — 94.

**Евгения Кунина.** Воздушный дворец. X — 109.

**Александр Кушнер.** В зеленоватом, потом золотом. II — 3.

**Александр Лаврин.** Если в небо уйдет вода. VIII — 45.

**Владимир Лапин.** Поскольку мы не летаем. VI — 89.

**Семен Липкин.** Семи планет сияние. V — 3.

**Инна Лиснянская.** Ветер покоя. V — 8.

**Игорь Меламед.** В час разомкнутых объятий. VIII — 43.

**Мятные пряники времени в розовом клюве.** Стихи из русской провинции: **Евгений Карасев.** Распахнуть окно и сорвать яблоко; **Михаил Соппин.** Почему говорим мы на разной волне; **Елена Ягунова.** Поздние встречи; **Сергей Васильев.** Синица, твоё чаепитие. IV — 20.

**Анатолий Найман.** Театр вещей. X — 88.

**На том берегу: Яков Козловский; Леонард Лавлинский.** XII — 112.

**Булат Окуджава.** По воле возраста и рока. Из лирического дневника. VII — 51.

**Ольга Постникова.** По ртутной воде. VI — 42.

**Алексей Пурин.** Осязание. VII — 122.

**Евгений Рейн.** Обратный счет. V — 51.

**Юрий Ряшенцев.** Дневная луна. VI — 37.

**С городских небес: Алексей Биргер.** Баллада о троллейбусных алкоголиках; **Алексей Дидуров.** Подворотня. XII — 32.

**Андрей Сергеев.** Некто, отлученный от уроков. VIII — 93.

**Михаил Синельников.** Голубизна небесная и морская. X — 35.

**Александр Сорокин.** В отечестве другом. VI — 72.

**Союз нерушимый, или На развалах империи: Гулрухсор.** В каменном саду. Перевела с таджикского **Татьяна Бек; Шир-али.** Не было — было. Перевел с туркменского автор; **Бозор Собир.** К семействам редких птиц и рыб. Перевел с таджикского **Михаил Синельников.** Вступительное слово **Татьяны Бек.** XI — 86.

**«Среди пламени стою, песнь плачевную пою».** Из смоленского фольклора. Предисловие **Дмитрия Покровского.** Подготовка текстов и пояснения **Ольги Юкечевой.** IV — 69.

**Дмитрий Сухарев.** Десять стихотворных приложений к бойкому месту. IV — 53.

**Елена Ушакова.** И речь с ее мелодией. X — 91.

**Андрей Филозов.** Две твердыни. IX — 57.

**Моисей Цетлин.** Из пламени рука. Публикация **Т. Соколовой.** **Михаил Синельников.** Об ушедшем поэте. XI — 65.

**Алла Шарапова.** И улыбнулся ей ангел. I — 5.

**Екатерина Шевченко.** В маленькой столовой на краю пустыни. VII — 99.

**Владимир Шадрин.** Летающая книга. II — 56.

**Юз-Фу.** Строки гусяного пера, найденного на чужбине. Послесловие **Льва Лосева.** VIII — 124.

## НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

**Владимир Набоков.** Образчик разговора, 1945. Рассказ. Перевел с английского **Дмитрий Чекалов.** IX — 109.

**Дж. Д. Сэлинджер.** 16-й день Хэпворта 1924 года. Перевела с английского **И. Бернштейн.** IV — 80.

**Торнтон Уайлдер.** Каббала. Роман. Перевел с английского **А. Гобузов.** Предисловие **Алексея Зверева.** XI — 121; XII — 117.

**Дерек Уолкотт.** Раны и корни. Из книги «Омерос». Стихи. Перевела с английского **А. Шарапова.** V — 149.

**Збигнев Херберт.** Дельфины и морские львы означают далекое плавание. Стихи. Перевел с польского **Владимир Британишский.** III — 115.

**Вислава Шимборская.** До свиданья. До завтра. До следующей встречи. Стихи. Перевела с польского **Наталья Астафьева.** III — 113.

## ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

**В. И. Вернадский.** «Коренные изменения неизбежны...». Дневник 1941 года. Публикация, подготовка текста и примечания **И. Мочалова.** V — 176.

**Игорь Зотиков.** Три дома Петра Капицы. VII — 175.

**Е. Э. Мандельштам.** Воспоминания. Публикация **Е. П. Зенкевич.** Предисловие **А. Г. Меца.** X — 119.

**Татьяна Морозова.** В институте благородных девиц. VIII — 160.

**Михаил Песков.** На угоре. Записки крестьянского сына. IX — 150.

**Валерий Сендеров.** Бог и тюрьма. XI — 172.

## ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

**Виталий Шенгалинский.** Воскресшее слово. Главы из книги. III — 118; IV — 171.

## ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

**Дмитрий Голубков.** Четыре рассказа. Предисловие, публикация и подготовка текста **Марины Голубковой.** **Алла Марченко.** Статья островом среди океана. XI — 93.

**Священник Павел Флоренский.** Упырь. Публикация и послесловие игумена **Андроника (Трубачева).** X — 112.

**Ариадна Эфрон.** «Наш Север манит нас... — зла не помнящих». Публикация и подготовка текста, вступительное слово и заключение **Анны Саакянц.** IX — 117.

**Юность сестер Цветаевых:** Марина Цветаева. Письма к П. Юркевичу (1908, 1910). Публикация О. П. Юркевич. Составление, подготовка текста и комментарии Е. И. Лубянской и Л. А. Мнухина. Предисловие А. А. Саакянц; **Анастасия Цветаева.** Николай Миронов. Публикация, подготовка текста и комментарии Станислава Айдиняна; **Александр Носов.** Невозможность Эроса. Вместо послесловия. VI — 116.

### ПУБЛИЦИСТИКА

**М. Громов.** Архитектурные символы России. IX — 143.

**Сергей Кирилов.** О судьбах «образованного сословия» в России. VIII — 143.

**Игорь Клямкин.** Новая демократия или новая диктатура? IV — 129.

**Олег Ларин.** Тогда меня звали Вольдемар и Вилли. V — 157.

**А. Панарин.** После юбилея... IX — 132.

**Валерий Писигин.** Хроники безвременья. VII — 130.

**Григорий Померанц.** Разрушительные тенденции в русской культуре. VIII — 131.

**Марк Фейгин.** Вторая Кавказская война. XII — 159.

**Д. Штурман.** После Катастрофы. По страницам сборников «Из глубины» и «Изпод глыб». II — 108. — Размышления о либерализме. IV — 159.

**А. В. Яблоков.** Ядерная мифология конца XX века. II — 90.

### ЭКОЛОГИЯ РОССИИ

**Ю. Веретенников, А. Лысов.** «Тихий Чернобиль». VIII — 196.

**Анатолий Грешневиков.** Сводки с лесного фронта. Вступительное слово Юрия Кублановского. X — 179.

**Мирный атом — за и против.** Отклики на статью А. В. Яблокова «Ядерная мифология конца XX века». Вступительное слово С. Залыгина. VIII — 188.

### ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

**Б. Екимов.** Последний рубеж. IV — 118.

### ВРЕМЕНА И НРАВЫ

**Архимандрит Августин (Никитин).** Репортаж из 37-го года... XI — 156.

**Л. Айзерман.** «Из таких крупинок складывается история...». Заметки учителя-словесника на полях школьных сочинений. III — 192.

**Анна Анненкова.** Впервые в Европе. Пристрастные впечатления. VII — 159.

**Марк Костров.** «Я хочу, чтоб вы знали мое мнение...». III — 177. — Глубинка. Отчет об одной командировке. XI — 167.

**Вл. Никифоров.** Записки из подвала. XII — 172.

### НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

**Алексей Алехин.** Письма из Поднебесной. II — 163.

### ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. КУЛЬТУРА

**Александр Архангельский.** Первый и последний. Старец Феодор Козьмич и царь Александр I: роман испытания. XI — 183.

**Сергей Бочаров.** Событие бытия. О Михайле Михайловиче Бахтине. XI — 211.

**Сергей Залыгин.** Два провозвестника. Заметки. III — 153.

**Ю. Каграманов.** Империя и ойкумена. I — 140. — Чужое и свое. VI — 167. — Отчего затянулась «гибель богов». Фашизм как феномен европейской культуры. XII — 184.

**Марина Новикова.** Символы. II — 201.

### ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

**В. В. Виноградов.** «...сумею преодолеть все препятствия...». Письма Н. М. Виноградовой-Малышевой. Составление и подготовка текста Г. А. Золотовой и В. М. Мальцевой. Вступительная статья и комментарии А. П. Чудакова. I — 172.

**Джеральд Майкльсон.** Пушкин и Чаадаев: встреча в Крыму. VI — 209.

**Последняя жена Есенина.** Письма С. А. Толстой-Есениной к М. М. Шкапской, Б. М. Эйхенбауму и Е. К. Николаевой. 1925 — 1944. Предисловие, публикация и примечания С. В. Шумихина. IX — 196.

**Ирина Сурад.** «Стоит, белеясь, Ветилуя...». VI — 200.

**Олег Чухонцев.** Похвала Семену Липкину. X — 205.

**Екатерина Эйгес.** Воспоминания о Сергее Есенине. Предисловие и примечания С. В. Шумихина. Подготовка текста С. В. Шумихина при участии С. И. Субботина. IX — 181.

### ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

**Георгий Федоров** — Эстафета. IV — 169.

### В МИРЕ ИСКУССТВА

**Алена Злобина.** Драма театрального сезона. XII — 210.

**Александр Туманов.** Она — и музыка, и слово. Об М. А. Олениной-д'Альгейм. III — 205.

**Татьяна Чередниченко.** Русская музыка и геополитика. VI — 189.

### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

**Л. Аннинский.** Так чем же все это кончилось? Заметки о букеровских финалистах. II — 218.

**Александр Архангельский.** «Гей, славяне!». Черты исторического самосознания на сломе эпох. VII — 213.

**С. Боровиков.** В русском жанре. I — 214.

Две реплики о времени и стихах: **Юрий Кублановский.** «...знать, что это стихи»; **Ирина Роднянская.** Проблема все же есть... VIII — 208.

**Никита Елисеев.** Тень «Амаркорда». IV — 215.

**Сергей Костырко.** От первого лица. Три профиля на фоне поколения. VI — 214.

**Владислав Кулаков.** Стихи и время. VIII — 200.

**Светлана Семенова.** Воскрешенный роман Андрея Платонова. Опыт прочтения «Счастливой Москвы». IX — 209.

**Дмитрий Стахов.** Каким ты будешь, милое дитя? Первые впечатления от русского бестселлера. VII — 225.

### ПО ХОДУ ДЕЛА

**Павел Басинский.** Пафос границы. I — 221. — Ортодокс, или Новые пуритане. III — 234. — Не для эстетов, не для быдла... V — 232. — Памяти Ваньки Жукова. VII — 232. — Чучело России. IX — 227. — Почему нынче Шишкин? XI — 222.

**Алла Марченко.** И на нашего мудреца простоты хватило. II — 228. — «...зовется vulgar». IV — 227. — А все-таки выше уровня моря... VI — 222. — И духовно навеки почил? VIII — 215. — При делении на круг. X — 213. — Рассказ в отсутствие романа. XII — 225.

### КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

**Дмитрий Бак.** История с биографией (Чель Юханссон. Лицо Гоголя). II — 240. — Пленный свободой (Алан Черчесов. Реквием по живущему). IV — 230.

**Павел Басинский.** Памятник Колышко-Серенькому («Русские писатели. 1800 — 1917». Биографический словарь). I — 228.

**Татьяна Бек.** Рожденный после (Алексей Пурин. «Евразия» и другие стихотворения. Алексей Пурин. Пейзаж за стеклом. Стихи). XII — 238.

**Михаил Бутв.** Химическая свадьба маятника и розы (Умберто Эко. Маятник Фуко. Роман). **Дмитрий Харитонович.** Постскриптом, написанный профессионалом-дилетантом. XII — 228.

**В. Вахрушев.** «Сестра Шекспира» (Вирджиния Вулф. Комната Джейкоба. Роман. Вирджиния Вулф. Орландо. Биография). V — 242.

**В. Долинский.** Приглашение к диалогу с К. Г. Юнгом (К. Г. Юнг. Тэвистокские лекции. Аналитическая психология: ее теория и практика. Э. Сэмьюэлз, Б. Шортер, Ф. Плот. Критический словарь аналитической психологии К. Юнга). XI — 232.

**Алена Злобина.** Путь к себе, или Последняя роль Юкио Мисимы (Юкио Мисима. Золотой Храм. Роман, новеллы, пьесы). II — 232. — Заплечных дел искусство (Павел Когоут. Палачка. Роман). IX — 230.

**Михаил Копелиович.** Сонеты на жизнь Мадонны Лили (Борис Чичибабин. 82 сонета и 28 стихотворений о любви). X — 221.

**Сергей Костырко.** Беллетрист против писателя. (Юрий Нагибин. Дневник). XI — 224.

**Юрий Кублановский.** «Используя известную классификацию Данте...» («Кремлев-

ский самосуд». Секретные документы Политбюро о писателе А. Солженицыне). IX — 233. — Неосуществившаяся возможность (Александр Казанцев. Третья сила). XI — 235.

**А. Кузнецов.** М. М. Бахтин серьезный и «несерьезный» («Диалог. Карнавал. Хронотоп»; «Разговоры с Бахтиным». Запись В. Д. Дувакина). I — 224. — Парадоксы Альфреда Шнитке («Беседы с Альфредом Шнитке»). VIII — 220.

**Игорь Кузнецов.** Время эполетов («Военная одежда русской армии». Коллектив авторов. Сергей Охлябинин. Честь мундира. Чины. Традиции. Лица. Русская армия от Петра I до Николая II. 50 исторических миниатюр, иллюстрированных автором). XI — 238. — Начало речи (Михаил Безродный. Конец Цитаты). XII — 236.

**С. Ларин.** Азеф в зеркале своих писем («Письма Азефа. 1893 — 1917»). III — 239. — Первый блин комом? (Джин Вронская и Владимир Чугуев. Кто есть кто в России и бывшем СССР). VII — 240. — Без прикрас и умолчаний (Б. Рунин. Мое окружение. Записки случайно уцелевшего). VIII — 223.

**Валерий Липневич.** Человек одинокий (Владимир Соколов. «Сквозь снег бродячих лет моих...» Стихи. Владимир Соколов. Посещение. Стихи). IV — 238.

**Олег Мраморнов.** Иван Бунин перед загадкой русской души (Юрий Мальцев. Иван Бунин. 1870 — 1953). IX — 236. — Осужденный на смыслы (В. В. Налимов. Канатоходец.) XI — 228.

**Андрей Немзер.** Воспитание исторического чувства (Н. Эйдельман. Из потаенной истории России XVIII — XIX веков). I — 231.

**Марина Новикова.** Пушкин в зеркале фольклора (Д. Н. Медриш. Путешествие в Лукоморье. Сказки Пушкина и народная культура). IV — 242. — Арфы и вербы (Асар Эппель. Травяная улица. Рассказы). VII — 234.

**Е. Ознобкина.** Книга для всех и ни для кого (Фридрих Ницше. Так говорил Заратустра. Стихотворения). IX — 241.

**И. Питляр.** «До смешного жаль...» (Дина Рубина. Один интеллигент уселся на дороге). V — 238.

**Алексей Пурин.** Поэт эмиграции (Георгий Иванов. Собрание сочинений в трех томах). VI — 230.

**Вл. Славешкий.** Дороги и тропинка (Ольга Седакова. Стихи). IV — 233.

**Александр Соколянский.** ...и в чудных пропастях земли (Н. Н. Садур. Ведьмины слезки. Книга прозы). V — 235. — Шаблоны склоки и любви (Николай Коляда. Пьесы для любимого театра). VIII — 218.

**Елена Сорокина.** Музыка вчера, сегодня, завтра (Т. В. Чередниченко. Музыка в истории культуры. Курс лекций для студентов-немузыкантов, а также для всех, кто интересуется музыкальным искусством). IV — 244.

**Дмитрий Стахов.** Святой? Комедиант? Мученик? (Жан Жене. Богоматерь цветов. Жан Жене. Дневник вора). II — 236.

**Елена Тихомирова.** «Мещанский роман» Ивана Шмелева (И. С. Шмелев. История любовная). VI — 227. — Законы истории и законы текста (Лев Лунц. Вне закона. Пьесы. Рассказы. Статьи). X — 216.

**О. Филатова.** «И дум высокое стремление» («Княжна Мария Васильчикова». Берлинский дневник 1940 — 1945). V — 244. — «И моими глазами увидит...» (Генрих Сапгир. Избранные стихи. Генрих Сапгир. Дыхание ангела. Стихи. Генрих Сапгир. Ностальгия по соцреализму. Генрих Сапгир. Стихи). X — 218.

**Ю. Шрейдер.** Судьба ученого в бывшем СССР (Никита Моисеев. Как далеко до завтрашнего дня... 1917 — 1993. Свободные размышления). VII — 237.

**Леонид Юзефович.** Оппозиционеры, но не карбонари (М. А. Давыдов. «Оппозиция Его Величества». Дворянство и реформы в начале XIX века). III — 237.

### ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

**Л. Афонский.** В плену отвлеченных схем... IX — 244.

**Белая эмиграция против национал-большевизма.** I — 240.

**Г. Голицын.** Каспий поднимается... VII — 243.

**Юрий Кублановский.** О возможностях творчества. IV — 247.

**Йорг Р. Меттке.** Письмо в редакцию. I — 242.

**Л. Прохоров.** Фундаментальные науки — проблемы или кризис? X — 237.

**В. Сердюченко.** Прогулка по садам российской словесности. V — 222.

**Николай Славянский.** Из полного до дна в глубокое до краев. О стихах Ольги Седаковой. X — 224.

**Фред Солянов.** Как мы с дядей писали повесть о Варшавском восстании. VI — 233.

**Евгений Стариков.** Держатели хартленда или обитатели острова? VIII — 235.

**Ирина Сурат.** «Твое пророческое слово...». I — 236.

**Леонид Таганов.** «Как дух наш горестный живуч...». III — 243.

**Дмитрий Харитонович.** Страх и ужас. X — 231.

**Григорий Шурмак.** Третье рождение Бориса Пастернака. VIII — 227.

### КОРОТКО О КНИГАХ

**Юрий Кублановский.** — «Арион». Журнал поэзии. № 1, 2. А. Андрюшкин. — «Ной». Армяно-еврейский вестник. № 1 — 8. I — 243.

**В. Кулаков.** — Леонид Аронзон. Стихотворения; Леонид Аронзон. Избранное. М. Бутов. — Владимир Губайловский. Ис-

тория болезни. Стихи. Юрий Кублановский. — Сергей Стратановский. Стихи. Вл. Славецкий. — Дмитрий Веденяпин. Покров. Андрей Василевский. — Дмитрий Быков. Послание к юноше. Стихотворения, поэмы, баллады. О. Филатова. — Жозе-Мария де Эредиа. Трофеи. Сوناتы в переводах В. Портнова. II — 243.

**Виктор Бердинских.** — Д. К. Зеленин. Избранные труды: статьи по духовной культуре. 1901 — 1913 гг. В. Кургузова. — Гастон Башляр. Психоанализ огня. III — 248.

**Григорий Шурмак.** — Даниил Кловский. Дорога из Гродно. Андрей Василевский. — Дмитрий Галковский. Бесконечный тупик. Исходный текст. V — 249.

**Валерий Липневич.** — I. Юрий Кублановский. Число. Избранные стихотворения. II. Татьяна Бек. Нищая сила. III. Лариса Миллер. И вечно живу; Вновь играем в игры эти; Бегущая строка. IV. Александр Ткаченко. Облом. Стихи и поэмы. V. Алексей Алехин. Вопреки предвещаниям птиц. VI. Зиновий Вальшонок. Залив Терпения. Избранные стихотворения и поэмы. VII. Леонард Лавлинский. Смерть полубога. Поэма-хроника; Оратор. Поэма-хроника. VI — 244.

**Виктор Бердинских.** — Энциклопедия земли Вятской. Михаил Бутов. — В. Д. Конен. Третий пласт. Новые массовые жанры в музыке XX века. Юрий Кувалдин. — Марк Фрейдкин. Опыты. VIII — 242.

**Дмитрий Бак.** — I. Юрий Малецкий. Убежище. Роман. II. Ева Датнова. Диссиденточки. III. Александр Покровский. «...Растрелять!». Андрей Василевский. — Исаак Фильштинский. Мы шагаем под конвоем. Рассказы из лагерной жизни. X — 243.

**Анатолий Кузнецов.** — I. Леонид Гаккель. Величие исполнительства: М. В. Юдина и В. В. Софроницкий; Леонид Гаккель. Я не боюсь, я музыкант. II. И. В. Нестьев. Дягилев и музыкальный театр XX века. III. Я. Гиришман. В-А-С-Н. Очерк музыкальных посвящений И. С. Баху с его символической звуковой монограммой. XI — 242.

**Из летописи «Нового мира». 1985 — 1994.** I — 247.

**Зарубежная книга о России.** II — 252; IV, V — 251; VI, VII — 250.

**Русская книга за рубежом.** III — 251; VIII — 247; IX — 249; XI — 246; XII — 241.

**Книжная полка.** I, II — 254; III, IV, V — 253; VI — 252; VII, VIII, IX — 251; X, XI — 249; XII — 243.

**Периодика.** V, VI — 254; VII, IX — 252; VIII — 253; X, XI — 251; XII — 246.

**Памяти А. С. Берзера.** I — 255.

**Памяти Игоря Дедкова.** III — 255

## **СПРАВОЧНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К «ИЗВЕСТИЯМ» ДЛЯ МОСКВИЧЕЙ**

**С мая 1995 года все подписчики «Известий» в Москве бесплатно получают цветное информационно-справочное приложение «Неделя».**

**«Неделя» — это:**

*актуальные городские проблемы,  
гид в мире товаров и услуг,  
афиша культурной жизни столицы,*

**а также в каждом номере в разделе «Справка» — полная информация об одной из сфер городской жизни.**

**Розничная продажа ограничена.**

**Подписной индекс «Известий» (с «Неделями») — 50050.**

Редакция «Нового мира» с удовольствием извещает читателей, что напечатанные в нашем журнале романы Олега Павлова «Казенная сказка» (1994, № 7) и Евгения Федорова «Одиссея» (1994, № 5) вошли в «шорт-лист» литературной премии Букера 1995 года. Третьим финалистом стал Георгий Владимов, чей роман «Генерал и его армия», опубликованный журналом «Знамя» (1994, № 4 — 5), был высоко оценен новомирскими критиками.

**Поздравляем нашего автора**

**АЛЕКСЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ЯБЛОКОВА**

**с присуждением международного приза за охрану окружающей среды,  
учрежденного группой шведских страховых компаний  
WASA Environment Award.**

Председатель Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по экологической безопасности и Центра экологической политики России, член-корреспондент РАН А. В. Яблоков удостоен этой награды за «решительные, преданные идее и вдохновляющие работы по увеличению экологической ответственности ученых и политиков в бывшем Советском Союзе и современной России».

(Статью А. В. Яблокова «Ядерная мифология конца XX века» можно прочитать в № 2 «Нового мира» за этот год.)

# ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА



*Издание, которое не нуждается  
в рекомендациях*

**ПОДПИСКА НА 1996 ГОД:  
ЛЬГОТЫ И СКИДКИ**

Новости начавшейся подписной кампании в первую очередь касаются постоянных читателей "ЛГ": тот, кто предъявит подписной абонемент на 2-е полугодие 1995 года, получит скидку при оформлении очередной подписки — на 1-е полугодие 1996 года.

И еще одно новое (или, скорее, возвращение старого) в подписке на "ЛГ". В последнее время подписка, как известно, оформляется лишь на полгода. А вот на "ЛГ" теперь можно подписаться на весь 1996 год. Цена при этом рассчитана исходя из стоимости подписки на 1-е полугодие, и неизбежное повышение цен во 2-м полугодии обладателей годового абонемента уже не коснется. А это значит, что тот, кто подписался на "ЛГ" сегодня, окажется в выигрыше завтра.

*Подписка оформляется по каталогу Федерального управления почтовой связи, московским городскому и областному каталогам. Индексы: 31483 (при оформлении подписки до 15 октября), 50067 (при оформлении после 15 октября), 31484 (для постоянных подписчиков при оформлении до 15 октября), 34189 (для постоянных подписчиков при оформлении после 15 октября), 10067 (на весь год).*

*Сколько бы "ЛГ" ни стоила,  
она этого стоит!*

#### ПОПРАВКА

По вине редакции «Нового мира» при публикации рассказов А. Солженицына (№ 10 с. г.) были допущены ошибки.

На стр. 25 двадцать четвертую строку сверху следует читать: «Хочу позабыть свое имя и звание, — ».

На стр. 28, начиная с двадцатой строки сверху, следует читать: «Комиссар громким голосом грохотал своё раздражение и внушал нам о происходящих условиях, и потому отныне никаким уклонщикам пощады не будет, вплоть до суда и расстрела».

Редакция журнала «Новый мир» глубоко сожалеет о случившемся. Приносим извинения автору и читателям.



## SUMMARY



The poetry section of the issue presents poems by Aleksei Birger, Aleksei Didurov, Vladimir Korobov, Aleksandr Tkachenko, Sergei Nadeev, Olga Kuchkina, Larisa Miller, Nana Eristavi, Yakov Kozlovsky and Leonard Lavlinsky.

The prose section is presented by the short story. We are publishing the ones by Boris Yekimov, Nadezhda Gorlova, Ramil Besermen, Marina Buvailo, Igor Kuznetsov, Tatyana Voltskaya, Yan Goltsman, Aleksandr Gankin, Aleksei Ivanov, Konstantin Pleshakov, as well as the aphorisms by Zufar Fatkudinov.

In the section «New Translations» we are publishing the end of the novel «Kabbala» by Thornton Wilder, translation by A. Gobuzov (beginning in No.11).

The article «The Second Chechen War» by Mark Feigin, Deputy of the State Duma, occupies the section «Publicistics».

The section «Times and Customs» presents «Notes from the Vault» by V. Niki-forov.

In the section «Philosophy. History. Culture» we are publishing the essay «Why has «the Death of Gods» dragged on?» by Yuri Kagramanov about fascism as a phenomenon of European culture.

The section «World of Art» contains a theatre review by Alena Zlobina, «A Drama of the Theatre Season».

Reflections by Alla Marchenko, «A Short Story for Want of a Novel», are to be found in the section «By the Way».

In the section «Book Review» Mikhail Butov and Dmitry Kharitonovich review the Russian edition of the novel «Foucault Pendulum» by Umberto Eco; I. K. reviews «The End of the Quotation» by Mikhail Bezrodny; Tatyana Bek reviews the book of poetry by Aleksei Purin.

The issue also includes our traditional sections «Russian Books Abroad», «Book-shelf», «Periodics», as well as the contents of the magazine for 1995.

---

**Рукописи не рецензируются и не возвращаются.**

**Редакция не имеет возможности ходатайствовать по частным делам.**

---

**Главный редактор С. П. Залыгин**

**Редакционная коллегия:**

**С. С. Аверинцев, В. П. Астафьев, А. Г. Битов, А. В. Василевский** (ответственный секретарь), **Д. А. Гранин, А. А. Ким, С. П. Костырко, Ю. М. Кублановский, С. И. Ларин, Д. С. Лихачев, А. М. Марченко, П. А. Николаев, И. Б. Роднянская, З. М. Фаткудинов, М. О. Чудакова, О. Г. Чухонцев, С. А. Яковлев** (зам. главного редактора)

**Коммерческий директор В. Д. Васковский**

---

Свидетельство о регистрации № 138 от 27 сентября 1990 г. в Министерстве печати и массовой информации РСФСР.

---

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

---

Сдано в набор 20.08.95 г. Подписано к печати 10.10.95 г. Оригинал-макет изготовлен на компьютерах редакции журнала «Новый мир». Формат бумаги 70x108 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Бумага кн.-журн. Высокая печать. Объем 16 п. л., 22,4 усл. печ. л., 22,58 усл. кр.-отт. 28,02 уч.-изд. л.

---

Тираж 31 820 экз. Зак. 3456. Цена договорная.

---

При участии издательства «Известия». Москва, Пушкинская пл., 5.

Типография имени И. И. Скворцова-Степанова издательства «Известия».  
103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

## В 1996 ГОДУ «НОВЫЙ МИР» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:

**С. С. АВЕРИНЦЕВ.** О слове в Откровении и слове в поэзии;  
**Моя ностальгия;**

**ВИКТОР АСТАФЬЕВ.** Прокляты и убиты (роман, часть третья);

**В. БОГОМОЛОВ.** Алина (повесть);

**МИХАИЛ БУТОВ.** Повесть;

**РАВИЛЬ БУХАРАЕВ.** Дорога Бог знает куда;

**СВЕТЛАНА ВАСИЛЕНКО.** Роман;

**ИГОРЬ ДЕДКОВ.** Дневники (из наследия);

**БОРИС ЕКИМОВ.** Очерки и рассказы;

**СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН.** Свобода выбора (повесть);

**ИГОРЬ ЗОЛОТУССКИЙ.** Путешествие к Набокову;

**Н. КОРЖАВИН.** В соблазнах кровавой эпохи (воспоминания, часть вторая);

**ЮРИЙ КУБЛАНОВСКИЙ.** Мертвым не больно? (полемические заметки);

**ОЛЕГ ЛАРИН.** С Егорычем в магазин. Туда и обратно (повесть);

**ВЛАДИМИР МАКАНИН.** Роман;

**ТОМАС МАНН.** Из дневников;

**ТАТЬЯНА НАБАТНИКОВА.** Роман;

**ВАЛЕНТИН НЕПОМНЯЩИЙ.** Феномен Пушкина и исторический жребий России;

**МАРИНА НОВИКОВА.** Ужасы (продолжение статей «Маргиналы» и «Символы»);

**ЛЮДМИЛА ПЕТРУШЕВСКАЯ.** Рассказы;

**ИРИНА РОДНЯНСКАЯ.** Маканин нового времени;

**ЕВГЕНИЙ СТАРИКОВ.** Новые профсоюзы перед соблазном фашизма;

**ТОРНТОН УАЙЛДЕР.** К небу мой путь (роман, перевод с английского);

**ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ.** Медя и ее дети (семейная хроника);

**АЛЕКСАНДР ЧУДАКОВ.** Чехов между верой и неверием;

**ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА.** У ног лежачих женщин (повесть);

**АСАР ЭППЕЛЬ.** Рассказы;

а также новые произведения **АНДРЕЯ БИТОВА**, **РЕНАТЫ ГАЛЬЦЕВОЙ**, **ГЕННАДИЯ ГОЛОВИНА**, **ВАЛЕРИЯ ЗАЛОТУХИ**, **АНАТОЛИЯ КИМА**, **ИГОРЯ КЛЕХА**, **МАРКА КОСТРОВА**, **МИХАИЛА КУРАЕВА**, **АЛЕКСАНДРА КУШНЕРА**, **ЮЛИИ ЛАТЫНИНОЙ**, **СЕМЕНА ЛИПКИНА**, **ИННЫ ЛИСНЯНСКОЙ**, **ДМИТРИЯ ЛИХАЧЕВА**, **АЛЕКСАНДРА МЕЛИХОВА**, **ОЛЕГА ПАВЛОВА**, **МАРИНЫ ПАЛЕЙ**, **НИКОЛАЯ ПЕТРАКОВА**, **ИРИНЫ ПОЛЯНСКОЙ**, **ЕВГЕНИЯ РЕЙНА**, **БЕЛЛЫ УЛАНОВСКОЙ**, **ЮЛИЯ ШРЕЙДЕРА**, **ДОРЫ ШТУРМАН** и других авторов.

**НЕ ЗАБУДЬТЕ ВОВРЕМЯ  
ПРОДЛИТЬ ВАШУ ПОДПИСКУ!**